



יֵהוּפֶטֶם
שַׁחֲשֹׁחַי 12

ΔΥΧ | ΛΙΤΕΡΑ

FROM THE LIBRARY OF
SHIMON MARKISH
(1931-2003)

ЕГУПЕЦЬ
ЕГУПЕЦ
יַעֲהוֹפֶטֶן

**ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ
АЛЬМАНАХ
ІНСТИТУТУ ЮДАЇКИ**

12

КИЕВ 2003

УДК 892.45(059)

ББК 84.5Є Я5

Є31

РЕДКОЛЕГІЯ:

Г. Аронов, М. Петровський (редактори), Р.Заславський,
І. Клімова, Г. Ліхтенштейн, С. Паніч,
К. Сігов, Л. Фінберг

РЕДКОЛЕГІЯ СКЛАДАЄ ПОДЯКУ
АМЕРИКАНСЬКОМУ ЄВРЕЙСЬКОМУ ОБ'ЄДНАНОМУ
РОЗПОДІЛЬЧОМУ КОМІТЕТОВІ «ДЖОЙНТ»
ТА ЄВРЕЙСЬКОМУ АГЕНТСТВУ «СОХНУТ-УКРАЇНА»
ЗА ДОПОМОГУ У ВИДАННІ АЛЬМАНАХУ

Відповідальні за випуск: *К. Сігов та Л. Фінберг*

Художнє оформлення: *І. Клімова*

Комп'ютерний набір: *Г. Ліхтенштейн*

Комп'ютерна верстка: *Т. Жук та Г. Ліхтенштейн*

Коректор: *Н. Резнік*

На першій та четвертій сторінках обкладинки розміщені роботи
І.Рибка «Синагога в Хілкові» (1917) та «Мое містечко» (1917).

ISBN 966-7273-29-6

© Інститут Юдаїки, 2003

© ДУХ І ЛІТЕРА, 2003

ПСАЛМЫ ДАВИДОВЫ В ПЕРЕВОДАХ С.С.АВЕРИНЦЕВА*

КРЕПКА НАД НАМИ МИЛОСТЬ ЕГО

Прежде всего иного, у истока всех церковных славословий и ликований, в непредставимой, уму непостижимой дали времен — и всё же, надо сознаться, совсем близко, словно бы голос из глубины нас же самих: Давидовы Псалмы.

Слова, которые давным-давно знаешь наизусть, но которым не перестаешь удивляться. Как-как? Неужели правда? Так и сказано?

Слова, которых ничто не может быть проще — и ничто не может быть неожиданнее. До простоты которых надо докапываться, роя глубже и глубже.

Потом придут сложные мысли, упорядоченные вероучительные тезисы. Усложнится и культура чувства, и навыки выражения чувства; в том числе и чувства религиозного. И благословенна эта сложность, осязаемая, скажем, в греческих текстах византийских песнопений, в европейской и русской поэзии духовной сосредоточенности. Сложность — богатство накопленного из поколения в поколение. И неправ был Лев Толстой, когда ему хотелось разрушить сложные системы догматики, и литургии, и дисциплинирующих условностей культуры — ради опрощения. Но ведь когда-то сердце просит простоты: не опрощения и не упрощения — первоначальной простоты. Когда-то нужно перечувствовать не то, о чем думали позднее, а первичный, исходный опыт. Как узнали не такие и не такие тонкости, а самое главное, самое простое: что Бог вправду — есть? И тогда хорошо войти в мир Псалмов, где жалость — это тепло материнской утробы, где мыслить и учиться — это шептать, двигая губами, где Божья защита — это твердая скала. Где всё твердо и надежно, как камень. Где человек кричит изо всех сил, зная, что за пределами мира его слышат.

С.Аверинцев

* В более полном виде Псалмы Давидовы, переведенные С.С.Аверинцевым, выходят отдельной книгой в издательстве «Дух і Літера».

I

О благо тому,
 кто совета с лукавыми не устроил,
 на стезю грешных не вступал,
 меж кощунниками не сидел;

но в законе Господнем — радость его,
 слова закона в уме его¹ день и ночь.

Он как дерево, что насаждено
 у самого течения вод,
 что в должное время принесет плоды
 и не увянут листья его.

Устроится всякое дело его.

Грешные не таковы,
 они — как развеваемый ветром прах.

Грешные на суде не устоят,
 лукавым меж праведных места нет;
 путь праведных ведает Господь,
 но потерян лукавых путь.

III

ПСАЛОМ ДАВИДОВ КОГДА БЕЖАЛ ОТ АВЕССАЛОМА, СЫНА СВОЕГО

Господи,
 как умножились теснящие меня!
 Многие восстают на меня,
 многие молвят о душе моей:
 «Нет у Бога избавления для него!»
 (Села²)

¹ Буквально — «шепчет он».

² Евр. *סֵלָה* (с ударением на первом слоге). Общеизвестно, что перед нами какая-то музыкальная или литургическая помета (встречающаяся в Псалтири 71 раз и в Кн. Пророка Аввакума 3 раза); но ее значение до сих пор не выяснено. Во всяком случае, она лишний раз напоминает, что речь идет о тексте, предназначенном не просто к чтению глазами, но к проговориванию и выпеванию.

Но Ты, Господи, — щит мой,
Ты — слава моя, Ты возносишь главу мою.

Гласом моим я ко Господу воззвал,
и услышал Он меня от святой горы Своей.
(Села!)

Я уснул, и спал, и восстал,
ибо Господь защитил меня.
Не утрашусь множеств людей,
отовсюду обступивших меня.

Встань, Господи! Спаси меня, Боже мой!
Ты разишь всех врагов моих,
зубы грешников Ты крушишь.
От Господа — избавление нам,
и народу Твоему — благословение Твое.
(Села!)

VIII

НАЧАЛЬНИКУ ХОРА. НА ГИТТИТ³. ПСАЛОМ ДАВИДОВ

Адонаи, Господи наш,
как чудно имя Твое по всей земле!
и превыше небес —
слава Твоя.

Из детских, из младенческих уст
Ты уготовал хвалу —
твердыню на врагов Твоих,
дабы немирного низложить.

Увижу ли Твои небеса,
дело Твоих перстов,
увидю луну и звезды небес,
которые Ты утвердил —
Что перед этим человек?
Но Ты помнишь его!

³ Предположительно музыкальный термин. Остается вопрос: есть ли это название музыкального инструмента или обозначение мелодии?

Что перед этим Адамов сын?
Но Ты посещаешь его!

Ненамного умалил Ты его
перед жителями небес,
славою и честью венчал его,
управителем поставил его
над делами рук Твоих.

Все положил Ты под ноги его —
малых и больших скотов
и с ними диких зверей,
птиц в небесах, и рыб в морях,
и все, что движется в безднах морей.

Адонаи, Господи наш!
как чудно имя Твое
по всей земле!

XVIII / XIX

Славу Божию поведают небеса,
и о деле рук Его вешает твердь;
день дню изливает молвь,
ночь ночи являет весть;
нет глагола, нет речей,
не слышно их голосов, —
по всей земле несется их вопль,
до концов вселенной слово их.

При них поставил Он для солнца шатер,
и выходит оно, как из чертога жених,
радуется, как исполин, пробегая путь;
от края небес исход его,
и шествие его до края их,
и ничто не укрыто от жара его.
Закон Господень совершен,
душу укрепляет он;
свидетельства Господни тверды,
умудряют они простецов;
веления Господни прямы,
сердце они веселят;

заповедь Господня светла,
просвещает очи она;
страх Господень чист,
пребывает вовек;
приговоры Господни верны,
все праведны они;
желаннее золота, чистейшей руды,
слаще меда и влаги сот.
Ограждается ими раб Твой;
за соблюдение их мзда велика.

Погрешности — кто же усмотрит их?
От неприметного мне очисти меня!
И от соблазнов защити раба Твоего,
да не одолеют они меня!
Буду тогда я неискривлен
и от великого греха чист.

Да будут угодны слова моих уст
и шепоты сердца моего
пред лицом Твоим,
Господи, Оплот мой, Избавитель мой!

ХІХ/ХХ

Да услышит тебя Господь в день беды,
имя Бога Иакова да хранит тебя;
да пошлет Он от Святыни помощь тебе,
от Сиона да подкрепит тебя!
Да вспомнит Он все жертвы твои,
да примет тук всесожжений твоих!
(Села!)

Да подаст Он тебе по сердцу твоему,
да исполнит все мысли твои!

Мы возликуем об избавлении твоём,
во имя Бога нашего стяги вознесем.
Да исполнит Он
все мольбы твои!

Ныне познал я, что избавит Господь
помазанника Своего,

отвечает ему с небес Святыни Своей
 делами избавительной десницы Своей.
 Эти — на колесницы, на коней — те,
 но на имя Господа, Бога нашего, уповаем мы.
 Они оступились, пали они,
 мы выстояли и стоим.

Господи, спаси царя⁴
 и услышь нас в день,
 когда мы воззовем к Тебе!

XX (XXI)

ПСАЛОМ ДАВИДОВ

Господи, о силе Твоей веселится царь,
 о помощи Твоей, о, как ликует он!
 Ты дал ему желанное сердцу его,
 не отринул прошение его уст.
 (*Села!*)
 Добрым благословением Ты встретил его,
 возложил на главу его драгоценный венец.
 Жизни просил он у Тебя,
 и дал Ты ему долготу дней
 во век и век.

Велика его слава поспешеством Твоим,
 излил Ты на него славу и блеск.
 Возложил Ты на него
 благословения вовек,
 усладил его радостью, что в зраке Твоем.

Да, о Господе надежда царя,
 по милости Вышнего не падет.
 Сыщет длань Твоя всех врагов Твоих,
 десница Твоя — ненавидящих Тебя.
 Словно в огненную печь Ты их претворишь

⁴ По другому возможному пониманию, принятому, например, М. Бубером и А. Шураки, — «спаси нас, Господи, Царь»; в таком случае речь идет о царском достоинстве Самого Бога.

в час явления лица Твоего,
погубит их Господь во гневе Своем,
и пожрет их огонь.
Их плод истребишь Ты с земли,
из среды человеков — семя их;
на Тебя затеяли злое они,
плели козни, но не возмogli.
Тогда на расправу поставишь их,
из луков Твоих будешь стрелы метать
в лица их.

Господи, восстань в силе Твоей!
Мы будем петь и на струнах бряцать
о подвигах мощи Твоей.

XXII / XXIII

ПСАЛОМ ДАВИДОВ

Господь — мой Пастырь, и нет мне нужды:
на пажитях щедрых пасет Он меня,
к водооям покоя ведет Он меня,
обновляет душу мою,
пути правды открывает Он мне, —
ради имени Своего.

Если в низине, где смерти тень,
ляжет мой путь,
не убоюсь зла!

Ты — со мною,
жезл Твой и посох Твой
защитят меня.

Ты устроил мне пир
у гонителей моих на виду,
умастил елеем главу мою,
и полна чаша моя.

Так! благость и милость провожают меня
во все дни жизни моей,
и несчетные дни мне пребывать
в Господнем дому!

XXIII / XXIV

ПСАЛОМ ДАВИДОВ
[НА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ⁵]

Господня земля и всё, что на ней,
вселенная и все народы ее;
Он сам на пучинах утвердил ее,
на потоках поставил ее.

Кто взойдет на гору Его,
встанет на святом месте Его?
Чьи руки неповинны, кто сердцем чист,
кто не возлюбил суеты
и клятвою лжи не скреплял.

Его благословит Господь,
Бог-Спаситель оправдает его;
кто ищут Господа, таковы,
ищут, Боже Иакова, лица Твоего.
(Села!)

Поднимитесь, косяки врат,
древние двери, раздайтесь ввысь,
и Царь славы войдет!

Царь славы — кто есть Он?
крепкий и могучий Господь,
могучий во бранях Господь!

Поднимитесь, косяки врат,
древние двери, раздайтесь ввысь,
и Царь славы войдет!

Царь славы — кто есть Он?
Господь воинств, Господь сил,
Царь славы есть Он.
(Села!)

⁵ Эта помета отсутствует в масоретском тексте, однако наличествует в версии Септуагинты (и соответственно в славянском переводе — «*единыя отъ субботы*»). Первый день еврейской седмицы соответствует нашему воскресенью.

XXVIII/XXIX

ПСАЛОМ ДАВИДОВ
[ПРИ ОКОНЧАНИИ ПРАЗДНИКА КУЩЕЙ⁶]

Воздайте Господу, Божьи сыны,
воздайте Господу царскую честь,
воздайте Господу честь имени Его,
поклонитесь Ему во святыне Его!

Голос Господа над глубиною вод,
Бог славы громами говорит,
голос Господа над разливом вод,
голос Господа в силе Его,
голос Господа во славе Его!

Голос Господа кедры крушит,
кедры Ливанские крушит Господь!
И скачет Ливан, как телец,
и Сирион, как молодой бычок.

Голос Господа высекает огонь,
голос Господа пустыню сотряс,
пустыню Кадеш сотряс Господь!
Голос Господа нудит ланей родить
и обнажает лесную сень.

Превыше потопа обитает Господь,
воцарится Господь во веки веков.
Господь народу Своему подаст мощь,
одарит миром людей Своих.

⁶ Опять-таки помета в квадратных скобках дается по версии Септуагинты (в славянском переводе «исхода скинии»).

XXXVII / XXXVIII

ПСАЛОМ ДАВИДОВ
РАДИ ПАМЯТИ [О СУББОТЕ⁷]

Господи! не в ярости Твоей обличай меня,
и не во гневе Твоем карай меня;
ибо стрелы Твои вошли в меня,
и тяжка на мне рука Твоя.

Нет целого места в плоти моей
по причине гнева Твоего,
нет покоя в костях моих
по грехам моим;

ибо беззакония мои превысили главу мою,
как тяжкое бремя гнетут меня;
смердят и гноятся раны мои
по безумию моему;
согбен я и поник весьма,
весь день скорбен хожу,
ибо недугом полны чресла мои,
нет целого места во плоти моей.
Расслаблен я и весь разбит,
вопию от смуты сердца моего.

Господи! пред Тобою все желание мое,
и стенание мое открыто Тебе.
Содрогается сердце мое,
и оставила меня сила моя;
и свет очей моих —
всё ушло от меня.

Други мои, сотоварищи мои
отступили от беды моей,
и ближние мои встали вдали;
но ищущие души ставят силки,
умышляющие мне зло рекут смерть,
целодневно готовят ков.

⁷ См. оба предыдущие примечания. Что касается еврейской формулы **שבת**, то ее значение далеко не ясно и составляет предмет многих интерпретационных догадок. Некоторые новейшие переводы даже отказываются от ее перевода, ограничиваясь транслитерацией.

Я же не слышу, как глухой,
как немой, не отвержаю уст моих;
да, я как тот, у кого слуха нет,
и нет ответа в его устах.

Ибо на Тебя, Господи, надежда моя;
Ты услышишь, Господи, Боже мой!

Я сказал: да не порадуются обо мне
враги мои,
да не похвалятся обо мне,
когда оступится стопа моя!

Ибо к ранам я готов,
и скорбь моя предо мною всегда,
я возвещаю беззаконие мое
и печалюсь о грехе моем.
Меж тем враги мои живут и сильны,
и умножились, кто без вины ненавидят меня,
воздают мне злом за добро,
враждуют за то, что ишу я добра.

Не оставь меня, Господи, Боже мой!
Не отступи от меня!
Поспеш на помощь мне,
Господи, спасение мое!

XLIV / XLV

НАЧАЛЬНИКУ ХОРА. НА ШОШАНИМ⁸. СЫНОВ КОРАХА. МАСКИЛ⁹. ПЕСНЬ ПРИЯЗНИ¹⁰

Из сердца моего речь благая звучит,
я возглашаю о царе стих мой,
как трость скорописца — мой язык.

⁸ Слово **שִׁיר** буквально означает «*лилии*»; речь идет либо о какой-то известной мелодии, либо о музыкальных инструментах, скажем, формой напоминавших лилии.

⁹ Неясный жанровый термин.

¹⁰ В Септуагинте — «*песнь о Возлюбленном*». Здесь стоит вспомнить, что *Возлюбленный* — одно из имен Мессии. В масоретском тексте употреблено слово **שִׁיר**, скорее означающее «*дружество*» (в переводе Бубера вместе с предшествующей лексемой «*Freundschaftslied*»).

Меж Адамовых сынов ты прекраснее всех,
излилась милость на уста твои;
потому благословил тебя Бог вовек!

Препояшь себя, Сильный, мечом по бедру,
тебе — слава, и тебе — краса,
и во красе твоей поспеши,
на колеснице скачи,
за кротость, за правду ополчись,
и грозные дела явит тебе
десница твоя.

Острые стрелы твои —
(народы пред Тобою падут) —
в сердца царевых врагов.

Престол твой от Бога¹¹ вовек;
скиптр правоты — скиптр царства твоего.
Возлюбил ты правду и возненавидел зло;
сего ради помазал Бог, Бог твой,
елеем веселий тебя —
более сопутников твоих.

¹¹ Возможно прочтение: «престол Твой, Боже, вовек». Вопрос связан с другим, более тонким вопросом: как провести в ветхозаветном тексте границу между знаком, т. е. образом (земного) царя Избранного Народа, и означаемым, т. е. Божественным Царем, а в христианском понимании — Христом-Царем? Нет никакого сомнения, что перед нами текст с очень сильным теократическим измерением, которое само по себе постулирует выход в мессианскую перспективу. Столь же очевидно, что ближайший смысл текста в контексте культуры, в которой он был создан, имеет самое прямое отношение к придворным реалиям. Поэтому мы, ориентируясь на традиционное богословие «прообразования», в этом случае не находим приемлемым практику Синаодального перевода, строящего передачу текста этого псалма на всемерной ликвидации различия между «прообразованием» и самим Образом — так, как если бы Псалмопевец совершенно сознательно говорил о Христе, и притом в терминах созревшей христологической доктрины: слово «царь» и все местоимения, к нему относящиеся, даны с большой буквы, возможны и такие формулы, как «помазал Тебя, Боже, Бог Твой» (ст. 8). Постольку, поскольку речь ближайшим образом идет все же не о Втором Лице Троицы, такие черты перевода могут вызвать у современного читателя опасное представление, будто здесь обожествляется земной царь, как это бывало у язычников. С другой стороны, нет надобности соглашаться с распространенной в нынешней научной литературе точкой зрения на этот псалом как на «единственный в Псалтири образец светской лирики» (ср., например, A. Weiser, *I Salmi, I, Brescia, 1984*); она противоречит не только христианской традиции, но и тому, что называется историзмом, т. е. здравому культурно-феноменологическому подходу, воспрещающему переносить наши представления о границах «сакрального» и «светского» на явления иной эпохи.

Все одежды твои —
 смирна, касия, алой;
из покоев слоновой кости тебя
 увеселяет звон струн;
дочери царей — среди избранных твоих;
 стала царица одесную тебя,
из злата Офира — убор ее.

Услышь, дочь, воззри,
 и приклони ухо твое,
и забудь народ твой
 и дом отца твоего!
Возжелал царь красоты твоей;
 ведь он — господин тебе,
 так склонись перед ним!
И дочь Тира приносит дары,
 богатые из народа хвалят твой лик.
Сокровенна слава дщери царя,
 златом шита одежда ее,
ведут ее в узорных ризах к царю,
 за нею девы, подруги ее;
веселием и кликами встречают их,
 и приводят их в чертог царев.

Вместо отцов твоих
 будут сыны твои;
ты князьями поставишь их
 по всей земле.

Соделаю имя твое
 памятным в род и род,
потому и народы восславят тебя
 всегда и вовек.

XLV / XLVI

НАЧАЛЬНИКУ ХОРА. СЫНОВ КОРАХА. НА АЛАМОТ¹². ПЕСНЬ

Бог — наша сила и наш оплот,
 скорый помощник во дни беды:

¹² Снова то ли указание на мелодию, то ли название музыкального инструмента.

не устрасимся, если дрогнет земля
и горы сойдут в бездны зыбей.

Пусть воды вздымаются и шумят,
колеблются горы от буйства волн —
(Села!)
потоки веселят Божий град,
святой Вышнего приют!

С ним Бог, и он нерушим,
поможет ему Бог на рассвете дня.

Царства колеблются, народы кипят,
глас Божий звучит, тает земля!
С нами — Господь сил,
Бог Иакова — наш оплот.
(Села!)

Посмотрите, что творит Господь —
дивное являет на земле,
смиряет брани до концов земли,
ломает лук, сокрушает копье,
колесницы сожигает огнем.

«Смиритесь, познайте, что Я — Бог,
превыше народов, превыше всего!»
С нами — Господь сил,
Бог Иакова — наш оплот.
(Села!)

LVI / LVII

НАЧАЛЬНИКУ ХОРА. «НЕ ПОГУБИ»¹³. ДАВИДОВ МИКТАМ¹⁴,
ПРИ БЕГСТВЕ ЕГО ОТ САУЛА, В ПЕЩЕРЕ¹⁵

Помилуй, Боже, помилуй меня,
на Тебя уповает душа моя;
укроюсь под сенью крыл Твоих,
покуда не минула беда.

¹³ Почти несомненно указание на мелодию.

¹⁴ Снова жанровое обозначение, вызывающее различные интерпретации (например, по Буберу «песнь покаянная»).

¹⁵ Ср. I Кн. Царств 22, 1 и 24, 1.

К Богу Вышнему вопию,
к Богу, вызволяющему меня;
он пошлет с небес помощь ко мне,
губителя смутит моего.
(Села!)

Бог ниспошлет милость Свою,
ниспошлет верность Свою.

А моя душа — в кругу львов,
хищники окрест нее,
лютые человечьи сыны:
копья и стрелы — зубы их,
языки — острые мечи.

Превыше небес, Боже, восстань,
распрости над землей славу Твою!

Для стопы моей уготовали сеть —
и поникла душа моя;
вырыли яму на пути моем —
но сами пали в нее.
(Села!)

Боже, готово сердце мое,
готово сердце мое!
Воспою, воспою Тебе хвалу;
песнь моя, пробудись!
Арфа, проснись, цитра, проснись,
я разбужу зарю!

Господи, средь народов скажу о Тебе,
меж племен воспою Тебе хвалу,
ибо до небес — милость Твоя,
до облаков — верность Твоя.
Превыше небес, Боже, восстань,
распрости над землей славу Твою!

LXIX / LXX

НАЧАЛЬНИКУ ХОРА. ДАВИДОВО. В ВОСПОМИНАНИЕ

Поспеши, Боже, избавить меня, —
 Господи, на помощь мне приди!
 Да будет позор и стыд тем,
 что на душу покусились мою,
 да отступят со срамом вспять
 радующиеся моей беде,
 да смутятся и отпрянут назад
 те, что говорят: «Ну, ну!»

Да возликуют и возвеселятся о Тебе
 все ищущие Тебя,
 да молвят непрестанно: «Велик Бог!» —
 любящие спасение Твое.

Я же смирен и убог,
 Боже, скоро приди ко мне!
 Ты — Помощь моя, Избавитель мой;
 Господи, поспеши!

LXXV / LXXVI

НАЧАЛЬНИКУ ХОРА. НА СТРУНАХ.
 ПСАЛОМ АСАФОВ. ПЕСНЬ

Ведом во Иудее Бог,
 велико во Израиле имя Его;
 и было в Салиме жилище Ему,
 и на Сионе — обитель Его.
 Там стрелы луков сокрушил Он,
 щит, и меч, и брань¹⁶.
 (*Села!*)

О, дивен Ты,
 величавее победных гор!
 Могучие сердцем в добычу пошли,
 забылись, словно бы сном своим,

¹⁶ Возможно прочтение: «и бранную снасть».

и не обрели все мужи
крепости в руках своих.
Боже Иакова, от угрозы Твоей
бездвижны и колесница, и конь.
Ты грозен, о, Ты!
Кто пред лицом Твоим устоит
в час гнева Твоего?
С небес огласил Ты приговор Твой;
устранилась, смолкла земля,
Когда восстал Бог рассудить,
вызволить всех убогих земли.
(Села!)

И гнев человеков — ко славе Твоей,
остаток гнева Ты укротишь.
Давайте обеты, исполняйте их
пред Господом — Он Бог ваш!
Все, кто окрест Него,
да принесут Грозному дары;
укрощает Он дух владык,
царям земли внушает Он страх.

LXXVI / LXXVII

НАЧАЛЬНИКУ ХОРА. ИЕДУФУНУ¹⁷. АСАФОВО. ПСАЛОМ

К Богу — вопль мой, и я воззову,
К Богу — вопль мой, чтоб внял Он мне!
В день скорби моей
Господа я взыщу.

Всю ночь простираю руки мои,
не даю им упасть,
не хочет утешиться душа моя!
Помыслию о Боге — и вздохну,
задумаюсь — и никнет дух мой.
(Села!)

¹⁷ В передаче этого имени собственного (которое, как и имя «сынов *Кораха*», может быть только предметом догадок), мы искали пристойного компромисса между еврейской формой и традиционной греко-славянской передачей буквы *тав* — *тэтой* и соответственно *фитой*.

Не даешь Ты дремоты веждам моим,
 смятен я, и молкнет речь моя;
 помышляю о давних днях и годах,
 поминаю напевы мои в ночи,
 беседую с сердцем моим,
 размышляю, и вопрошает дух мой:
 иль вовек отринул Господь
 и не станет более благоволить,
 иль вовек отступила милость Его,
 престало слово Его в род и род,
 или миловать Бог позабыл,
 затворил во гнев щедроты Свои?
 (Села.)

И сказал я: «Вот боль моя:
 десница Вышнего изменена!»¹⁸

Вспомню о Господних делах,
 о древних вспомню чудесах,
 Исследую все деяния Твои,
 размыслию о свершенном Тобой.

О, Боже! Во святине стезя Твоя;
 кто есть бог, что велик, как Бог?
 Ты — Бог, что творит чудеса,
 Ты силу Твою меж языков явил,
 Ты вызволил дланью народ Твой —
 Иакова, Иосифа сынов.
 (Села.)

Видели воды, Боже, Тебя,
 видели воды, и взял их страх,
 и бездны объяла дрожь;

¹⁸ Мы следовали пониманию текста, принятому Септуагинтой, Вульгатой и Синодальным переводом (а также новейшей редакцией латинской версии, разработанной католической ученой комиссией при Пие XII). При другом возможном понимании мы получим:

«И сказал я: «Утешение боли моей —
 о десницы Вышнего годах,
 о Господних делах вспоминать,
 о древних вспоминать чудесах».

Оба прочтения предполагают общебиблейскую символику десницы — правой стороны как знака милости.

облака изливали проливень струй,
небеса издавали гром,
и летали стрелы Твои.
Глас грома Твоего — в кругу небес,
молнии светили надо всей землей,
содрогалась, сотрясалась земля.
В пучине — пути Твои,
в водах великих — стезя Твоя,
и следов Твоих не испытать.

Как стадо, вел Ты народ Твой —
Моисея, Аарона рукой.

LXXXIII / LXXXIV

НАЧАЛЬНИКУ ХОРА. НА ГИТТИТ. СЫНОВ КОРАХА. ПСАЛОМ

Как желанны обители Твои,
Адонаи, Господи сил!

Истаевает душа моя,
алчет покоя дворов Твоих;
ликует во мне сердце мое,
торжествует плоть моя
в радости о Боге живом.

Вот, и пташка находит себе приют,
и ласточка — укром для птенцов своих;
а мне — алтари Твои, Боже сил,
мой Царь и мой Бог!

Благо живущим в дому Твоем,
кто без устали славят Тебя!
(Села!)

О, благо тому, чей оплот в Тебе,
кто нашел стезю к Тебе в сердце своем!
Проходят странники юдолюю слез¹⁹,
и становится она источником вод,
и благодатью одевают ее

проливающиеся дожди.
От силы к силе пройдут они,
явится на Сионе Бог богов.

Господи сил! Услышь молитву мою,
Боже Иакова, внимли!
(Села!)

Боже, оплот наш, обрати взор!
Призри на Помазанника Твоего.

Ибо единый день во дворах Твоих
лучше тысячи дней;
лучше мне у порога стоять
в доме Господа моего,
нежели обрести приют
во обителях греха.

Господь Бог — солнце и щит,
милость и честь подаст Господь;
не откажет ни в едином из благ
ходящим в простоте своей.

Адонаи, Господи сил!
Блажен, кто уповает на Тебя.

LXXXVI / LXXXVII

СЫНОВ КОРАХОВЫХ. ПСАЛОМ. ПЕСНЬ

Основания его — на горах святых;
врата Сиона возлюбил Господь
больше всех Иакова жилищ.

Славное говорится о тебе,
Божий град!
(Села!)

Помяну ли Раав²⁰ и Вавилон
знающим меня:
вот, Филистия, Тир и Куш²¹

¹⁹ Или: «долиной Бака».

молвят: «Некто родился там!»
 И станут о Сионе говорить:
 «Муж и муж родился в нем,
 Вышний Сам утвердит его!»
 В переписи народов напишет Господь:
 «Некто родился там!»
 (Села!)

И скажут с напевом, с игрою флейт:
 «Все истоки мои — в тебе!»

LXXXVII / LXXXVIII

ПЕСНЬ. ПСАЛОМ СЫНОВ КОРАХОВЫХ. НАЧАЛЬНИКУ ХОРА. НА «МАХАЛАТ ЛЕАННОТ»²². МАСКИЛ ЭМАНА ЭЗРАХИТА

Господи, Боже спасения моего!
 пред Тобою днем и в ночи вопию.
 Да внидет пред лице Твое мольба моя,
 приклони ухо Твое к плачу моему!

Ибо насытилась бедами душа моя,
 и жизнь моя к преисподней подошла;
 к нисходящим в могилу я причтен,
 я стал, как человек без сил,
 оставленный посреди мертвецов,
 подобный убитым во гробах,
 о которых не вспоминаешь Ты,
 которые отторгнуты от длани Твоей.

В ров преисподней низвел Ты меня,
 во тьму, во мрак бездн,
 на мне отяготела ярость Твоя,

²⁰ Под именем стихийного чудища *Раав*, воплощающей предмирный хаос, имеется в виду Египет.

²¹ Библейское наименование Эфиопии.

²² Снова предположительно название мелодии. Возможно также, что таковым является только первое слово, а второе указывает на попеременное пение сменяющих друг друга певцов или хоров.

и все валы Твои Ты навел на меня.

(Села!)

Удалил Ты от меня ближних моих,
соделал меня мерзостью для них,
заточил Ты меня,
не вырваться мне.

От горести истомились очи мои;
я взывал к Тебе, Господи, весь день,
простирал к Тебе руки мои.

Разве над мертвыми Ты творишь чудеса,
иль умершие восстанут славить Тебя?
(Села!)

Или в гробнице возвещена будет милость Твоя,
и в месте погибели — верность Твоя?
Или во мраке познают чудеса Твои,
и в стране забвения — правду Твою?

Но взываю я, Господи, к Тебе,
и пред Тобою молитва моя поутру.
Зачем, Господи, отвергаешь Ты душу мою,
отвращаешь лице Твое от меня?

Нищ я, и в скорбях от юности моей,
изнемогаю под бременем страхов Твоих;
надо мною прошла ярость Твоя,
устрашения Твои смутили меня;
всякий день окружают меня, как разлив вод,
совокупно смыкаются окрест меня.
Друга и ближнего Ты удалил от меня,
и ведомых не видать, будто во тьме.

XC / XCI

Ты, что у Вышнего под кровом живешь,
под сенью Крепкого вкушаешь покой,
скажи Господу: «Оплот мой, сила моя,
Ты — Бог мой, уповаю на Тебя!»
Ибо Он избавит тебя от сети ловца
и от язвы злой,
Своими крылами осенит тебя,

и под сенью перьев Его найдешь укром.
Щит твой и доспех твой —
верность Его!

Не убоишься ни страхов ночных,
ни стрелы, летящей во дни,
ни язвы, крадущейся во мгле,
ни мора, что в полдень мертвит.
Тысяча падет подле тебя,
и десять тысяч — одесную тебя,
но к тебе не подойдет;
лишь очами твоими будешь взирать,
возездие безбожным созерцать.

«Господь — упование мое!» — сказал ты,
Вышнего избрал оплотом твоим;
не приключится с тобою зла,
и не тронет бич шатра твоего.
Ибо Вестникам Своим поручил Он тебя,
чтоб хранили тебя на всех путях твоих;
на руки подымут они тебя,
чтоб о камень не преткнулась твоя стопа;
на аспида и змия наступишь ты,
будешь льва и дракона попирать.

Он приник ко Мне, и избавлю его,
возвышу его, ибо познал он имя Мое,
воззовет ко Мне, и отвечу ему,
с ним буду в скорбях,
избавлю и прославлю его,
долготою дней насыщу его,
и явлю ему спасение Мое.

Ханна Краль

ВСТИГНУТИ ПОПЕРЕД ГОСПОДА

Того дня ти носив светра з червоної пухнастої вовни. «То був гарний светр, — додав ти, — з ангори. Він залишився після дуже багатого єврея...» На ньому були два шкіряні ремінці, які перетиналися на грудях, а посередині — ліхтарик. «Слухай, який в мене був вигляд!» — сказав ти мені, коли я запитала про день дев'ятнадцятого квітня...

— Правда? Я так сказав?

Було холодно. В квітні вечорами буває холодно, особливо це відчуває людина, яка мало їсть. Отож я вдягнув светра. Це правда, я знайшов його серед речей одного єврея, якогось дня їх викинули з підвалу, і я взяв собі светра з ангори. Він був високої якості: у того типа було до біса грошей, до війни він на власні кошти придбав для війська чи то літак, чи то танк, щось подібне.

Знаю, що тобі подобаються такі уривки, певно тому я і згадував про це.

— Зовсім ні. Ти згадував такі речі, бо хотів щось показати. Поважність і спокій. Саме про це йшлося.

— Я розповідаю так, як всі ми тоді говорили.

— Отже светр, перехрещені ремінці...

— Додай ще два револьвери. На мені були револьвери, вони висіли на тих ремінцях. Тоді нам здавалося, що коли маєш револьвери, ти маєш усе.

— Дев'ятнадцяте квітня: тебе розбудили постріли, ти одягнувся...

— Ні. Ще ні. Дійсно, мене розбудили постріли, проте було холодно, стріляти далеко і ще не було причини вставати.

Я одягнувся о дванадцятій.

Був з нами чоловік, що приніс зброю з арійської території — він от от мав повернутися, але вже пізно було. Коли тільки почали стріляти, він сказав, що має дочку в монастирі, в Замості, що він цього не переживе, а я переживу, тож після війни маю потурбуватися про його дочку. Я сказав: «Гаразд, гаразд, не базікай дурниць».

— Ну і?..

— Що «ну і»?

— Тобі вдалося знайти його дочку.

— Так, вдалося.

— Послухай. Ми домовилися, що ти будеш розповідати, правда ж? Йдеться про дев'ятнадцяте квітня. Стріляють. Ти одягся. Той чоловік каже тобі про свою дочку. Що далі?

— Ми пішли роздивитись, що там діється неподалік. На подвір'ї побачили кількох німців. Треба було б їх убити, але ми ще не мали досвіду убивання, окрім того ми трохи боялися, — і не вбили.

Через три години стрілянина вщухла.

Зробилося тихо.

Нашою територією було так зване гетто шіткової фабрики — Францисканська, Свентоєрська, Боніфратрська.

Фабричні ворота були заміновані.

Коли наступного дня підійшли німці, ми з'єднали контакти, і може, сотню їх там розірвало, врешті, я не пам'ятаю подробиць, ти повинна десь про це довідатися. І взагалі, я все менше про це пам'ятаю. Про кожного з моїх хворих я міг би розповісти тобі в десять разів більше.

Після того, як міна вибухнула, на нас кинули піхоту. Нам дуже це сподобалося. Нас — сорок, їх — сто, ціла колона, в бойовому порядку, підкрадаються. З усього видно, що сприймають нас дуже серйозно.

Десь надвечір вони вислали трьох з опущеними автоматами і білими хустинками. Кричали, що коли ми складемо зброю, то нас вишлють до спеціального табору. Ми їх обстріляли — в донесеннях Штроопа я знайшов потім ту сцену: вони, парламентарі, з білими хустинками, а ми, бандити, відкриваємо вогонь. Зрештою, ми в них не влучили. Але це не мало значення.

— Як це «не мало значення»?

— Найважливішим було те, що ми стріляли. Це треба було показати. Не німцям. Вони стріляли краще. А от тому, іншому світові, який не був німецьким, ми дійсно повинні були показати. Люди завжди вважали, що стрілянина є найвищим героїзмом. От ми і стріляли.

— А чому ви призначили саме цей день — дев'ятнадцяте квітня?

— Його призначили не ми. Його призначили німці. Того дня мала розпочатися ліквідація гетто. З арійської території були телефонні дзвінки про те, що вони готуються, про те, що вже виставили охорону із зовнішнього боку муру. Вісімнадцятого ввечері ми зібралися у Анелевича, уся п'ятірка, наш штаб. Я, мабуть, був найстаршим, мені було двадцять два роки. Анелевич був на рік молодший, а разом, на всю п'ятірку, нам було сто десять років.

І говорили ми небагато. «Ну то що?» — «Та, дзвонили з міста. Анелевич бере центральне гетто, заступники — Геллер і я — беруть склади Тойбен-са та шіткову фабрику». — «Тоді до завтра!» Ми попрощалися, хоча до того, ніколи цього не робили.

— А чому саме Анелевич був командиром?

— Бо він сам дуже цього хотів. Ну, ми його й обрали. Він у своєму самолюбстві трохи нагадував дитину, проте був здібний хлопець, начитаний, повний почуття власної гідності. Його мати торгувала рибою. Коли риба залишалася непроданою, то вона казала йому купити червону фарбу і підмалювати зябра, щоб риба здавалася свіжою. Він завжди був голодний. Коли приїхав до нас із Заглемб'я, і ми дали йому щось поїсти, то він закрив тарілку рукою, щоб ніхто у нього не забрав.

Він мав багато юнацького завзяття, був запальним. Хоча, ще ніколи доти він на власні очі не бачив «акції». Не бачив, як на Умшлагпляцу заштовхували людей до вагонів. А річ у тім, що коли бачиш, як чотириста тисяч людей відсилають до газових камер, то й сам можеш зламатися.

Дев'ятнадцятого квітня ми з ним не зустрічалися. Побачилися лише наступного дня. І це уже була інша людина. Целіна мені сказала: «Знаєш, це сталося з ним вчора. Він сидів і повторював: ми всі загинемо...» Тільки одного разу він ще якось пожавішав. Коли ми отримали повідомлення від Армії Крайової, аби чекати в північній частині гетто. Ми навіть точно не знали, про що йшлося і врешті з цього нічого не вийшло. Хлопця, який туди пішов дізнатися в чому справа, спалили на Милій. Ми чули, як він кричав цілий день. Ти думаєш, що це може на когось справити враження — один спалений хлопець після того, як спалили чотириста тисяч?

— Я думаю, що один спалений хлопець справляє більше враження, ніж чотириста тисяч, а чотириста тисяч — більше, ніж шість мільйонів. Отже, ви точно не знали, про що йшлося...

— Він думав, що має підійти якесь підкріплення, а ми йому пояснювали: «Заспокойся, там мертва зона, ми там не пройдемо».

Знаєш що?

Я думаю, що в глибині душі, він все ж таки вірив у якусь перемогу.

Ясно, що ніколи до того він про це не говорив. Навпаки. «Ми йдемо на смерть, — вигукував він, — відступати пізно, ми загинемо в ім'я честі, для історії...» — щось подібне і говорять в таких випадках. Але сьогодні я думаю, що він весь час підтримував себе якоюсь дитячою надією.

У нього була дівчина. Така світла, тепла дівчина. Її звали Міра.

Сьомого травня він разом з нею був у нас, на Францисканській.

А восьмого, на Милій, він застрелив спершу її, а потім себе. Юрек Вільнер закричав: «Загинемо разом», Лютек Ротблат застрелив свою маму і сестру, потім уже всі почали стріляти. Коли ми туди продерлися, то знайшли лише кількох живих. А вісімдесят осіб покінчили життя самогубством. «Саме так і мало бути», — сказали нам потім. «Загинув народ,

загинули його солдати. Символічна смерть». Тобі деякі символи теж подобаються, чи не так?

Була там з ними дівчина, Рут. Сім разів стріляла вона у себе, аж поки влучила, як треба. Сильна, красива дівчина, з персиковою шкірою. Але вона нам шість набоїв змарнувала.

На тому місці є сквер. Пагорб, камінь, напис... Як погода гарна, туди приходять матусі з дітьми або надвечір хлопці з дівчатами — це, власне, суцільна братська могила, бо кісток ми ніколи звідти не вибирали.

— У тебе було сорок солдатів. Вам ніколи не спадало на думку зробити так само?

— Ніколи. Цього не треба було робити. Незважаючи на те, що це дуже гарний символ. Життям не можна жертвувати заради символів. Я ніколи не мав сумнівів щодо цього. В будь-якому разі, упродовж двадцяти днів. Навіть сам давав в писк, коли хтось починав впадати в істеріку. Взагалі я багато чого міг тоді зробити. Міг втратити в бою п'ятьох людей і не відчувати після цього докорів сумління. Міг лягти спати, коли німці довбали дірки, аби висадити нас в повітря — просто я знав тоді, що тут нічого не вдієш і робити нічого. Тільки як вони пішли на обід о дванадцятій — ми швидко зробили все, що треба, аби прорватися. (Я не нервував, певно, тому, що нічого такого не могло статися. Нічого більшого за смерть, весь час йшлося про смерть, ніколи не йшлося про життя. Можливо, там взагалі не було ніякої драми. Драма настає тоді, коли можеш прийняти якесь рішення, коли щось залежить від тебе, а там все згори судилося. Зараз, в лікарні, йдеться про життя — і кожного разу я мушу приймати рішення. Зараз я хвилююся значно більше).

І ще дещо зумів. Сказати хлопцеві, який просив мене дати адресу в арійській частині: «Ще не час. Ще надто рано». Звали його Стаськом... Бачиш, не пам'ятаю прізвища. «Марек, — сказав він, — все ж таки є ТАМ якесь місце, куди ми могли б піти...» Я мав йому сказати, що такого місця не існує? Але я сказав: «Ще надто рано...»

— Чи було щось видно з-за муру на арійському боці?

— Так. Мур сягав лише другого поверху. А вже з третього було видно ТУ вулицю. Ми бачили каруселі, людей, чули музику, і страшенно боялися, що ця музика заглушить нас, і ці люди нічого не помітять, що взагалі ніхто у світі не помітить — і нічого, жодна звістка про нас ніколи туди не прорветься.

Але з Лондона передали, що Сікорський посмертно нагородив орденom «Віртуті Мілітарі» Міхала Клепфіша. Того самого хлопця, який на нашому горіщі закрив собою кулемета, аби ми могли пробитися.

Інженер. Десь двадцяти двох років. Хлопець виняткової вдачі.

Завдяки йому ми відбили атаку. І одразу після того прийшли ті троє, з білою хустинкою. Парламентери.

Я стояв тут. Точно на цьому місці, тільки ворота тоді були дерев'яні. Бетонний стовпчик був той самий, барак, і може, навіть ті ж тополі.

Чекай-но, а чому власне я стояв завжди з цього боку?

Ага, бо з того боку йшов натовп. Певно я боявся, щоб мене не схопили.

Я був тоді посильним в лікарні, і це була моя робота: стояти біля брами на Умшлагпляці і виводити хворих. Наші люди виловлювали в натовпі тих, кого треба було врятувати, а я їх як хворих виводив.

Я був суворим. Одна жінка благала, аби я вивів її чотирнадцятирічну доньку, але я міг вивести тільки одну особу, тож я взяв Зосю, яка була нашою найкращою зв'язковою. Чотири рази виводив, і кожного разу її забирали знову.

Якось поруч зі мною проганяли людей, які не мали номерків життя. Німці роздали ті номерки, і тим, хто їх отримав, обіцяли зберегти життя. Ціле гетто мало тоді єдину мету: здобути такого номерка. Але пізніше прийшли й по тих, хто номерки мав.

Із залізниці оголосили, що право на життя мають робітники фабрик. Там ще були потрібні машинки для шиття. Тоді людям здавалося, що ці машинки врятують їм життя, і платили за них будь-які гроші. Але потім прийшли й по тих з машинками.

Нарешті оголосили, що дають хліб. Усім, хто зголоситься на роботи, по три кіло хліба і мармелад.

Слухай, дитино моя. Чи ти знаєш, чим був хліб у гетто? Бо якщо не знаєш, то ніколи не зрозумієш, чому тисячі людей могли добровільно прийти і з тим хлібом їхати до Треблінки. Ніхто цього досі так і не зрозумів.

Ось тут роздавали, на цьому місці. Довгенькі, рум'яні буханці білого хліба.

І знаєш що?

Люди йшли, рядами, четвірками, спочатку за хлібом, а потім до вагону. Охочих було стільки, що мусили в черзі стояти, два транспорти треба було щоденно відправляти до Треблінки — і ще не могли вмістити всіх, хто зголосився.

Так, ми — знали.

Ми послали в сорок другому році колегу, Зигмунта, щоб він зорієнтувався, що відбувається з транспортами. Він поїхав із залізничниками з Гданського вокзалу. Йому в Соколові сказали, що лінія роздвоюється, одна — бічна — йде до Треблінки, щодня нею проходить товарний поїзд, набитий людьми, а повертається порожній, ніякого продовольства не довозиться.

Зигмунт повернувся до гетто, ми про все написали у нашій газетці — і люди нам не повірили. «Ви що? Збожеволіли?» — говорили вони, коли ми намагалися їх переконати, що їх не на роботу везуть. «Хіба посилали б нас на смерть з хлібом? Хіба змарнували б стільки хліба?»

Акція тривала з двадцять другого липня до восьмого вересня 1942 року. Шість тижнів. І шість тижнів я стояв біля брами. Ось тут, на цьому місці. Чотириста тисяч людей я проводжав на цей пляц. І бачив той самий бетонний стовпчик, який ти зараз бачиш.

Он у тій спеціальній школі містилася лікарня. Її ліквідували восьмого вересня, в останній день акції. Нагорі було кілька палат з дітьми, коли німці увійшли на перший поверх, лікарка встигла дати дітям отруту.

Ну, як ти нічого не розумієш. Вона ж врятувала їх від газової камери, це було надзвичайно, люди вважали її героїнею.

В лікарні хворі лежали на підлозі, чекаючи поки їх вкинуть до вагона, а медсестри відшукували в натовпі своїх батьків та матерів, і давали їм отруту. Цю отруту вони зберігали лише для своїх близьких, а вона — ота лікарка — свій ціанід віддала чужим дітям!

Тільки одна людина могла голосно сказати правду: Черніков. Йому б повірили. Але він кінчив життя самогубством.

Це було неправильно: потрібно було умерти з феєрверком. Тоді феєрверк був дуже потрібний — потрібно було умерти, попередньо закликавши людей до боротьби. Саме за це ми маємо до нього претензії.

— «Ми»?

— Я і мої друзі. Ті, вже неживі. За те, що він зробив свою смерть власною, приватною справою.

Ми знали, що треба вмирати публічно, на очах у всіх.

У нас були різні думки з цього приводу. Давид казав, щоб ми кинулися на стіни — всі, скільки нас залишилося в гетто, пробилися на арійську територію, сіли на валах Цитаделі, рядами, один над іншим, і чекали, аж поки гестапівці оточать нас кулеметами і розстріляють по черзі, ряд за рядом.

Естер хотіла підпалити гетто, аби ми всі згоріли разом із ним. «Хай вітер розвіє наш попіл», — сказала вона, але тоді це не звучало патетично, це було по-діловому.

Більшість була за повстання. Все ж таки люди домовилися, що смерть зі зброєю в руках має кращий вигляд, ніж смерть без зброї. Отже, ми підкорилися саме цій умові. Нас тоді було в ЖОБі (єврейській бойовій організації) лише двісті двадцять осіб. Чи можна взагалі це називати повстанням? Йшлося просто про те, щоб не дати себе забрати, коли за нами прийдуть із залізниці.

Йшлося лише про вибір, якою смертю вмерти.

Цим інтерв'ю, перекладеним на різні мови, люди були обурені до глибини душі, і пан С., літератор, пише йому з США, що мав взяти його під свій захист. Він написав три довгі статті, аби приборкати обурення. А назва була така: «Свідчення останнього командира варшавського гетто».

Люди надсилали листи до газет — писали французькою, англійською, єврейською, іншими європейськими мовами — що так він все згانبив через самолюбство, але найбільше писали про рибу. Про ту рибу, якій Анелевич малював червоні зябра, щоб його матір могла продати на Сольці вчорашній товар.

Анелевич — син гендлярки, малює червоним риб'ячі зябра. Цього ще тільки не вистачало. Так, цьому літераторові випало нелегке завдання, а тут ще один німець із Штутгарта написав йому милого листа.

«*Sehr geehrter Herr Doktor*, — писав німець, який, до речі, під час війни перебував у варшавському гетто як солдат Вермахту, — я бачив там тіла людей на вулицях, багато тіл, прикритих папером, пам'ятаю — це було жакливо, ми обоє стали жертвами цієї жакливої війни, чи не міг би пан написати мені кілька слів?»

Ясна річ, він написав: йому дуже приємно, і він дуже розуміє почуття молодого німецького солдата, який вперше бачить людські тіла, прикриті папером.

Історія з літератором, паном С., нагадала йому подорож до США шістдесят третього року. Його тоді привезли на зустріч з керівниками профспілок. Стояв стіл, сиділо з два десятки панів. Зосереджені, схвильовані обличчя: керівники спілок, які в період війни давали гроші на зброю для гетто.

Головуючий привітав його, і розпочалася дискусія. Про пам'ять. Що це таке — людська пам'ять, і чи треба ставити пам'ятники, чи, може, краще зводити будинки — такі собі якісь літературні дилеми. Він дуже за собою стежив, щоб не бовкнути чогось недоречного, чогось на зразок: «А яке це зараз має значення?» Він не мав права завдавати їм такої прикrostі. Обережно, він повторював собі, бережися, у них уже сльози на очах. Вони давали гроші на зброю і до президента Рузвельта ходили, щоб його запитати, а чи то правда, що розказують всі ті історії в гетто, — тож мушиш бути до них добрим.

(Це відбулося, певно, після одного з перших рапортів «Вацлава», відразу після того, як Тося Голіборська викупила його з гестапо за свій перський килим, рапорт було привезено кур'єром в зубі під пломбою, як мікрофільм, і через Лондон він потрапив до США, але їм настільки важко було повірити у ці тисячі, перероблені на мило, і в ці тисячі, вигнані на Умшлагпляц, що вони пішли до свого президента запитати, чи можна серйозно сприймати подібні речі).

Отже, він був з ними дуже лагідним, дозволяв їм хвилюватися і говорити про пам'ять, а зараз він їх так боляче образив: «Чи можна називати це повстанням?»

Повертаючись до риби. У французькому перекладі у тижневику *L'Express*, це була не риба, а всього лише *du poisson*, а матір Анелевича,

еврейська гендлярка з Сольця, купувала *un petit pot du peinture rouge*. То хіба можна взагалі ставитись до цього серйозно? Чи Анелевич, що наклала *peinture rouge* на зябра (*les ouies*), це все той самий Анелевич?

Пригадується спроба розповісти англійським кузинам про бабцю, яка помирала від голоду під час повстання. Перед смертю побожна бабуся просила чогось попоїсти. Важко, нехай їжа не буде кошерною, казала вона, нехай це буде навіть свиняча котлета.

Але англійським кузинам про це треба було розповісти англійською, і виходить, що бабуся просила не котлету, а тільки *pork-chop*, і відразу ж після цього вона перестала бути тією бабцею, яка вмирала від голоду. На щастя, бо про неї вже можна було розповідати без істерики, спокійно, так, як розповідають у колі культурних людей різні дотепні випадки.

А вони, бач, вперлися і не вірять, що це був справжній Анелевич, отой з *peinture rouge*. Щось таки має в цьому бути, якщо стільки людей не вірять. І пишуть, що подібних речей не можна розповідати про командира.

— Слухай, — каже він, — тепер нам слід бути обережними. Будемо старанно добирати слова.

Саме так.

Будемо старанно добирати слова і постараємося нічим не зранити людей.

Якось телефонує американський літератор, пан С. Він якраз у Варшаві. Бачився з Антеком та Целіною, і хоче про це розказати особисто.

Це вже серйозна справа. Можна не звертати уваги на те, що говорять всі по всьому світі, але до думок двох людей не можна ставитися легко-важно, а цими людьми є Целіна та Антек. Заступник Анелевича, представник ЖОБу на арійському боці, який вийшов з гетто якраз напередодні повстання, і Целіна, яка була з ними в гетто увесь час, з першого дня до виходу через канали.

Досі Антек мовчав. А тепер приїжджає пан С. і каже, що бачився з ним тиждень тому.

Мені здавалося, що Едельман трохи нервує перед зустріччю. Як виявилось — зовсім ні. Пан С. каже, що Антек запевняє його в своїй дружбі та повазі, і схвалює інтерв'ю, крім деяких подробиць.

— Крім яких подробиць? — запитую я пана С.

— Наприклад, Антек говорить, що участь у повстанні брало не двісті осіб. Їх було більше, п'ятсот, або навіть шістсот.

(— Антек стверджує, що вас було шістсот. Може виправимо ці цифри?)

— Ні, — відказує він. — Нас було двісті двадцять.

— Але Антек хоче, пан С. хоче, всі дуже хочуть, щоб вас було хоч трохи більше... Виправимо?

— Та ж це не має значення, — каже він люто.

— Чи ви всі дійсно не можете зрозуміти, що це вже не має значення?!).

Ага, і ще щось. Ну ясно: риба.

Це не Анелевич підмальовував зябра, а тільки його матір. «Хай пані це собі занотує, — говорить пан С., літератор, — бо це дуже важливо».

Повертаюся до теми обережного добирання слів.

Через три дні після виходу з гетто прийшов Целеменський і відвів його до представників політичних партій, що хотіли вислухати доповідь про повстання. Він був єдиним живим членом повстанського штабу і заступником командувача, тож він і склав рапорт: «За ці двадцять днів, — сказав він, — можна було убити більше німців і більше своїх зберегти. Проте, — говорив він, — ми не були навчені належним чином і не вміли вести бойові дії. Крім того, — вів він далі, — німці теж зуміли битися добре».

А представники політичних партій дивилися перед собою, зберігаючи глибоке мовчання, і врешті один з них проказав: «Його треба зрозуміти, це ненормальна людина. Це якийсь уламок людини».

Сказав так, оскільки виявилось, що він говорив не так, як треба говорити.

— А як треба?

Треба говорити із ненавистю, із пафосом, вигукуючи слова, бо немає інших способів вираження всього того — тільки крик.

А він не міг говорити промов, бо не вмів кричати. І на героя не був схожим, бо не було в ньому пафосу.

Коротше кажучи, вийшла цілковита невдача.

Єдиний, хто все пережив, не був схожим на героя.

Зрозумівши це, він тактовно замовк. І мовчав досить довго, тридцять років. А коли нарешті він заговорив знову, то відразу стало ясно, що було б ліпше, якби свого мовчання він не переривав і пізніше.

На зустріч з представниками партій він їхав трамваєм, вперше після виходу з гетто він їхав трамваєм, і сталася з ним дивна річ. Йому захотілося не мати обличчя. І зовсім не тому, що хтось зверне на нього увагу і видасть. Просто він відчув, що має мерзенне, чорне обличчя. Обличчя з плакату ЖИДИ — ВОШІ — ВИСИПНИЙ ТИФ. А тут, навколо, всі стоять і мають ясні обличчя. Красиві, спокійні; люди можуть бути спокійними, бо відчувають і світлість свою, і вроду.

Він вийшов на Жолібожі. Біля будиночків вулиця була порожньою, і тільки якась літня жінка поливала квіти в маленькому садочку. Вона подивилась на нього з-за огорожі, а він намагався так іти, щоб його майже не було, щоб якомога менше місця займати на цій сонячній вулиці.

Сьогодні по телебаченню показували Кристину Крахельську. У неї було світле волосся. Вона позувала для пам'ятника Сирени, писала вірші, співала балади і загинула під час варшавського повстання серед соняшників.

Якась пані розповідала, що Кристина бігла через сад і була такою високою, що не могла, навіть зігнувшись, приховатися в цих соняшниках.

Це сталося теплою серпневого дня. Вона заколола своє довге світле волосся на потилиці. Далі написала «Гей, хлопці, багнети до бою», перев'язала пораненого та й побігла в сонячному сьайві.

Яке прекрасне життя, і яка прекрасна смерть. Дійсно, естетична смерть. Тільки так потрібно вмирати. Але так живуть і вмирають красиві та світлі люди. Чорні та бридкі живуть і вмирають неефектно: серед страху і темряви.

(А у тієї пані, що розкаже про Крахельську, здається, можна було б переховуватися. Вона не користується косметикою, не ходить до перукаря — можливо, цього просто не видно в телевізорі — у неї широкі стегна, і по горах вона ходить, перев'язуючи себе в талії светром.

Її чоловік навіть і не знав би, що вона когось переховує. Тільки треба було б пильнувати і не займати туалету між третьою годиною тридцять хвилин та четвертою. У чоловіка дуже відрегульований шлунок, і він користується вбиральнею відразу після повернення з роботи, ще до обіду).

Чорні та бридкі лежать собі, слабкі від голоду, на вологих простирадлах і чекають, аж поки хтось принесе їм вівса на воді або щось зі смітника. І все у них там сіре — обличчя, волосся, постіль. Вони економно палять карбідну лампу. Їхні діти вривають з рук перехожих кошки, з надією на те, що там хліб, і все відразу намагаються пожерти. У лікарні пухлим від голоду дітям дають по половинці яйця в порошок та по м'ятній пігулці на день — це вже ділять лікарі, оскільки не можна наражати на ризик муки розподілу санітарку, яка теж пухне від голоду. (Тільки білий персонал лікарні має продовольчий пайок: по півлітра супу та по шістдесят грамів хліба на особу. На спеціальних зборах прийняли постанову відмовитися від двохсот грамів супу та двадцяти грамів хліба, аби поділити це між опалювачами та санітарками. Таким чином всі мали однаково: по триста грамів супу та по сорок грамів хліба на особу). На Крохмальній, 18 тридцятирічна жінка, Ривка Урман, з'їла шматок своєї дитини, Берка Урмана, який помер напередодні від голоду. Люди стояли навколо неї на подвір'ї у цілковитому мовчанні. У неї було сіре, скуйовджене волосся, сіре обличчя та божевільні очі. Приїхала поліція і склала протокол. На Крохмальній, 14 знайдено на вулиці рештки дитини у стані розкладу, викинуті матір'ю, Худесою Боренштайн, квартири № 67. Мошко, так звали дитину. (Візок товариства «Вічність» забрав ті рештки, а Боренштайн Худеса зізналася, що викинула мертву дитину, бо Гміна не хоче ховати безкоштовно, врешті, вона теж скоро помре). Люди ходять до лазні, аби позбутися вошей. Перед лазнею, на Спокійній, люди чекали на вулиці день і ніч, а коли вранці привезли суп лише для дітей, треба було викликати поліцію, щоб відігнати натовп, який вривав їжу з дитячих рук.

Смерть від голоду була такою ж неестетичною, як життя. *«Дехто занає на вулиці з куснем хліба в роті або під час фізичного зусилля, наприклад під час біганини за хлібом».*

Це уривок з наукової праці.

Лікарі в гетто вивчали голод, оскільки механізм голодної смерті був тоді для медицини незрозумілим і треба було скористатися наданою можливістю. Можливість була виняткова. *«Ще ніколи, — писали вчені, — медицина не мала в своєму розпорядженні такого багатющого матеріалу для вивчення».*

Для лікарів це і сьогодні є цікавою проблемою.

— Наприклад, — говорить доктор Едельман, — проблема порушення в людському організмі рівноваги між водою та білком. Чи пишуть вони там щось про електроліти? — запитує він. — Разом з водою до сполучної тканини входить карбонат калію та сіль. З'ясує, чи натрапили вони на троп ролі білка.

Ні, про електроліти вони нічого не пишуть. Лише з розчаруванням констатують, що їм не вдалося з'ясувати такого цікавого для медиків механізму виникнення набряків під час голодної хвороби.

Може, вони і натрапили б на троп ролі білка, якби не мусили раптово перервати свої дослідження, але все ж таки перервали їх, про що і пишуть, виправдовуючись, у вступній частині. Вони не могли продовжувати вивчення *«через те, що підлягала знищенню наукова сировина — людський матеріал».* Почалася ліквідація гетто.

Відразу ж після знищення сировини загинули і дослідники.

В живих залишився лише один з них: доктор Теодозія Голіборська. Вона вивчала зміни обміну речовин у голодних людей.

Зараз Голіборська пише мені з Австралії, що з літератури знала: обмін речовин у стані голоду є зниженим, але ніколи не думала, що настільки сильно, і пов'язує це з меншою частотою дихання, а також з меншою його глибиною, як і з невеликою кількістю кисню, уживаного організмом в голодному стані.

(Я запитаю доктора Голіборську, чи придалися їй пізніше ці дослідження як лікарю. Вона пише, що ні, бо всі люди, яких вона лікувала в Австралії, були ситими, навіть перегодованими).

А ось деякі результати досліджень, наведені в праці *«Голодна хвороба. Клінічні дослідження голоду, виконані у варшавському гетто 1942 року».*

Ми розрізняємо три ступені схуднення: I ступінь, коли має місце втрата надмірного жиру. При цьому людина видається молодшою, ніж звичайно. *«З подібним явищем ми зустрічалися у передвоєнний час після повернення пацієнтів з Карлсбада, Віші тощо».* До другого ступеня схуднення належать майже всі випадки, які ми спостерігали. Виняток становлять випадки III ступеня у формі голодного виснаження, що найчастіше є передсмертним станом.

Перейдемо до опису змін в окремих системах та органах.

Вага в середньому становила 30-40 кілограмів, що на 25% нижче від ваги передвоєнного часу. Найнижча вага становила 24 кілограми, вона спостерігалася у тридцятирічної жінки.

Шкіра була блідою, часто блідо-синьою.

Нігті, зокрема на руках, відшаровувалися...

(Можливо, ми надто довго розповідаємо про такі випадки, але ми робимо це тільки тому, що необхідно зрозуміти, яка різниця між красивим життям та життям неестетичним, між прекрасною та неестетичною смертю. Це важливо. Все, що відбувалося пізніше — що відбулося дев'ятнадцятого квітня 1943 року — було тугою за красивою смертю).

Передовсім набряки констатувалися на обличчі навколо повік, на ступнях, у деякого спостерігалось набрякання усіх шкірних оболонок. При натисканні з підшкірної тканини легко виходила рідина. Вже восени констатувалася схильність до відмерзання пальців рук та ніг.

Обличчя були позбавлені виразу і нагадували маски.

На всьому тілі виступав пушок, особливо це спостерігалось у жінок, на обличчі на зразок вусів та бакенбардів, часом спостерігалось оволошіння повік. Крім того, з'являлися довгі вії...

Для психічного стану було характерне збіднення думок.

З активних та енергійних люди перетворювалися на апатичних та в'ялих. Майже завжди вони були сонними. Про голод не пам'ятали, не уявляли, що він існує, однак, побачивши хліб, солодощі або м'ясо, робилися агресивними, жадібно все пожирали, незважаючи на те, що наражали себе на побиття, від якого не могли врятуватися бодай втечею.

Перехід від життя до смерті був повільним, часто цей перехід відбувався непомітно. Смерть була подібною до фізіологічної смерті від старості.

Секційний матеріал. (Враховується секція в числі 3282).

Забарвлення шкіри у осіб, померлих від голоду: бліда або трупно-бліда у 82,5 % випадках, темна або коричнева у 17 %.

Набряки виявлялися у третини всіх, хто досліджувався в секції, найчастіше на нижніх кінцівках. Тулуби та верхні кінцівки набрякали рідше. Набряки спостерігалися здебільшого у осіб з блідою шкірою. Можна дійти висновку, що бліда шкіра схильна до набрякань, а темна — до сухих форм виснаження.

Витяги із секційного протоколу (L. prot. seks. 8613):

«Жінка шістнадцяти років. Клінічний діагноз: Іnaniitio per magna. Вгодованість д.низька. Мозок 1300 г, дуже м'який, набряклий. У черевній порожнині містилося близько 2 літрів жовтої прозорої рідини. Серце — менше, ніж кулак померлої».

Частота завмирання органів.

Як правило, завмирання проходило таким чином: серце, печінка, нирки і селезінка.

Затухання серця спостерігалось у 83 процентах випадків, печінки — у 87 процентах, селезінки та нирок — у 82 процентах. Відмиранню піддавалися також кістки, які робились губчастими та розм'якшувалися.

Найбільше зменшувалася печінка — від приблизно двох кілограмів у здорової людини до п'ятдесяти чотирьох грамів.

Найнижча вага серця становила сто десять грамів.

Мозок найчастіше не зменшувався і його вага становила близько тисячі трьохсот грамів.

В той самий час Професор був хірургом у місті Радомі, в лікарні св.Казімежа. (Професор — високий, вишуканий чоловік із сивиною. У нього красиві руки. Він любить музику і сам охоче грає на скрипці. Він знає багато мов. Його прадід був офіцером армії Наполеона, а дід повстанцем).

До цієї лікарні кожного дня привозили якихось пораних партизанів.

Партизани були переважно пораниеними в живіт — пораниених у голову було довести до лікарні. Він проводив більшість операцій на шлунку, селезінці та сечовому міхурі і товстій кишці. Впродовж одного дня він встигав прооперувати тридцять-сорок животів.

Влітку сорок четвертого року почали прибувати грудні клітини, оскільки розпочалися бої на плацдармі у Варці. Багато привозили огрудь, розірваних шрапнеллю, або уламком гранати, або шматком фрамуги, що вдарилася в груди через вибухову хвилю. З грудей вилазили легені та серця, тож треба було їх якось зашити та запхнути назад, на місце.

А коли січневий наступ рушив на захід — почали надходити поранені голови: армія мала транспорт, і поранених привозили вчасно.

— Хірург повинен весь час розробляти пальці, — проказує Професор. — Як піаніст. А у мене була тоді багата практика.

Війна є досконалою школою для молодого хірурга: Професор, завдяки партизанам, набрався величезного досвіду в операціях на черевній порожнині, завдяки фронтові — в операціях на черепі, але найважливішим виявився отой плацдарм Варка.

Під час боїв у Варці Професор уперше побачив, як б'ється відкрите серце.

Перед війною ніхто не бачив, як б'ється серце, навіть у тварин, але навіть коли б хтось мучив тварин, то це навряд чи скоро б стало в пригоді медицині. Тільки сорок сьомого року вперше у Польщі хірурги відкрили огруддя. Це зробив професор Крафорд, який спеціально прибув для цього із Стокгольму, але він не відкрив навіть осердя. Всі в захопленні дивилися на серцевий мішечок, який ритмічно рухався, ніби в ньому було заховано

маленьку, живу тваринку. І лише він один — зовсім не професор Крафорд — а він один досконало знав, який вигляд має те щось, що неспокійно тіпається в тому мішечку. Бо тільки він, а не шведський гість у сьайві світової слави, витягав з мужичих сердець шматки ганчір'я, куль та віконних фрамуг, завдяки чому, зрештою, через п'ять років, а саме двадцятого червня п'ятдесят другого року, він зумів відкрити серце Геновефи Квапіш та прооперувати їй мітральний клапан.

Існує близький та логічний зв'язок між серцями з-під Варки та всіма іншими серцями, які він оперував потім, натрапляючи то на серце пана Рудного, майстра в області важкого машинобудування, то на серце пані Бубнерової (чий блаженної пам'яті чоловік на громадських засадах виявляв інтерес до Мойсеевої віри, завдяки чому вона була абсолютно спокійною перед операцією, і навіть заспокоювала лікарів: «Прошу вас не переживати, — говорила вона їм, — мій чоловік має дуже добрі стосунки із Господом Богом, то він там все напевно вже влаштує як треба»), то на серце пана Жевуського, президента Автомобільного клубу, і ще на багато-багато інших сердець.

Рудному було пересаджено до серця вену з його власної ноги, аби дати ширшу дорогу для крові, тоді, коли починався інфаркт. Жевуському пересаджено вену тоді, коли інфаркт уже якийсь час тривав. У серці пані Бубнерової було змінено напрямок руху крові...

Чи відчуває пан Професор страх перед такою операцією?

О, так. Він дуже боїться. Він відчуває страх отут, ось, тут, посередині.

І кожного разу він має надію, що йому в останню хвилину щось стане на заваді: лікарі заборонять, пацієнт передумає, а може він сам втече з кабінету...

А чого ж боїться пан Професор? Господа Бога?

О, так, Господа Бога дуже боїться, але не це найстрашніше.

Може, він боїться того, що пацієнт помре?

І цього теж, але він знає — всі знають — що без операції пацієнт все одно помре.

То чого ж, врешті, він боїться?

Він боїться, що колеги скажуть: **ВІН ЕКСПЕРИМЕНТУЄ НА ЛЮДИНІ**. А це найстрашніше звинувачення з тих, які можуть впасти на нього.

Лікарі мають свій професійний контроль, і Професор розповідає, що яюсь один хірург збив своєю машиною дитину, тут же забрав її до авта, відвіз до лікарні, поклав у своєму відділенні та вилікував. Хлопчик здоровий, мати не має жодних претензій. Проте професійний контроль визнає, що лікування дитини у власному відділенні суперечило етиці, і виніс йому догану. Він не міг працювати, і незабаром помер від серцевого нападу.

Професор довго розповідає про цього лікаря, власне кажучи, без усякого зв'язку. Оскільки я запитала, чого він боїться.

Етика дуже ускладнює життя кардіохірурга.

Наприклад: якби він не прооперував президента автомобілістів Жевуського, то Жевуський помер би. Не сталося би нічого особливого: стільки людей помирає від інфаркту... Кожний зрозумів би це без зайвих пояснень.

Однак, якби Жевуський помер після операції — о, це вже зовсім інша справа. Хтось міг би зауважити, що ніхто в світі таких операцій не робить. А хтось інший запитав би, чи не ставиться професор до своїх обов'язків надто легковажно, і це вже могло б пролунати як узагальнення...

Отже, тепер нам буде значно легше зрозуміти все, про що думає Професор, коли сидить перед операцією у своєму кабінеті, а в операційній навколо Жевуського починає метушитися анестезіолог.

Професор вже довго сидить у цьому кабінеті, хоча, правду кажучи, точно невідомо, чи мова йде про Жевуського. В операційній так само можуть метушитися навколо Рудного або пані Бубнерової, однак треба зізнатися, що перед Жевуським Професор нервував найбільше.

Оскільки Професор дуже не любить операцій на серцях інтелігентів. Такий інтелігент надто багато думає перед цим, має надто багату уяву, весь час ставить собі та іншим якісь запитання, а це потім погано відбивається на пульсі, тиску, і на всьому перебігу операції. А, скажімо, людина на зразок Рудного з більшою довірою віддає себе в руки хірурга, не ставить зайвих запитань, і тому оперувати таких значно легше.

Отож, нехай це вже буде Жевуський, і нехай вже Професор сидить у своєму кабінеті перед операцією, яку він має робити на інтелігентському серці в стані гострого інфаркту, коли хворого привезли за дві години перед цим з варшавської клініки реанімаційною машиною.

Професор сидить сам.

Десь поруч, за дверима, сидить на стільці доктор Едельман і палить сигарету.

То в чому ж річ ?

А річ у тім, що Едельман сказав, що можна оперувати Жевуського, незважаючи на інфаркт, і якби не ці його слова, то взагалі не було б про що говорити.

Не було б врешті і Рудного, якого Професор прооперував, коли інфаркт мав ось-ось розпочатися, а всі підручники з кардіохірургії стверджують, що в такому стані оперувати заборонено.

Не було б думки щодо того, аби повернути кровообіг пані Бубнеровій (а може, і самої пані Бубнерової уже б не було, проте це взагалі не стосується нашої теми).

А оскільки сцена в кабінеті Професора є просто приводом для нас, ми можемо навіть на хвилину залишити його самого на робочому місці і дізнатися, що врешті з вищезначеним кровообігом сталося.

Отож, на якійсь операції асистент мав сумнів, що затиснув Професор — артерію чи вену; трапляється часом, що судини схожі між собою. Всі

кажуть, що все в порядку, це артерія, і тільки асистент вперся: «Точно, це була вена». І після повернення додому Едельман починає задумуватися, а що було б, якби це справді була б вена. І починає собі викреслювати на папері: окислену кров, котра, як відомо ще зі школи, тече артеріями, можна було б з аорти скерувати безпосередньо до вен, які йдуть у тому ж напрямку, оскільки вени не хворіють на затиск, отже, і не призведуть до інфаркту. І ця кров тоді відтекла б...

Едельман ще не знає, яким шляхом кров відтекла б, але на другий день показує свій малюнок Професорові. Професор кидає оком на креслення: «Можна, пане Професоре, ось, прямо тут, і м'яз був би з кров'ю...», — каже Едельман. А Професор ввічливо киває у відповідь головою: «Так, — каже він, — це дуже цікаво». Бо що, крім ввічливості, можна запропонувати людині, яка стверджує, що кров до серця могла б текти не артерією, а лише венами.

Едельман повертається до своєї лікарні, а Професор ввечері повертається додому, після чого кладе того малюнка на столику поруч із ліжком. Професор завжди спить при ввічненому світлі, щоб відразу отямитися, якщо його збудять серед ночі, отож він і цього разу не гасить лампу, то коли прокинеться після чотирьох годин сну, то відразу зможе взяти в руку лашточок з малюнком Едельмана.

Важко сказати, коли саме Професор перестає роздивляти малюнок і сам починає шось собі креслити на папері (він малює хід, або місток, який пов'яже головну артерію із венами), незаперечним фактом залишається те, що якогось дня він запитує: «Ну а що ж буде із цією витраченою кров'ю, коли вена візьме на себе функції артерії?»

Едельман та Ельжбета Хентковська відповідають йому, що одна пані, Ратайчак-Пакальська, пише докторську роботу саме з анатомії серцевих вен, і з її досліджень виходить, що кров зможе текти іншими венними сполученнями, Вйосенса та Тебезюса.

Едельман та Ельжбета роблять досліди на серцях трупів — вводять до вен метиленову підсинену рідину, щоб побачити, чи тектиме. Дійсно, тече.

Але Професор каже: то що з того. Адже у вени не було тиску.

Тоді цю рідину вводять під тиском — і знову вона знаходить собі вихід.

Проте Професор знову-таки каже своє «то що з того». Адже це лише модель. А як поводитиме себе живе серце?

На це вже ніхто йому нічого відповісти не може, оскільки на живому серці ніхто подібних дослідів не робив. Аби довідатися як поводитиме себе живе серце, треба на живому серці зробити операцію.

То на чиєму живому серці Професор має зробити операцію?

Хвилиночку, ми зовсім забули про Агу, яка пішла до бібліотеки.

Ага Жуховська йде до бібліотеки, коли комусь спадає якась нова думка. Але перш, ніж піти вона каже: «Еее, от вже». Наприклад, Едельман каже: «Хто знає, чи можна оперувати апендицит в гострому стані». І Ага

каже: «Еее, от вже», йде до бібліотеки щось там почитати, приносить *American Heart Journal* і, триумфуючи, промовляє: «Тут пишуть, що це нонсенс». Після чого робиться операція на апендиксі в стадії загострення і все виходить прекрасно.

Ага каже, що коли пару разів скаже «Еее, от вже», а потім, всупереч всіляким великим авторитетам, бачить, що все ж таки має рацію, то на-самкінець людина перестає знизувати плечима. Навіть більше того, людина сама намагається забути про те, що пишуть авторитети. Почувши чергову думку, вона намагається переключитися на цей новий задум.

Але тоді ще доктор Жуховська тільки сказала «Еее, от вже», пішла до бібліотеки та принесла довідку з «Encyclopedia of Thoracic Surgery»: тридцять два роки тому американець Клод Бек робив щось схоже, але мав настільки високу смертність, що припинив хірургічні втручання...

Ну то на чієму ж живому серці робити операцію?..

Зараз має початися депресія через інфаркт передньої стінки серця з блоком правої галузки. З подібного інфаркту їм нікого не вдавалося витягти.

Люди вмирають тоді особливим чином: лежать собі спокійно, тихі, з кожною хвилиною все тихіші та все спокійніші, і все в них поволі, поступово умирає. Ноги — печінка — нирки — мозок... І ось певного дня серце зупиняється, і людина вмирає до кінця, і це відбувається так тихенько, так нечутно, що навіть на сусідньому ліжку ніхто цього не помічає.

Коли до відділення привозять людину з інфарктом передньої стінки та блокуванням правої галузки, то ясно, що ця людина має померти.

Тож якогось дня привозять жінку саме з таким інфарктом. Едельман телефонує до клініки, до Професора: «Ця жінка за два дні помре, врятувати її може лише зміна напрямку кровообігу». Але взагалі ця жінка не має такий вигляд, ніби має умерти.

За два дні жінка помирає.

Через деякий час привозять чоловіка з таким самим інфарктом. Телефонують до Професора: «Якщо пан не зробить цьому чоловікові операцію...»

За пару днів і цей хворий помирає.

Трохи пізніше знову привозять хворого. Пізніше якогось молодого хлопця, пізніше двох жінок...

Кожного разу Професор приходить. Він вже не говорить, що ці люди можуть вижити без операції. Професор дивиться, мовчить, або питає Едельмана: «Чого власне ви хочете від мене? Ви хочете, аби я зробив операцію, яка нікому ще досі не вдавалася?..» На що Едельман відповідає: «Я лише хотів сказати, пане Професоре, що ми не в змозі вилікувати цю людину, і ніхто крім вас не зможе такої операції зробити».

Так минає рік.

Помирає дванадцять чи тринадцять осіб.

За чотирнадцятим разом Професор каже: «Добре. Спробуємо». (Пацієнтка — це стара жінка, її звать пані Бубнерова).

А тепер повернімося до кабінету.

Професор, як ми пам'ятаємо, сидить один, перед ним на столі лежать кардіограми Жевуського, а сам Жевуський лежить в операційній.

За дверима, на стільці, сидить доктор Едельман і палить сигарети.

В таку хвилину найгірше те, що доктор Едельман отак собі нерухомо сидить на стільці.

Чому це так важливо?

З простої причини.

Із кабінету є тільки один вихід, а його своєю присутністю заблокував доктор Едельман.

А хіба Професор не міг би сказати: перепрошую, я на хвилинку — швидесенько пройти повз Едельмана та й піти собі геть?...

Взагалі, міг би. І вже навіть зробив так одного разу. Перед Рудним. І що ж? Сам і повернувся надвечір. А Рудний все чекав на нього в операційній, а Едельман з Хентковською та Жуховською весь час сиділи на стільцях у його приймальні.

Та й куди, дійсно, можна піти?

Додому? Його відразу знайшли б.

До когось з дітей? Знайшли б щонайпізніше назавтра.

Поїхати з міста? Можливо... Але колись треба буде повернутися — і тоді він застане їх усіх: і Жевуського, і Едельмана, і Жуховську... Щоправда, Жевуського, може, вже не застане.

Рудний, до якого тоді, надвечір, він повернувся — ще живий.

І пані Бубнерова, ота чотирнадцята, з кровообігом, теж була жива.

Так-так, ми говорили про кровообіг.

«Добре, спробуємо». Ми зупинилися на цьому. І Професор починає готуватися до операції. До операції на серці пані Бубнерової, не будемо більше плутати її з іншими. Це навіть логічно, що Професор згадує зараз саме цю операцію: він хоче себе трішки підбадьорити.

(Тоді всі теж говорили їм: «Але ж це нонсенс, але ж серце захлинеться кров'ю...»).

В операційній — тиша.

Професор пров'язує головну вену, аби зупинити кровотечу і побачити, що відбуватиметься...

(Клод Бек не перев'язував відтоку, що призводило потім до недостатності правого серця і врешті до смерті. Професор виправляє цей метод — ні, він не погоджується на слово «виправляє» — він тільки ЗМІНЮЄ метод Клода Бека).

Він чекає...

Серце працює нормально. Тоді він спеціальним ходом сполучає аорту з венами, артеріальна кров починає текти венами.

Він знову чекає.

Серце здригнулося. Ось воно смикнулося вдруге. Далі ще пару швидких стискань, і серце починає працювати поволі, рівномірно. Сині вени стають червоними від артеріальної крові і починають пульсувати, а кров відтікає — ніхто точно не знає яким саме шляхом вона це робить, але напевно знаходить собі вихід меншими стоками.

І ще кільканадцять хвилин минають у цілковитій тиші. Весь цей час серце працює без порушень...

Професор подумки закінчує ту давню операцію і з радістю знову нагадує собі, що Бубнерова залишається жити.

Про вдалу операцію Рудного голосно відгукнулася вся преса. Про зміну напрямку кровообігу Бубнерової він розповів на з'їзді кардіологів у Бад Наухаймі, і всі підвелися зі своїх місць та аплодували йому. Німецькі професори Борст і Хофмайстер навіть висловили думку, що цей метод розв'яже проблему вінцевого інфаркту, а хірурги з Піттсбурга першими у США почали робити операцію за операцією, користуючись його методом. Але, якщо операція Жевуського не вдасться, чи скаже хтось: «А от Рудний та Бубнерова живуть!»

Ні, цього ніхто не скаже. Зате всі скажуть: «Він оперував серце в стані інфаркту, отже Жевуський помер через нього».

Може виникнути враження, що Професор вже надто довго сидить у кабінеті, і що варто було б уже якось прискорити нашу оповідь.

На жаль, спроби втечі, яка дуже піднесла б привабливість усієї історії, не відбулося. То що ж залишається крім цього?

А дійсно, ще залишається Господь Бог.

Але не той, з яким набожний єврей, пан Бубнер домовився про успішній перебіг операції своєї дружини.

Це той Господь Бог, до якого молиться пан Професор у неділю, об одинадцятій годині, в товаристві дружини, трьох дітей, зятів, невістки та ще купки маленьких онуків.

О цій порі Професор міг би помолитися хоча б і у власному кабінеті — от тільки за що?

І дійсно, за що?

Щоб Жевуський в останню хвилину, уже лежачи на операційному столі, передумав і відмовився від операції? Чи щоб його дружина, яка плаче в коридорі, раптом відмовилася?

Так, за це Професор хотів би помолитися.

Та зачекайте хвилиночку. Відмовляючись від операції (і Професор це добре знає), людина сама підписала б собі смертний вирок. То що ж? Професор, таким чином, має молитися за смерть свого пацієнта?

Подібних операцій доти не робили, це правда, або робили інакше. Але ж до Бернарда і сердець ніхто не пересаджував. Хтось врешті-решт мусить зробити спробу, бо ж медицина має розвиватися. (Професор, як

бачимо, включає соціальну мотивацію). А коли можна робити спробу? Коли існує глибока впевненість, що операція має сенс. У Професора є така впевненість. Він продумав хірургічне втручання до найменших подробиць. І знання, якими він володіє, і досвід, і інтуїція — все переконує його в логіці та необхідності того, що він задумав зробити. На додаток — йому нічого втрачати. Він знає, що без операції пацієнт і так помре. (А чи точно Жевуський помре без операції?)

Викликає терапевтів.

— Чи помре Жевуський, якщо я його не прооперую? — запитує він уже всоте.

— Це другий інфаркт, пане Професоре. Другий обширний інфаркт.

— В такому разі він і операції не витримає... Навіщо його наостанок мучити?

— Пане Професоре. Його привезли з Варшави не для того, щоб він тут помер, а для того, щоб ми його врятували.

Це сказав доктор Едельман. Ясно, доктор Едельман може говорити подібні речі. В разі чого, претензії будуть не до нього.

Едельман свято переконаний, що він має рацію. Професор також переконаний у цьому. Але ж це Професор, тільки Професор своїми власними руками має довести, що Едельман таки має рацію.

— Чому, — питаю, — ти був такий переконаний в тому, що треба робити такі операції?

— Тому! Бо я бачив, що вони мають сенс і матимуть успіх.

— Слухай, — кажу, — а чи не тому ти так легко ідеш на подібні речі, що вже привчився до смерті..? Бо ти значно більше звик до неї, ніж, наприклад, Професор?

— Ні, — каже. — Сподіваюся, що не тому. Тільки тоді, коли добре знаєш смерть, відчуваєш більшу відповідальність за життя. Кожний, навіть найменший шанс життя стає дуже важливим.

(Шанс для смерті існував кожного разу. Йшлося про створення шансу для життя).

Увага. Професор вводить нову постать. Доцента Врублювну.

— Запросіть, будь ласка, доцента Врублювну, — проказує він.

Все ясно.

Доцент Врублювна — це стара, нерішуча, обережна пані, кардіолог з клініки Професора. Вона вже напевно не порадить йому нічого недоречного, жодного ризику. Професор питає: «Ну то як, пані Зофіє? Що ви мені порадите зробити?» А вона скаже: «Найкраще було б зачекати, пане Професоре, оскільки ми не знаємо, як таке серце себе поводитиме...» Тоді Професор звернеться до Едельмана: «От бачите, пане докторе. Мої кардіологи мені не дозволяють!» (Слово «мої» він вимовить із притиском, бо доцент Врублювна з його клініки, а доктор Едельман з міської лікарні. А може, і ні. Можливо, він скаже це звичайно, без жодного наго-

лосу, а слово «мої» означатиме лише те, що Професор, керівник клініки, має дослухатися порад своїх лікарів).

І от доцент Врублювна входить. Нерішуча. Вона червоніє. Опускає погляд. І тихо говорить:

— Треба оперувати, пане Професоре.

Ось тобі й маєш. Це вже через край.

— Врублювно! — кричить Професор. — І ти проти мене?!

Він удає, ніби говорить це жартома, але ним заволодає якесь дивне відчуття, що сьогодні вже не відпустить його аж до самісінького кінця.

Встаючи з-за столу, згортаючи кардіограми та прямуючи до операційної, де вже чекає на нього Жевуський, якого приспали ліками, і де ворожать хірурги в блакитних масках та операційні сестри, Професор матиме такий вигляд, ніби він абсолютно один, не зважаючи на присутність усіх цих людей.

Сам на сам із серцем, яке ворухиться в своєму мішечку, наче маленька наполохана тваринка.

Все ще ворухиться.

Все, що я написала досі, я показала людям, а вони не розуміють. Чому я не розповіла, як він врятувався? Ще невідомо, як він врятувався, а він вже чекає під дверима Професора. І все ж таки він мусить чекати, що б там не було, Професор давно вже був би вдома, встиг би якраз на середину телевізійних новин, сидів би розслаблений і абсолютно спокійний.

Він увесь час мусить чекати під цими дверима разом з Агою та Ельжбетою Хентковською. Хоча Ельжбети вже немає. Тобто — є, коли вони сидять та чекають — її немає, коли вона пише про їхнє чекання. Залишилася премія імені доктора Ельжбети Хентковської, яку вручатимуть за видатні досягнення в галузі кардіології.

Цю премію заснували з гонорарів за роботу «Інфаркт серця». Ну а в тій, іншій роботі, в розвідках про голодну хворобу, він не міг брати участі, бо в лікарні гетто він працював лише посильним. Проте в своїй праці він описав все, про що довідався про людей, хворих на серце. Теодозія Голіборська говорила мені, що в лікарні гетто здогадувалися про інші його заняття, ті, про які не можна питати, але багато від нього і не вимагали — кожного дня він відносив кров хворих на тиф до санітарно-епідеміологічної станції. А вже пізніше, потім, він міг зайняти місце біля виходу на Умшлагпляц, і щодня стояти там впродовж шести тижнів, аж поки ті чотириста тисяч людей пройдуть повз нього, простуючи до вагонів.

У фільмі «Реквієм для 500 000» видно, як вони йдуть. Видно навіть буханці хліба, які вони тримають у руках. Німецький оператор стояв у дверях вагону і звідти знімав натовп, що біг поруч, старих жінок, які спотикалися, збиваючись з ходи, матерів, які тягли дітей за руку. Вони

біжать з цим хлібом у наш бік, вони біжать у бік шведських журналістів, що приїхали шукати матеріали про гетто, біжать у бік Інгер, шведської журналістки, яка дивиться на екран своїми здивованими голубими очима, намагаючись зрозуміти, чому стільки людей біжить до вагону — і чути постріли. Яке ж це було polegшення, коли почали стріляти. Що ж це було за polegшення, коли вибухи закрили і людей, що біжать, і їхній хліб, а голос диктора повідомив про початок повстання. Що істотного могла зрозуміти для себе Інгер (*rising's broken out, April forty three*)...

Я кажу йому про це — і кажу, що це була дійсно гарна думка з їхньої стріляниною. Добре, що вибухи закрили людей — а він тоді починає кричати. Він кричить, що я напевно вважаю тих, хто біжить, гіршими за тих, хто стріляє. Це ж ясно, я точно так думаю, бо так всі думають, навіть американський професор, який нещодавно його відвідав і сказав: «Вони йшли на смерть, мов барани». Американський професор висадився колись на французький пляж, і під убивчим вогнем біг чотириста чи п'ятсот метрів, не прихилиючись та не падаючи, його було поранено, і тепер він вважає, що коли хтось перебіжить через такий пляж, то пізніше може говорити: «людина повинна бігти» або «людина повинна стріляти», — або «вони йшли на смерть мов барани». Дружина професора додала, що постріли потрібні прийдешнім поколінням. Смерть людей, які гинуть у мовчанні, є нічим, бо вони нічого не залишають після себе, а ті, що стріляють, залишають після себе легенду — їй та її американським дітям.

Він добре розумів, що професор, який має шрами після поранень, має ордени та кафедру, хоче мати у своїй історії ще й оті постріли. Він однак намагався пояснити йому різні речі. Що смерть у газовій камері не гірша за смерть в бою, і що негідною є лише та смерть, коли намагаєшся вижити за рахунок іншого, — але йому так нічого і не вдалося пояснити, бо він знову почав кричати. Якась жінка, котра була там, намагалась його виправдати: «Вибачте йому, — просила вона, ніяковіючи, — йому треба вибачити...»

— Дитино моя, — каже він, — ти мусиш нарешті зрозуміти: ці люди йшли на смерть спокійно та гідно. Це страшна річ, коли так спокійно йдеш на смерть. Це значно важче, ніж стріляти. Бо значно легше вмирати, стріляючи, і нам було вмирати значно легше, ніж людині, яка йде до вагону, а потім ще проходить тим вагоном, а потім копає собі яму, а потім зовсім роздягається... Ти вже розумієш? — питає він.

— Так, — відповідаю я. — Розумію. Адже нам значно легше дивитися на смерть, коли люди стріляють, ніж бачити людину, яка копає собі яму.

Якось на Желязній я побачив юрбу. Люди товклися на вулиці навколо діжки — звичайнісінької дерев'яної діжки, на якій стояв єврей. Він був старий, низенький і мав довгу бороду.

А поруч з ним стояли двоє німецьких офіцерів. (Двоє красивих, високих чоловіків поруч з маленьким, згорбленим євреєм). І ці німці кравецькими ножицями по шматочку обтинали євреєві його довгу бороду, сміючись при цьому до нестями.

Юрба, що оточувала їх, теж сміялася. Бо, об'єктивно кажучи, це дійсно було смішно: малесенький чоловічок стоїть на дерев'яній діжці, а його борода, чимдалі коротша, гине під кравецькими ножицями. Це нагадувало кінематографічний гег.

Ще не було ніякого гетто, а отже, в цій сцені ще не відчувалося загрози. З євреєм же нічого страшного не відбувалося: тільки те, що можна було безкарно поставити його на цю діжку. І люди вже починали розуміти, що такі речі безкарні і що це викликає сміх.

Знаєш що?

Я тоді зрозумів, що важливіше за все — не дати випхати себе на діжку. Ніколи, нікому. Розумієш?

Все, що я робив потім — я робив задля того, аби не дати себе випхати.

— Це був початок війни, і ти ще міг виїхати. Твої друзі тікали через відкритий кордон туди, де не було діжок...

— Це були інші люди. Це були прекрасні хлопці з культурних родин. Вони чудово вчилися, у них у квартирах були телефони, висіли гарні картини. Це були оригінали, а не репродукції. Я поруч з ними був нічим. Я не належав до їхнього кола. Я вчився гірше, співав погано, не вмів їздити на велосипеді, дому в мене не було, бо моя матір померла, коли я мав чотирнадцять років. (*Colitis ulcerosa*, вроджене запалення легенів). Перший пацієнт у житті, якого я лікував, якраз хворів на те саме. Але тоді вже був енткортон та пеніцилін, і він вилікувався за пару тижнів.

Про що ми говорили?

— Що друзі виїхали.

— Бачиш, перед війною я говорив євреям, що їхнє місце тут, у Польщі. Що тут буде соціалізм, і тут вони повинні залишатись. Тож коли вони залишилися і розпочалася війна, і почало відбуватися те, що відбувалося на цій війні з євреями — чи ж міг я звідси поїхати?

Після війни ці друзі стали директорами японських концернів або фізиками американських ядерних закладів, чи ж професорами університетів. Це були дуже здібні люди, я ж тобі вже казав.

— Але ж на той час, і ти вже підтягнувся. Коли ти вже став героєм. Вони б могли тебе прийняти до свого високого товариства.

— Вони пропонували мені приїхати. Але я супроводив на Умшлагпляц чотириста тисяч. Я сам, особисто. Всі вони проходили повз мене, коли я стояв там, біля брами... Слухай, перестань ставити мені ці безглузді запитання. «Чому я залишився, чому я залишився...»

— Але ж я взагалі тебе про це не питаю.

— ...

— Так?

— Що «так?»

— Говори про квіти. Врешті, все одно про що. Але, може, про квіти. Що ти одержуєш кожного року у день повстання невідомо від кого. Тридцять два букети, ще й досі.

— Тридцять один. У шістдесят восьмому році я не одержав квітів. Мені було прикро, та вже наступного року мені знову їх принесли і приносять досі. Одного разу це були мімози, в минулому році — ружі, а цього року — жонкілі, бо завжди це жовті квіти. Їх без жодного слова приносять посильний з квіткарні.

— Не знаю, чи повинні ми про це писати. Про анонімні жовті квіти... Якась дешева література. Тобі, я бачу, взагалі подобаються такі кічуваті історії. Оті проститутки, наприклад, що кожного дня давали тобі булку. Чи потрібно писати про те, що в гетто були проститутки?

— Я не знаю. Напевно, ні. В гетто повинні бути мученики та Жанни д'Арк, правда ж? Але якщо хочеш знати, то в бункері на Милій з групою Анелевича було кілька проституток і навіть один альфонс. Такий татуйований, великий, з біцепсами, він ними керував. Це були добрі, хазяйські дівчата. Ми дісталися до їхнього бункера, коли наша територія почала горіти, і там були всі — Анелевич, Целіна, Лютек, Юрек Вільнер — ми так тішилися з того, що всі ми ще разом... Оті дівчата дали нам поїсти, а в Гути були сигарети «юно». Це був один з найкращих днів у гетто.

Коли ми прийшли пізніше, коли все це з ними вже сталося, і вже не було Анелевича, ані Лютека, ані Юрека Вільнера — ми знайшли цих дівчат у сусідньому підвалі.

Наввтра ми йшли до каналів.

Всі вийшли, я був останнім, і одна дівчина запитала, чи можуть вони вийти разом з нами на арійську територію. А я відповів: «Ні».

От бачиш.

Тільки дуже тебе прошу, не питай сьогодні, чому я сказав тоді «ні».

— А чи раніше, коли ти був у гетто, ти мав можливість перейти на арійську територію?

— Я виходив на арійський бік легально, день у день. Як посильний лікарні, я носив кров до санітарно-епідеміологічної станції на Новогродській.

У мене була перепустка. В гетто було тоді заледве кілька перепусток: в лікарні на Чистому, в Гміні, а в нашій лікарні перепустка була лише у мене. Люди з Гміни були чиновниками, вони ходили до всяких там закладів і їздили в екіпажах. А я йшов із своєю пов'язкою по вулиці, серед людей, і всі люди дивилися на мене і на мою пов'язку. З цікавістю, із співчуттям, часом із насмішкою...

Так я ходив кожного дня на восьму годину впродовж десь двох років і врешті нічого поганого зі мною не сталося. Ніхто мене не затримав, не викликав поліцію, ніхто навіть не розсміявся. Вони тільки дивилися на мене...

— Я питала у тебе, чому ти не залишився на арійському боці.

— Не знаю. Сьогодні це вже невідомо: чому.

— До війни ти був ніким. То як же це сталося, що вже через три роки ти вже став членом командування ЖОБу? Ти був одним з п'яти обраних з трьохсот тисяч...

— Насправді на моєму місці мав бути не я, а... Ну, тепер все одно... Назвемо його «Адам». Він закінчив напередодні війни школу підхорунжих, брав участь у вересневій кампанії, в обороні Модліна. Всі знали його відвагу. Всі ці довгі роки він був для мене справжнім ідолом.

Одного дня ми йшли разом з ним по вулиці. Навколо був натовп людей. І раптом якісь есесівці почали стріляти.

Натовп кинувся тікати. І він теж.

Розумієш — я до того собі навіть уявити не міг, що він чогось може боятися. А він, мій ідол, тікав.

Бо він зник до того, що завжди мав зброю: у школі підхорунжих, у Варшаві, у вересні, в Модліні. Вороги були озброєні, і він був озброєний, а значить, був відважний. А коли вийшло так, що вороги стріляли, а він стріляти не міг, — то раптом став іншою людиною.

Це, власне кажучи, сталося без жодного слова, потроху: він просто перестав працювати. І коли мало відбутися перше засідання штабу, він вже був непридатний до роботи. Тож пішов я.

У нього була дівчина. Аня. Її забрали у Пав'як — пізніше вона вибралася звідти, але коли її забрали, він остаточно зламався. Прийшов до нас, сперся руками на стіл і почав говорити про те, що ми і так вже мертві і що нас виріжуть, що ми молоді і повинні тікати до лісу...

Ніхто його не переривав.

А коли він вийшов, хтось сказав: «Це все тому, що її забрали. Тепер йому немає для чого жити. Тепер йому кінець». Треба було, щоб у кожного хтось був, хтось такий, про кого можна було б піклуватися, заради кого можна було б працювати, діяти. Бездіяльність означала неминучу смерть. Треба було щось робити, кудись йти.

Та біганина і метушня не мали ніякого значення, бо і так всі гинули, але людина не чекала своєї черги бездіяльно.

Я метушився навколо Умшлягпляцу — бо, завдяки нашим людям з поліції, мав виводити з натовпу тих, хто був нам найбільш потрібний. Одного дня я витяг з того потоку хлопця та дівчину — він був з друкарні, а вона була хорошою зв'язковою. Вони обоє загинули, він — під час повстання, та перед цим встиг видрукувати одну газетку, а вона — на Умшлягпляці, та раніше все ж таки встигла оту газетку розповсюдити.

Який це мало сенс, про це ти хочеш запитати?

Ніякого. Ми не стояли завдяки цьому на діжці. От і все.

При Умшлагпляці була поліклініка. В ній працювали учні школи медсестер — це була єдина школа в гетто. Нею опікувалася Люба Блюмова, яка стежила за тим, щоб все було так, як має бути у справжній, порядній школі: сніжно-білі фартухи, накрохмалені шапочки і зразкова дисципліна. Щоб витягти людину з Умшлагпляцу, треба було довести німцям, що вона дійсно хвора. Хворих відправляли додому в медичних каретках: німці до останньої хвилини підтримували в людях переконаність в тому, що вони їдуть у цих вагонах працювати, а працювати може лише здорова людина. Тож дівчата з поліклініки ламали ноги тим людям, яких потрібно було врятувати. Впиралися ногою в дерев'яний брусок, а іншим таким самим бруском вдарили по нозі. Все це вони робили в своїх блискучих фартушках зразкових учениць.

Люди чекали своєї черги йти до вагонів у будинку школи. Їх виводили звідти по черзі — поверхами, тож з першого поверху люди перебігали на другий, з другого — на третій, а оскільки поверхів було тільки три, то на третьому поверсі їхня енергія та активність закінчувалися, бо вище втекти було неможливо. На третьому поверсі був великий гімнастичний зал. Там на підлозі лежало кількасот осіб. Ніхто не вставав, ніхто не ходив, ніхто взагалі не рухався. Люди лежали апатичні та мовчазні.

В залі була ніша. В ніші кілька власівців — може шість, а може вісім — гвалтували дівчину. Вони стояли в черзі і гвалтували її, і коли черга закінчилася, дівчина вийшла з ніші, пройшла через увесь зал, наштовхуючись на тих, хто лежав, бліда, гола, закривавлена, та й сіла в кутку. Люди все бачили і ніхто не сказав ані слова. Ніхто навіть не ворухнувся, мовчання тривало і далі.

— Ти це бачив, чи хтось тобі розповідав?

— Я бачив сам. Я стояв у кінці залу і все бачив.

— Ти стояв у кінці залу?

— Так. Я кинувся розповідав про це Ельжбеті Хентковській. Вона спитала: «А ти? Що ти тоді зробив?» «Я нічого не зробив», — відповів я їй. «Крім того, я бачу, що взагалі немає сенсу про це все з тобою говорити. Ти нічого не розумієш».

— Не знаю, чому ти так розлютився. Ельжбета реагувала так, як реагувала б кожна нормальна людина.

— Знаю. Але я також знаю, що нормальна людина повинна робити в таких ситуаціях. Коли гвалтують жінку, нормальний чоловік кидається її захищати, правда?

— Якби ти кинувся сам, вони тебе вбили б. Але якби всі ті люди піднялися з підлоги, то легко б роззброїли власівців.

— Ніхто не піднявся. Ніхто вже не був здатен піднятися. Люди здатні були тільки чекати, коли їх поженуть до вагонів. А власне, чому ми про це говоримо?

— Я не знаю. Ми говорили про те, що треба було метушитися і щось робити.

— Я метушився біля Умшлагпляцу. А ця дівчина вижила, ти знаєш? Слово честі. У неї чоловік і двоє дітей, вона дуже щаслива.

— Ти метушився біля Умшлагпляцу...

— ...і одного дня витяг з натовпу Полю Ліфшиць. А наступного дня Поля потрапила додому і побачила, що матері вже немає. Маму вже погнали на Умшлагпляц у колоні, то ж Поля побігла за колоною, гналася за натовпом від Лешна до Ставків — наречений підвіз її рикшею, щоб вона могла їх наздогнати — і вона таки встигла. В останню хвилину вона змішалася із натовпом і пішла із своєю матір'ю до вагону.

Про Корчака знають всі, правда ж? Корчак був героєм, бо пішов з дітьми добровільно на смерть.

А Поля Ліфшиць, яка пішла за своєю матір'ю? Хто знає про Полю Ліфшиць?

А вона ж могла перейти на арійський бік, бо була молодою, красивою, зовсім не схожою на єврейку, і у неї було в сто разів більше можливостей.

— Ти згадував про номерки на життя. Хто їх розподіляв?

— Було сорок тисяч номерків — білі листочки з печаткою. Німці дали їх Гміні і сказали: «Розподіляйте самі. Той, хто матиме номерка, залишиться в гетто. Всі інші підуть на Умшлагпляц».

Це сталося за два дні до кінця ліквідаційної акції у вересні. Головний лікар нашої лікарні, Анна Брауде-Хеллерова, отримала кільканадцять номерків. Вона сказала: «Я їх розподіляти не буду».

Їх міг роздати хтось з лікарів, але всі вважали, що вона дасть їх тим, кому вони дійсно потрібні.

Ти послухай: «Кому вони потрібні». Чи існує така міра, за якою можна було б вирішити, хто має право жити? Немає такої міри. Але до Хеллерової ходили делегації з проханням, щоб вона погодилася і почала розподіляти номерки.

Вона дала номерка Франі. А у Франі ще була сестра та мама. Біля Заменгофа поставили всіх, хто мав номерки, а навколо вирував натовп людей, у кого цих номерків не було. І серед них стояла мама Франі. І ця мама не хотіла від своєї дочки відходити, а Франя вже мала увійти до цих шеренг з номерками, то ж вона сказала: «Мамо, ну іди вже», і відсунула мамину руку. «Ну іди вже...»

Коротше кажучи, Франя вижила.

Пізніше вона врятувала кільканадцять осіб, одного хлопця вона вивнесла з варшавського повстання, і взагалі поводи́ла себе винятково сміливо.

Отримала номерка головна медсестра, Тененбаумова. Вона була приятелькою Беренсона, видатного адвоката, захисника у брестському процесі. У неї була дочка, Деда, якій директорка номерка не дала. Те-

ненбаумова віддала свій номерок Деді і сказала: «Потримай хвилинку, я зараз повернуся...» А сама піднялася нагору і проковтнула ампулу люміналу.

Ми знайшли її на другий день, вона ще жила.

Як ти думаєш, чи повинні ми були її рятувати?

— Що сталося з дочкою, у якої тепер вже був номерок?

— Ні, ти мені скажи, чи повинні ми були її рятувати?

— Ти знаєш, Тося Голіборська сказала мені, що її мати проковтнула отруту, «а цей кретин, мій швагер (розказувала Тося) її врятував. Чи увяляє собі пані такого кретина? Врятувати для того, щоб через кілька днів її потягли на Умшлагпляц...»

— Коли вже почалася ліквідаційна акція і з першого поверху нашої лікарні вже виганяли людей, нагорі одна жінка народила дитину. Над нею стояли лікар та медсестра. Коли дитина народилася, лікар передав її медсестрі. Вона поклала дитину на подушку, закрила її іншою подушкою, дитина хвилюк поверещала і замовкла.

Медсестрі було дев'ятнадцять років. Лікар не сказав їй нічого, ані слова — і ця дівчина сама знала, що має зробити.

Добре, що не питаєш мене зараз: «Чи жива ця дівчина?» — як ти питала мене про лікарку, що дала дітям ціанід.

Так, вона жива. Вона зараз дуже хороший педіатр.

— А що сталося з Дедою, дочкою пані Тененбаумової?

— Нічого. Вона теж загинула. Але перед цим у неї було кілька хороших місяців: вона полюбила одного хлопця, поруч з ним вона завжди була ясною та усміхненою. У неї дійсно було кілька хороших місяців.

Той француз з «L'Express» питав мене, чи люди любилися в гетто. Так от...

— Вибач. А у тебе був номерок?

— Так. Я стояв у п'ятнадцятій п'ятірці в цій колоні, де вже стояли Франя і дочка Тененбаумової, і побачив мою приятельку та її брата. Я швиденько втягнув їх до колоні, але так само робили й інші, і в колоні було вже не сорок, а сорок чотири тисячі осіб.

Тож німці порахували і останні чотири тисячі відділили і послали на Умшлагпляц. Але я був серед перших сорока тисяч.

— Отже француз питав у тебе...

— ...чи кохалися люди в гетто. Так от: бути з кимось була єдина можливість життя в гетто. Людина змикалася з іншою людиною — в ліжку, в пивниці, де завгодно, і до наступної акції вже не була самотньою.

У когось забрали матір, у когось на місці застрелили батька, у когось сестру вивезли, але якщо хтось якимось дивом втік і ще жив, то мусив притулитися до якоїсь іншої живої людини.

Люди пригорталися тоді один до одного, як ніколи раніше, як ніколи в нормальному житті. Під час останньої ліквідаційної акції вони бігли до

Гміни, шукати якогось рабина чи ще когось, хто міг би укласти між ними шлюб, і після того йшли на Умшлагпляц уже як подружжя.

Племінниця Тосі пішла зі своїм хлопцем на Пав'ю, де в першому номері мешкав рабин, він дав їм шлюб, і прямо з цієї церемонії її загребли українці, а один наставив люфу їй в живіт. Чоловік відсунув люфу і затулив їй живіт своєю рукою. Врешті, вона і так пішла на Умшлагпляц, а він з простреленою долонею втік на арійську сторону і потім загинув у варшавському повстанні.

Ось про що йшлося: аби був хтось, хто був би готовий затулити твій живіт власною рукою, якщо буде потрібно.

— Коли почалася акція, і Умшлагпляц, і все інше, чи ви — тобто ти і твої друзі — відразу зрозуміли, що це означає?

— Так. Двадцять другого липня 1942 року німці розповсюдили плакати із розпорядженням про «переселення мешканців на схід», і тієї ж самої ночі ми ще наклеїли листівки: *«Переселення — це смерть»*.

Наступного ранку почали вивозити на Умшлагпляц заарештованих в'язнів та людей похилого віку. Це тривало цілий день, оскільки треба було перевезти шість тисяч в'язнів. Люди ставали вздовж тротуарів, дивилися — і знаєш — було абсолютно тихо. В такій тиші все і відбувалося...

А потім не залишилося вже в'язнів і стариків, і вже не було жебраків, і десять тисяч осіб треба було доставляти на Умшлагпляц кожного дня. Це мала робити єврейська поліція під наглядом німців, а німці казали: буде спокій і ніхто не буде стріляти, коли щоденно до четвертої години дня ви доставлятимете до вагонів десять тисяч людей. (Бо саме о четвертій мав відходити транспорт). Тож поліцейські казали людям: «Ми мусимо доставити десять тисяч, а решта вціліє». І люди самі затримували тих, кого мали відвозити — спочатку на вулиці, потім оточували будинок, потім витягали з квартир...

На деяких поліцейських ми видали смертні вироки. На коменданта Шериньського, на Лейкіна і на кількох інших.

На другий день акції, 23 липня, зібралися представники усіх політичних угруповань і вперше говорили про збройну боротьбу. Всі уже погодились і думали, де добути зброю, але через пару годин — о другій чи о третій по полудню — хтось прийшов і сказав, що акцію перервано і що нікого вже забирати не будуть. Не всі цьому повірили, але це відразу зруйнувало атмосферу, і жодного рішення прийнято не було.

Все ж таки більшість не вірила в те, що це смерть. «Чи ж це можливо, — говорили вони, — перебити цілий народ?» І самі себе заспокоювали: «Треба доставити цих людей на плац, аби врятувати решту...»

Вечері, у перший день акції, вчинив самогубство голова Гміни Адам Черніков. Це був єдиний дощовий день. Крім цього дня — впродовж усієї акції було сонячно. Того дня, коли Чернікова не стало, сонце заходило червоним і ми думали, що назавтра буде дощ, але знову було сонячно.

— А навіщо вам потрібен був дощ?

— Та не потрібен був дощ. Я просто тобі кажу, як було.

А стосовно Чернікова, ми жалкували за ним. Ми вважали, що він не повинен був цього робити...

— Я знаю. Ми уже говорили про це.

— Правда?

А знаєш, після війни хтось мені сказав, що у Лейкіна, у того поліцає, якого ми застрелили в гетто, тоді народилася дитина, перша дитина після сімнадцяти років подружнього життя, і він думав, що своєю старанністю зможе її врятувати.

— Хочеш ще щось розказати про акцію?

— Ні. Акція закінчилася.

Я залишився жити.

Так сталося, що і у пана Рудного, і у пані Бубнерової, і у пана Вільчковського, відомого альпініста, інфаркти траплялися у п'ятницю або з п'ятниці на суботу, тож субота була для кожного з них таким днем, коли вже нічого не треба було робити. У суботу кожен з них лежав під крапельницею з ксилокаїну і думав.

Інженер Вільчковський, наприклад, думав про гори, а якщо бути більш точним, про визолочену сонцем вершину, де він розв'язує нарешті свої альпіністські линви і сідає перепочити. Це не був жоден з піків Альп, Ефіопії або навіть Гіндукушу, це була вершина в Татрах — Мінгушовецька гора чи може Жаб'ячий Монах, куди якось у вересні він проклав чудовий маршрут західною стіною.

Пан Рудний (перша пересадка власної вени до серця в гострому стані) бачив у своєму сні машини. Найсучасніші імпорتنі автомобілі, англійські або швейцарські. Всі вони рухалися, і запчастин було вдосталь.

Пані Бубнерова (зміна напрямку кровообігу) мала перед очима стрижні до авторучок. Пластикові частини робив для них інший працівник, але до фарби вона кидала їх сама, бо це була найбільш відповідальна робота. А далі вона ж таки монтувала цілі авторучки (на швейцарські наконечники, які пані Бубнерова видобувала з пакетів, вона зазвичай мала митну квитанцію), потім вона наклеювала ярлики та вкладала продукцію до коробок.

Ось про що думали пацієнти доктора Едельмана, лежачи під крапельницею з ксилокаїну.

Під крапельницею звичайно думаєш про те, що є для тебе найважливішим.

Для головного лікаря пані Брауде-Хеллерової найважливішою справою був розподіл номерків на життя. А для пана Рудного найважливіше — це запчастини до автомобілів. І якби, таким чином, Хеллерова виділила номерка панові Рудному, то це був би номерок на машини, бо саме вони

і є життям пана Рудного, так само як життям пані Бубнерової є кулькові авторучки, а життям пана Вільчковського — гірські вершини.

А щодо пана Жевуського, то він тоді ні про що не думав.

Якби пан Жевуський, подібно до пані Бубнерової або до пана Рудного, пригадував би щось таке, що було найкращим у його житті, то певно він думав би про завод, яким Жевуському доручили керувати, коли йому було двадцять вісім років, і який у нього відібрали, коли він мав сорок три роки. Він відчув би запах металу, відчув би, як хтось входить з кресленням у руках, він помітив би, що це щось таке, що дійсно можна побачити, перевірити, виміряти, і відчув би нетерпіння при появі обробленого металу, бо так сильно хотів би доторкнутися до тієї нової деталі, яку шойно бачив на кресленні...

(— Завод, — каже пан Жевуський, — був для мене тим самим, що для доктора Едельмана — гетто: найважливішою справою, яка відбулася в житті. Дією. Справжнісінькою чоловічою пристрасстю).

Про все це думав би пан Жевуський, лежачи під крапельницею, якби він взагалі про щось думав. Але — як він сам каже — у нього в голові не було жодної думки ані тоді, коли Професор ще сидів занурений у роздуми у своєму кабінеті, а навколо пана Жевуського метушився анестезіолог, ані двома годинами пізніше, коли Професор, і Едельман, і Хентковська з радістю вдивлялися у пульсуючу світлову цятку монітора. Увесь час він відчував лише одне — біль, і не було в світі нічого важливого, крім того, аби цей біль вщух бодай на хвилину.

Це було перше сходження кулуаром, розташованим посередині західних плит, і хоча, здається, вересень уже закінчився, сонце ще сильно освітлювало скелю. Потім вони бачили згори Морське Око, а за собою увесь розлогий, нагромаджений світ і Бабину Гору. Коли англійця Меллорі спитали, чому він сходить на Еверест, альпініст посміхнувся: *Because he exists*. Тому що він існує. Цей пік, що виблискував на сонці, був далеко, впродовж усієї суботи (до ксилокаїну додали ще і ультракортен) він все сходив на нього, прекрасно його бачив, але не міг наблизитися до вершини ані на міліметр, і вже розумів, що ніколи в житті не дістанеться до цього наповненого сонцем місця.

Він почав міркувати про свої шанси. Раніше у нього ще ніколи не траплялося нещасних випадків у горах, але тоді його це не потішило. Хтось міг опинитися на дорозі його долі. Адже існують, наприклад, характерники, які насилають нещастя на людей, що вирушають у гори. Перед відправленням до Ефіопії їхній характерник (тільки потім виявилось, що ним був саме він) отримав контейнер для багажу за номером восьмим і не хотів його брати, його взяв хтось інший, їх було тоді восьмеро, вирушали вони восьмого числа, і той, хто взяв собі восьмий контейнер, скотився разом з ним по тенту машини з причин досі незрозумілих.

В експедиції Диренфурта на Еверест один індус помер від виснаження, і саме характерник був останнім, хто його бачив. Втім індус йшов саме в штормовці цього характерника. Вільчковський думав тепер про власне місце, і хоча намагався мислити абсолютно об'єктивно, дійшов висновку, що його координати ні з чим таким тривожним не перетинаються. Це його дуже потішило.

Чотири барабани в англійській машині треба синхронізувати, тоді не буде напруження і товар не розірветься. А коли вже товар, що знаходиться на барабанах — стрічка до спідниць, або резинка, або ремінь — досягне своєї вологості та швидкості, і всі барабани будуть ідеально злагоджено працювати, тоді це буде чудово, бо людина знає, що панує над машиною.

Отже машини були змашені, барабани оберталися ритмічно, пан Рудний таким чином міг подумати про ділянку, яку треба було скопати, і, власне, не зашкодила б якась альтанка.

Дружина говорила йому, що, хто зна, може, вони мусили б поставити якийсь літній будиночок. Зараз всі зводять такі будиночки.

Дружина говорила йому, що досі їм таланило добути все, що вони хотіли придбати. Квартиру заставили наймоднішими світлими меблями. Відразу ж отримали талон на пральну машину. Кожного року мали пугівки до сімейного будинку відпочинку. І ніколи не було такого, щоб їй не вдавалося купити телятину без кісток. То ж напевно, якби трохи підметушитися, вони могли б мати і будиночок, — говорила дружина, яка аж до тієї хвили, коли побачила пана Рудного перед прочиненими дверима реанімаційного кабінету, гадала, що їм вдалося мати все, що дійсно є найважливішим в житті.

Авторучки можна завозити лише до «Будинку Книги». Ані кіоски, ані магазини канцтоварів не мали права брати товар. Отже, вони були залежними від книгарень. Директор книгарні міг відразу взяти і тисячу, і дві тисячі штук, а пані Бубнерова мусила робити все, щоб товар не залежувався.

Інфаркт у неї почався після того, як вона повернулася із судового засідання (її засудили на рік і ще на три роки позбавили прав), на якому врешті виявилось, що кошти було відшкодовано. Всі виробники авторучок давали директорам по шість відсотків від кожної партії товару.

В залі засідань виявилось, що не лише ті, що давали, страждають на серце. Бо ті, що були посередниками у передачі хабарів, були ще в гіршому стані. Один із посередників постійно ковтав пігулки нітрогліцерину, а пані суддя оголошувала перерву: «Хвилиночку, — говорила вона, — треба зачекати, поки нітрогліцерин розчиниться, хай пан тільки не нервує».

У найтяжчому стані були ті, що брали. Один з них уже якось переніс інфаркт, судовий лікар дозволив йому давати свідчення тільки протягом години, так що пані суддя мусила весь час дивитися на годин-

ник. Треба сказати, що пані суддя дійсно добре і з розумінням ставилася до хворих на серце — і до робітників, і до посередників, і до директорів книгарень.

Що стосується пані Бубнерової, то їй ще не потрібна була медична допомога. Інфаркт почався вдома, після засідання. У неї ще був час, лежачи на ношах, попросити сусіда, аби він приспав їй таксу найкращою ін'єкцією, яку тільки можна буде дістати.

— Пан доктор Едельман підійшов потім до мене: «Тільки операція, пані Бубнерова». Я почала плакати і кажу: «Ні». А він каже: «Треба погоджуватися, пані Бубнерова. Правда». (Оскільки випадок пані Бубнерової як раз і був інфарктом передньої стінки серця із заслоненням правої галузки — саме той випадок, від якого люди стають все тихішими і все спокійнішими, бо все в них поступово, потроху вмирає. Пані Бубнерова була тією чотирнадцятою особою, перед якою Професор вже не питає: «Чого власне ви від мене хочете». Він сказав: «Добре. Спробуємо»). Тож Едельман і сказав: «Треба погоджуватися, правда...»

— ... і я тоді подумала собі, що мій блаженій пам'яті чоловік був таким добрим, таким релігійним. «Хоч важко, Маню, але ж Бог таки є», — повторював він, і в раді Мойсеєвого товариства працював багато, і після зборів в цеху ніколи не йшов з іншими до «Малинкової», а повертався прямо додому, а коли часом я хотіла випити, він говорив: «Будь ласка, Манюсю, тільки дай мені свою торбинку, щоб ти її раптом не загубила». Тож коли така людина про щось попросить свого Господа Бога, то Господь Бог, напевно, йому не відмовить. Навіть коли я сиділа цілий місяць у Палаці Мостовських, поки чекала суду, я була спокійна: знала, що двері мають переді мною відчинитися. Бо неможливо, щоб чоловік не міг влаштувати цього для мене. І що ж ви думаєте? Не влаштував? Приїхав бухгалтер з цеху, сплатив заставу, і мене звільнили, умовно, до суду.

Зараз я йому теж сказала: «Не хвилюйтесь, — кажу, — пане докторе, самі побачите, він там все влаштує, як буде треба».

(Незабаром після цих слів Професор перев'язував головну вену в серці пані Бубнерової, аби затримати рух крові і скерувати артеріальну кров венами, і — на загальну радість — виявилось, що кров таки знайшла собі вихід...)

Перш ніж налагодити у себе роботу нових імпортованих машин, пана Рудного відправили на практику до самісінької Англії. Тоді пан Рудний помітив, що англійська контролерка відбирає менше відходів, ніж це було на їхньому підприємстві, і що там, у них, ніколи не було такого, щоб машина зупинилася через брак якоїсь деталі. Пізніше йому мріялося, щоб машини працювали, як в Англії. На жаль, людина могла розбитися вшент, але не дістати потрібних деталей, кількість неякісної продукції все ще була дуже високою, а до того ж він ніяк не міг порозумітися з молодими, самовпевненими робітниками.

Тож коли пан Рудний повернувся з лікарні після операції (це було оперативне втручання в гострому стані, коли йшлося про те, хто буде першим: інфаркт чи лікарі — лікарі чи Господь Бог — це була та операція, перед якою Професор намагався вийти з клініки і вже туди не повертатися; але повернувся, ще того ж дня, надвечір. Чесно кажучи, Едельман теж вийшов, хоча саме він наполягав на операції. Він сказав: «Піду подумаю», бо він теж читав книжки, де чорним по білому було написано, що подібних операцій робити не можна. Він повернувся за дві години. Тоді Ельжбета Хентковська кричала: «Куди всі подівалися? Хіба вони не знають, що важлива кожна хвилина?!») — тож коли пан Рудний знову з'явився на заводі, його перевели на спокійну роботу. Там не було ані імпортних машин, ані дефіцитних деталей, ані молодих амбітних співробітників. На новому місці у його розпорядженні були мастила. Що це була за робота! Оглянути машину, написати протокол — і все. Так, пан Рудний розумів, що це була відповідальна справа, оскільки якщо машину добре змастити, то вона працюватиме роками, але так, щоб відразу відчуті від цього користь — ні — цього не було.

Усі троє — пані Бубнерова, інженер Вільчковський і пан Рудний — тієї суботи мали багато часу для роздумів. І всі подумали про те, що вже ніколи не хотіли б мати нового інфаркту.

Можна вирішити для себе, і уже дійсно не буде більше інфаркту. Оскільки, обираючи спосіб життя, можна погоджуватись і на інфаркт.

Після повернення додому пані Бубнерова знищила верстат. Документацію треба зберігати впродовж п'яти років, адже у неї ще є авторучки — з кожного виду по одній. Час від часу їх можна витягати, протирати, роздивлятися — блискучі, кожна на чотири кольори, кожна відмічена в книзі і внесена в реєстр. А потім знову покласти до коробки і незалежно ходою йти на прогулянку.

Ну, а пана Рудного знову перевели на старе місце роботи, бо прийшли нові машини із Швейцарії. Він сказав собі: тільки спокійно. Коли навіть бракуватиме якоїсь деталі, я не буду ставати на голову, щоб самому зробити нову. Коли чогось не вистачатиме, зроблю формальний запит, і все буде в порядку.

Якщо він і порушить дане собі слово, то тільки ненадовго. Досить. Коли відчує біль в грудях, відразу піде до лікаря і почує: «Пане Рудний. Треба тішитися життям, а не хвилюватися з приводу машин». І він повернеться до писання замовлень та запитів.

Він приходив до лікарні тільки приватно, як гість, п'ятого червня в річницю своєї операції, і приносить три букети квітів. Один вручає Професорові, другий — доктору Едельману, а третій відвозить на Радогощ і кладе там на могилу доктора Ельжбети Хентковської.

У Лейкіна, поліція якого ви застрелили, після сімнадцяти років подружнього життя народилася дитина... Він думав, що своєю старанністю врятує її... Акція закінчилася, ти продовжував жити...

А нещодавно тобі зробила візит одна пані, дочка заступника коменданта Умшлагпляцу. Ви його теж застрелили.

Вона приїхала здалеку.

«Навіщо?» — запитав ти.

Вона відповіла, що хотіла довідатися, що було з її батьком, ти пояснив їй, що він не хотів дати нам гроші, був вирок, і мені шкода...

«Скільки? — спитала вона. — Скільки він не хотів вам дати?»

Ти не пам'ятав. «Двадцять тисяч чи десять, здається десять... Це були гроші на зброю», — пояснив їй ти.

Вона сказала, що він не хотів дати вам гроші, бо вони були потрібні для неї. Її переховували на арійському боці, на це потрібні були кошти.

Ти приглядувався до неї. «У вас сині очі... То скільки ж треба було платити за таку дитину з синіми очима? Дві, дві з половиною на місяць, хіба це було багато для вашого батька?»

«А за револьвер?» — спитала вона.

«П'ять, здається. Тоді ще п'ять».

«Отже йшлося про два револьвери. Або про чотири місяці мого життя», — розлютилася вона.

Ти запевнив її, що подібної калькуляції ти ніколи не робив, і що тобі дійсно шкода.

Вона спитала, чи ти його знав. Ти відповів, що бачив його кожного дня на Умшлагпляцу, коли він приходив на роботу. Нічого поганого він там не робив — рахував людей, яких висилали вагонами. Кожного дня висилали десять тисяч людей, і хтось мав їх полічити, і він стояв і рахував. Як кожний сумлінний службовець: приходив на роботу, починав рахувати, коли нараховував десять тисяч, закінчував роботу і повертався додому.

Вона спитала, чи дійсно в цьому не було нічого поганого.

«Ні, нічого, — відповів ти. — Він же не стусав, не бив, не знущався. Він просто говорив: «Один — два — три — сто — сто один — тисяча — дві тисячі — три тисячі — чотири тисячі — дев'ять тисяч один...» Скільки потрібно часу, аби порахувати до десяти тисяч? Десять тисяч секунд, менше трьох годин. А оскільки це були люди і їх треба було розділити, розставити і т.д., на це потрібно було більше часу. Рівно о шістнадцятій транспорт відходив, а він закінчував свою службу. Все це, врешті, не має значення, — повторив ти, — тому що не за це було винесено вирок, а тільки за гроші. Він мав визначений термін їх надання: до вісімнадцятої години. Він повернувся після роботи, двоє хлопців — тут-таки неподалік — фарбували двері, щоб наглядати за квартирою і подати сигнал. Він повернувся вчасно, вони почекали ще дві години, потім постукали, він відчинив їм двері...»

Вона запитала: «Як ви думаєте, чи дуже він боявся? Як довго все це тривало?»

Ти пригостив її сигаретою і запевнив, що він не встиг злякатися. Це була швидка, легка смерть, значно легша за смерть багатьох інших людей.

«Чому він відчинив їм двері? — запитала вона. — Чому він повернувся? Він же міг не прийти, заховатися десь. Взагалі навіщо після роботи він повернувся додому?»

«Тому що йому до голови не спадало, що це застереження може бути чимось серйозним, — пояснив ти. — Що ті євреї, яких він отак рахує, які так спокійно, без слова протесту дозволяють себе рахувати, можуть піти на щось подібне».

«Він і так загинув би, — сказала вона. — Чому ви не дозволили йому загинути гідно, небезглуздо, як людині... Чи мали ви взагалі право обирати для нього смерть?»

У неї пашіло обличчя, руки тремтіли, ти намагався бути терпеливим. «Ми не обирали смерті для вашого батька. Ми обрали її для себе і для тих шістдесяти тисяч євреїв, які ще залишалися жити. Смерть вашого батька була лише наслідком цього вибору. Прикрим наслідком. Мені дійсно дуже шкода...»

Потім ти додав: «І це неправда, ніби смерть вашого батька була безглуздою. Навпаки. Після цього вироку уже не було такого, щоб хтось відмовився дати нам гроші на зброю».

А далі...

Акція закінчилася, ти продовжував жити...

— В гетто залишилися шістдесят тисяч євреїв. Ті, хто залишився, тепер розуміли все: що означає «виселення» і що не можна чекати. Ми ухвалили створити єдину військову організацію для всього гетто, що, зрештою, не було легкою справою, оскільки не мали довіри одні до одного — ми до сіоністів, вони — до нас. Тепер це не мало значення. Ми створили єдину бойову організацію. Єврейську Бойову Організацію, ЖОБ.

Нас було п'ятсот осіб. У січні знову була акція, і з п'ятсот залишилося вісімдесят. Під час цієї січневої акції люди вперше не йшли добровільно на смерть. Ми застрелили кількох німців на Муранівській, на Францисканській, на Милій і на Заменгофа. Це були перші постріли в гетто, і вони справили враження на арійському боці: це відбувалося напередодні великих збройних виступів польського руху опору. Владислав Шленгель, поет, який писав свої вірші у гетто і мав комплекс тихої смерті, ще встиг написати вірша, присвяченого цим пострілам. Він називався «Контрнаступ»:

Чуєш, німецький Боже,
як моляться євреї в диких будинках,
тримаючи в руці брус або палицю.
Благаємо тебе, Боже, про криваву битву,

благаємо тебе про гвалтівну смерть.
Нехай наші очі перед сном
не бачать, як тягнуться рейки,
дай влучності нашим долоням, Господи...
Як пурпурові криваві квіти
з Низької та Милої, з Муранова
розцвітає полум'я наших люф,
це наша весна, це контрнаступ,
це вино битви б'є у голови,
це наші партизанські ліси —
завулки Дикої та Островської...

Відверто тобі скажу, що «наших люф», з яких розцвітало полум'я, було тоді в гетто аж десять. Ми одержали пістолети від Армії Людової.

Група Анелевича, яку вели на Умшлагпляц, і у якої не було ніякої зброї, почала бити німців руками. Група Пельца, хлопця вісімнадцяти років, яку вигнали на плац, відмовилася заходити до вагону, і ван Оппен, комендант Треблінки, розстріляв їх усіх на місці — усіх шістдесятьох. Радіостанція Костюшко, пам'ятаю, передавала тоді заклики до боротьби. Якесь жінка кричала: «До зброї», «До зброї» — на тлі звукових ефектів, що наслідували брязкання зброї. А ми все думали, чим вони там брязкають, бо щодо нас, то ми тоді мали шістдесят пістолетів.

— А знаєш, хто це кричав? Ришарда Ханін.

На радіостанції в Куйбишеві вона читала повідомлення, вірші та заклики. Вона розказувала, що без такої пропаганди не можна було обійтися, то ж вона і закликала вас до зброї... Хоча в дійсності справжньою зброєю вони там не брязкали. Ришарда Ханін каже, що ніщо не звучить по радіо більш фальшиво, ніж справжні звуки...

— Якось Анелевич хотів добути ще одного револьвера. Він убив на Милій веркшуца, а після полудня того самого дня приїхали німці і у відповідь вигрібли увесь Заменгоф — від Милої до площі Муранівського, кількасот осіб. Ми сильно на нього розлютились. Хотіли навіть... Та не будемо про це.

В тому будинку, з якого почали забирати людей після цього випадку, на розі Милої та Заменгофа, жив мій приятель Хеннох Рус. (Саме від нього залежало створення єдиної бойової організації в гетто: ми дискутували впродовж багатьох годин і голосували кілька разів, але з того нічого не можна було вирішити, бо кожного разу голоси «проти» і «за» розділялися навпіл. Нарешті саме Хеннох змінив свою думку, підняв руку, і це все вирішило на користь утворення ЖОБу).

У Хенноха був син. На початку війни малюк захворів, потрібне було переливання крові. Я дав йому свою кров, але відразу після переливання

дитина померла. Можна припустити, що це трапилося через змішування крові, так іноді буває. Хенно нічого не сказав, але відтоді він уникав зустрічей зі мною: як би там не було, моя кров убила його дитину. Тільки почалася акція, він сказав: «Завдяки тобі мій син помер вдома, як людина. Спасибі».

Ми накопичували зброю.

Тягали її з арійського боку (силоміць забирали гроші в різних установах та у приватних осіб), видавали газету, наші зв'язкові розвозили її по Польщі...

— Скільки ви платили за револьвер?

— Від трьох до п'ятнадцяти тисяч. Що ближче до квітня, то вищою була ціна: попит на ринку робився все вищим.

— А скільки треба було платити за переховування єврея на арійській стороні?

— Дві, п'ять тисяч. По-різному. Залежно від того, чи була людина схожою на єврея, чи розмовляла вона з акцентом, чоловік це був чи жінка.

— Виходить, що за один револьвер можна було цілий місяць переховувати одну людину. Або двох людей. Чи навіть трьох.

— Також можна було за один револьвер викупити одного єврея і врятувати його від смерті.

— А якби тоді перед вами стояв вибір: один револьвер чи життя однієї людини впродовж місяця...

— Перед нами такого вибору не було. Може, це і краще, що не було.

— Ваші зв'язкові возили газети по Польщі...

— Одна дівчина їздила з ними до Пйотркува, до тамтешнього гетто. У їхньому гетто в Гміні були наші люди, там панував зразковий порядок: не було шахрайства, їжу і працю розподіляли справедливо. Але ми були тоді молодими і безкомпромісними. Ми вважали, що в Гміні працювати не можна, бо це колабораціонізм. Ми порадили їм втекти звідти, і до Варшави прибула пара осіб, яких треба було сховати, бо німці уже розшукували цих чиновників з Пйотркува. Я опікувався подружжям Келерманів. За два дні до закінчення ліквідаційної акції, коли нас з Умшлагпляцу повели по номерки, я побачив Келермана. Він стояв за дверима будинку лікарні — колись ці двері були скляними, але шибки вибили, а дірки забили дошками — в шпарині між тими дошками я побачив його обличчя. Я подав йому знак, що бачу його і що я прийду по нього — і тут нас повели. Я повернувся через дві години, але за дверима вже нікого не було.

Знаєш, я бачив стількох людей, які йшли на плац, і до того, і потім, але лише перед цими двома людьми я хотів би виправдатися. Я мав опікуватися ними; і сказав, що повернуся по них, і вони до останніх хвилин чекали на мене — а я прийшов надто пізно.

— А що було із зв'язковою, яка їздила до пйотркувського гетто?

— Нічого. Одного разу, коли вона уже поверталася, її схопили українці і хотіли застрелити, але наші люди зуміли сунути їм якісь гроші; українці поставили її над ямою, зробили залп холостими набоями, вона удала, що падає, а потім і далі возила до Пйотркува наші газетки.

Газетки ми розмножували на гектографі. У нас був гектограф на Валовій, і якогось дня треба було його перенести, але дорогою ми зустріли кількох єврейських поліцаїв. У нас на плечах машина, а вони нас оточують і хочуть вести на Умшлагпляц. Ними командував один адвокат, який до того часу поводився бездоганно: нікого не бив, не бачив, коли хтось тікав. Ми вирвалися. Потім я і кажу товаришам: «Однак, якою свинею він виявився». А вони мені все це пояснювали тим, що в цей час він, певно, зламався — думав, це вже кінець і для нас, і для нього. Те ж саме говорив мені і його колега, коли ми їхали до Німеччини давати свідчення на процесі проти фашистів. Після війни я не обмінявся з тим адвокатом жодним словом. А його колега каже: «Який це має сенс — пам'ятати про минуле сьогодні?»

Дійсно. Який це має сенс — пам'ятати?

Через кілька днів після того, як застрелили веркшуца і німці вчинили побиття, в квітні, ми йшли вулицею, Антек, Анелевич і я. Аж тут, на Муранівській площі, ми побачили людей. Було тепло, був сонячний день і люди вийшли з підвалів на сонечко. «Боже, — кажу я. — Як вони могли вийти? Навіщо вони тут ходять?» А Антек і каже про мене Анелевичу: «Як він їх ненавидить, він хотів би, аби вони сиділи в темряві...» Бо я вже звик до того, що люди мають право виходити тільки вночі. А коли вони виходять вдень, коли їх видно, значить, вони от-от загинуть.

Пам'ятаю, Антек першим сказав тоді на засіданні штабу, що німці підпалять гетто. Ми ще думали тоді, що робити, яким чином нам загинути — чи то кинутися на мури, чи дати застрелити себе на цитаделі, чи то підпалити гетто і згоріти разом з ним... А Антек сказав: «А якщо вони самі нас підпалять?» Ми сказали: «Не кажи дурниць, не будуть же вони спалювати місто». А на другий день повстання вони його таки підпалили. Ми були тоді в схроні, і хтось вбіг із пронизливим криком, мовляв, горить. «Нам кінець!» Я тоді, ясна річ, мусив дати цьому хлопцеві в морду, щоб він заспокоївся.

Ми вийшли на подвір'я, нас підпалили з усіх боків, але центральне гетто, на щастя, ще не горіло, горіла лише наша територія, шіткова фабрика. Я сказав, що ми мусимо пробитися крізь вогонь. Аня, приятелька Адама, яка вирвалася з Пав'яка, сказала, що не побіжить, бо мусить залишитися з матір'ю, то ж ми її залишили і кинулися через подвір'я. Ми якось дісталися до муру на Францисканській, у стіні був пролом, але він освітлювався прожектором. Люди знову почали впадати в істерику — мовляв, не підемо, в цьому світлі нас усіх до одного перестріляють. Я крикнув: «Коли не йдете, то залишайтеся самі». І може, з шестеро залишило-

ся. А Зигмунт вистрілив у прожектор з єдиного карабіна, який ми мали, і нам вдалося швидко проскочити. (Це був той Зигмунт, який сказав, що я все це переживу, а він — ні, і щоб я знайшов його дочку в монастирі).

Ну, як тобі подобається цей номер з прожектором? Я знаю, що це ліпше, ніж смерть у підвалі. Скочити через мур краще, ніж гинути від задухи у темряві. В цьому більше гідності, правда?

— Правда.

— Тоді можу тобі ще щось подібне розповісти. Перед повстанням, коли почалася акція в малому гетто, хтось сказав мені, що забрали Абрашу Блюма. Це була надзвичайно мудра людина, він був нашим ватажком ще з довоєнного часу, от я й пішов побачити, що з ним трапилося.

Я бачив людей вишикуваних четвірками вздовж Теплої, а з обох боків, через кожних п'ять-десять рядів, стояли українські поліцаї. Вулиця була замкнена спеціальним кордоном. І я мусив пройти глибше, аби побачити, де Блюм, але позаду, за плечами українців, там де стояв натовп, не можна було проходити, бо мене могли б схопити. Тож я пішов між українцями і натовпом, так, щоб мене всі бачили. Я йшов швидким, енергійним кроком, ніби мав право отак йти. І знаєш що? Ніхто мене навіть не зачепив.

— У мене склалося таке враження, що ти сам дуже любиш такі історії — про швидкий, енергійний крок і про постріли в прожектор. Ти явно віддаєш їм перевагу над розповідями про підвали.

— Та ні.

— А я думаю, що так.

— Я розповідав тобі цю історію про українських поліцаїв з абсолютно іншого приводу. Бо коли ввечері я повернувся додому, на сходах стояла Стася, в якій були довгі коси. Вона плакала. «Чого ти плачеш?» — питаю. — «Бо я думала, що тебе забрали».

От і все.

Всі займалися якимись своїми важливими справами, а Стася цілий день чекала, коли я повернуся.

— Ми, здається, загубили нитку оповіді біля прожектора. Хоча, правду кажучи, я не зовсім впевнена, чи взагалі у цієї оповіді існує якась нитка.

— Це погано?

— Чому? Добре. Ми ж не пишемо історії. Ми пишемо про пам'ять. Але хай уже буде цей прожектор. Зигмунт його загасив — ви швидко перебігли... Чекай, а що було з дитиною Зигмунта, яка була в Замості у монастирі?

— З Ельжуною? Я знайшов її відразу після війни.

— І де ж вона?

— Її немає. Вона виїхала до Америки. Якись багаті люди прийняли її, стали її батьками і дуже її любили. Ельжуня була вродливою і розумною. А потім вона закінчила життя самогубством.

— Чому?

— Не знаю. Коли я був в Америці, то пішов до цих батьків. Вони показали мені її кімнату. Вони нічого там не змінювали після її смерті. Але я і досі не знаю, чому вона так зробила.

— Всі історії про людей, які ти розповідаєш — майже всі — закінчуються смертю.

— Правда? Тому що це ті, давні історії. Але все ж таки історії, які я розповідаю тобі про моїх пацієнтів, закінчуються життям.

— Зигмунт, батько Ельжуні, розбив своїм пострілом прожектор...

— ...ми перескочили через мур і вибігли до центрального гетто на Францисканську. На подвір'ї стояли Блюм (якого під час тієї акції не забрали) і Гепнер. Той самий, у якого я взяв з валізи червоного светра. Із справжньої пухнастої ангорки. Гарний светр...

— Я знаю. Тося недавно надіслала тобі з Австралії точно такого. А про Гепнера я читала вірш: «Пісня про купця заліза Авраама Гепнера». Там йшлося, між іншим, про те, що друзі з арійської зони просили його, щоб він вийшов, а він відмовився і залишився в гетто до кінця. Ти помітив, як часто повторюється в оповіданнях про гетто цей мотив: шанси вийти і рішення залишитися? Корчак, Гепнер, ви... Можливо, тому, що зробити саме таким чином вибір між життям та смертю — означає скористатися останнім шансом зберегти гідність...

— Блюм сказав нам (на тому подвір'ї на Францисканській), що була спроба виходу на мур групи АК на Боніфратерській вулиці, але ця спроба не вдалася, і що Анелевич зламався, що у нас немає зброї і що ми ні на що уже не можемо розраховувати... Я сказав: «Добре, добре. Тільки не треба отак стояти». Вони спитали: «То куди ж йти?» Нас було тридцять дві особи, та ще Гепнер і Блюм, і всі чекали якихось наказів, а я сам не мав жодного поняття, куди нам йти.

Поки що ми спустилися до підвалів. А ввечері Адам вирішив повернутися по Аню. Він просив, щоб я дав йому групу. Я запитав, хто піде, тоді двоє чи троє зголосилися. Вони пішли, й потім розповідали, що схрон з Анею та її матір'ю вже засипано, а шестеро хлопців, які не хотіли йти разом з нами, і залишилися біля прожектора, теж загинули.

Може, ти хочеш запитати, чи відчуваю я докори сумління через те, що дозволив їм залишитися?

— Не хочу.

— Я не відчуваю. Але мені весь час дуже шкода.

А на другий день я зустрів усіх — Анелевича, Целіну, Юрека Вільнера. Ми пішли до їхнього схрону. Ті дві дівчини, ті проститутки, зробили нам якусь їжу, а Гута пригощала нас сигаретами. Це був спокійний, гарний день.

Як ти думаєш, чи можна розповідати людям про такі речі?

— Я не знаю, що ти маєш на увазі.

— Про тих хлопців, яких я залишив на подвір'ї.

Чи може лікар розповідати людям про такі речі? Адже в медицині враховується кожне життя — кожний, бодай найменший шанс для врятування життя.

— А чи не могли б ми поговорити про якийсь там прожектор, про те, як ви стрибали через мур — про щось таке подібне?

— Але ж все це чергувалося.

Спочатку бігли, а потім хтось гинув, потім знову бігли, потім Адам висунув з льоху голову, а по стінці почала котитися граната, я крикнув: «Адам, граната», і ця граната вибухнула у нього на голові. Далі я вискочив з підвалу, на подвір'ї були німці, але у мене було два пістолети — пам'ятаєш, на отих двох ремінцях, що перехрещувалися на грудях, я вистрілив...

— З обох влучив?

— Де там, із жодного, але я зміг дістатися до будинку, а вони вже бігли за мною, та я вибіг на дах — такі історії нормальні?

— Клас.

— Отже, ти думаєш, що бігати по дахах ліпше, ніж сидіти у підвалі?

— Мені більше подобається, коли ти бігаєш по дахах.

— Тоді я не бачив у цьому різниці. Я відчув її пізніше, під час варшавського повстання, коли все вже відбувалося вдень, у сонячному світлі, коли простір не був оточений муром. Тоді ми могли наступати, відступати, бігти. Німці стріляли, але і я стріляв, у мене був свій карабін, була біло-червона пов'язка, були інші люди з біло-червоними пов'язками — багато людей навколо — слухай, яким прекрасним, яким комфортним було це повстання!

— Може повернемося на дах?

— Я перебіг по ньому до іншого будинку. Весь час у тому червоному светрі, а червоний светр на даху — ідеальна мішень, на щастя, проти сонця важко було влучити. В тому другому будинку, на шостому поверсі, лежав хлопець на чималому мішечку із сухарями.

Я затримався у хлопця — він дав мені сухаря, потім ще одного мені дав, але більше вже не хотів давати. Була дванадцята година дня, а десь біля шостої хлопець помер, і я тепер мав для одного себе цілий мішок сухарів. На жаль, з мішком важко стрибати. Я знову мусив вийти на вулицю, і коли вийшов на подвір'я, то побачив там п'ятьох убитих хлопців. Одного з них звали Стаськом. Ще вранці того самого дня він просив мене дати йому адресу по той бік муру, а я йому сказав: «Ще не час, ще рано», бо у мене не було ніякої адреси по той бік. А він сказав: «Це ж кінець, дай мені цю адресу, прошу тебе». А я не мав ніякої адреси. Він відразу побіг на подвір'я, і от тепер я його знайшов.

Потрібно було поховати цих хлопців.

Ми викопали могилу (в подвір'ї, на Францисканській, 30). Це страшна робота — копати могилу для п'ятьох людей. Поховали ми їх. А оскільки

якраз було перше травня, ми тихенько проспівали над їхньою могилою перший куплет «Інтернаціоналу». Ти віриш? Треба було точно не мати клепки в голові, щоб співати у дворі на Францисканській.

Потім ми десь дістали цукор і пили підсолоджену воду. А ще в моєму загоні було кілька бунтівників, які вважали, що я їх ображаю і даю мало зброї, тож вони оголосили голодування: відмовилися випити тієї води.

І знаєш, що було найгірше?

Що все більше людей чекало моїх наказів.

— Як закінчилося голодування? (Голодний страйк у гетто, о Боже!)

— Нормально. Я змусив їх випити солодкої води. Ти не знаєш, як примушують людей у воєнний час?

Отож все більше людей, які були значно старші за мене, питали мене, що робити. А я цього не знав і почувався абсолютно самотнім.

Цілий день, що я пролежав з тим хлопцем, який помирав на сухарях, я тільки про це й думав.

Шостого травня до нас прийшов Анелевич з Мірою. Мала відбутися якась нарада, але вже не було про що говорити, тож він уклався спати, і я теж ліг спати. Вранці я їм кажу: «Залишайтеся, чого вам повертатися». Але він хотів йти. Попрошались з ними, а на другий день, восьмого, ми пішли до їхнього бункера на Милій, 18. Була вже ніч, ми кричимо — ніхто не відповідає, нарешті якийсь хлопець каже: «Їх немає. Вони себе повбивали». Лишилося ще пара осіб і ті дві дівчини, ті проститутки. Ми їх забрали з собою. А тільки-но повернулися, виявилось, що прийшов Казьо з арійської сторони разом з людьми, що знають канали, і що ми будемо виходити. (Дві дівчини спитали, чи можуть вийти з нами. Я сказав: «Ні»). Провідників з каналів дав нам Юзв'як — «Вітольд» з Армії Людової — нас супроводжували до виходу на Простій. Ми чекали там ніч і день, і ще одну ніч, і десятого травня о десятій годині відчинилася кляпа, вже була машина і наші люди, і Крачек від «Вітольда» — навколо стояв натовп, люди дивилися на нас із жахом, ми були чорні, брудні, зі зброєю — панувала абсолютна тиша, а ми виходили у таке сліпуче травневе сонячне світло.

Анджей Вайда хоче зробити фільм про гетто. Він каже, що використав би архівні фото, а Едельман повинен сам розказувати про все у камеру.

Він розказував би у тих місцях, де це відбувалося.

Наприклад, біля бункера на Милій, 18 (зараз там лежав сніг і діти з'їжджали з гори на санчатах).

Або біля входу на Умшлагпляц, поруч із брамою.

Брами, щоправда, вже немає, старий мур зруйнували, коли будувалися житлові будинки. Зараз там стоять високі сірі корпуси — якраз уздовж залізничної платформи. В одному з них мешкає моя приятелька Анна Стронська. Я кажу їй, що по-під вікнами, з боку кухні, стояли останні

вагони поїзда, бо локомотив був там, де тополі. Строньська, яка хворіє на серце, блідне.

— Слухай, — говорить вона, — але я завжди була доброю до них, вони мене не скривдять, правда ж?

— Ясно, що ні, — відповідаю я, — вони ще будуть піклуватися про тебе, от побачиш.

— Ти дійсно так думаєш? — питає Строньська і трішечки заспокоюється.

Отже, при проектуванні житла старий мур розвалили, але зараз на тому самому місці поставили невеликий фрагмент нового муру з білої, неушкодженої цегли. Зробили пам'ятні дошки, світильники, повісили зелені ящики для квітів, навколо засіяли траву, все там тепер таке упорядковане, чистеньке, новеньке, а на Йом Кіпур та інші свята тут запалюється священний вогонь.

Або розповідав би біля пам'ятника.

Дев'ятнадцятого квітня, в річницю, як завжди, заїхали б автобуси з іноземними гостями, і з них вийшли б пані у весняних костюмах та панове з фотоапаратами. Навколо скверу сиділи б собі на лавах старі жінки з колясками, приглядаючись до автобусів та делегацій від підприємств, готових до урочистого покладання вінків. «У нашому підвалі, — сказала б якась із жінок, — сиділа одна під вугіллям і їжу їй треба було подавати через віконечко з вулиці». (Врешті, могло б так трапитися, що саме та, кому таким чином колись подавали їжу, вийшла б з екскурсійного автобусу і стояла б зараз у весняному костюмі). Потім би зазвучали барабани, і пішли б делегації з вінками, після делегацій почали б підходити якісь приватні люди з маленькими букетиками або навіть з одним жонкілем у руці, а вже після всього, тобто після квітів та барабанів, раптом вийшов би з натовпу старий дідусь з сивою бородою і почав би читати Кадіш. Він стояв би біля підніжжя пам'ятника, під палаючими світильниками, і ламким своїм голосом вів би молитву — плач за померлими. За шістьма мільйонами померлих. Така самотня стара людина з бородою, в довгому чорному пальті.

А натовп тоді б перемішався. «Марек! — кричав би хтось, — як ся маєш!», «Марисю, яка ж ти молода», — відповідав би він радісно, бо то була б Марися Савіцька, яка перед війною бігала вісімсот метрів разом із сестрою Міхала Клепфіша, а потім переховувала у себе цю сестру-спортсменку і дружину, і дочку Міхала...

Дочка і дружина пережили війну, а у Міхала, що залишився на Боніфратерській, на тому самому горіщі, де закрив собою фашистського кулемета, щоб ми могли пройти, є на єврейському цвинтарі символічна могила з написом:

*інж. Міхал Клепфіш
17 IV 1913 — 20 IV 1943*

І це було б черговим місцем зйомки.

Поруч є могила Юрека Блонеса, його двадцятирічної сестри Гути та їхнього дванадцятирічного брата Луська, і ще Файгели Гольдштайн (хто це був? він навіть не пам'ятає її обличчя), і Зигмунта Фридріха, батька Ельжуні, який сказав йому у перший день повстання: «Ти переживеш, то ж пам'ятай — в Замості, в монастирі...»

Це вже не символічна могила. Після виходу з каналів вони поїхали до Зеленки, де була криївка, але десятьма хвилинами пізніше прийшли німці. Їх поховали в Зеленці, під огорожею, то ж після війни легко було відшукати тіла.

Тих, що лежать на кільканадцять метрів далі, в глибині алеї, привезли після війни з-над Бугу. Після виходу з каналу вони мали рухатися на схід, переправитися через річку і з'єднатися з партизанами, але по них відкрили вогонь, коли вони саме були на середині ріки. (З каналів вийшли на Простій. Люк раптом відчинився і Крачек крикнув з гори: «Виходьте!» Але бракувало восьми осіб. Едельман наказав їм відійти до ширшого каналу, оскільки чекаючи ніч, і день, і знову ніч під зачиненим люком, вони задихалися і почали вже помирати від води з фекаліями та від метану. Тепер Едельман наказав їх покликати, але ніхто не рушив з місця, бо ніхто не хотів відходити від виходу, бо кляпу вже відчинили, там вже було свіже повітря і світло, і чулися голоси людей, які чекали на них. Тоді Едельман сказав Шльомі Шустеру побігти по тих, хто лишився. І Шльома побіг. Нагорі усім командували Крачик та Казик, які горлали, щоб нарешті їхали і що буде ще друга машина, і незважаючи на те, що Целіна витягла револьвера і кричала: «Чекати, бо буду стріляти!», вантажівка поїхала. Вихід з каналів організував Казик. Йому було тоді дев'ятнадцять років, і те, що він зробив, справді було чимось надзвичайним. Однак тепер він час від часу телефонує з міста, розташованого за три тисячі кілометрів, і говорить, що він в усьому винен, бо не примусив Крачика чекати. На що Едельман відповідає, мовляв, нічого подібного, що Казик поводить себе прекрасно і що за все відповідає лише він, оскільки саме він наказав відійти тим людям подалі від виходу. В свою чергу Казик — все з того ж міста, віддаленого на три тисячі кілометрів — каже: «Дай спокій, в усьому винні німці». А далі додає: «Що ж це таке! З тієї пори і досі ніхто ніколи не питає мене про тих, хто вижив. Завжди питають тільки про загиблих». Цей люк і вихід з каналів, що знаходиться на Простій, серед житлових будинків за Залізною Брамою, теж, як ви розумієте, повинен бути місцем зйомки).

В кінці алеї, там, де закінчуються могили, і починається щось на зразок поля — пласка територія, поросла високою травою, що простяглася в напрямку Повонзковської вулиці аж до самісінького муру — вже немає ніяких меморіальних написів. Тут ховали усіх, хто помер ще до ліквідації гетто — від голоду, від тифу, від виснаження на вулиці, в поки-

нутих квартирах. Щоранку працівники товариства «Вічність» виходили з ручними візками, збирали з вулиць померлих і складали їх стосами на візках, тіло на тіло, потім переходили бруківку на Окоповій, виїжджали на кладовище, що знаходилося з арійського боку, і йшли тут, цією алеєю, аж до муру.

Спочатку закопували біля стіни, поступово — по мірі зростання кількості тіл — пересуваючись вглиб кладовища, аж поки не зайняли все поле.

Над могилами Міхала Клепфіша, Абраші Блюма і тих із Зеленки стоїть пам'ятник. Чоловік звівся на повен зріст, в одній руці у нього карабін, в другій, піднятій — граната, біля поясу патронташ, на боці планшет з картами, а через груди портупея. Жоден з них ніколи не мав такого вигляду, у них не було ані карабінів, ані патронташів, ані карт. Крім того, вони були чорні та брудні. Але на пам'ятнику все так, як повинно бути. На пам'ятнику все яскраво і красиво.

Поруч з Абрашею Блюмом лежить його дружина, Люба, та сама, що керувала в гетто школою медсестер. Для своєї школи Люба отримала п'ять номерків на життя, а учениць було шістдесят, тож вона і сказала, що номерки одержать ті, хто має кращий рівень медичної підготовки — і попросила їх відповісти на запитання: «Яким має бути сестринський догляд у перші дні після інфаркту серця». Учениці, які відповіли найкраще, отримали номерки.

Після війни Люба Блюмова керувала дитячим будинком. До цього будинку привозили дітей, знайдених у шафах, у монастирях, в ящиках для вугілля, в похованнях на цвинтарях. Потім цих дітей стригли під нуль, одягали в надіслані з-за кордону речі, вчили грати на фортепіано і що не можна плямкати, коли їси. Одна з дівчаток народилася після того, як її матір згвалтували німці, тому діти називали її швабкою. Друга дівчинка була зовсім лисою, бо волосся повипадало через брак вітамінів. А третю дівчинку, яка переховувалася в селі, пані вихователька багато разів мусила просити про те, щоб вона нікому не розказувала, що сільські хлопці робили з нею на горищі, бо добре виховані паненки в товаристві про такі речі не розповідають.

Люба Блюмова — яка в гетто дивилася за тим, щоб учениці школи медсестер мали чистісінькі та твердо накрохмалені шапочки, а в дитячому будинку весь час нагадувала, що потрібно чемно і докладно розповідати всім дядям, які запитують, як загинув татусь, оскільки ці дяді повернуться до Америки і будуть надсилати пакуночки, багато пакунків з гарними сукнями та халвою — отже, Люба Блюмова лежить на головній, упорядкованій алеї. Якщо піти вглиб кладовища, можна побачити, як переплітаються віти дерев, лежать звалені колони, а могили і таблички заросли травою — тисяча вісімсот... тисяча дев'ятсот тридцять... мешканець Праги... доктор права... безутішна вдова... — ще проступають сліди того світу, який дійсно колись існував.

В боковій алеї бачимо — *«Інженер Адам Черніков, Голова Варшавського Гетто, помер 23 липня 1942 року»* — і уривок з вірша Норвіда, який закінчується словами: *«...Бо потім ще труну твою відкриють, і про заслуги виглосять інше...»*. (Ми ображені на нього тільки за те, що він зробив свою смерть власною, приватною справою).

Поховання. По головній, упорядкованій алеї йдуть люди, багато людей, несуть вінки, стрічки — від пенсіонерів, від ради профспілок... Якийсь літній пан підходить до кожного з присутніх і непомітно, пошепки питає: «Вибачте, може, ви єврей?» — і йде далі, до наступного — «Перепрошую, чи пан...» Йому необхідно знайти десять євреїв, щоб прочитати над труною Кадіш, а є тільки сім.

— В такому натовпі?

— Та ж ви, пані, самі бачите. Я питаю кожного і все одно виходить лише сім.

Він тримає ретельно загнуті пальці: сім, на всьому кладовищі, навіть Кадіша неможливо прочитати.

Євреї лишилися на Умшлагпляці, в квартирі Строньської, на платформі. Бородаті, в чорному вбранні, в ямулках, дехто в шапках, обшитих рудим лисячим хутром... Юрмища, дійсно, юрмища євреїв: на поляцях, на столах, над тапчаном, уздовж стін...

Моя приятелька Анна Строньська збирає народне мистецтво, і народні митці охоче відтворюють своїх передвоєнних сусідів. Залишки єврейського світу Строньська привозить звідусіль, з усієї Польщі, з Перемишля, де їй продають найдешевші та найкрасивіші речі, бо до війни її батько був там старостою, з Келеччини, але найцінніші речі вона привозить з Кракова. На другий день Різдва перед норбетанським костелом, на Сальваторі, відбувається розпродаж, і лише там ще можна знайти фігурки євреїв у чорних сюрдутах і в білих атласних талесах, з тфілін на голові — все пошито акуратно, за правилами, як має бути.

Вони стоять групами.

Одні, жестикулюючи, жваво про щось розмовляють — хтось читає газету, відриваючи від неї погляд і прислухаючись, оскільки поруч розмовляють надто голосно. Дехто молиться. Двоє, в рудих лапсердаках, несамовито сміються з чогось. Неподалік проходить літній пан з паличкою і маленькою валізкою. Чи не лікар? Всі чимось займаються, у кожного своя справа.

Все це ТІ, давні євреї. Вони жили ще до всього того.

Отож, я приходжу до Строньської разом з Едельманом, щоб він подивився на цих нормальних євреїв, а коли ми вже збиралися виходити, Строньська каже, що сусідка, яка мешкає за кілька будинків від неї, розповідала їй про свій дивовижний сон. Сусідка бачить один і той самий сон від дня, коли вона переїхала на нову квартиру. Напевно, навіть неможливо сказати, чи насправді це сон, бо їй сниться, що вона не спить і лежить у

своїй кімнаті, яка в дійсності є зовсім не її кімнатою. Там стоять старі меблі, велика халявна піч, вікно виходить у стіну, а оскільки щонаочі жінка знаходиться тут, вона вже звикла до предметів, що її оточують, і починає розрізняти дрібнички, що залишилися в кріслах і на буфеті. Часом їй здається, що за дверима кімнати хтось є — враження чієїсь присутності в квартирі іноді буває настільки сильним, що вона встає з ліжка і дивиться, чи не закрався злодій. Але ні, нікого немає.

Якоїсь ночі вона знову бачить себе в цій своїй — і не своїй — кімнаті. Все знаходиться на звичних місцях — піч, якісь дрібнички на буфеті — і раптом відчиняються двері і до кімнати входить молода дівчина, єврейка. Вона наближається до ліжка. Зупиняється.

Вони приглядаються одна до одної. Жодна нічого не говорить. Але точно відомо, про що вони хочуть сказати. Дівчина дивиться: «Ага, значить це ви тут живете...», а жінка починає виправдовуватись, що, мовляв, будинок новий, що їй дали тут квартиру... Дівчина робить заспокійливий жест — та нічого, все в порядку, я просто хотіла побачити, хто тут зараз живе, звичайна цікавість... Після цього вона наближається до вікна, відкриває його і вистрибує з четвертого поверху на вулицю.

Від того дня сон не повторювався, а відчуття чієїсь присутності зникло.

Ну, і в таких, власне, і ще в багатьох інших місцях Вайда міг би знімати свій фільм, але Едельман заявляє, що нічого не буде говорити в камеру. Він міг би про все це розповісти один раз. І розповів уже.

— Чому ти став лікарем?

— Тому що я і далі мусив робити те, що робив тоді. Що я робив у гетто. В гетто від імені сорока тисяч людей — стільки було в квітні 1943 року — ми прийняли рішення. Ми вирішили, що добровільно вони не підуть на смерть. Як лікар я міг відповідати за життя принаймні однієї людини — ось тому я і став лікарем.

Ти б хотіла, щоб я відповідав саме так, правда? Це б звучало добре? Але взагалі так не було. А було так, що війна закінчилася. Для всіх вона була переможною. Та для мене це була програна війна, і мені все ще здавалося, що я ще щось мушу робити, кудись йти. Мені здавалося, що хтось на мене чекає і треба його рятувати. Мене кидало з міста до міста, з країни до країни, але коли я приїжджав, виявлялося, що ніхто на мене не чекає, допомагати нікому і нема чого робити. Я повернувся (мені говорили: «І ти хочеш дивитися на оті мури, на бруківку, на пусті вулиці», а я знав, що маю залишатися тут, аби дивитися на все це), тож я повернувся, впав на ліжку і залишився лежати. Я спав. Так проходили дні і тижні. Час від часу мене будили і говорили, що треба щось із собою робити — мені спало на думку зайнятися економікою — я вже і не пам'ятаю чому — врешті Аля записала мене на медичний. Ну, я й пішов вчитися медицині.

На той час Аля вже була моєю дружиною. Ми познайомилися з нею, коли вона прийшла по нас з патрулем, який організував доктор Світала з Армії Крайової, аби вивести нас з бункера на Жолібожі. Ми залишилися там, на вулиці Промика, після варшавського повстання — там крім мене, між іншим, були Антек, Целіна, Тося Голіборська. Ну от, і в листопаді по нас прийшов цей патруль. (Вулиця Промика проходить зразу над Віслою, це ще була лінія фронту, все заміновано, тоді Аля зняла пантофлі і пройшла через мінне поле босоніж, бо їй здавалося, що, як вона піде по мінах босоніж, вони не вибухнуть).

Аля записала мене на медичний. І я почав туди ходити, але мене це ані трохи не цікавило. Коли поверталися додому, я знову падав на ліжко. Всі старанно вчилися, а оскільки я завжди лежав обличчям до стіни — вони почали малювати на цій стіні різні речі, щоб я хоча б щось запам'ятав. То шунок мені намалюють, то серце. Ретельно так вимальовували — з камерами, передсердями, аортою...

Це тривало майже два роки — у цей час мене іноді саджали в якісь президії...

— Ти уже, певно, мав статус героя?

— Щось на зразок цього. Або ще просили: «Розкажіть нам... Хай пан нам розкаже, як воно було». Але я був стриманий, і в президіях сприймався недоречно.

Знаєш, що я найкраще пам'ятаю з цього періоду? Смерть Миколая. Того самого, що був членом «Жеготи» (Ради Допомоги Євреям) як представник нашого підпілля.

Миколай хворів і помер.

Він помер, розумієш? Звичайнісіньким чином, у лікарні, лежачи в ліжку! Перший із знайомих мені людей помер, а не був убитий. За день до цього я відвідав його в лікарні, і він сказав: «Пане Мареку, якщо зі мною щось трапиться, то ось туг, під подушкою, у мене лежить зошит. Там все вираховано. До останнього гроша. Колись про це можуть спитати, то ви пам'ятайте, що сальдо сходиться, навіть трохи залишилося».

Знаєш, що це було?

Це був грубий зошит у чорній обкладинці, в якому він упродовж усієї війни записував, на що витрачаються долари. Ті, що нам скидали, і що їх ми витрачали на зброю. Ще кілька десятків залишилося, і вони теж лежали в зошиті.

— І що? Ти повернув решту і зошит керівникам зв'язкових в Америці, які тебе так зворушливо приймали?

— Знаєш, я взагалі не забрав його з лікарні. Розповів про нього Антеку та Целіні — ми страшенно сміялися з тієї історії. І з зошита, і що Миколай так дивно помирає, лежачи в ліжку на чистих простирадлах. Ми мало не луснули від сміху, Целіна навіть нагадала нам, що над цим не можна сміятися.

— Чи перестали тобі нарешті малювати серця на стіні?

— Так.

Якогось дня я прийшов на заняття — певно, лише для того, щоб мені підписали залікову книжку — і почув, як професор каже: «Коли лікар знає, який вигляд має око хворого, який вигляд має його шкіра, язик, він мусить знати, що відбувається з хворим». Мені це страшенно сподобалося. Я подумав, що хвороба людини нагадує розкидану головоломку, і коли її добре скласти, дізнаєшся, що з людиною трапилось, що у неї там, у середині.

Від того часу я зайнявся медициною, а далі вже може йти те, з чого ти хотіла починати, і що сам я зрозумів значно пізніше. Що як лікар я можу тепер відповідати за людське життя.

— А чому, власне кажучи, ти повинен відповідати за людське життя?

— Певно, тому, що все інше здається мені не таким важливим.

— Може, справа в тому, що тобі було тоді двадцять років? Коли найважливіші події життя відбуваються у двадцять років, то пізніше досить важко знайти заняття, яке б наповнило твоє існування змістом...

— У клініці, де я потім працював, була велика пальма. Іноді я ставав під нею — і бачив палати, в яких лежали мої пацієнти. Це було давно, ще тоді, коли у нас не було сьгоднішніх ліків, ми не могли проводити сьгоднішніх операцій, ми не мали сучасних апаратів, і більшість людей у цих палатах була приречена на смерть. Моє завдання полягало в тому, щоб вилікувати якомога більше з них — і якогось дня я усвідомив, стоячи під пальмою, що, власне кажучи, це те ж саме завдання, яке я мав там. На Умшлагпляці. Тоді я теж стояв біля брами і витягав небагатьох з навогу приречених.

— І все життя ти так і стоїш біля брами?

— Гадаю, що так. А коли я вже нічого не можу зробити, мені залишається тільки одне: забезпечити їм комфортну смерть. Щоб вони не знали, не страждали, не боялися. Щоб не принижувалися. Треба дати їм такий спосіб умерти, щоб вони не перетворилися в ОТИХ. З третього поверху на Умшлагпляцу.

— Мені говорили, що коли ти займаєшся лікуванням звичайних випадків, які не загрожують життю, — ти робиш це ніби за обов'язком. І насправді ти оживаєш лише тоді, коли починається гра. Коли починаються змагання зі смертю.

— Але ж в цьому і полягає моя роль. Господь Бог вже хоче загасити свічку, а я мушу швиденько закрити полум'я, використовуючи Його хвилинну неуважність. Нехай вона горить хоч трошечки довше, ніж Він бажав би.

Це дуже важливо: Він не надто справедливий. Але це в будь-якому випадку приємно, бо якщо навіть коли щось трапиться — то все одно Він змушений був зі мною посперечатися...

— Змагатися з Господом Богом? Яка самовпевненість!

— Знаєш, коли людина проводить інших людей до вагонів, то пізніше вона може влаштувати з Ним якісь спільні справи. А всі проходили поруч зі мною, бо я стояв біля брами з першого до останнього дня. Всі чотириста тисяч людей пройшло поруч зі мною.

Ясна річ, кожне життя закінчується тим самим, але йдеться про відкладення виroku, на вісім, десять, п'ятнадцять років. Це взагалі не так мало. Коли дочка Тененбаумової завдяки номерку прожила на три місяці довше, я вважав, що це багато, бо за ці три місяці вона встигла довідатися, що таке кохання. А дівчатка, яких ми лікували від стенозу та від пороку, встигли вирости, покохати і народити дітей, то ж наскільки більше вони встигли від доньки пані Тененбаумової.

Була у нас дівчинка дев'яти років, Уршуля, зі звуженням подвійного легеневого клапана. Вона відпльовувала рожеву, пінисту мокроту і задихалася. Але тоді ми ще не оперували дітей. В Польщі тільки-тільки почали оперувати вади серця. Та Уршуля вже умирала, то ж я зателефонував до Професора, що дівчинка от-от задихнеться. Він прилетів через дві години літаком і прооперував її того ж дня. Вона швидко одужала, пізніше вийшла з лікарні, закінчила школу... Іноді вона приходить до нас, то з чоловіком, то розлучена, красива, висока, чорнява — до того її трохи псувала косоокість, але ми домовилися про операцію у дуже хорошого окуліста, і очі у неї теж в порядку.

Ще лікувалася у нас дівчинка Тереза з вадою серця, опухла як барило, ледве жива. Як тільки зійшли у неї набряки, вона і каже: «Випишіть мене, будь ласка, додому», а впродовж усього лікування з дому ніхто не приходив. Я пішов туди — це була кімната серед підсобних приміщень крамниці, з бетонною підлогою. Вона жила там з хворою матір'ю і двома молодшими сестричками. Тереза сказала, що мусить йти, аби доглядати сестер — тоді їй було десять років — і дійсно пішла. Пізніше вона народила дитину. Через родинну схильність її знову треба було витягати з легеневого набряку, але як тільки вона могла відсапатися, сказала, що має вже виписуватись і займатися дитиною. Час від часу вона приходить до нас і каже, що у неї є все з того, що вона хотіла б мати — домівка, дитина, чоловік, а найважливіше те, каже вона, що вдалося вийти з тієї кімнатки за магазином.

Ще була у нас Гражина з дитячого будинку, батько якої був алкоголіком і помер у психіатричній лікарні, а матір хворіла на туберкульоз. Я їй казав, що їй не можна мати дітей, але вона народила і повернулася до нас з недостатністю кровообігу. Вона з кожним місяцем стає все слабшою, вже не може працювати, не може дитини взяти на руки, але все одно кожного дня ходить з дитиною на прогулянки, горда тим, що у неї, як у кожної нормальної жінки, є дитина. Чоловік дуже її любить і не погоджується на операцію, а у нас немає сміливості наполягати, і Гражина згасає потроху.

Можливо, я погано розповідаю, всього я вже не пам'ятаю так докладно. Це дивно. Коли вони поруч, коли їм погано, коли їм потрібна допомога — вони стають тобі найближчими у світі людьми, і ти про них все знаєш. Знаєш, що у них у кімнаті кам'яна підлога, батько п'є, а матір хвора психічно, що в школі клопіт з математикою, а цей чоловік їй не підходить, а в університеті якраз сесія, тож треба викликати таксі і послати з нею на екзамен медсестру з ліками, також ти все знаєш про її серце: що у неї надто вузький вихід у клапані або надто широкий (якщо вузький, тоді крові надходить мало, а якщо широкий, тоді кров застоюється і не встигає замкнути коло кровообігу), дивишся на неї і знаєш, що якщо вона лежить така красива, слабенька, з рожевими шоками, значить, обіг крові затримується і починається розширення дрібних судин під шкірою обличчя; а коли вона бліда і артерія у неї на шії пульсує, значить, у неї надто широкий вихід аорти... Все про них ти знаєш, і за ті кілька днів, поки триває смертельна небезпека, вони стають для тебе найближчими людьми. Але потім вони одужують, виписуються, і ти забуваєш їхні обличчя, привозять когось нового, і вже тільки він, цей, новий, стає найважливішим.

Кілька днів тому до нас привезли сімдесятирічну бабусю з серцевою недостатністю. Професор прооперував її, це була дійсно ризикована операція — в стані гострої серцевої недостатності. Засинаючи, старенька молилася: «Господи, Боже мій, — говорила вона, — благослови руки пана Професора і думки лікарів з Пирогова». («Лікарі з Пирогова» — це ми, я і Ага Жуховська). Ну скажи, кому ще, крім моєї старенької пацієнтки, спало б на думку молитися за мої думки?

Чи не настав час для того, щоб все якось упорядкувати? Адже люди будуть чекати від нас якихось цифр, дат, даних щодо кількості військ та їх озброєння. Люди дуже поважають історичні факти та хронологію. От наприклад: повстанців було 220, німців — 2090. Німці мали авіацію, артилерію, бронепοїзди, міномети, 82 кулемети, 135 автоматів і 1358 карабінів. На одного повстанця (за реляцією заступника командувача повстанням) припадає 1 револьвер, 5 гранат і 5 пляшок із запальною сумішшю. На кожну територію — 3 карабіни. На все гетто є дві міни і один автомат.

Німці вступають у гетто 19 квітня о четвертій годині. Перші бої: Муранівська площа, вулиці Заменгофа, Гусяча. О другій годині дня німці відступають, не відправивши на Умшлагпляц жодної людини. («Тоді ми ще вважали це дуже важливим, що в той день нікого не вивезли. Ми навіть вважали це перемогою»).

20 квітня: до дванадцятої години німців немає (цілу добу в гетто немає жодного німця!), вони повертаються о другій. Підходять до території шіткової фабрики. Намагаються відчинити браму. Вибухає міна, німці відступають. (Це була одна з тих двох мін, які були в гетто. Друга, на Новоліпі, не

вибухнула). Німці вдираються на горище. Міхал Клепфіш закриває своїм тілом німецького кулемета. Група повстанців пробивається — радіостанція «Світ» подає потім відомості, що Міхал загинув смертю хоробрих і читає наказ Сікорського про відзначення його подвигу хрестом, «Віртуті Мілітарі» V ступеня.

А далі сцена з трьома офіцерами СС. Вони йдуть з білими хустинками, пропонують нам скласти зброю, просять забрати поранених. Повстанці стріляють в офіцерів, але в жодного з них не влучають.

У книзі американського письменника Джона Херсі «Стіна» (*The Wall*) ця сцена описується дуже докладно. Фелікс, один з вигаданих героїв, розповідає про неї, ніяковіючи. В ньому ще дремає, пише автор, таке типове для західноєвропейської традиції бажання битися за правилами воєнної гри і додержуватися *fair play* у смертельній боротьбі... В есесівців стріляв Зигмунт. Вони мали лише один карабін, а Зигмунт стріляв краще за всіх, бо перед війною встиг відслужити у війську. Едельман, побачивши офіцерів, що наближалися до них з білими хустинками, сказав: «Стріляй» — і Зигмунт вистрілив. Едельман лишився єдиним живим учасником цієї сцени — в усякому разі єдиним живим з боку повстанців. Я питаю у нього, чи відчував він докори сумління, порушуючи таке типове для західноєвропейської традиції правило *fair play*. Він говорить, що не відчував, тому що ці три німці були точно такими самими, як ті, котрі вивезли до Треблінки чотириста тисяч людей, а тепер вони тільки й зробили, що причепили білі хустинки...

(Штрооп згадував у своєму рапорті про цих парламентарів і про бандитів, які відкрили по них вогонь.

Відразу після війни він побачив Штроопа.

Прокуратура та Комісія по вивченню гітлерівських злочинів просили його на очному допиті з'ясувати зі Штроопом деякі подробиці: чи тут була стіна, чи там була брама, різні топографічні деталі.

Вони сиділи біля столу — прокурор, представник Комісії та він — і тут до кімнати ввели високого чоловіка, старанно поголеного, у начищених черевиках.

— Він став перед нами струнко — я теж встав. Прокурор сказав Штроопу, хто я такий. Штрооп випнув груди, клацнув підборами і повернув голову в мій бік. У офіцерів це називається віддати віськову честь чи щось подібне. Мене запитали, чи бачив я, як він вбивав людей. Я відповів, що ніколи в очі його не бачив і зустрічаюся з ним уперше. Потім мене запитали, чи дійсно в цьому місці була брама, а звідти йшли танки, бо Штрооп дає такі свідчення, а це, на їхню думку, з чимось не узгоджується. Я сказав: «Можливо, що в цьому місці була брама, а звідти йшли танки». Мені було прикро. Ця людина стояла переді мною струнко, без поясу, і у неї уже був один смертний вирок. Яке це мало значення, де був мур, а де брама. Я хотів якомога швидше вийти з цього кабінету).

Парламентери відступають — Зигмунт, на жаль, не влучив — ввечері всі спускаються до підвалів.

Вночі прибігає хлопець з криком, що все горить. Зчиняється паніка...

Перепрошую. «Прибігає хлопець з криком...». Це не можна вважати серйозною історичною реляцією. Як факт це дуже схоже. Після крику хлопця кілька тисяч людей зриваються в паніці, здійснюється лемент, свічки від цього згасають, і хлопця треба швидесенько закликати до порядку. Для історії тут надто багато подробиць... За хвилю люди заспокоюються: вони бачать, що хтось командує. («Люди завжди повинні думати, що хтось тут командує»).

Отже, німці починають підпалювати гетто. Район шіткової фабрики уже охоплений вогнем, через полум'я потрібно пробитися до центрального гетто.

Коли горить будинок, то найпершою вигоряє підлога, а потім згори падають палаючі балки, але між однією і другою балкою минає кілька хвилин і саме тоді треба перебігти. Нестерпно гаряче, аж плавиться розсипане скло й асфальт під ногами. Вони біжать між тими балками крізь полум'я. Мур. Проламана стіна. Перед нею прожектор. «Ми не пройдемо», «Тоді залишайтеся...» Постріл у прожектор, біжимо. Подвір'я, шість хлопців, постріли, біжимо. П'ять хлопців, могила, Стасько, Адам, *Інтернаціонал*... Ще щось: у той самий день, коли ми викопали могилу і тихесенько проспівали перший куплет, потрібно було підвалами пройти до іншого будинку. Четверо людей пішли пробивати прохід, а нагорі стояли німці і кидали гранати у підвали. Почав підійматися дим, страшенно чаділо, тож я наказав засипати отвір. По той бік отвору ще знаходився один з хлопців, але люди починали задихатися, тож уже несила було на нього чекати.

Ну от. Тепер у нас є стисла хронологія подій. Зараз ми уже знаємо, що спочатку загинув Міхал Клепфіш, потім ті шестеро хлопців, а потім Стасько, а далі Адам, а потім хлопець, якого треба було засипати. А ще кількасот осіб зі схрону, але це вже дещо пізніше, коли горіло все гетто і всі перейшли до підвалів. Там було гаряче, і якась жінка на хвилинку випустила свою дитину дихнути повітря. Німці дали хлопчику цукерку і спитали: «А де твоя матуся?» Хлопчик показав німцям дорогу, і вони висадили в повітря цілий схрон. Ми потім говорили, що треба було цього хлопчика, як тільки він вийшов, застрелити. Але це теж не допомогло б, бо у німців були апарати для підслуховування, і з ними вони дізнавалися про людей у підвалах.

Це, власне, і є хронологія подій.

Історичний порядок подій виявляється тільки порядком умирання.

Історія виникає по інший бік мурів, там, де пишуться рапорти, надсилаються радіодонесення, і де від світу вимагають допомоги. Кожний спеціаліст знає сьогодні тексти депеш і ноти урядів. Але хто знає про

хлопця, якого треба було засипати, бо до підвалу потрапляв чадний газ? Хто сьогодні знає про цього хлопця?

Ці донесення про гетто пише на арійському боці «Вацлав». От приклад: «Повідомлення №3 Вац. А/9, 21 квітня: *«Єврейська Бойова Організація, що керує повстанням варшавського гетто, відхилила німецький ультиматум скласти зброю у вівторок до десятої години ранку... Німці ввели в бій польову артилерію, танки та бронезагони. Облога гетто і бої єврейських бійців є чи не єдиною темою розмов мільйонного міста...»*

Ще раніше «Вацлав» подавав відомості про ліквідаційні акції у гетто — і це саме від нього світ дізнався про існування Умшлагпляцу, про транс-порти, про газові камери і про Треблінку. «Вацлав» — Хенрик Волінський — якого згадують у кожній книжці, у кожній науковій роботі, присвяченій гетто, керував єврейським сектором у Головному Штабі АК. Він був посередником між ЖОБом та Головним Штабом, між іншим, він передав командувачу Армії Крайової першу декларацію про утворення Єврейської Бойової Організації, а Юреку Вільнеру — наказ генерала Грота-Ровецького, який підпорядковував ЖОБ Армії Крайовій. Він встановив зв'язок між євреями та генералом Монтером з його офіцерами, які постачали їм зброю та вчили їх користуватися нею. Найчастіше вчив Збігнев Левандовський, «Рейка», заступник командира варшавського осередка та шеф Бюро Технічних Досліджень АК. Левандовський розповідає, що на «лекції» з гетто приходило лише дві особи, жінка і чоловік, і це спершу його засмучувало, але виявилось, що цей чоловік був хіміком, орієнтувався дуже швидко і передавав інструкції «Рейки» колегам у гетто. Крім інструкцій вони також отримували хлорат карбонату калію й самі додавали до нього сірчану кислоту, бензин, папір, цукор та клей і робили пляшки із запальною сумішшю. «Коктейль Молотова?» — перепитую я. Але доцент Левандовський обурюється: «Навіть порівняти не можна! Наші пляшки були тендітні, легкі, обкладені цим хлоратом та загорнуті в папір, а запальні точки вони мали по всій поверхні. Це дійсно була тонка та елегантна річ. Найновітніше досягнення Бюро Технічних Досліджень АК». «Взагалі, все, що ми давали ЖОБу, — продовжує «Рейка», — і пляшки, і людей, і зброю, було найкращим з усього, що ми могли тоді дати».

Доцент Левандовський досі не знає імені чоловіка, який приходив на Маршалковську, 62 (перший поверх, коридор ліворуч). «Це був високий, худий шатен, — розповідає він. — Не з тих, кого називали бойовими «пістолетами», а тихий і спокійний чоловік. Проте, — додає доцент, — в особливо небезпечних операціях кращими були не «пістолети», а ось такі, непоказні».

— Чоловіка, якого ви навчали, звали Міхалом Клепфішем, — кажу я доцентові.

Разом зі Станіславом Хербстом «Вацлав» описав перебіг подій упродовж першої великої ліквідаційної акції, через Париж та Лісабон кур'єр перевіз

мікрофільм з матеріалами акції, і на Різдво, напередодні нового, 1942 року, генерал Сікорський підтвердив надходження цього рапорту. Юрек Вільнер, представник ЖОБу на арійському боці, щодня приносив з гетто відомості, завдяки чому донесення були актуальними і їх відразу передавали до Лондона. Наприклад: «Настрій несамовитої паніки: о 6.30 розпочато акцію, кожен готує себе до того, що його можуть забрати о будь-якій порі, з будь-якого місця...

...Остання фаза ліквідації почалася в неділю. Цього дня всі євреї були зобов'язані о десятій годині з'явитися до Гміни. Тут почали видавати номерки на життя, які кожен повинен носити на грудях. Це жовті картки з написаним від руки номером, завіреним печаткою Гміни та підписом. Номерки безімнені...

...Минулого тижня на Умшлагпляці один кілограм хліба коштував 1000 (тисячу) злотих, одна сигарета — 3 зл.

...Северин Майде важкою попільничкою вдарив у голову одного з жандармів, які прибули за ним. Майде, звісно, розстріляли. Це єдиний випадок цілеспрямованої самооборони...

...Пасажири, які проїжджають повз Треблінку, стверджують, що поїзди на цій станції не зупиняються.

І так щодня: Вільнер приносить з гетто інформацію — «Вацлав» складає рапорт — радіотелеграфісти передають його до Лондона, а лондонське радіо, всупереч тогочасним звичаям, не дає у своїх передачах жодної інформації на цю тему. Радіотелеграфісти за дорученням своїх начальників питають, з якої причини нічого не передається, але БіБіСі і далі мовчить. Тільки через місяць в інформаційному блоці подаються перші відомості про щоденні десять тисяч і про Умшлагпляц. А все тому, що, як виявилось, Лондон весь цей час просто не вірив у рапорти «Вацлава». «Ми думали, що ви перебільшуєте з метою антинімецької пропаганди...» — пояснювали вони, коли вже мали підтвердження з власних джерел... Юрек Вільнер крім повідомлень приносив з гетто також тексти депеш, наприклад, депеші до Єврейського Конгресу у США, що закінчувалися словами: «Браття! Останні у Польщі євреї живуть і переконуються, що в найстрашніші дні нашої історії ви не допомогли нам. Озовіться! Закликаємо вас востаннє».

У квітні 1943 року «Вацлав» передає Антеку зі штабу Єврейської Бойової Організації наказ генерала Монтера, «що вітає збройні дії варшавських євреїв», а пізніше повідомляє, що Армія Крайова буде форсувати мури гетто від Боніфратерської і від Повонзек.

До сьогодні «Вацлав» не знає, чи дійшло це останнє повідомлення до гетто, але, скорш за все, дійшло, оскільки Анелевич щось таке говорив про наступ АК, на який він сподівався. Навіть хлопця туди виряджали, але він не дійшов (його спалили на Милій, його крик було чути цілий день), але хвилина, коли Анелевич отримав повідомлення, була єдиною

хвилиною, коли до нього повернулася надія, хоча йому одразу сказали, що нічого з цього не вийде, там ніхто не пройде.

На Милій кричав охоплений полум'ям хлопець, а по інший бік стіни, посеред дороги, лежали двоє хлопців, які мали закласти 50 кілограмів вибухівки під мури гетто. Збігнев Млинарський — на псевдо «Кріт» — говорить, що це дійсно було фатальним. Те, що отих двох відразу вбили і нікому вже було пробитися до муру з вибухівкою.

— На вулиці нікого не було, німці стріляли в нас звідусюди. Кулемет з даху лікарні, який до того обстрілював гетто, почав стріляти в нас. За нами, на площі Красинських, стояла рота СС, тож Пшениий підпалив міну, що мала висадити в повітря мур. Вона вибухнула на вулиці і розірвала тіла тих двох наших хлопців. Ми почали відходити.

— Сьогодні, — каже пан Млинарський, — я вже знаю, як потрібно було зробити: треба було увійти до гетто і підпалити вибухівку зсередини, а наші люди мали чекати з іншої сторони і вивести повстанців.

От тільки, як добре подумати, скільки б їх вийшло? Кільканадцять, не більше. І чи взагалі захотіли б вони вийти?

— Для них, — каже пан Млинарський, — це було ділом честі. Запізно, але насамкінець вони зробили цей болісний акт. І добре, що зробили, бо хоча б честь євреям врятували.

Точно те саме говорить Хенрик Грабовський, в чий квартирі Юрек Вільнер переховував зброю, і який потім витяг його з гестапо:

— Ці люди зовсім не хотіли жити, і треба віддати їм належне, що вони мали здоровий глузд і хотіли загинути в бою. Тому що і так смерть, і так смерть, то краще вже померти зі зброєю в руках, ніж отак ганебно.

Пан Грабовський і сам це відчув — що краще загинути в бою — коли його затримали біля гетто саме в той час, коли він виходив з пакунком від «Мордка» («Перепрошую, — виправляє свою помилку пан Хенрик, — від Мордехая, бо треба шанувати звання та заняття»), і коли його поставили до муру, а люфи направили на нього, ось так, приблизно на рівні отого камінчика в серванті. Він тоді подумав: хоч би вкусити цього шваба, хоч би очі йому видряпати... (На щастя, серед них був старший поліцай, пан Віслоцький, якому він сказав: «Добре, пан Віслоцький, хай вже пан робить свою справу, але хай пан знає, що я тут не один, тож щоб не було потім у пана якихось неприємностей з цього приводу...») — і пан Віслоцький зразу все зрозумів, і його відпустили).

Пан Грабовський знав «Мордка» ще з довоєнних років. «Це був хлопець з наших, повісянських. Ми були з однієї компанії, на діло разом ходили, розбиратися з кимось чи то морду чужим начистити, ну, там хлопцям з Волі або з Верхнього Мокотова. Завжди разом ходили».

У пані Грабовської була та ж біда, що й у пані Анелевичової, тільки вона торгувала не рибою, а хлібом. То коли за цілий день продасть з десяток хлібін, із сорок тістечок і трохи корінчиків — це вже все.

Вже тоді було видно, що Мордко битися вміє добре, тому пан Грабовський зовсім не здивувався, коли зустрів його в гетто уже як Мордехай — навпаки, це було цілком природно. Хто ж має бути командиром, як не наша людина з Повісля. (Тоді Мордехай сказав йому, щоб він переказав хлопцям у Вільно, аби збирали гроші, зброю і здорову, надійну молодь).

Перед війною пан Грабовський був харцером, усіх його знайомих із старшої харцерської групи розстріляли в Пальмірах, усіх п'ятдесят, а він вижив, і тепер дістав доручення від свого харцерського керівництва їхати до Вільна і організувати євреїв для боротьби.

У віленській колонії пан Грабовський познайомився з Юреком Вільнером. У колонії був жіночий домініканський монастир, настоятелька якого переховувала у себе кількох євреїв. (Я сказала моїм сестрам: «Пам'ятайте, що говорив Христос: «Немає більшої любові до Бога, ніж та, коли відаєш життя своє за ближніх своїх». І вони зрозуміли...).

Юрек Вільнер був улюбленцем матері-настоятельки — блондин з голубими очима, він нагадував їй брата, якого вивезли до Німеччини. Отож вони часто розмовляли: вона розказувала йому про Бога, а він їй — про Маркса, а коли він виїжджав до Варшави, до гетто, з якого вже мав не повернутися, то залишив їй найцінніше, що у нього було — зошит з віршами. Він записував у цей зошит те, що найбільше любив і що вважав найважливішим. Зошит у коричневій шкіряній обкладинці, з пожовклими листками, де все розписано рукою Юрека (ім'я польське, не своє, а вигадане матінкою-черницею), настоятелька зберегла до сьогоднішнього дня. «Ця книжка пройшла багато чого — і обшуки гестапо, і табір, і ув'язнення, я хотіла б перед смертю передати її в руки, гідні його пам'яті».

Із зошита Юрека Вільнера:

Не дивись — не дивись — не дивись — що попереду,
перед тобою
 (Тупіт ніг — тупіт ніг — тупіт ніг — вгору, вниз,
вгору, вниз)

Люди-люди— від бігу цього — скаженіють,
не можуть спинитись

Так, спочинку нема на війні
 Спробуй — думай — згадай — про щось давнє,
щось інше

Боже мій — Боже мій — Боже мій — хоч би розум
врятуй від безумства!
 (Тупіт ніг — шкарбани — тупіт ніг — вгору, вниз,
вгору, вниз)

Бо спочинку нема на війні
 Можем — зносити — ми — голод — холод,
і спрагу, і втому

Але — ні — але — ні — але — ні — лиш не це, безупинне
 (Тупіт ніг — тупіт ніг —
 тупіт ніг — вгору, вниз,
 вгору, вниз)

Так, спочинку нема на війні.*

Отже пан Грабовський познайомився з Юреком у колонії, і коли Юрек приїхав до Варшави, то оселився у пана Грабовського на вулиці Підхорунжих. Всі євреї з Вільна, прибуваючи до Варшави, попервах залишалися у пана Грабовського, а він відразу йшов з ними на ринок, аби купити якийсь одяг. «Тоді в моді були лижні шапочки, такі з маленьким дашком, але їм у них було недобре, бо вони дивним чином підкреслювали ніс, отож він їм і говорив — велосипедні шлеми — так, капелюхи — будь ласка, але лижні шапочки — ні в якому разі!» Він ще займався тим, що вносив певні корективи в їхню поведінку, навіть ходу виправляв, щоб вони рухались «без єврейського акценту».

Пан Грабовський зробив тоді цікаві спостереження: той з них, хто боявся найбільше, видавався найбридкішим — бо у нього якось викривлялися риси обличчя. І навпаки, ті, що не боялися — такі як Вільнер або Анєлевич — це дійсно були красиві хлопці, у них навіть обличчя мало інший вигляд.

Як предствник ЖОБу на арійській території (про цю місію Вільнера пан Грабовський дізнався пізніше, вже після війни; в той час людина бажала знати якомога менше, аби чого не бовкнути на допиті) Юрек контактував з «Вацлавом» та офіцерами, коли ж він не міг забрати до гетто всіх передач, то залишав пакунки у пана Грабовського або у босих кармеліток на Вольській: то револьвери, то ножі, то трохи тротилу. У кармеліток тоді ще не було таких суворих обмежень, як сьогодні, їм було можна показувати обличчя чужим людям, тож Юрек, змучений своєю ношею, відпочивав у них на складаному ліжку за ширмочкою у сповідальні. У тій самій сповідальні по один бік чорної, залізної решітки сидить він, а по другий бік — у ніші, в напівтемряві — мати-настоятельница. Ми сидимо і розмовляємо про ці посилки зі зброєю для гетто, які майже рік проходили через їхній монастир. Чи не було у вас якихось вагань? Матір-настоятельница не розуміє, про що йдеться...

— Щодо зброї в такому святому місці...

— Пані хоче сказати про те, що зброя призначається для вбивства людей? — перепитує матір-настоятельница. Ні, вона якось не замислювалася над цим. Думала вона лише про те, що коли вже Юрек скористається цією зброєю і коли настане його остання година, аби він встиг покаятися і поєднатися з Богом. Вона навіть просила, щоб він їй це пообіцяв, а тепер вона питає мене, як я думаю, чи пам'ятав він про цю обітницю, коли вистрелив у себе у бункері, на Милій, 18.

* Переклад вірша Р.Кіплінга «Пилука» («The Dust»).

Коли Юрек разом зі своїми друзями вже скористався зброєю — небо над тією частиною міста стало зовсім червоним, і його відблиск було видно в снігах монастиря. Тому саме тут, а не в каплиці, щовечора збиралися кармелітки і читали псалми («*Нас за Тебе вбивають щодня, нас тримають як агнів жертвовних. Устань, Господи, чому Ти спиш?*»), і вона просила Бога, щоб Юрек Вільнер прийняв свою смерть без остраху.

Так от. Юрек збирав зброю, а пан Грабовський, зі свого боку, енергійно допомагав йому проводити закупівлю. Одного разу добув з двісті кілограмів селітри та деревного вугілля для вибухівки (все це він купив у Стефана Оскоби, власника аптеки на площі Нарутовича), а якось придбав 200 г ціаністого калію, який євреї хотіли мати при собі на випадок арешту. Це були маленькі, сіроголубі пігулки, і пан Хенрик насамперед випробував їх на коті. Зішкрябав трошечки, посипав шматочок ковбаски, кіт відразу здох, тож пан Хенрик вже спокійно віддав ці пігулки Вільнерові. Бо пан Хенрик — як власник павільйону, де торгували салом та м'ясом — мав свою купецьку честь, і не міг продати другові поганого товару.

Хенек «Слоніяж» (*Той, що продає сало. — В.К.*) — саме такий псевдонім мав пан Грабовський — і Юрек Вільнер дуже приятелювали. Коли вони спали на одному сіннику (в ліжку спала дружина пана Хенрика з маленькою дочкою, а під ліжком лежали пакунки з тими ножами та гранатами), то розмовляли про все. Про те, що холодно, що хочеться їсти, що убивають і що треба буде загинути. «Якщо взагалі говорити про інтелект, — згадує пан Хенрик, — то Юрек мав філософський розум, тож ми часто розмовляли про сенс усього цього, і він мав на життя такий собі загальнолюдський погляд».

Із зошита Юрека Вільнера:

А за день — не зустрінемось вже
А за тиждень — не привітаємось
А за місяць — вже не згадаємо
А за рік — не пізнаємо
Сьогодні ж ніч над чорною рікою
Ніби власну труну відкриваю рукою
Слухай — рятуй мене
Слухай — люблю тебе
Чуєш — я вже далеко

У перші дні березня 1943 року Юрека Вільнера арештувало гестапо. — Вранці того самого дня, — розповідає меценат Воліньський, — я був у нього на Спільній вулиці, а о другій годині німці оточили будинок і забрали його разом із документами та зброєю. У нас було таке неписане правило, що якщо хтось потрапить до гестапо, то мусить мовчати принаймні три дні. Потім, якщо він навіть зламається і заговорить — до

нього не буде претензії. Юрек Вільнер був під тортурами цілий місяць і нічого не видав — ні зв'язків, ні адрес, хоча знав їх багато на арійському боці. Він врятувався якимсь дивом наприкінці березня, але повернувся до гетто і вже не був здатним до жодної роботи: у нього були понівечені ступні, і він не міг ходити.

Дивовижну втечу, про яку говорив меценат Воліньський, організував другові Хенрик Грабовський. Він довідався, що Юрек знаходиться в таборі на Горохові, прокрався туди через болото, витяг його і забрав до себе додому. У Юрека були повідбивані нігті, нирки та ступні, його катували щодня, і якогось дня він приєднався до групи, призначеної на розстріл, маючи надію на те, що з ним швидше закінчать. Виявилось, що групу завезли для роботи на Горохів — там його і знайшов Грабовський.

Юрека лікували всі — пан Грабовський, його матір, його дружина, мазали йому чимось ті нігті, що відшаровувались від рук, давали якісь порошки, після чого у нього була сеча голубого кольору, і нарешті Юрек набрався сили і сказав, що хоче повертатися до гетто. А пан Грабовський сказав: «Юрек, навіщо тобі це, я відвезу тебе в село...» Але Юрек твердив, що мусить повернутися. А пан Грабовський казав, що добре його сховає і що ніхто його до кінця війни не знайде. А Юрек говорив, що мусить повернутися.

Вони навіть не попрощалися. Коли колеги прийшли по Юрека, пана Хенрика не було вдома. Коли почалося повстання в гетто, пан Хенрик зразу зрозумів, що для Юрека це означає кінець. Що з цього скандалу він вже точно не вийде. Не із скандалу, власне кажучи, а з цієї трагедії.

Дійсно, Юрек не вийшов. З одного з останніх донесень ЖОБу можна довідатись, що саме Юрек подав сигнал до самогубства у бункері на Милій, 18.

«Враховуючи безнадійне становище, щоб не потрапити живцем до рук німців, Ар'є Вільнер закликав бійців до самогубства. Найпершим Лютек Ротблат застрелив свою матір, а потім себе. В схроні знайшла смерть більша частина Бойової Організації на чолі з її командиром Мордехаєм Анелевичем».

Після війни пан Хенрик (спочатку у нього була автомастерня, потім таксі, а потім він мав роботу на транспорті і служив як робітник розумової праці у технічному відділі) часто думав про те, чи добре він зробив, що дозволив Юреку піти. На селі він напевно підлікувався б, зміцнів... «Але знову-таки, якби він вижив, то може б мав до мене претензії? Напевно мав би. Що він — живе. І це було б ще гірше...»

Із зошита Юрека Вільнера:

Отже ще раз. Знов те ж саме.
Завжди вмерти хтось завадить

Чи то зашморг переріже.
Вчора чув я смерть кістками,
вічність входила у груди.
Подають мені в ложечці
ліки, щоб жити,
Я не хочу вже ліків,
несила їх пити,
То дозвольте — нехай мене знудить.
Знаю я, що життя — келих повний,
і що світ уявляється добрим й здоровим
тим, хто з келиха п'є.
Та життя в мою кров вже не входить,
тільки в голову б'є...
Інших живить життя, а мені воно шкодить.

— Я написав до нього, до гетго, — каже меценат Воліньський, «Вацлав». — Не пам'ятаю вже, що я писав, але це були чуйні слова. Слова, які так важко написати. Я дуже шкодував за ним після його смерті. Мені було дуже шкода кожного з цих людей. Таких гідних. Таких геройських. Таких польських.

Після Юрека Вільнера зв'язковим ЖОБу на арійській території залишився Антек — Іцхак Цукерман.

— Це була дуже мила і енергійна людина, але Антек мав одну жакливу звичку: він завжди носив з собою торбу з гранатами. В розмові це мене трохи бентежило, я все боявся, що вони вибухнуть.

Одна з перших депеш, яку «Вацлав» вислав до Лондона, стосувалася грошей. Вони були потрібні його єврейським підопічним для придбання зброї, і спершу прийшло п'ять тисяч доларів із закинутих у фашистський тил.

— Я віддав їх Миколаєві з «Бунду», аж тут прибігає до мене Боровський, сіоніст, зі скаргою: «Пан Вацлав, — каже, — він у мене все забрав і нічого не хоче дати, скажіть йому що-небудь». Але Миколай уже віддав ці гроші Едельману, а Едельман — Тосі, а Тося сховала їх під шіткою для натирання підлоги, і, як вони невдовзі переконалися, це була прекрасна ідея, бо під час обшуку перетрусили всю квартиру, але нікому навіть в голову не прийшло шукати під шіткою для натирання. За ці гроші на арійському боці купили зброю.

Пізніше Тося викупила «Вацлава» з гестапо: хтось сказав їй, що його заарештували, а вона зразу подумала: хто знає, може, вдасться щось влаштувати за допомогою перського килима. І дійсно, завдяки перському килиму «Вацлава» таки витягли звідти. «Та що там говорити, — каже Тося, — це справді був красивий килим. Справжній перс. Бежевий, гладенький, із візерунком довкола і медальйоном посередині».

Тося — доктор Теодозія Голіборська — остання з лікарів, що проводили у гетто дослідження голоду — на кілька днів приїхала з Австралії, тому у мешцата Воліньського сьогодні зібралось багато людей, панує товаришеске пожвавлення і галас. Всі, випереджаючи один одного, розповідають різні кумедні історії. Наприклад, про те, скільки клопоту мав «Вацлав» з тими людьми з ЖОБу, які надто швидко ліквідували агентів. Оскільки спочатку повинен бути вирок, а вже потім його виконання, а вони приходять і кажуть: «Пане Вацлаве, ми його вже прибрали». І що робити? Я змушений був писати до відділу стрільців, щоб цей формальний вирок якимсь чином владнати.

А з великою посилкою що було? Надійшло сто двадцять тисяч доларів...

— Хвилиночку, — каже Едельман, — то там було сто двадцять тисяч? Бо ми отримали половину.

— Пан Марек, — каже «Вацлав» — ви отримали все і купили зброї пістолети.

— Оті п'ятдесят?

— Та ні. П'ятдесят пістолетів ви не купили, а отримали від нас, від АК. А втім, ні, бо один пішов до Ченстохова, і цей єврей з нього вистрілив, пам'ятаєте? А двадцять пішло до Понятової...

І так вони гомонять собі — Тося ще згадує про червоний светр, в якому Марек бігав дахами, і каже, що це була звичайнісінька ганчірка порівняно з тим светром, який вона надішле йому з Австралії — а коли ми вже повертаємося додому, Едельман раптом згадує: «Це тривало не місяць. Це було кілька днів, тиждень — не більше».

Йдеться про Юрека Вільнера. Про те, що він витримав тиждень, а не місяць катувань у гестапо.

Та ні, струвайте. «Вацлав» говорив про місяць, а пан Грабовський про два тижні...

«Я точно пам'ятаю, що він був там тиждень».

Це вже починає дратувати.

Якщо «Вацлав» говорив, що місяць, то хіба ж він знав, що він говорить.

Ну і що тепер? Що нам всім дуже хочеться, щоб Юрек Вільнер якомога довше витримав тортури в гестапо. Бо це все ж таки велика різниця — мовчати тиждень чи мовчати місяць. Дійсно, ми б дуже хотіли, щоб Юрек — Ар'є Вільнер — мовчав цілий місяць.

— Та добре, — каже він, — Антек хоче, щоб нас було п'ятсот, літатор С. хоче, щоб рибу фарбувала матір, а ви хочете, щоб він сидів місяць. То нехай буде місяць, адже це не має ніякого значення.

Те ж саме з прапорами. Вони майоріли над гетто з перших днів повстання: біло-червоний та синьо-білий. Вони хвилювали людей на арійському боці, а німці з великими труднощами та тріумфом зняли їх, ніби найцінніші трофеї.

Він каже, що якщо були прапори, то ніхто інший, а тільки його люди могли їх вивісити, а вони прапорів не вішали. Вони б їх охоче почепили, якби у них було трохи червоної, білої та синьої тканини, але вони її не мали.

— То певно їх хтось інший повісив, все одно хто.

— Так? — каже він. — Можливо. Тільки я взагалі не бачив ніяких прапорів. Лише після війни довідався, що вони були.

— Це неможливо. Адже всі люди їх бачили.

— Ну, коли вже всі люди бачили, тоді напевно були прапори. А врешті, — каже він, — яке це має значення. Важливо, що люди бачили. — І це найгірше: він з усім погоджується. Навіть немає сенсу переконувати його в чомусь. «Яке це має значення», — каже він і погоджується.

— Ми маємо дещо дописати, — говорить він. Чому він живе. Коли до місця увійшов перший солдат-визволитель, він затримав його і спитав: «Ти єврей? То чому ж ти живеш?» У голосі чулася підозра: може, видав когось? може забрав у когось хліб? Тому він повинен його зараз запитати, чи часом він не вижив за чийсь рахунок, а якщо ні — тоді чому він, власне кажучи, вижив. Тоді він спробує все пояснити. Він розкаже, наприклад, як йшов на Новолипки, туди, де було їхнє приміщення, аби повідомити когось, що Інка, лікарка зі шпиталу на Лешні, лежить непритомна в пустій квартирі навпроти. Коли лікарню виганяли на Умшлагпляц, Інка дала дітям отруту, сама проковтнула ампулу люміналу, вдяглася у нічну сорочку та лягла на ліжко. Він її знайшов, переніс — вдягнув у рожеву нічну сорочку — через вулицю до будинку, з якого вже всіх вигнали, і тепер хотів сказати, що треба буде її звідти забрати, якщо вона залишиться жити.

Поперек дороги на Новолипках тягнувся мур — далі була арійська територія. Раптом з-за муру висунувся есесівець і почав стріляти. Він вистрілив кільканадцять разів — і кожного разу куля йшла на якісь півметра правіше від нього. Можливо, у есесівця був астигматизм — це вада зору, яку можна виправити скельцями, але німець вочевидь свого астигматизму не виправляв, тож він і не влучив.

— Оце й усе? — питаю я. — Те, що німець не носив потрібних окулярів?

Але є ще одна історія. Історія про Метек Дуба.

Якогось дня не вистачило контингенту, забракло до тих десяти тисяч на Умшлагпляцу трохи людей, і Едельмана схопили на вулиці й посадили на віз — на підводі, якою всіх возили на Ставки. Підвода була запряжена двома кіньми, поруч з візником сидів єврейський поліцай, а позаду — німець. Уже проїхали Новолипки, коли він побачив, що вулицею йде Метек Дуб. Він був членом Польської соціалістичної партії (ППС), і його на-

правили на службу в поліцію. Метек жив на Новолипках і якраз повертався з роботи додому.

Він крикнув: «Метек, мене схопили», а Метек підбіг, сказав поліцаєві, що це його брат, і йому дозволили зіскочити. Тоді вони пішли додому до Метека. Там був його батько, маленький, худий, голодний. Він неприязно на них глянув: «Метек знову когось зняв з воза, так? І знову нічого не взяв? Він міг би за це вже тисячі мати. Він міг за це викупити хліб за картки. А що він робить? Знімає з воза ні за що». — «Тату, — сказав Метек, — не хвилюйся. Зате я зробив добрий вчинок і тепер піду на небо». — «Яке небо? Який Бог? Хіба ти не бачиш, що робиться? Ти не бачиш, що Бога вже давно немає? А якщо навіть є, — старий понизив голос, — то Він на ІХНЬОМУ боці». На ранок батька Метека забрали — Метек не встиг зняти його з воза і відразу після цього пішов до лісу, до партизанів. Ось другий приклад, коли він напевно вже повинен був загинути, але випадок знову його врятував. Першого разу його врятував астигматизм есесівця, а на другий раз Метек Дуб, що саме повертався з роботи додому.

У дівчаток, яких привезли з рожевою піною на губах (які встигли вирости і покохати, і народити дітей, тож вони встигли значно більше, ніж дочка пані Тененбаумові), було звуження клапанів; клапани — це ніби такі пелюстки, що ритмічно рухаються і пропускають кров. Якщо вони звужені, то крізь них проникає замало крові і може настати набряк легенів, серце починає працювати швидше, щоб отримати більше крові. Але надто швидко воно теж працювати не може, тому що камера не встигне наповнитися кров'ю... Оптимальна робота серця це чотири тисячі двісті ударів на годину, а на добу понад сто тисяч, за цей час серце проганяє сім тисяч літрів крові, або п'ять тон... Я знаю це від інженера Сейдака, який говорить, що серце — це механізм, і як будь-який механізм має свої особливі властивості: воно має величезні резерви продуктивності праці, а його матеріальний зужиток є невеликим, тому що воно може регенерувати зужиті частини, якщо хочете, виконувати поточний ремонт. Коли серце стає не в силі робити ремонт, воно починає хворіти. Найчастіше в ньому псується клапани, це і зрозуміло, каже інженер Сейдак, оскільки вони є чимось на зразок машинних клапанів чи то заслонок, а в кожному механізмі клапани псуються найлегше, взяти хоча б автомобіль. Інженер Сейдак сконструював для Професора апаратуру, що служить заміною для справжнього серця під час проведення ремонту, тобто під час операції. Ціна штучного серця сягала чотирьохсот тисяч злотих. Коли роботу було закінчено, до лабораторії приїхав контролер і виявив, що цю суму не записали де належить, отже, винахідник примусив свій заклад піти на витрати і таким чином скоїв господарчий злочин. На щастя, інженер підклав відповідні папери, а контролер був настільки ввічливим, що не вніс справи до протоколу.

Зараз інженер працює над новою машиною. Вона допоможе серцю нагнати кров через звужені судини і дозволить хворим пережити час між інфарктом та операцією. Більшість людей помирає відразу після інфаркту, не дочекавшись операції. Якщо це буде хороша машина, вона врятує життя багатьом людям, і принаймні (як каже Едельман) прикриє свічку ще на якийсь момент.

Не треба плекати надто великих надій щодо цього. Адже Він уважно стежить і за інженером, і за Професором, і за всіма їхніми зусиллями, і зуміє завдати удару, на який менше за все сподівалися. Наприклад, вони думали, що все вдалося, що вони у безпеці, а Стефан, брат Марисі Савіцької, був, мабуть, найщасливішою людиною, бо йому було сімнадцять років і він дістав перший у житті револьвер. Марися Савіцька, та, що перед війною бігала разом із сестрою Міхала Клепфіша на вісімсот метрів. Отож, Стефан мав сімнадцять років і першу зброю, і радість, що він був учасником акції (в групі, яка прикриває їх вихід з каналу), його так і розпирала. Він не міг всидіти вдома і збіг вниз до кондитерської. Тієї ж хвилини до кондитерської зайшов німець і помітив револьвер в кишені Стефана. Він вивів його і застрелив на місці, під будинком, під вікнами Марисі.

Іноді це справжній двобій, і Він не може втриматись від того, аби не розсіпати перед суперником дрібних неприємностей. Взяти хоча б випадок Рудного: кудись подівся лікар з коронографії — у рентгенівському апараті не горіла лампочка — операційна замкнена — операційних сестер не було... Впродовж усього цього часу болі посилювалися, і кожна хвилина болю могла стати останньою, а всі ще були в пошуках машин, лікарів, лампочок і сестер. Але все одно встигли. О третій годині ночі, коли вони подякували Професору, а Професор, Ян Молль, подякував їм, коли в серці пана Рудного кров текла вже ширшою, наміченою шматочком вени дорогою, коли саме серце працювало нормально, вони нарешті подумали, що, мабуть, таки вдалося, вдалося їм перемогти і на цей раз.

Перед операцією Рудного він не знав напевно, чи можна його оперувати в гострому стані, тому що він теж читав книжки, де написано, що не можна; тож він вийшов з лікарні, аби ще раз про все спокійно подумати, і зустрів доктора Задрожну. Спитав у неї: «Оперувати? Як ти думаєш?», а доктор Задрожна дуже здивувалася. «Що? — сказала вона. — У вашій ситуації?..» Тому що у них якраз були неприємності, коротше кажучи, саме у нього були неприємності, бо йому запропонували піти з роботи, а Ельжбета Хентковська і Ага Жуховська вирішили на знак солідарності піти з роботи разом з ним — от такі там були справи, і цього було досить, щоб доктор Задрожна мала право на здивування: невдала, ризикована операція не полегшила б їм пошук нового місця роботи. Але коли він почув оте «Що? У вашій ситуації?..», то відразу зрозумів, що вже нема чого роздумувати. Рішення виникло ніби без його особистої участі. Він повер-

нувся до лікарні і сказав: «Оперуємо», а Ельжбета навіть присоромила його: він собі десь ходить, хоча добре знає, що важливою є кожна хвилина.

Або такий випадок. Привозять хвору, і всі кажуть, що у неї кататонія, такий різновид шизофренії, коли хворий не їсть, не рухається з місця, спить і не можна його пробудитися. Лікують її від цього впродовж п'ятнадцяти років. А вони роблять під час сну аналіз крові, і виявляється, що вміст цукру тридцять два проценти. І їм спадає на думку, що це взагалі не шизофренія, а просто щось негаразд з підшлунковою залозою. Оперують підшлункову — і тут напруга починає зростати: відразу ж після операції цукру виявляється сто тридцять, це трохи більше, ніж має бути, а за дві години — шістдесят, здається, що цукор стабілізувався.

Закінчується справа з підшлунковою. Починається буденність, але з'являється таємнича історія, пов'язана з вапном, яке несподівано починає зростати у хворого на нирках. Треба питати у колег, які первинні клінічні ознаки гіперфункції надниркової залози, але, ясна річ, що про це ніхто не знає, бо такі випадки трапляються один раз на багато років. Телефонують до Парижа — там є спеціалісти в галузі вапна — ті кажуть, щоб надіслали їм гормон для дослідження в спеціальному контейнері при температурі мінус тридцять два градуси, але пацієнт має вже шістнадцять вапна, а як матиме двадцять, то відразу помре. Вони везуть його до Варшави, в надії, що дорогою до двадцяти не натягне; власне, в той момент, коли його кладуть на операційний стіл — у нього двадцять, і він втрачає свідомість.

Закінчується справа із наднирковою залозою. Починається буденність.

Я розповідаю про все панові Збігневу Млинарському, псевдонім «Кріт», тому самому, який намагався підірвати мур на Боніфратерській і замірявся стріляти якраз тоді, коли по інший бік муру, у Едельмана, приєднували проводи до єдиної повстанської міни. (Пан Млинарський замірявся стріляти — й те ж саме робив жандарм, але, на щастя, пан Млинарський виявився на якусь часточку секунди швидшим від того жандарма). Тому я і питаю пана Млинарського, чи все він розуміє щодо Едельмана. І він говорить, що чудово все розуміє. Наприклад, він сам після війни був головою кушнірського кооперативу і добре пам'ятає цей час, оскільки мусив діяти швидко і приймати рішення. Якось з оборотних коштів він полагодив дах, бо хутро заливало. Йому погрожували судом, а він сказав: «Будь ласка, судіть мене, неформальним чином я використав два мільйони, але врятував тридцять». Таке рішення дійсно вимагало сміливості: подумати тільки — оборотні кошти в той час віддати на покриття даху. «В житті йдеться саме про це, — підсумовує пан Млинарський. — Про швидкі чоловічі рішення». Після кооперативу пан Млинарський працював уже в своїй приватній майстерні. Він робив хутро для державних фірм. У нього працювало четверо співробітників, і він мав спокій з фінансовим відділом. Один із людей розтягував шкіри, другий

вирізавав, третій вичинював, четвертий обробляв, а вже пан Збігнев займався найбільш відповідальною роботою — укладанням. Тому що найважливіше в кушнірстві, щоб шкірка пасувала до шкірки.

Повним життям пан Млинарський жив, власне кажучи, тільки під час війни: «Як чоловік я непоказний, маю лише шістдесят кіло і сто шістдесят три сантиметри, а все ж таки був сміливіший за тих по метр вісімдесят». Це вже пізніше він укладав товар так, щоб шкірки пасували одна до одної. «І як же можна серйозно до цього ставитись? — питає він. — Після воєнного часу — укладання каракулевих шкір?» Тому він так добре розуміє доктора Едельмана.

Тож йдеться лише про те, щоб прикрити полум'я.

Але Він, як ми вже казали, стежить за цими зусиллями уважно і може так хитро все зробити, що для будь-чого буде пізно. Коли беруть кров на дослідження і виявляється, що це гліміт — вже нічого зробити неможливо. Чому Ельжбета Хентковська прийняла гліміт? У неї була гематома в потиличній частині черепа. Вона плутала слова, не пам'ятала найпростіших рецептів, можливо, тоді вона навіть забула адресу, або як увімкнути світло, щось подібне...

Чому Ельжуня прийняла отруту? У неї було все — батьки, які любили її, кімната з дорогими іграшками, а пізніше відмінний диплом і красивий наречений, але якогось дня вона проковтнула снодійне, і після неї залишилася ця красива, салатово-біла кімната, в якій її добрий американський батько не дозволяє пересувати жодної речі і каже, що так має залишатись назавжди. Американський батько питав доктора Едельмана, чому вона так зробила. Він не знав, що відповісти, хоча це була Ельжуня — дочка Зигмунта, Залмана Фридріха, який казав: «Я цього не переживу, але ти переживеш, тож пам'ятай, що в Замості, в монастирі, знаходиться моя дитина...» Зигмунт вистрілив потім у рефлектор, завдяки чому вони зуміли проскочити мур, а Ельжуню Едельман відшукав одразу ж після війни, і жодній з них він не встиг допомогти, ані тій, яка помирала в Нью-Йорку, ані тій, яка помирала в Лодзі...

Так от — ніколи до кінця не знаєш, хто кого випередив. Часом тішить те, що тобі все вдалося, тому що ти все перевірів і підготував, і переконав людей, і знаєш, що нічого поганого не повинно статися, а Стефан, брат Марисі Савицької, гине від того, що його розриває радість. А Целіна, яка вийшла разом з іншими через канали на Простій, помирає, а він тільки і може пообіцяти їй перед смертю, що помре гідно і без страху. (Потім він був у кібуці імені Героїв Гетто, недалеко від Хайфи, на похованні Целіни — Цивії Любеткін. Їх було троє з каналу на Простій, він, Маша та Пніна, і Маша, як тільки його побачила, прошепотіла: «Знаєш, сьогодні я знову його чула». «Кого?» — запитав я. «Не роби вигляд, ніби ти не знаєш, — розсердилася Маша. — Тільки не роби вигляд, що не розумієш». Йому пояснили, що Маша знову чула крик хлопця, який пішов

довідатися, що означає повідомлення «чекати в північній частині гетто». Його спалили на Милій, він кричав цілий день, і Маша, яка була тоді в бункері поруч, щодня чує його крик. Вона чує його в місті, віддаленому на три тисячі кілометрів від Милої і від бункера, — і шепоче: «Слухай, сьогодні знову. І дуже виразно»). А до хазяйки Абраши Блюма стукає двірник. Він каже: «У пані є єврей». Далі замикає двері зсередини і простує до телефона. (На цього двірника Армія Крайова видала пізніше смертний вирок, а Абраша вискочив з вікна на дах, зламав ноги і лежав отак, аж поки не приїхали гестапівці). А людина помирає на операційному столі, тому що у неї обширний інфаркт, якого не було визначено ані коронаграфією, ані ЕКГ... Ти добре пам'ятаєш про ці хитрощі, і навіть якщо операція закінчилася успішно — чекаєш.

Настають довгі дні чекання, бо тільки згодом буде видно, чи пристосується серце до вшитих шматочків вен, до нових артерій та ліків. Потім поступово ти заспокоюєшся, приходить упевненість... І коли ця напруга і ця радість вже абсолютно з тебе виходять — тоді, тільки тоді ти усвідомлюєш, що це за пропорція: один до чотирьохсот тисяч. 1 : 400 000. Це просто смішно. Але кожне життя для кожної людини являє собою всі сто процентів, і можливо, саме в цьому полягає суть.

Переклав з польської Володимир Каденко

Григорий Канович

ВЕРА ИЛЬНИЧНА

Маленькая повесть

I

Ей никуда не хотелось ехать. Ни в Израиль, ни в Германию, ни в Америку. Никуда. Разве что на еврейское кладбище к мужу — Ефиму, или на староверское — к сестре Клавдии. Раньше она на каждое ездила по два раза в неделю, чтобы очистить от упавшей хвои надгробья; промыть на них поблекшие, как ее собственные глаза, надписи; убрать увядшие в пластмассовых вазончиках цветы и заменить их свежими (она любила астры и красные гвоздики и покупала их всегда у одной и той же старухи-польки на Калварийском рынке) или просто на час-другой удрать из дому от осточертевшей кухни или телевизора, показывающего с утра до ночи то бессмысленную пальбу и драки, то каленую на мексиканском солнце страдающую от неразделенности любовь, и, забыв про все заботы, посидеть в дремотной сосновой тени на грубо сколоченной скамейке. Сидишь под старой кладбищенской сосной, вслушиваешься в потустороннюю тишину, и к тебе роем со всех сторон слетаются голоса мертвых, и от этой разногласицы все вокруг как бы оживает — и камни, и увядшие астры, и просмоленные печалью деревья, за которыми нечаянно мелькнет чье-то забытое лицо; кажется, вот-вот кто-то из покойников тебя окликнет, и ты, застыв от изумления и испуга, услышишь собственное имя.

— Верунчик!

Голос мужа Вера Ильнична всегда — даже на том свете — отличит от всех других — тихий, бархатный, как бы заранее просящий прощения не только за свой нескладный, нафаршированный смешными ошибками русский выговор, но и за все несовершенство в мире... Кроме него, никто в жизни — ни отец, ни мать — не называл ее так ласково и проникновенно, как он. Бог свидетель — никто.

Дома кладбищенского рвення Веры Ильиничны не понимали и не одобряли, но и вслух не порицали. Больше всех возмущался Семен, да и Илана была недовольна тем, что мать целыми днями напролет проводит на кладбищах. Дождь ли хлещет, солнце ли шпарит, она то в один конец города к мертвым бежит, то в другой. Тебе, говорила Илана, отец простит, если будешь к нему приходить и раз в неделю. Да и Клава не обидится. Все, что могла, ты при жизни для нее сделала. Из больницы не вылазила — ночами дежурила, немецкие лекарства через Пашину учительницу добывала. Сердце, говорила Илана, побереги. Не дай Бог, свалишься посреди улицы и сама в больницу угодишь, а то и под сосны — рядом с отцом. Тебе что — прежних инфарктов мало, хочешь своей беготней еще третей заработать...

— Если и грохнусь, то вам с Семеном только лучше станет. Спокойно соберетесь, и тью-тью... — отвечала Вера Ильинична.

— Что ты, мамуля, мелешь?!

— Похороните чин чином, глядишь, успеете и памятник поставить и без всяких угрызений совести через полгода укатите в Израиль. Семена твоего, правда, к братьям-евреям в Америку тянет, куда-нибудь в Филадельфию или Бостон, а не в Тель-Авив, но вышла маленькая заминочка — тезка Семена — дядюшка Сэм заартачился и евреев в Штаты не пускает... Сворачивайте, мол, дорогие, на Землю Обетованную, на вашу историческую родину. Что же до моего здоровья, то за беспокойство, милочка, сэнкью вери матч, ни Израиль, ни Америка меня от старости не излечат, и потому глупо менять одну чужбину на другую. Я остаюсь с отцом и Клавой.

Уламывать ее не имело смысла. От своих решений, глупых или неглупых, Вера Ильинична отказывалась редко. Решит что-нибудь — и как ножом отрежет. В сорок шестом, в первую годовщину победы над Германией, двадцатипятилетняя Верочка Филатова, секретарь-машинистка горкома комсомола, взяла и выскочила замуж за чужака — никому не известного Ефима Вижанского, молодого еврея, находившегося после тяжелого ранения на излечении в местном военном госпитале. Выйдя из госпиталя, Ефим решил немного подзаработать на обратную дорогу в родную Литву и устроился мастером в единственную в Копейске парикмахерскую, куда зачастили воспрямившие шахтерские начальники, их жены и челядь. Ходила туда делать модные паровые завивки и Вера Ильинична, которая по уши влюбилась в парикмахера-«иностранца» и в один прекрасный день пришла к отцу, горному мастеру Илье Меркурьевичу Филатову, за благословением. Илья Меркурьевич выслушал гордую своим выбором и завитушками дочь, оглядел ее высокого, черноглазого избранника, откашлялся, как опытный врач перед объявлением диагноза, и тихо сказал:

— Прости, Веронька, но за иудея я тебя не пушу... Не имею на то родительского права... А коли тебе уж так не терпится замуж, выбери себе жениха-русака. Вон сколько их, холостых, под окнами ходит...

Почему не имеет родительского права, суровый, как крещенский мороз, Илья Меркурьевич объяснять дочери не стал, да и ошарашенная Веронька не отважилась у него спросить. Спросишь, а он мало того, что не благословит — совсем от тебя отречется. Она не понимала, чем иудей хуже чуваша, татарина или своих — русаков, которые бродят по Копейску стадами. После смерти отца Вера Ильинична трижды ездила в Копейск на могилу и, стоя под заснеженными, обледелеными соснами, трижды пыталась вымолить у него прощения. Но не за то, что ослушалась и тайком бежала с цыганистым Ефимом Вижанским в ненастную, долго не желавшую смириться с советским счастьем Литву, а за то, что, узнав о его неизлечимой болезни, не бросила все и не помчалась в Копейск, чтобы облегчить его страдания — за Ильей Меркурьевичем ухаживали чужие люди. Что только она потом ни делала, чтобы замолить свой грех — и мраморный памятник отцу воздвигла, и каждый год в Вильнюсе в староверском храме поминальный молебен заказывала, и к тучному, полуглухому батюшке Порфирию на исповедь ходила.

— Полно терзаться, — утешал ее батюшка Порфирий. — Сам Христос был евреем... И Мать Богородица из того же племени.

Но в памяти всплывало: «Прости, но за иудея я тебя не пушу. Не имею на то родительского права». А что бы суровый Илья Меркурьевич, член партии с восемнадцатого года, в далеком прошлом сотрудник челябинского губчека, награжденный за борьбу с кулачеством именным маузером, сказал, попроси она сегодня его благословения на брак с агрессором-Израилем или с распроклятой Германией (это на ее земле сложил голову его младший брат Дементий)?

Нет, нет, ни дочка Илана, ни зять Семен Портнов, благополучно перекочевавший в пору перестройки, затеянной шустрым, как воробей, кубанцем Михаилом Сергеевичем, из фальшивых русских в евреи (начальник городского ЗАГСа за пухлую взятку снова вернул его после многолетнего перерыва в лоно жестоковыйного иудейского племени, к которому Сема и принадлежал со дня своего рождения в Бобруйске), ее, Веру Ильиничну, все равно уломать не смогут. Пусть они с Богом едут куда угодно — счастливого пути! Но ее пускай не трогают. Будь жив Ефим, он бы ее поддержал. В тишине еврейского кладбища ей нет-нет да начинал мерещиться его тихий, слегка картавый говорок: «Пусть они, Верочка, едут. Ты для них только обуза! Старая, больная — куда тебе в такие дали! И без тебя обойдутся. Внук взрослый, нянчить не надо. Через год, глядишь, в солдаты забреют... А тебе что там делать? Кому ты там со своей раздрызганной «Эрикой» нужна? А на скамеечке и тут можешь вволю со

старушками посидеть. В Израиле ждут не дождутся таких, как ты. Помнишь, как Шмуле-большевик тебя «фонькой» называл?.. Где гарантия, что, открыв поутру в Тель-Авиве окно, чтобы свежего воздуха глотнуть, вдруг не услышишь: «Фоньки, уберитесь в свою Сибирь!»

Ефим прав, тысячу раз прав. Куда они, безмозглые, прут: Семен — только что вынутый из печи еврей, Илана — по бабке еще и гречанка, Павлуша — серединка на половинку. Пусть, раз уж им так хочется уехать, сами завоевывают Израиль, а у нее, у Веры Ильиничны, кроме новых болячек, все позади. В молодости ни разу не выбралась за границу, а дряхлой старушечки на кой чужие края, Литва — вот она под боком, и та отвернулась задом, а ведь сорок с лишним лет тут отыщачила, всякую чепуху про счастливое завтра, про сияющие вершины, про братство и равенство народов каждый божий день на машинке печатала. А результат? Ни вершин, ни братства, ни счастливого завтра. Два инфаркта и камни в печени...

Всю жизнь Вера Ильинична мечтала хоть разок с туристической группой за границей побывать — в Праге или в Будапеште. Но даже в соседнюю Польшу не съездила. Все некогда было да некогда. То маленькая Илана все время болела — чего только не приносила из садика, и корь, и scarлатину, и ветрянку, и дифтерит; потом болел Павлик; потом она сама, Вера Ильинична, заболела (врачи даже самое страшное подозревали — ведь от рака легких помер отец, Илья Меркурьевич, а Клавдию, царствие ей небесное, саркома доконала), потом за мужа боялась — начальник АХО генерал-майор Волков, в ведении которого находилась парикмахерская МГБ, где работал Ефим, такие поездки не очень-то поощрял, требовал отчета, где был, что видел, с кем встречался. Обидно, что никуда не съездила. Но прошлые обиды, как вырванные зубы — больно только когда дергают, а когда выдернут — что за прок через полвека зубодера вспоминать и жаловаться на боль? Придет срок, и Вера Ильинична отправится за кордон навсегда: как подумаешь, разве кладбище — не за граница? За граница... Только там паспорта не проверяют и чемоданы не обыскивают и никому отчетов строчить не надо... Земля великодушна — она, матушка, всех без обысков и без отчетов принимает...

Горько, конечно, расставаться с родными людьми, особенно с Павлушей. Столько лет поднимала, холила, молилась на него... Вон как вымахал! Уральская порода. Чернявостью, может, он и не совсем в филатовскую ветвь, а больше в батьку — в Вижанских, а вот статью — вылитый Илья Меркурьевич. Рост, плечи, руки, голова, взгляд... Мужик, право слово, настоящий русский мужик... И с Иланой расставаться страшно. Работяга, по-коровьи привязчива и в житейских делах беспомощна, как ребенок... Жалко расставаться и с хватом Семеном, который в Бобруйске родился Ротшильдом, а почти полвека прожил бедняком — на сто шестьдесят рублей в месяц. Может, там, на Земле Обетованной, он, Еврей Ев-

реевич Портнов, и впрямь разбогатеет — ведь еще задолго до отъезда он, как говорится, заложил для этого фундамент — надел бархатную ермолку, стал изучать иврит и по субботам демонстративно ходить в синагогу, как раньше на партсобрании.

Ничего не поделаешь. Так устроен мир — кому уезжать, а кому оставаться. Она, Вера Ильинична, не первая и не последняя. Осталась же Пашина учительница математики Ольга Николавна. Все ее родичи Кораблевы-Файнштейны — сын с невесткой и внук Аркаша — будущий Ойстрах — еще два года тому назад сказали «Ауфвидерзен, Литауен!» и уехали в Германию, в Любек. Не прельстилась заморскими прелестями и доктор Гринева: после смерти мужа — профессора Марка Когана отпустила дочь Регину не куда-нибудь — аж в Пуэрто-Рико. Та умудрилась в Москве за студента-мулата выйти. Валентина Павловна проводила ее до Шереметьево, а сама с пудельком Джоником осталась... Хорошенький такой пуделек, кучерявенький, как негритенок... Когда дети уедут, Вера Ильинична, может статься, тоже возьмет себе такого. Валентина Павловна ей уже и адрес собачника записала, и примерную цену назвала — вполне по карману. Не оставаться же ей в квартире с пауками и мышками. Вера Ильинична птичку хотела купить — канарейку или попугайчика. Но Валентина Павловна отсоветовала. Хоть цвеньканье и приятнее лая, но с птичками не погуляешь, на колени их не посадишь, по шерстке не погладишь, в парке на одной жердочке не посидишь. Полжизни Вера Ильинична на одной жердочке с Ефимом сидела, но жердочка — трах! — и обломилась: в войну Ефим со смертью разминулся, но через тридцать лет безногая настигла его во сне: лег спать и забыл проснуться. Вдов-русачек на кладбище уже не меньше, чем еврейских. Вдовы еврейки в Литве не задерживаются, находят родственников, рассеянных по свету, и разъезжаются с детьми и внуками. Через год-другой, глядишь, некому будет за могилами присматривать.

Вера Ильинична подсчитала, что русских вдов, которые были замужем за евреями, с дюжину, пожалуй, наберется — их забросило в Вильнюс со всех концов нерушимого Соловецкого Союза... Подсчитала и то ли в шутку, то ли всерьез предложила своим товаркам объединиться — сколотить кладбищенский кооператив. Почему бы не провести под соснами возле склепа, где покоятся останки какого-то великого раввина, общее собрание и по примеру других граждан не организовать союз вдовствующих русских баб, преданно — кто десять лет, а кто и все тридцать — сторожащих вечный покой своих мужей. Сначала все только посмеялись над ее предложением, но, поразмыслив, поддержали ее и сочли идею разумной. Мол, чем мы хуже других — сейчас все, кому не лень, за свои права борются. Когда наваливаешься на власть сообща, легче чего-то от нее добиться — ограду починить, дорожки заасфальтировать, вооруженную охрану поставить...

К союзу вдовствующих русских баб пожелали примкнуть и татарка Лейла Зеналова, и якутка Роза Тумасова (она в Якутске в день смерти Сталина в сорокаградусный мороз сочеталась законным браком с кожевником, бывшим ссыльным из Литвы Яковом Хромым), и армянка Рануш Айвазян-Гомельская, и полуврейка-полукореянка Тамара Ким-Рабинович. Ни дать ни взять — Интернационал. Только неизвестно, какой по счету — Четвертый или Пятый... Учредительное собрание решили отложить до лета. Не заседать же под весенним ливнем. Кто-то, правда, выдвинул встречное предложение — обратиться до общего собрания в департамент коммунального хозяйства муниципалитета и потребовать, чтобы власти немедленно сместили смотрительницу кладбища Анеле по прозвищу Толстая Берта — взяточницу и пьянчужку, которая с бомжами и бродягами на могилах водку распивает, оставляет на плитах пустые бутылки из-под оккупационной «Столичной» и недоеденную свиную колбасу, а на место Толстой Берты назначить Веру Ильиничну. Она-то уж точно мертвых в обиду не даст.

— Вы что, рехнулись? — воспротивилась Вижанская. — Может, вы меня еще и в сейм выдвинете?

— А что? И выдвинем! Что нам стоит сейм построить! — воскликнула пламенная Ольга Кораблева-Файнштейн. — Ты ведь из нас самая-самая...

— Самая какая?

— Евреистая, — засмеялась Валентина Павловна Гринева-Коган. — А там, в сейме, кто-то же должен и еврейскими делами заниматься. Живые, положим, за себя сами постоят, а вот кто за мертвых словечко замолвит?

— Мы, мы, — сказала Вера Ильинична. — Кто же еще? Создадим свой союз, и начнем действовать.

Слух о союзе русских вдов облетел весь город. Какой-то ушлый радиожурналист, охотник за сенсациями, прознав про их затею, подстерег у ворот завсегдатайницу еврейского кладбища Веру Ильиничну и выклянчил у нее блицинтервью для передачи «Наименьшинства. Проблемы и перспективы». Не отказывайтесь, дескать. Назавтра о вас узнает не только свободная Литва, но и весь мир. Европа, Америка, Израиль...

Он осыпал ее лаврами, искушал всемирной славой, но она упорно отнекивалась.

— Прошу вас, только два слова! — бедняга кружил вокруг нее с микрофоном в руке, как с гранатой, из которой уже вынули чеку. — Какие у вашего союза ближайшие планы? Поддерживаете ли вы национальную политику председателя Витаутаса Ландсбергиса?

— Мы далеки от политики, — смутилась Вера Ильинична. — У нас одна политика — могилы наших мужей. А поддерживаем мы тех, кто поддерживает нас.

Как она ни отбивалась от его вопросов, он все-таки сумел разговорить ее и записал все на пленку.

— Вы, что, мамуля, политическим деятелем заделались? Массы поднимаете? Слышал ваше выступление по второму каналу, — озадачил тещу Семен. — Союз русских вдов! Цирк, право слово, цирк. Неужели для вас кроме кладбища ничего на свете не существует? Домой только спать приходите...

Страшно вымолвить, но ей на кладбище было лучше, чем дома. Дома сборы, споры, ссоры. Верховный главнокомандующий Семен развернул бурную деятельность — с кем-то где-то встречался, о чем-то договаривался, перешептывался, переругивался. Он долго не мог выбрать упаковщика — и этот рвач, и тот шкуродер, а если попадаете дешевый, то обязательно отъявленный халтурщик — стой и за него гвозди забивай и вещи перетаскивай.

Зять нервничал, суетился, торговался, как на базаре, указывал, приказывал и, теребя свою целомудренную ермолку, приучался к забористым русским выражениям.

— Сволочи! Им только гробы заколачивать! Гробы! — буйствовал Семен. — На ком, суки, наживаются!

— Интеллигентный человек, а ругаешься, как уголовник, — обуздывала его Илана.

— Это они паразиты и уголовники. Совести у них нет.

— Сегодня, Сем, совесть не в моде... В моде то, что можно положить в банк или взять из банка. Не надо слишком строго судить других. Ведь и мы с тобой не безгрешны... тоже стараемся жить по моде... — успокаивала его Илана.

Вера Ильинична держалась в стороне от Семиных торгов и договоров — она не вмешивалась ни в упаковку, ни в погрузку, ни в продажу имущества, не интересовалась ценами, профпригодностью упаковщиков. Ко всем к ним она относилась с непонятной враждебностью и пренебрежением; у нее не было никакого желания оставаться с ними наедине в доме, кормить их, поддерживать беседу; Вера Ильинична мечтала о том, чтобы весь кошмар переселения, похожий на затянувшиеся похороны, скорее кончился и чтобы все разошлись, уехали, исчезли, оставив ее одну.

Единственное, что Вижанская, пусть и с тяжелым чувством, согласилась делать, это продавать книги из домашней библиотеки. Каждый день по объявлению, которое оборотистый Семен через писателя и журналиста Игоря Кочергинского, бывшего сослуживца Веры Ильиничны, сумел тиснуть в местной русской газете «Заря Литвы», в разделанный, как мясная туша, дом беспрерывно звонили охотники за редкими или находившимися при большевиках под запретом книгами, которые всю жизнь, отказывая себе в других удовольствиях, собирал библиофил Семен Порт-

нов. Вера Ильинична по просьбе дочери, занятой на работе — Илана решила не увольняться из лаборатории литовского физкультурного диспансера до самого отъезда, — отвечала на звонки, как заправская телефонистка.

— Набоков? — спрашивала она. — А что именно?

— Я куплю все, что есть... — басом рокотала трубка. — Все без исключения.

— Минуточку... — у Вижанской начинал дрожать голос, обрывалось дыхание, она прижимала к уху трубку и принималась по-рыбьи хватать воздух. — Смотрю... смотрю... Минуточку... Бабель... Бродский... Бунин... Мандельштам... Мандель...

— Спасибо. Не нужны... — наливался гордостью бас.

Вера Ильинична, благодарная за короткую передышку, пускалась по алфавиту к Набокову:

— Не кладите, пожалуйста, трубочку... Уже нашла. Владимир Набоков... Есть, есть, — вежливо повторяла она, вылавливая из длиннющего списка проданных и еще имеющихся в наличии книг, составленного дошным Семеном, нужные названия. — «Защита Лужина». Ротапринтное издание... «Дар»... К сожалению, галочка... Вы меня слышите? Я говорю, галочка... Продана...

— Ту-ту-ту...

К вечеру в голове у Веры Ильиничны все великие, гонимые, запрещенные и забытые сочинители сливались в одну сомкнутую гвардейскую цепь набоковходасевичбрешкобрешковскийарцыбашевхэмингуэйнищедобычингаздановшопенгауэрплатоновсолженицынцветаеватэффианненскийаверченкозайцевфирдуосипастернакнизамисеверянингаличесенин...

— Что-нибудь продали? — спрашивал озабоченный Семен, оглядывая сложенные копнами на полу книги.

— Аверченко... Два тома Достоевского — «Преступление и наказание» и «Бесь»... Выручка на подоконнике...

— И это все?

— Все.

— Печально... Придется какой-нибудь русской школе оставить... Все с собой не заберешь...

Усталая Вера Ильинична замертво плюхалась в постель и быстро засыпала. До самого утра ее преследовали почти одни и те же сны — ей снились великие, гонимые, запрещенные сочинители, которые выскакивали из списка, строились в каре и начинали на нее двигаться вместе со своими героями — Раскольников посверкивал топором, Анна Каренина вставала с рельсов, гремели выстрелы, взрывались дымовые шашки, на ветру развевались знамена, в еще не заколоченные упаковщиками ящики падали Бабель, Мандельштам, Набоков, Ахматова и туда же с ними прова-

ливалась она, двадцатипятилетняя секретарь-машинистка копеецкого горкома комсомола Верочка Филатова с трофейным «Ундервудом», и ее щегольски одетый жених — парикмахер Ефим Вижанский со своей неразлучной бритвой и чудо-машинкой, и безымянные следователи, и арестанты в наручниках — борцы за свободу; и замминистра госбезопасности Волков без единого прыщика на лице, и затурканный зять Семен Портнов, Еврей Евреевич с благонадежной и перспективной ермолкой набекрень.

Поутру Вера Ильинична, одурелая, просыпалась, с трудом поднимала голову, оглядывала книжную полку из еще не проданного финского комплекта «Эдвард» и, сбрасывая на ходу фланелевый халат, вбегала в ванную, открывала душ, и холодная колючая струя долго вымывала из ее глаз и сердца ключья того, что ей привиделось ночью.

II

Ей никуда не хотелось ехать, а Илане и Семену ни за что не хотелось ее оставлять.

— Ты думаешь, мне легко бросить папу? У меня сердце не болит? Болит, болит... Но мирно спи в гробу усопший, жизнью пользуйся живой, — вербовала в подсобные агитаторы еще не проданного Пушкина Илана.

Однако на Веру Ильиничну не действовали никакие увещевания ни в стихах, ни в доступной, без изысков и вывертов, прозе.

Сколько она себя помнит, ее всегда учили, ей указывали, как пользоваться жизнью: в школе, в горкоме, по радио и в газетах, в праздники и в будни. А ей хотелось пользоваться своим житьем-бытьем по собственному разумению, без советов и подсказок, без приказов и наставлений. Вот и теперь, Вера Ильинична только проглотит кусок омлета или свиную сосиску, а Семен своими нравочениями тут как тут. Встанет над головой и начинает: мамуля, миленькая, не делайте глупостей, подумайте, как вы после нашего отъезда жить-то будете? Чем за квартиру платить, за воду, за электричество? Кого на своей «Эрике» печатать — Ландсбергиса, Бразаускаса? Все ваши основные работодатели — русские письменники вместе со своими героями — Марите Мельникайте, командармами-большевиками Путной и Уборявичюсом умотали отсюда — кто в Ставрополь и Вологду, кто в Хабаровск и на Кубань, а кто предпочел несбыточной Нобелевской премии кооперативы по производству крышек для консервных банок или дамских сумочек и бижутерии! Не видите, что вокруг вас творится? Всему русскому тут хана. Капут. И в первую очередь — русскому языку. Вон оккупанта из Литвы!

— Чушь! Какой же оккупант язык? — не выдерживала теща.

— Такой же, как майор Веденеев. Без литовского теперь и шага не ступишь. Prašome kalbėti lietuviškai. Говорите, пожалуйста, по-литовски.

А вы, мамуля, с литовским не очень-то дружили. За сорок пять лет всего-то успели, если не ошибаюсь, изучить только меню комплексных обедов в столовке «Солнышко» да еще запомнить: duona (хлеб), pienas (молоко), daėtariška dešra (докторская колбаса) и laba diena (добрый день). А еще ваша катаракта, ваши камни в печени, ваши варикозные вены...

Ничего не скажешь — правды в словах премудрого Семы было хоть отбавляй. И про русский язык, сданный новыми властями в утиль, и про столовку «Солнышко», шеф-повар которой Вадим Степанович Красногоров пытался даже посвататься к ней («Вы, Верочка, будете каждый божий день у меня не молотые котлеты и дохлый компот из сухофруктов употреблять, а красную икру вкушать, «Цинандали» и «Кинзмараули» пить»); и про работодателей-письменников, слинявших в Вологду и Хабаровск, и про кооперативы и каменоломню в печени. Сема круглые сутки говорит правду, унылую, гундосую правду, он никогда не врет, но от этой его правды хочется не покупать билеты на самолет в Израиль, а завить в голос и сдать в кассу уже купленные...

В отличие от правдивого до обрыдлости Семена Илана не жалела пудры и лака: ты там, мамуля, сразу на десять лет по меньшей мере помолодеешь, какой там воздух, какое солнце! А море! В Израиле, учти, не одно море, а целых три: Средиземное, Красное и Мертвое, ты же так любишь морские купания, попросим, чтобы нас направили не в пустыню, а в какой-нибудь приморский курортный город. Семен даже обещал медицинскую справку на английском для тебя выправить, мол, такой-то и такой-то гражданке по состоянию здоровья рекомендуется длительное лечение морскими ваннами. За деньги, мамуля, сейчас можно добыть все. Дашь хорошую взятку и станешь турецким султаном или сыном тракайского раввина. Взятки в Литве, мамуля, оказались живучее советской власти...

Покладистая Илана — и в кого только она такая уродилась! — хорошо знала давнюю мамину слабость. Веру Ильиничну куда так сильно не тянуло, как к морю. В любое время года — в дождь и в ведро, в холод и в жару — она без колебаний готова была отправиться в Сочи или Палангу. С молодости Вера Ильинична тешила себя глупой и неистойвой мечтой — поселиться и умереть у моря.

— Кроме него, мне никого и ничего не надо.

Когда Ефим, усмехаясь, допытывался у нее, чем смерть у моря лучше смерти на материке, Вера Ильинична на еврейский манер без запинки отвечала ему вопросом на вопрос:

— А почему обязательно становиться добычей червей, а не водоплавающих? Не птиц, не зверей? Почему? Может, я там, на дне, обернусь какой-нибудь рыбой и еще год-другой после смерти пошевелю плавниками.

Домочадцы относились к ее влечению как к невинному чудачеству и мирились с ее поездками на отдых в Гагры или Сочи, куда Вера Ильи-

нична всегда ездила без Ефима и только на свои — заработанные печатанием деньги.

Своему правилу Вера Ильинична изменила только один-единственный раз. В пятьдесят третьем году, вернувшись с Урала с похорон отца Ильи Меркурьевича и едва оправившись от тяжелой потери, она уехала вместе с Ефимом в еще не обсохшую Палангу, где они на втором этаже у самого моря сняли за гроши просторную мансарду в крепко сколоченном деревянном доме. Из окна мансарды были видны белые, похожие на огромные женские груди дюны, молодой и бойкий сосняк и отутюженный волнами берег моря.

На дворе было светло и прохладно; в сосняке уже гомонили птицы; с моря дул незлобивый, подсоленный морскими брызгами ветер; от зимней стужи оттаивала земля; прозревало небо, избавившись от свинцовой слепоты — начиненных снегом туч. Возле поленицы на сложенной из кирпичей плите-временке низенькая, кривоногая хозяйка в фартуке и надвинутом на лоб домотканном платке шкварила на чадящей чугунной сковороде для вернувшегося с лова мужа-рыбака яичницу на сале. Заросший репейником жестких волос, небритый, в резиновых сапогах до щиколоток и потертом кожаном безрукавнике, он развешивал на кольях сети, отгоняя любопытных кур и попыхивая изогнутой трубкой. Чуть поодаль от сетей, возле сарая, в большом корыте барахтались в судорожном предсмертном недоумении рыбы: щуки, камбала, окуни, жерех, а рыбную мелочь неторопливо потрошили два откормленных кота с пышными шляхетскими усами.

Вера Ильинична и Ефим старались с хозяевами в лишние разговоры не вступать, все было оговорено заранее, за ужины и завтраки было заплачено; обедали Вижанские в столовой клайпедского торгового порта «Юра», где каждый день лакомились деликатесным копченым угрем и жемайтскими блинами со сметаной, грибным супом и клюквенным морсом; в ясную погоду после сытного завтрака дачники уходили из дому, бродили по безлюдному берегу, слушали органную музыку приюта, взбирались на дюны, пряничными крохами подкармливали воробьев, заигрывали с парковыми белками и, вдоволь нагулявшись, возвращались в сумерках в свою мансарду. Иногда Ефим отправлялся в дом отдыха МВД играть в бильярд, стоявший раньше, в благополучные годы эксплуататорского строя, на вилле какого-то важного литовского генерала и доставшийся вместе с киями и с покрытием из благородного сукна, но без нескольких шаров и джокера новым игрокам — народной милиции. Пока Ефим гонял шары, Вера Ильинична пропадала на молу, на убегавшем в море от докучливой суши мосту из полусгнивших сосновых свай и почерневших от старости и ливней досок. Стоя на изъеденном солью настиле, она подолгу всматривалась в даль, отыскивая взглядом то перелетную птицу, то смутные контуры судна, то летучее облако, которое откуда-то

вдруг выныривало — не из-за Уральского ли хребта? — и мгновенно проплывало над головой, тая в сиреновой дымке.

Жилье свое они на ключ не закрывали — закрывай, не закрывай, красть было нечего — разве что вор позарился бы на их наспех брошенные в чемодан шмотки — штурмовку Ефима, шерстяное платье Веры Ильиничны, туфли фабрики «Красная звезда», вязаный жакет, ночную рубашку или на старую, времен Первой мировой войны, пишущую машинку «Ундервуд», которую Вера Ильинична повсюду таскала за собой и привезла в Палангу, чтобы — заряди ненароком дожди — не сидеть целыми днями без дела, а в который раз перепечатывать пьесу журналиста Игоря Кочергинского «Рассвет над Неманом», принятую к постановке городским русским театром, но требовавшую кардинальной переделки из-за того, что, по мнению бдительного реперткома, рассвет получился недостаточно ярким и скорей смахивал на закат.

Больше в мансарде пожить было нечем.

Самое ценное и оберегаемое от чужих глаз имущество — пистолет Токарева — Ефим всегда носил за пазухой и никому, даже Вере Ильиничне, не доверял.

Она никак не могла уразуметь, зачем вольнонаемному парикмахеру Вижанскомой такая цацка. За все время своей службы он не получил ни одного письма с угрозами. Не грозились ему отомстить и по телефону. Разве с человеком, главным оружием которого были острая бритва и ножницы, можно сводить счеты. Ну, нечаянно кого-то порезал, ну кому-то из носа или из заросших ушей волосы не выстриг. Так за это убивать?

Там, в том наглухо закрытом и устрашающем здании, куда Ефим каждое утро поднимался в свой рабочий кабинет с зашторенными окнами, он никого не допрашивал, не бил, не морил голодом и бессонницей — брил и стриг всех без разбору, обслуживал и дознавателей, и подследственных, даже одним и тем же одеколоном опрыскивал их, чтоб лучше пахли. Не он приговаривал заключенных к тюремным срокам или, не приведи Господь, к высшей мере наказания. Не для этого его туда наняли, не за допросы платили жалованье (и немалое, дай Бог каждому мастеру такое: удавалось даже кое-что откладывать на черный день — на какие бабки купили бы мебель, телевизор «Рекорд», холодильник «Саратов»?). Чего же, спрашивается, бояться? Какому безумцу придет в голову отстреливать ни в чем не повинного, простого брадоброя?

— Но у меня, Верунчик, на груди не написано: «парикмахер», а какая вывеска на нашей конторе, сама знаешь.

Сколько раз ни спрашивала Вера Ильинична мужа, на кой ему сдался этот хлопотный Токарев (Ефим толком и стрелять-то не умеет!), он отделялся либо молчанием, либо шуточками:

— На всякий случай.

— Разве ты кому-нибудь причинил зло и боишься, что с тобой расквитаются?

— Думаю, что зла никому не причинял.

— И я так думаю.

— Спасибо за доверие, но так думаем ты да я. А другие могут совершенно иначе думать. Раз там работаешь, значит виноват. Как было со Шмуле Дудаком — подстерегли в подворотне и бабахнули. Чудом жив остался.

— Да, но Шмуле не брил и не стриг. Он, как охотник, ходил по их следу... может, кого-то по его наводке поймали и к стенке поставили... Вот родственники и подкараулили виновника в подворотне. По-твоему, с припрятанным злом за пазухой... надежнее?

Ефим и тут ничего не ответил. Место работы приучило его к молчанию. От прежней его словоохотливости и балагурства, которые в Копейске так нравились хорошенькой Верочке Филатовой, и следа не осталось. В том учреждении, где он работал, не побалагуришь, лясы не поточишь. Там кое-кому в вину ставят и молчание и наказывают по всей строгости закона — лагерями и смертью. Молчишь, молчишь, потом замолкаешь навеки.

Вера Ильинична настойчиво уговаривала его уйти из, как он сам выражался, «конторы на три буквы». Такое жалованье на улице, конечно, не валяется, и всякие дополнительные льготы — САНУ, ежегодные путевки в санаторий, спецраспределитель и тому подобное — сбрасывать со счетов не стоит, но не лучше ли все-таки перейти на Татарскую, к Вайнеру — место доходное, в самом центре города, интеллигентная, безбедная публика, можно молчать и можно трепаться сколько угодно, в накладе не останешься; или оформиться в мужской салон на Комсомольскую к братьям Абрамовичам, там все время толпятся приезжие — с вокзала народ валом валит. Ни к Вайнеру, ни к Абрамовичам никого под конвоем в наручниках не приводят. Что за радость, когда у тебя в кресле сидит арестант, а над креслом нависает солдат с автоматом. Но Ефим только посмеивался над ее фантазиями и страхами. Чему бывать, любил он повторять, того не миновать.

Вера Ильинична в душе надеялась, что в дни всесоюзного, как ленинский субботник, гонения на евреев — пособников американского империализма, его выгонят оттуда, как лейтенанта Дудака по прозвищу Шмуле-большевик, капитана Вассермана, бывшую партизанку отряда «Мститель» — секретарь-машинистку Фейгу Розенблюм. Но ее надежды не оправдались. Не тронули Ефима даже тогда, когда в Москве арестовали врачей-отравителей и в Вильнюсе задымили угарные слухи, что всех евреев вывезут в товарных вагонах в Сибирь. Вера Ильинична была уверена, что теперь-то Ефима, хотя он никогда никого не отравлял, уж точно шуганут из «конторы на три буквы». Но и тут за него заступился его

постоянный клиент — замминистра госбезопасности Волков, большой франт и, как уверял Ефим, интернационалист. В последнюю минуту он его отстоял: мол, на место, товарища Вижанского все равно придется кого-нибудь из евреев взять (с ними в цирюльничьем деле никто не сравнится), мастера-поляки укатили в Польшу к Беруту, литовцы пока не на высоте, а он, Ефим Самойлович, каждый прыщик на Волковом лице знает, за столько лет ни одного пореза, право слово, молодец.

В ту весну в Паланге их радовало все — и погода, и море, и пустынные улицы, и деревья, и новости. Врачи-отравители на поверку оказались не злодеями, а, как ни странно, честными людьми; ярко светило обновленное солнце, целебно пахло йодом и выброшенными на берег водорослями. Не желая надолго расставаться с женой, простаивавшей часами на ветру и зачарованно следившей за стремительным бегом волн, за их непрекращающимся и бесплодным бореньем, Ефим одолжил у хозяина мансарды самодельную удочку, накопал в огороде червей, сложил в спичечный коробок запасные крючки и грузила и, устроившись на сходнях, принялся ловить мелюзгу. Ему не хотелось мешать Вере — пусть смотрит свое кино, но ее странная и необъяснимая тяга к морю, способность отключиться от всего вокруг, забыть обо всем на свете и сосредоточиться только на одной невидимой точке пугали Вижанского и вызывали в нем неосознанную до конца тревогу. Что ее, не купальщицу, не пловчиху, не путешественницу, так привлекает в этом гуле, в этом месиве, в этой жуткой круговерти? Что она в этой темной, губительной пучине; кишашей неразгаданными тайнами и безымянными жертвами, видит? Какие испытывает чувства при виде этой слепой громады, перед которой человек — козявка, такая же хрупкая и ничтожная малость, как перистый поплавок удочки-самодельки, швыряемый безнаказанными волнами из стороны в сторону — из глухого, захолустного литовского местечка Камаяй в Горький, в пехотное училище, из пехотного училища на войну, на курско-белгородское направление подносчиком снарядов в артиллерийскую батарею, оттуда в госпиталь на Урал, в Копейск, потом вместе с молодой женой-нееврейкой обратно в опустошенную Литву, в Камаяй, где погибли его, Ефима, родители — от них даже фотокарточки на память не осталось. Куда еще его и Веру отнесет покачивающийся на волнах хилый и отчаянный поплавок судьбы? Этого не дано было знать ни ему, сироте, ни ей. Может быть, Вера, увлекавшаяся на досуге астрологией и ворожбой, надеялась за разбивающимися с грохотом о сваи валами, заливающимися шаткий настил моста кружевными тюрбанами узреть то, во что он, Ефим, лишенный воображения и предрассудков, никогда не верил.

— Ну, что, Фима, поймал что-нибудь? — подходя к сходням, спросила Вижанская.

— Нет. А ты?

— Поймала.

- Ветер?
- Не угадал.
- Облако?
- И не облако.
- Да скажи же ты наконец — что?
- Рыбку, Фима, — ответила она и кольцом сомкнула на животе руки. —

Только пока не знаю, окушок это или щучка. Ты еще долго будешь грабить рыбные богатства Балтики или пойдем домой?

— Пойдем.

Он смотал хозяйскую удочку, выбросил из садка в море парочку живучих ершат, запустил спичечным коробком с червями в бурлящую внизу воду и послушно зашагал за женой к городку.

— Где же твоя рыбка? — не выдержал он. — Похвасталась, а не показываешь.

— Придет время — покажу.

— Покажи сейчас!

— Дурак ты, Фима, дурак, — ласково пожурила она мужа. — Другой на твоём месте давно бы догадался, а ты, не ткни тебя носом в дерево, яблока на ветке не увидишь.

С той поры в гостиной на буфете красовалась увеличенная фотокарточка, сделанная любительским «Зенитом», — широкий двор с колодцем посередине и обустроенной собачьей конурой (хозяева держали лощеную немецкую овчарку), усатый начальственный кот с какой-то серебристой рыбешкой в зубах, еле различимая голова хозяйки в крестьянском платке (ее, кажется, звали Винцента), высовывающаяся из хлева, и оба дачника в обнимку на фоне развешанных для просушки сетей — счастливая, загорелая Вера Ильинична, оберегающая руками от всего мира свой живот, и Ефим, простоволосый, взлохмаченный, высокий, как бы парящий над женой и еще не родившейся Иланой.

На их мимолетное, запечатленное на пленке счастье, бережно взятое в рамочку и выставленное для всеобщего обозрения — пусть и домочадцы, и гости воочию видят, какими они в те годы были, — никто не посягал десятки лет. Но когда Семен и Илана надумали уезжать, они решили разобрать буфет на части, переложить их пенопластом и вперемешку с мягкой, рассчитанной на выброс одеждой отправить через Одессу в портовую Хайфу — мебель все-таки не отечественная, финской выделки — но потом передумали и стали подыскивать для него приличного покупателя...

— Мамуля, — сказал зять, — будьте так добры, найдите для вашего исторического снимка другое местечко.

Вера Ильинична молча проглотила насмешку. Она не понимала, чем старый снимок мешает купле-продаже, но, не желая усилить и без того очевидное напряжение в доме, подавила в себе обиду:

— Хорошо, Сема, хорошо... Я найду для него другое местечко.

Другое местечко для фотокарточки она найдет. А вот где она найдет местечко для себя? Где оно, ее «историческое» место — в шахтерском Копейске рядом с могилами горного мастера Ильи Филатова, отказавшего ей в родительском благословении, и матери Анисьи Киприяновны или рядом с Ефимом в вольном, все еще не опохмелившемся от победы над русскими оккупантами Вильнюсе, или где-нибудь под кипарисами на курортном кладбище на Святой земле? Ефим когда-то рассказывал про одного знаменитого поляка — маршала Пилсудского, который завещал соратникам и родне похоронить его сердце в Литве, в Вильнюсе, а другие останки — на родине, в Польше. Ах, если бы каждый, как этот маршал, мог так распорядиться своими бранными останками: сердце — тут, а остальное — там... Ах, если бы мог!..

Где же наше место, Господи?

III

Ей никуда не хотелось ехать. Она хотела только одного — чтобы Семен и Илана поскорей уехали и перестали ее дергать и уговаривать.

У Веры Ильиничны не было больше сил выслушивать ежедневные упреки Семена, его раздражающие искренней ли, показной ли заботливостью предостережения или умильные призывы Иланы, которые неизменно начинались с одной и той же вводной фразы: «А ты, мамуля, знаешь?..» Единственный человек, кто «не обрабатывал» упрямцу-бабушку, был всеобщий любимец — девятнадцатилетний Павлик. Но и со стороны внука Вера Ильинична со дня на день ждала хорошо подготовленного его родителями артобстрела.

С особым рвением за ее отъезд по-прежнему ратовал неумный Семен, у которого был солидный стаж агитатора, участника избирательных кампаний в Верховный Совет СССР и всякие прочие руководящие органы... Он даже был доверенным лицом маршала Устинова, которого никогда в глаза не видел.

— А вы, мамуля, — брал он напрокат излюбленную фразу Иланы, — знаете, что в вашем возрасте оставаться одной неразумно. Ровно через месяц в нашу квартиру въедут новые хозяева, — терпеливо и обстоятельно втолковывал он ей. — Если вы не передумаете, мы, к сожалению, будем вынуждены приобрести для вас однокомнатное жилье, надеюсь, временное. К поиску, как вы понимаете, я приступаю немедленно. В случае удачи у вас ровно через месяц начнется жизнь со многими неизвестными: неизвестные соседи, неизвестный участковый врач, неизвестные почтальон, продавщицы и тэпэ, и тэдэ... Раньше мы вас, мамуля, могли передать в верные руки Ривкиных с четвертого этажа. Но Ривкины уехали на пэ жэ в Милоуки. Могли пойти на поклон к майору

Александр Петрович Веденееву. Но, как вам известно, Александр Петрович обменял древний Вильнюс на юную Калининградскую область. Даже пянчужка Варанаускас не отказался бы за пол-литра помочь. Но кто, случись с вами, не дай Бог, приступ печени или грудной жабы, к вам на новом месте придет на помощь? Кто? Ношпа и валокардин, безусловно, замечательные лекарства, но родные люди во стократ лучше. Своим упрямством вы обрекаете себя и нас на совершенно ненужные трудности...

Семен, как всегда, был прав, и, как всегда, от его правоты нельзя было отбиться. Чтобы как-то увернуться от горящей лавы осточертевшего агитпропа, отравлявшего всем в доме жизнь, Вера Ильинична прежде чем сбежать к какой-нибудь из своих подруг по еврейскому кладбищу (чаще всего — к Пашиной учительнице математики Ольге Николаевне Файнштейн-Кораблевой), бросала своему норовистому зятю, легко галопирующему по фамилиям, ценам на недвижимость, курсу долларов в разных странах и на всех континентах:

— Сема! Миленький! Ты очень, очень добрый и внимательный. Но, ради Бога, закуси удила! Не галопируй! Ты уже весь в мыле... Если надумаю ехать, то не потому, что ты такой красноречивый.

— Это правда, Вера Ильинична? Вы поедете? Это правда? Вы не обманываете? — ухватился за тоненькую ниточку Семен.

— А разве я тебя когда-нибудь обманывала?

— Никогда, никогда, — клятвенно повторял Семен, и солнце медленно всходило на его измученном сборами небритом лице. — Может, все-таки с нами? Мы вас подождем... Я договорюсь с Сохнутом, сменю билеты... Это было бы здорово... подарок к моему сорокавосемилетию...

— Летите, Сема, летите, я и сама дорогу найду...

В отсутствие главных агитаторов — Семена и Иланы — обработку Веры Ильиничны — настойчиво, на добровольных началах вел сосед из квартиры напротив, Пятрас Варанаускас, в недалеком прошлом водитель троллейбуса, поджарый мужчина с лицом средневекового инока — впалые щеки, тонюсенькая ниточка губ, постный, выцветший, как переплет псалтыря, взгляд, узкий, в глубоких морщинах, лоб. Свою «разъяснительную работу» Пятрас Варанаускас начал задолго до того, как взорам Семена Портнова забрезжили далекие и заманчивые берега Тихого океана и хайфские пляжи. Когда Пятрас не перебарщивал с горькой, он выделялся среди жильцов своим монашеским смирением, подобострастной вежливостью, готовностью прийти на помощь — поднести старикам-соседям из магазина тяжелую сумку, починить за четвертушку электропроводку или заменить в дверях заржавевший замок. Каждое утро он любезно раскланивался, по-актерски церемонно снимал перед Верой Ильиничной поношенную фетровую шляпу, прикладывал ее к тошей груди и с характерным для дзуков цокающим акцентом произносил по-русски:

— Доброго здоровьичка, поне Вижанскене.

Но стоило ему перебраться, «перевыполнить норму», как Варанаускас из тихого, услужливого, заискивающего перед соседями человека превращался в свою полную противоположность — в нахала и буяна, который мог запросто среди ночи постучаться в чужую дверь и потребовать водки или вина.

— Откройте, откройте! — барабил он, бывало, костяшками своих длинных, как потухшие свечи, пальцев по дерматиновому покрытию дверей.

— Нет у нас, товарищ Пятрас, водки, честное слово, нет. Не держим, — по очереди на каждом этаже отвечали пугливый инженер Ривкин, майор Александр Петрович Веденеев, служивший в хорошие для него времена в ракетных войсках Прибалтийского военного округа, жалостливая Вера Ильинична, но Варанаускас не унимался:

— Хм... Не держите! У вас все есть. Все. Деньги, водка, власть, ракеты. Это у нас ничего нет.

Иногда Вера Ильинична, рискуя навлечь на себя недовольство Иланы и Семена, открывала под вечер дверь, впускала Пятраса на кухню, доставала из «Эдвардаса» початую (в кои-то веки) бутылку и наливала ему шкалик. Варанаускас в пьяном и благодарном изумлении залпом опрокидывал его, наспех закусывал дармовым бутербродом и в надежде на повторную порцию пускался в неторопливые и негромкие рассуждения о том, какой непоправимый вред причинили русские и евреи в сороковом году его родной и независимой Литве.

— Ты, поне Вижанскене, не обижайся. Лично к тебе у меня никаких претензий нет. Хотя ты и чистокровная русская, ты хороший человек, и дочь твоя — хороший человек, и зять твой — парень ничего, хотя они и евреи. И все-таки я тебе прямо скажу — это вы... вы в сороковом году изнасиловали Литву... Кто советские танки ввел? Русские. Кто броню целовал? Евреи... Факты, как говорят, упрямая вещь... Ты, поне Вижанскене, например, сама откуда к нам приехала?

— С Урала.

— Почему тебе, скажи, не собрать свои вещички и не возвратиться обратно? Почему твоим детям и внуку, если они не захотят с тобой на Урал, не податься в Израиль?.. Каждый, я так понимаю, должен жить среди своих. Правильно? Среди своих... Негры среди негров, евреи среди евреев и так далее. Я так понимаю, — кивая головой, поддерживал самого себя разомлевший Варанаускас и косился на бутылку. — Можно еще капелку? Опрокину и — домой... матч смотреть... С Сабонисом... Если хочешь, чтоб я за тебя в нашей, а не в вашей Литве слово замолвил, налей еще шкалик!

— Ступай, Пятрас, домой. Тебе матч смотреть, а мне рано вставать. Выпьешь в другой раз. Водка не киснет. А что до русских, то, будь моя воля, давно бы их всех отсюда увела. Всех... И пошла бы в первом ряду с песней. Но, боюсь, в Кремле мое пенье не поймут.

До провозглашения в Литве желанной независимости Варанаускас еще сдерживал свой пыл, агитировал с оглядкой, скорее дружески-преенебрежительно, чем злостно, но после того, как Кремль вывел из республики свои войска, гнев Пятраса против оккупантов и погубителей Литвы тек на улицу — в подпитии баламут выходил в соседний сквер, забирался, подражая модным ораторам, расплотившимся в городе, на юное деревцо свободы и отряхивал на детские коляски, на волейбольную площадку, на сину и перхоть пенсионеров один спелый лозунг за другим.

— Red Army go home! Russian go home!

Услышав от дворника, что Портновы-Вижанские собираются в Израиль, Варанаускас первый поспешил их поздравить. Наконец-то! Все так! Русские — на Урал! Евреи — в Израиль! Поляки — в Варшаву! Но поскольку все радости Пятраса чем-то смахивали на употребляемые им напитки (их всегда было мало), ему хотелось, чтобы эту новость подтвердила сама поне Вижанскене. Поне Вижанскене не станет врать. Если она подтвердит, то по такому случаю, как русские говорят, можно будет выпить с ней на посошок.

— Слышал, поне Вижанскене, что вы собираетесь нас покинуть...

— Собираюсь. Как только квартиру найду, так и перееду. Придется, Пятрас, теперь за шкаликом стучаться в другие двери...

— На новую квартиру? А дворник наш... Пранас... говорит, что вы... всей семьей как будто туда... в Израиль, — разочарованно прогудел Варанаускас.

— Уезжают дети, а я остаюсь...

— Остаетесь? — У Пятраса от разочарования вытянулось лицо. — Почему? Вам что, не хочется свет повидать, погреться на солнышке... покупаться, апельсинами круглый год лакомиться? Говорят, чертовски красивая страна. Недаром наш Христос оттуда. Боги в дыре не рождаются, — нахваливал он Израиль.

— Почему? А ты, Пятрас сам не догадываешься? А вдруг и там какой-нибудь Вайнштейн или Рабинович начнет, как ты, уговаривать меня — возвращайся-ка ты с Богом к своим русакам, на Урал...

— Это же я, поне Вижанскене, сдуру... Мало чего можно спороть под градусом... — зачистил Варанаускас. — Вайнштейны и Рабиновичи не пьют. Они денюжки на хмель не тратят, и глупости во хмелю не говорят. А меня, дурака, за мои слова простите... Тяпнул лишнее, — и он выразительно щелкнул себя пальцем в морщинистую шею.

— Русские, как я убедилась, нигде не нужны. Ни в Литве, ни в Израиле... Нигде. Даже на родине — в России...

Пятрас ее переубеждать не стал, но — как ни дорожил сподручным шкаликом — решение Веры Ильиничны не одобрил.

— На вашем месте я бы обязательно уехал! — воскликнул он. — На старости надо не разбредаться, а держаться друг за друга. Куда утята,

туда и утка... А не наоборот. Зачем вам новая квартира? Все равно когда-нибудь вы же уедете из Литвы. Так я понимаю...

— Всякое может случиться, — обнадежила она Варанаускаса.

Иногда Вера Ильинична сама ловила себя на мысли, что не выдержит одиночества, и тоска по дочери и внуку рано или поздно поколеблет ее уверенность, но она гнала от себя все сомнения, корила себя за малодушие, вспоминала свою подругу-театроведку Лилию Ароновну, всю жизнь бредившую Москвой, любимовской Таганкой, Политехническим и умершую в аэропорту Шереметьево после того, как прошла пограничный контроль. Вера Ильинична в душе завидовала покойной — не каждому удастся так счастливо умереть. Мне бы так, думала она, грохнуться наземь и не встать. Семен и Илана, как и дети Лилии Ароновны, задержались бы немного, прибыли бы в свой Израиль на две недели позже, и только. Молодым ни к чему оставаться с покойниками. Тем более, что Семену и Илане не по семнадцать, а уже без малого сотня на двоих. Им надо торопиться. Но разве кому-нибудь из них скажешь о такой своей зависти, о тайном желании счастливо умереть — хватит в семьдесят шесть мотаться по чужбинам, надо готовиться в другую дорогу. Но только попробуй об этом заикнуться, и тебя, чего доброго, в психи запишут. Где это слыхано — счастливая смерть! Такой смерти в природе не бывает. Все мысли Семена и Иланы не вокруг счастливой смерти крутятся, а вокруг счастливой жизни...

— Вы там, мамуля, такую пенсию получите, какая вам и во сне не снилась, — не оставляя попыток уломать ее, распинался заботливый зять, подробно разведавший обо всех преимуществах и льготах, которые ждут новичков на Святой земле. — Двести с лишним долларов в месяц. Двести... Плюс бесплатное лечение. И это только за то, что вы сядете в самолет и через четыре часа сойдете по трапу в аэропорту Бен Гурион. Чтобы заработать такие деньги, вам еще совсем недавно надо было наяривать на «Эрике» год без остановки. Мы что, зла вам желаем?

Семен никогда никому не желал зла — ни ей, ни соседям, ни сослуживцам, ни прежней власти, ни будущей. Он желал добра всем и не был виноват в том, что добра этого всегда не хватало на всех — когда на евреев, когда на литовцев, когда на русских, — и сожалел о том, что люди частенько отторгают не только зло, но и добродейния, как чахнувшее дерево спасительную прививку.

Двести долларов, конечно, и впрямь не сравнишь с той милостыней, которую Вера Ильинична получала, выстукивая на «Ундервуде» и «Эрике» с утра до вечера партийную чушь в скопидомской и угоревшей от угодничества и фарисейства «Заре Литвы», но какой смысл ездить за этими долларами за тридевять земель, если от этого чужбина не обернется родиной, и бездомная душа не перестанет трепыхаться от неприкаянности?

Веру Ильиничну особенно угнетало то, что у нее не было работы. Хотя зрение ее и ухудшилось, она до переезда на новую квартиру, поиски которой почему-то затягивались, вполне могла бы, что называется, расчехлить «Эрику» и печатать не повести, не романы, не газетные передовицы, а памятки пожарной охраны, рекламные материалы какой-нибудь фирмы или министерства, деловые письма, многостраничные мемуары и жалобы обиженных ветеранов Великой Отечественной войны, которая на поверку в новой Литве оказалась и не великой, и не отечественной. Да мало ли чего могла бы! Но русский язык вдруг стал внутренним эмигрантом. Заказов не было. Никто не звал, как раньше, к телефону, не умолял, чтобы поскорее напечатала рукопись диссертации по развитию животноводства или трилогию о партизанах; никто не обещал за «скорострельность» двойную плату. Казалось, что и ее саму, как «Эрику», наглухо и навсегда зачехлили.

Как же она обрадовалась, когда однажды позвонил ее старый знакомый Игорь Кочергинский, ответственный секретарь республиканской газеты «Заря Литвы».

— Верочка! Ты меня еще помнишь?

— Это ты, Игорек? — с какой-то несвойственной ей легкомысленностью и игривостью отозвалась она. — Какая женщина может тебя забыть?

— Давай где-нибудь с тобой встретимся.

Вера Ильинична не понимала, зачем ему нужно с ней где-то встречаться, ее домашний адрес был Кочергинскому хорошо известен, но все же задорно пропела:

— Предлагай!

— Можно на Кафедральной площади, можно недалеко от моего дома — на еврейском кладбище. Ты там, как я слышал, частенько бываешь.

— Ты, Игорь, первый на моей памяти мужчина, назначающий мне свиданье не в кафе, не в парке, не у памятника вождю, а в таком укромном местечке, — ядовито заметила Вера Ильинична. — Тебе надо что-то срочно напечатать?

— Когда встретимся, я тебе все объясню.

Она выбрала кладбище и договорилась со своим старым сослуживцем о времени встречи.

Игорь Кочергинский, автор несметного множества статей и непоставленной драмы «Рассвет над Неманом», был видный, вальжный мужчина лет пятидесяти пяти — шестидесяти. На нем был импортный спортивный костюм, яркая шапочка с броской надписью «Virginia beach», массивные кеды — первые ласточки «Адидас». Весь его наряд, как сказал бы Семен, никак не вязался с окружающей средой и его почтенным возрастом. Он галантно поцеловал Веру Ильиничне руку, отвесил ей несколько расхожих комплиментов — «Как ты прекрасно выглядишь! Молодчага!» — и торопливо начал:

— Я слышал, что детки наладились в Израиль. А ты остаешься... Даже намереваешься какой-то Союз создать... Потрясающая идея! Класс!

— Откуда ты знаешь?

— Нет таких крепостей, которые большевики бы не взяли, и нет таких слухов, которые не дошли бы до евреев. Готов биться об заклад, что вы прославитесь на весь мир... Какое, черт побери, великолепное сочетание — русские вдовы и еврейское кладбище!..

Восторженность Кочергинского ее покорила — Вера Ильинична не терпела лести, за которой всегда скрывался очевидный расчет, но не прерывала его тирады, ждала, когда он насладится своим красноречием и перейдет к делу.

— Ты, наверно, очень удивишься, но и у меня на руках виза, я тоже езжаю.

— Виза? И куда? В Германию? В Америку? В Канаду?

— В Эрец Исраэль, — складно выговорил Кочергинский.

— А как же, Игорек, с «Рассветом над Неманом?» — язвительно спросила Вера Ильинична.

— Буду, представь себе, встречать и воспевать рассветы в Израиле.

— Ты и Израиль? Чудеса в решете! Если память мне не изменяет, ты когда-то о нем в «Заре» писал что-то неласковое. «Ловцы душ из Тель-Авива» или что-то в этом роде.

— Ну и память у тебя! Каюсь, каюсь... Было дело... Пойду к Стене плача, вложу записочку и попрошу у Бога прощения... Это Цека грешников не прощал, а Бог евреев добрый — простит... Он знает: кто долго жил в Союзе, тот безгрешным не был и быть не мог... Если хотел жить. Все мы, Верочка, из одного болота. Все грязненькие... бракованные экземпляры, так сказать. Но за неимением других маленький Израиль и таких примет... и такому пополнению будет рад.

Вера Ильинична уже жалела, что напомнила ему о прошлом, хотя и умолчала о его пламенных высокоидейных передовицах, фельетонах о евреях-валютчиках и пристрастии к русско-литовским псевдонимам — не было случая, чтобы Кочергинский-Златогоров-Правдин-Ауксакальнис не нашел оправдания своим поступкам, не привел какой-нибудь довод в пользу своей испорченности; он каялся, не испытывая при этом никакого раскаяния; он клялся, не веря ни своим, ни чужим клятвам; он объяснялся в любви всему прогрессивному человечеству, не считая нужным поутру поприветствовать беспартийного вахтера редакции или вернувшуюся из незаслуженной сибирской ссылки уборщицу.

— К сожалению, Игорек, я должна к часу вернуться домой, внука кормить, — с грубоватой откровенностью выпалила старая редакционная машинистка.

— Не волнуйся — вернешься. Я тебе только могилу мамы покажу.

Он взял ее под руку и осторожно повел по узкой, каменистой дорожке между надгробий на заросший молодыми соснами пригорок.

— Рано ушла, — сказал Кочергинский, прибавив к здоровому румянцу на лице два густых мазка печали. — Я, Верочка, подумал вот о чем: может, кто-нибудь из вашего вдовьего союза... лучше всего, конечно, ты... — ты же Фаину Соломоновну знала — за ней присмотрит... Сама знаешь, сколько хулиганов развелось. Свобода, блин, свобода! Место видное, очень легко найти... Рядом с мамой могила с презабавной эпитафией: «Дорогая! Придет время, и наша семья снова соберется вместе. Любящие тебя муж и дети».

И он некстати прыснул.

— Хорошо, — пообещала Вера Ильинична. — Поищем для Фаины Соломоновны кого-нибудь... Если сами не станем ее соседками...

Растроганный Кочергинский чмокнул ее в щеку, и они расстались.

— Опять на кладбище ходила? Лучше бы со мной на тренировку... — встретил ее на пороге Павлик

— А ты что — уже уходишь?

— Выпью кофе и побегу. А ты не хочешь?

— Бежать?

— Кофе?

— Хочу.

Вере Ильиничне нравилось дурачиться с внуком, поддразнивать его, разыгрывать разные сценки. Она любила засиживаться с ним до глубокой ночи, смотреть на него со щемящим обожанием, смущая своей влюбленностью и тайком моля Всевышнего, чтоб Он уберег его от беды — от доли чужака. Ее так и подмывало уговорить Павлушу остаться до окончания медицинского факультета в Вильнюсе, с ней, не ехать туда, где все время идет война, мама и папа пусть едут, а он пусть останется, потом-де видно будет — может, женится на литовке и избежит доли чужака, а может, к тому времени на Святой земле воцарится, как сказано в Писании, мир во человецах.

Павлик малюсенькими глоточками потягивал бразильский кофе, Вера Ильинична не спускала с внука глаз и почему-то, не в силах представить себе разлуку с ним, вспоминала, как много-много лет тому назад — тогда еще был жив Ефим — карапуз Пашенька забрел за ширму, где на двуспальной кровати нежились дед и баба, и, увидев на ночном столике в стакане розовый зубной протез, спросил:

— Бабушка, это твои зубы?

— Мои, — прошамкала она.

— А уши где?

Господи, как они тогда с Ефимом смеялись! Как смеялись! Когда это было? При царе Горохе? До нашей эры? В какой жизни?

Она смотрела на Павлика, и ей казалось, что своей жизни, в которой она, без вины виноватая Вера Филатова-Вижанская, не должна была бы

держат ответ за чужие грехи, за вводы «ограниченного контингента» войск Красной советской Армии, за целование танков и территориальные захваты (ведь сама она никогда в них не участвовала); такой жизни у нее не было, а была другая — навязанная, вставная, как протез, натиравшая до крови душу. Не было и, наверно, не будет у нее и другой судьбы, кроме судьбы перекасти-поле, чужачки, ибо на свете только для смерти не существует чужих, для смерти все — свои, независимо от рода и звания.

— Баб, ты что ворон считаешь — кофе стынет!

IV

Ей никуда не хотелось ехать — да что там ехать — даже переезжать на другую квартиру. Все, что предлагал предприимчивый зять, не устраивало ее. Вера Ильинична пока еще в здравом уме: перебираться на кудькину гору — за железнодорожный мост, почти на вокзал или в дряхлую деревенскую халупу на Неменчинском шоссе — ее не принудит никто. Оттуда до Ефима тремя автобусами тащиться не дотащиться.

— Это ж, мамуля, дачные места. Леса, земляника, грибы, — соловьем заливался Семен. — Туда, как вам известно, приезжают отдыхать академики из Ленинграда, шишки из Москвы. Повесил гамак, и качайся, дыши весь день полной грудью озоном! Вдох... Выдох...

— Известно, Сема, все известно. Но ты же, хороший мой, знаешь, где я, не важная птица, обычно отдыхаю...

— Ну и что? Кто же отдыхает на кладбище? У какого-то шведа или датчанина я, между прочим, вычитал, что вредно изнурять память утратами. Это почти на треть укорачивает нашу жизнь.

— Что поделаешь, если у меня кроме утрат ничего не было.

— А Илана? А Павлик? А уйма друзей? В конце концов, я, ваш зять, — возражал он и, как от шекотки, поперхивался мелкозернистым смехом. — Вас любят, ценят. Ефима Самойловича и Клаву, конечно, никто не заменит... Но у вас мы... Не терплю громких слов, но мы...

— Знаю, Сема, знаю... Но ты все-таки, дружок, поищи для меня другой вариант — без грибов и земляники, без грохота поездов и привокзальной пьяни под окнами...

— Стараюсь, мамуля... Хотя лучше было бы не искать...

— Из-за меня, уверяю тебя, задержки не будет... Улетите вовремя. В крайнем случае, попрошусь к Валентине Павловне. Она меня приютит. Будем вместе Джона выгуливать и ждать от вас хороших писем.

Из Пуэрто-Рико и Израила. Ольга Николавна из Любека их пачками получает и почти все читает нам вслух. Ее Аркаша, будущий Ойстрах и одноклассник нашего Павлуши, в Кельнскую консерваторию с первого захода поступил. Лора и Абраша ресторан открыли, только русские национальные блюда и напитки подают — уральские пельмени, уху, кулебяку,

пирожки с капустой, квас, водочку... Ты, Сема, не поверишь, но мы уже договорились каждую неделю по очереди громкие читки устраивать. Только при одном условии — плохих писем не читать. Зачем друг друга пичкать невеселыми новостями? Правда, хорошие новости, как деньги — их в лотерею мало кто выигрывает, их надо заработать.

— Даст Бог, заработаем. Мы с Иланочкой не ленивцы, — сказал Семен, прервав затянувшийся отчет тещи об успехах дружественной семьи Файнштейнов-Кораблевых в не менее дружественной Германии, и снова пустился в бега по городу. Кровь носом, но он должен найти для Веры Ильиничны квартиру. Должен. Не оставлять же ее в чужой квартире с чужим пудельком.

Как только за Портновым закрылась дверь, в доме затрещал телефон.

Опять какой-нибудь книголюб, подумала Вера Ильинична и неторопливо направилась к аппарату-горлопану.

— Слушаю... Валентина Павловна? Что? Не может быть... Хорошо, хорошо... Я одеваюсь, ловлю такси и сейчас же мчусь туда...Что? Могу захватить... Если застану ее дома... Удобно. Мне по пути, по пути... Я мигом...

— Что, баб, случилось? — услышав ее взволнованный голос, спросил внук, оторвавшийся от чтения книги какого-то буддийского монаха-врачевателя.

— На кладбище полиция.

— Ну и что?

— Как — ну и что?

— Обычное дело. Опять, наверно, с какой-нибудь могилы бронзу или медь свистнули... Но у дедушки — ни бронзы, ни меди, да и сам памятник из обыкновенной гранитной крошки.

И Павлик снова вернулся в Тибет к премудрому буддийскому монаху-целителю.

— Мясо в холодильнике, суп с гречками согреешь сам, а вместо компота — желе, — зашнуровывая туфли, проинструктировала внука Вера Ильинична и выбежала во двор.

— А где оно — это еврейское кладбище? — простодушно поинтересовался таксист, когда она села в машину.

Удивленной Вере Ильиничне пришлось подробно объяснять ему, как туда проехать.

Раньше на такой вопрос она бы и внимания не обратила, но сейчас это покорило ее. Неужели, мелькнуло у нее в голове, этот молоденький литовец до сих пор никого не возил на еврейское кладбище? Ни местных евреев, ни евреев приезжих — американцев, французов, англичан, которыми в летние месяцы кишмя кишит город? Может, и вправду не возил. Может, в самом деле дороги не знает. Время бежит, знающие маршруты уходят, а за руль садятся зеленые юнцы, которые пришли на свет

уже «после евреев» и при упоминании о них — живых или мертвых — только плечами пожимают.

Такси остановилось возле новехонькой машины с броской и не вдохновляющей надписью «POLICIA»; Вера Ильинична расплатилась с водителем, нырнула в воротца и уже издали увидела, как в сопровождении смотрительницы Толстой Берты между надгробьями чинно и озабоченно расхаживают полицейские с собаками. Служивые никого не подпускали к себе близко, деловито что-то выискивая и шелкая закупленными в Швеции фотоаппаратами.

Вера Ильинична оглянулась вокруг и с какой-то стыдливой радостью отметила про себя: Ефимову могилу погромщики не тронули, они потрудились в соседнем ряду, там, где покоятся геолог Моисей Файнштейн, супруг Ольги Николавны, директор гастронома Альберт Гомельский, женившийся на бакинской армянке Рануш, и чуть поодаль — Марк Коган, супруг Валентины Павловны. Когда Вера Ильинична подошла поближе, полицейские все еще продолжали прочесывать кладбищенские ряды и шелкать фотоаппаратами, а собаки с профессиональным интересом обнюхивали уцелевшие могилы и разбросанные обломки.

— Господи, Господи, в войну двести тысяч уложили, а кому-то все мало, — причитала Валентина Павловна, прижимая к груди, как младенца, кучерявого Джоника, косившего свои пуговки-глазки на казенных ищек, которые шныряли между надгробьями. — Теперь взялись и за мертвых.

Пуделек от испуга и из благодарности за хозяйскую ласку залился застенчивым лаем.

— Беда, беда... — взволнованно повторяла Валентина Павловна. — И могилу сторожить надо, и Джоника не с кем оставить... Тише, милый, тише... Все вокруг спят, а ты их, негодник, будишь. — Докторица погладила собачонку, но та залаяла пуще прежнего.

— Наши все целы? — нетерпеливо спросила Вера Ильинична.

— Гомельскому на фотографии глаза выкололи, а у мужа Ольги Николавны — Моисея Израилевича какой-то краской фамилию залили. Как и в позапрошлом году, больше всего досталось военным. Их надгробья повалены и разбиты. Может, вы с кем-нибудь из покойных были знакомы? Я лично никого не знала... Полковник медицинской службы Евсей Иоффе, политрук Гесель Гиршбейн... А на некоторых камнях автографы оставлены — «Juden gaus!» Какое счастье, что моего Ефима на сей раз пощадили, а ведь он близкий сосед этого самого Евсея...

— А что говорят полицейские? — Вера Ильинична повернула голову в сторону сыщиков.

— Ничего. Допросили Толстую Берту, видела ли кого-нибудь. Та ответила, что крепко спала.

— И все?

— А что, по-вашему, она им еще могла сообщить? Что с бродягами водку на могильных плитах пьет? Что свиные объедки на них оставляет? — подытожила Валентина Павловна. — Все, как и в прошлый раз: пощелкали аппаратами, понасобирали обломков, собачьим дерьмом кладбище загадили, Бертю порасспрашивали, и — гуд бай. Ищите, дорогие жены, сами. У полиции и без еврейского кладбища работы по горло. — Валентина Павловна погладила Джоника, нагнулась, поцеловала в смазливую пушистую мордочку. — А что дорогие жены могут? Стоять с утра до утра с ружьями? — И вдруг она воскликнула: — Ах, Джоник, ах, шалунишка! От ласки всю кофту описал — ню, ню, ню!

Два года тому назад после налета на кладбище Вера Ильинична вместе со своими товарками поохала, поахала и, прибитая, вернулась домой, но на этот раз она решила действовать иначе — не воздыханиями и не безадресным возмущением — записалась на прием к генеральному комиссару полиции, и тот через три дня принял ее в своем роскошном кабинете, в котором на стене чахоточного Феликса Эдмундовича Дзержинского заменил нацеленный только на схватку и на победу Ландсбергис, снятый во весь рост на многотысячном митинге.

От имени группы вдов и сирот она без лишних предисловий потребовала у него выделить на кладбище охрану.

— Целиком и полностью поддерживаю ваше предложение, — ответил комиссар, красуясь в новом, хрустящем, как свадебный наряд, мундире. — Но...

— Но?

— Всему виной наша бедность. Пока у нас, поне, к сожалению, не хватает людей и средств на самое необходимое... На дополнительные посты, на спецтранспорт, на современное оборудование и оружие... — его доверительность подкупала, он смотрел на нее не с показным, полицейским, а с искренним, почти родственным сочувствием. — Такие печальные происшествия крайне вредят нашему молодому государству, его имиджу в мире, — комиссар помолчал и пристально глянул на посетительницу. — Вам чай или кофе?

— Спасибо.

— Спасибо — да или спасибо — нет? — своей учтивостью он старался скрасить вынужденную бездеятельность вверенного ему ведомства.

— Спасибо — нет.

— Есть, конечно, выход, поне... поне...

— Вижанскене.

— Но он лежит не в полицейской, а в гуманитарной плоскости. Возможно, я ошибаюсь, тогда вы меня поправите, ведь ваши люди, как я слышал, получают большую помощь со стороны.

— Наши люди?

Вера Ильинична не могла взять в толк, какую помощь со стороны получает она или Валентина Павловна, или Ольга Николаевна, в конце

концов, весь еще не вылупившийся из яйца союз русских вдов, чем они могут помочь полиции, но не отваживалась огорчать комиссара своим неведением.

— Вот если бы вы, поне Вижанскене, например, могли бы от всех еврейских вдов обратиться в какую-нибудь вашу организацию за рубежом — американскую или израильскую... Тогда другое дело. Говорят, годовой бюджет каждой из них намного выше, чем наш национальный...

— Но я, господин комиссар, не еврейка.

— Не еврейка? — выпучил он глаза.

— Я русская... Коренная русачка...

— Ни за что бы не подумал, — комиссар задохнулся от почтительного удивления. — Вы же так похожи! Так похожи!

— С кем поведешься, от того и наберешься, — съязвила Вера Ильична и добавила: — Обратиться, господин комиссар, в какую-нибудь еврейскую организацию мы можем, я не против, но очень сомневаюсь в успехе, вряд ли евреи согласятся финансировать литовскую полицию и содержать ее посты...

— Наверно, вы правы. Во всем надо полагаться на свои силы. Попрошайничать противно. Но и медлить нельзя! Я постараюсь что-нибудь придумать.

— Придумывайте, господин комиссар. Только поскорей. Подонки вас сильно опережают. Скоро, не дай Бог, и охранять будет нечего.

И гостя, не похожая на русскую, откланялась.

— Где это вы, мамуля, пропадали? Я телефон чуть не оборвал, — посетовал Семен, когда теща вернулась домой.

— Мы уже собирались звонить в больницы... в полицию... — попеняла ей Илана.

— А я в полиции и была... С очень симпатичным комиссаром познакомилась... Настоящий джентльмен... Только жаль — очень бедный...

— В полиции? — У Семена поползли вверх рыжие гусеницы бровей. — И по какому, позвольте спросить, делу?

Господи, они что — с луны свалились? Ничего до сих пор не слышали?

— По личному.

Вера Ильична обычно избегала с родней разговоров о кладбищах. Только заговори — дочка и зять тут же в рукопашный: могилы, мамуля, вам дороже всех живых, кто, скажите, вместо общей крыши с родными выбирает погост? Может, поэтому у нее не было никакого желания обсуждать с Иланой и Семеном то, что случилось. Сейчас, перед дальней дорогой, им все до лампочки! Придут в предпоследний день с Павликом на могилу, положат на камень роскошный букет гвоздик, скорбно, как вожди в кинохронике, склонят головы, и прощай, дедушка Ефим, и прощай, папуля... Семен, конечно, клянется, что, когда встанет на ноги,

будет каждый год со всей семьей приезжать сюда — на поминки. Но клятвы — не авиабилеты, они денег не стоят. Вера Ильинична своего зятя как облупленного знает — для него поклясться и что-то пообещать ничего не стоит. Главное, заманить ее в Израиль, а уж потом хоть трава не расти...

— По личному? — усмехнулся Семен. — С комиссаром-джентльменом? Видно, жаловались на этих недоносков, которые могилы громили?

Вера Ильинична не ответила — когда Семен воспламеняется, горит праведным огнем, плесни в ответ только слово, и пожар перекинется на всех. Пока он не выговорится, не обессилит от собственной правоты, не уймется.

— Вы, мамуля, зря с нами в прятки играете. Как только я прознал про погром, сразу туда и поехал. Я там побывал раньше вас. Подонки! Вандалы! Куда только власти смотрят! Европы бы постыдились! И вы собираетесь тут остаться? С этими головорезами?

— Не все же тут, Сем, головорезы.

— Я понимаю ваши чувства — с Ефимом Самойловичем расставаться нелегко. Но лучше закончить свои дни рядом с теми, кто тебя любит, а не с теми, кто терпеть не может.

— Хватит, Сема, хватит, — заступилась за мать Илана. — Каждый имеет право...

— На что? На глупости? Иду в пари — все ваши подружки отсюда тоже со временем отвалят, — завелся Семен. — И докторица Валентина Павловна с пудельком... И Пашина учительница! И маленькая армяночка с двумя детками от этого мошенника Гомельского. Выйдет за какого-нибудь Гургена или Акопа и махнет к своим в Ереван... И эта скуластая якутка подастся в Шушенское... к Владимиру Ильичу... Просвещаю вас, просвещаю, а толку ни на копейку!

На минутку он угас, но вскорости снова воспламенился:

— Кажется, я вам наконец квартиру нашел. Никогда не угадаете, где. В двух шагах от еврейского кладбища! Завтра все поедем на смотрины.

Старый трехэтажный дом, где продавали однокомнатную квартиру, окнами выходил на кладбищенскую ограду. Со второго этажа были видны дальние редкие надгробья и свежие холмики, утыканые кольшкками с временными табличками. Хозяйка квартиры — морщинистая полька с распаханным на борозды лицом и седыми, аккуратно уложенными волосами — была гораздо старше дома и всего того, что предстало перед взорами покупателей: висящей на стене иконы Богородицы и писаных маслом покоробившихся лебедей, застывших на стальной глади пруда; ручной швейной машины; громоздкого комода и задвинутого в угол дивана, покрытого шерстяным пледом.

— Добра квартира... Мы тут с Юзефом виенце ниж чидесце лят прожили. Як зврацались з ним з Караганды, он на шахте працовал, так тутай

и поселились. Может, трошки еще бы удалось, жебы Юзеф ние очекиване ние змарл. Завал сердца. Малгожата, цурка, наказала прендко все пшедать и поехать до ней, до Бялостоку. — Она говорила на каком-то смешанном польско-белорусском диалекте, все время прикрывая рукой тусклые металлические зубы в безгубом рту, полном застарелых и безотрадных вестей. — Пшедае мы миешкание бардзо тание...

Вера Ильинична и Семен заглянули на кухню, в туалет, вышли на балкон, оглядели окрестность, кладбище, на котором копошились какие-то люди, поблагодарили хозяйку, пообещали скоро дать ответ и зашагали к выходу.

— Купуйте, купуйте, — на прощание сказала хозяйка. — Тераз, ниестети, ченшко пшедаць — мноство жидув выйежжа, ихни миешкание лепши, але дроши.

Недолгие смотрины квартиры — черного, Бог весть когда засохшего пруда; лебедей с облупившимися, как штукатурка, крыльями; редкой металлической оградки во рту хозяйки; ее седых волос; комода, осененного иконой задумчиво-кокетливой Богородицы, — вдруг что-то перевернули в Вере Ильиничне. Она никак не могла разобраться в странном нахлынувшем чувстве, в котором смешивались и жалость, и неожиданный испуг, и непонятное безразличие. Вера Ильинична в этой старой, всласть натерпевшейся полке, как в одряхлевшем зеркале, увидела самое себя, свое уральское прошлое и не сулящее ничего хорошего будущее. Увидела и ужаснулась этому сходству — ведь и у нее Ефим неожиданно умер, и ей дочка велит запаковать чемоданы и ехать — пусть не в Белосток — в Хайфу. То, что в ней подспудно и безмолвно жило, к чему Вера Ильинична даже мыслью притрагиваться не смела, внезапно заговорило, подступило к сердцу и, как она ни тщиалась от этого прилива отмахнуться, он заливал все вокруг.

— Ну как? — неуверенно осведомился Семен.

— Никак.

— Если сделать капитальный ремонт, то жить вполне можно, — попытался он защитить свою находку.

— Квартирку отремонтировать всегда можно, а вот кто сделает капитальный ремонт тут... — Вера Ильинична ткнула пальцем себе в грудь. — Ты вроде бы, Сем, покраску сделал: сменил красный цвет на бело-голубой — партбилет на ермолку. По правде сказать, ермолка тебе больше к лицу...

К ее удивлению, зять не обиделся, не набычился, не стал по обыкновению высмеивать ее, как он их презрительно называл, идеалистические забубоны, уговаривать. До самой остановки они шли молча и так же молча, помахав друг другу, сели в разные автобусы.

Домой ехать не хотелось — снова затрещит телефон, снова на голову обрушатся вопросы, снова придется отвечать: «Кухонная посуда?» —

«Продана». — «Холодильник?» — «Продан». — «Десятитомник Чехова?» — «Продан». — «Жигули?» — «Пока не продаются». — Вера Ильиничне порой чудилось, что в один прекрасный день она услышит чей-то голос — почему-то обязательно мужской — и у нее спросят: «Жизнь?», и она ответит: — «Продана, продана. По дешевке. За гроши».

Нет, нет, домой нечего торопиться... лучше на часок завернуть к Ольге Николаевне, отвести душу, полюбоваться развешанными по стенам картинами, портретом самой хозяйки в строгом темно-синем платье с золотой брошью кисти неизвестного художника, гобеленами.

Ольга Николаевна Файнштейн-Кораблева жила на набережной в Доме ученых. После смерти мужа и отъезда в Любек детей она осталась одна в трехкомнатной уютной квартире недалеко от Лукишской тюрьмы, благополучно пережившей трех русских царей, несколько польских и советских правительств.

Они сидели друг против дружки в удобных кожаных креслах и потягивали из маленьких рюмочек сладкий молочно-шоколадный ликер, который незадолго до своей кончины геолог Моисей Израилевич Файнштейн привез с представительной конференции в Испании.

— Полиция кого-нибудь нашла? — спросила Ольга Николаевна.

— Полиция, как вы знаете, не находит, а ищет.

— Я бы очень хотела посмотреть этим негодям в глаза, поговорить с их родителями... Я уверена, что это сделали эти бритоголовые юнцы... — она поднесла рюмочку к покрашенным губам, лизнула заграничное зелье и продолжала: — Лора и Абрам звонят мне по нескольку раз в день. Возмущаются, утешают и наперебой настаивают, чтобы я перебралась к ним. Даже Аркаша из Кельна позвонил, прямо из консерватории: приезжай, бабуля, я подготовил концерт Вивальди...

— В гости зовут? — тихо спросила Вера Ильинична, опустив голову.

— Нет. Навсегда. Дела у них — тьфу! тьфу! тьфу! — идут вундербар. Я никогда, Вера Ильинична, не думала, что два закоренелых, неисправимых филолога, два русиста могут так преуспеть за ресторанной стойкой... Надеюсь, что и вашим повезет. Как-никак, дочь — химик, зять — электронщик.

— Говорят, что и там, в Германии еврейские могилы не в почете.

— Да... Но Лора и Абраша никого еще, слава Богу, в Любеке не хоронили. И потом — они уже немцы! Не русские, не евреи, а немцы. Бите зеер! Данке шен! Вундербар! Бояться им нечего... Мне, признаться, туда не хочется, но и зарекаться грешно. Ведь одиночество никаким растворителем, как надпись на могиле, не отмоешь.

Когда Вера Ильинична вернулась восвояси, то дома, кроме Павлика, не расстававшегося со своим буддийским монахом, она никого не застала.

— Баб, — оторвал голову от книги внук. — Ты что, может, себе бойфренда завела?

- А что это, родненький, такое?
 - Дружка то есть.
 - Ты с ума сошел!
 - А что? Ты еще совсем ничего...
 - Да ну тебя! Старуха... старая-старая карга...
 - Квартиру для тебя нашли?
 - Не-е-е.
 - Вот и замечательно. Поедешь со мной.
 - Куда?
 - Куда, куда... Туда... А кто мне там рыбу фаршировать будет, кугель готовить, блинчики, желе?
 - Мама.
 - Мама не умеет... — Павлик отодвинул в сторону своего любимого монаха. — Короче: не хочу, баб, чтобы ты нас провожала... хочу, чтобы была рядом... чтобы, когда меня в армию заберут, ждала... как когда-то из школы... помнишь, только поднимусь в горку, а твоя голова уже из окна высовывается... ты всегда, баб, боялась, что не приду... что со мной что-то по дороге домой случится... Может, потому ничего и не случилось...
- Вера Ильинична слушала его и громко шмыгала носом. Ей очень хотелось разреветься, но она изо всех сил сдерживала себя, только губы у нее предательски и благодарно дрожали так, как в молодости, в Копейске, после первого поцелуя.

V

Ей никуда не хотелось ехать, но чем стремительней приближался день отъезда, тем реже она заговаривала вслух о своем решении остаться с Ефимом и со ставшей привычной, как колики в груди, чужбиной.

Вера Ильинична боялась самой себе признаться в том, что ее решение, еще вчера казавшееся незыблемым, постепенно превращалось из окончательного и неотменимого только в желательное и возможное.

Первым благоприятную для семьи перемену в поведении Веры Ильиничны заметил зоркий Семен, со школьной скамьи пристально разглядывавший все явления действительности, как в армейский бинокль. Может, старую и впрямь не придется больше уламывать, с утра до вечера долдонить одно и то же, бегать по городу в поисках квартиры, на другом конце света морочить себе голову и думать, как ей там, в Литве, живется, и, если с ней, не приведи Господь, что-нибудь случится, мчаться через Варшаву или Копенгаген на похороны. Однако своими догадками, доставлявшими ему, скорее, некоторое облегчение, чем радость, осторожный Семен ни с кем — даже с Иланой — не спешил делиться. Нечего пугать иволгу, высидивающую на лугу птенца. Вспугнешь, и отвадишь птицу от гнезда. Пусть Вера Ильинична непуганая высидивает свое новое реше-

ние, не надо ее сердить своей преждевременной радостью, глядишь, и полетит вместе со всеми.

Перемену заподозрили и ее товарки, хотя Вера Ильинична и продолжала регулярно ходить на кладбище, подолгу просиживала у могилы мужа, по-прежнему обсуждала с другими вдовами все городские новости и сплетни, расспрашивала о детях — что едят, как за морями-океанами идут у них дела, но этому общению недоставало прежней живости и естественности, а ощущение близости друг к другу и доверительности сменилось вежливым любопытством. Спросит кого-нибудь из них впопыхах и не выслушает до конца, думает о чем-то своем потаенном.

Мысли о вторичном прощании с Ефимом и сестрой Клавой все чаще поклевывали виски, и Вера Ильинична гнала их вон, но те все равно вонзались в голову острыми, ненасытными клювами.

Куда девалась ее решимость, допытывалась она у себя, сметая игольчатый слой сосновой хвои с гранитного надгробья мужа или протирая мокрой тряпкой роковую, высеченную на камне дату. Стоило ли так долго упрямиться, упираться, чтобы вдруг взять и поднять вверх руки. Ведь еще совсем недавно все было иначе: почти вся жизнь крутилась вокруг единственного места на земле — кладбища, и ни о каком отъезде она и думать не думала, ее решимости ни одна душа на свете вроде бы не угрожала; еще совсем недавно она даже собиралась создать союз русских вдов, чтобы охранять и защищать дорогие сердцу могилы, не давать в обиду мертвых, а сейчас — сейчас ей трудно скрыть перед своими кладбищенскими подругами свое смятение и растерянность, как будто она кого-то из них предала или обчистила до нитки.

— Здравствуйте, Вера, — окликнула ее из-за сторожевой сосны доктор Валентина Павловна, отправившая всех в далекое и диковинное Пуэрто-Рико — У меня для вас две хорошие новости.

— Для меня — новости? — смутилась Вера Ильинична. Интересно, что же это за новости да еще хорошие? От хороших новостей она давным-давно отвыкла и уже ниоткуда и ни от кого их не ждала.

— Первая: на прошлой неделе ошенилась Марта.

— Марта? — удивилась Вижанская.

— Сучка Шадрейки... ну того самого собачника с проспекта Добровольцев. Забыли?

— Ах, да, — как спросонок, пробормотала Вера Ильинична.

— Принесла двойню... Вы, наверно, кобелька возьмете?

— Не знаю.

— Передумали?

— Что вы, что вы...

Вижанской показалось, что Валентина Павловна намекает на появившиеся у нее сомнения, укоряет за то, что она вдруг потеряла к ним инте-

рес, перестала призывать всех объединиться и что — какая двурушница! — подняла крыльшки.

— Пусть кобелек пока побудет у этого Шадрейки... подрастет... — сказала Вера Ильинична. Ей было неловко за уклончивый ответ, за то, что впервые она вынуждена ловчить и выкручиваться. У нее не хватало мужества прямо сказать, что и она, может статься, и впрямь поднимет крыльшки и будет просить ту же Валентину Павловну или Ольгу Николаевну, или Рануш Айвазян-Гомельскую, чтобы присмотрели за могилой Ефима. Просил же ее присмотреть за его мамой Фаиной Соломоновны Игорь Кочергинский, проснувшийся после долгой спячки еврей. Что подлаешь — одни, как говорит Павлик, сходят с дистанции, а другие с эстафетной палочкой бегут к финишу. Уезжать вовсе не стыдно, если заставлял обстоятельство. Семен и Илана не желают быть людьми второго сорта — чужаками на родине. Бог им в помощь! Но на старости уже не ты на облучке, не в твоих руках кнут и вожжи, а у них, у молодых, и возок, на котором ты сидишь, не сегодня-завтра может против твоей воли оказаться среди мулатов в каком-нибудь Пуэрто-Рико или среди немцев в Любеке. И грешно бросать в состарившегося и больного седока, съжившегося на задке, камень, — и он имеет право на последнюю милость, на то, чтобы его зарыли в землю не чужие, а свои.

— Пусть, — согласилась Валентина Павловна.

— А вторая новость?

— Горисполком... прошу прощения, мэрия сместила Толстую БERTУ и вместо нее назначила мужчину... литовца... Может, при нем порядка будет больше.

— Дай Бог.

Разговор буксовал.

— Вы, кажется, чем-то расстроены? Плохо себя, Верочка, чувствуете?

— Сейчас все себя плохо чувствуют. Особенно на кладбище.

— Хотите, я вас посмотрю, — предложила Валентина Павловна. — Сердце послушаю. Ведь я еще кое-что в недугах понимаю.

Вера Ильинична благодарно кивнула, погладила, как живое существо, надгробье и заторопилась к выходу.

Она шла неспеша, разглядывая и читая на заросших надгробьях выцветшие надписи. Шмуде Дудак, старший лейтенант... Доктор Пташек — к нему она водила заболевшего крупозным воспалением легких Ефима... Столяр Лазарь Глейзер — это он соорудил для них из карельской березы двуспальную кровать... Боже мой, Боже, сколько знакомых фамилий! Сколько могил, на которые уже никто не придет и не уронит слезу.

Было время, когда Вера Ильинична думала, что люди смертны, а кладбища бессмертны. Впервые она усомнилась в этом, когда, приехав в сорок шестом году на родину Ефима, в тихое, крохотное, как скворечник, местечко Камайя, они направились на кладбище, и вместо могилы

Ефимовых родителей между каменными обломками, разбросанными в высокой и сочной траве, обнаружили... буренку. Корова безмятежно дремала на солнце, и над ней в его пасторальных лучах кружились хмельные бабочки-махаоны и большие мухи, похожие на древнееврейские буквы, взмывшие с поруганных скрижалей в воздух. Неужто и сегодня, по прошествии стольких лет, в воздух снова взмоют эти горестные рои из разноязычных надгробных литер, неужто и сегодня в утренней дымке над еврейским кладбищем снова начнут кружиться раздробленные, разбитые ломами имена, и среди них его, Ефима-Хаима, имя, и ветер поутру унесет «е» на север, «эф» — на юг, «и» — на восток и «эм» — на запад.

Вера Ильинична давно поймала себя на мысли, что ни с того, ни с сего, без особой надобности принимается рыться в памяти и отыскивать в ней названия городов, где живут те, кто десятки лет тому назад уехал, кого знала, кому когда-то что-то печатала на своем доисторическом «Ундервуде» или «Эрике». Хайфа, Беер-Шева, Нетания, Бат-Ям, Нахария, Иерусалим. Ей казалось, что все уцелевшие евреи Вильнюса переселились в Израиль. Там только выйди на улицу — и кого-нибудь из них обязательно встретишь.

Каждый раз, когда ей удавалось очистить от ила времени и поднять из небытия на поверхность чье-то лицо или адрес, она испытывала какую-то непонятную, обнадеживающую радость и волнение. Хотя на первых порах будет с кем словом перемолвиться и посоветоваться.

Ведь для новичка, только-только спустившегося с трапа, даже для всезнайки Семена Израиль — темный лес. Это ермолку натянуть на голову легко, а вот вместить в душу страну, ее землю, небо... Зять бредит Хайфой, а что, собственно, он о ней знает? Только то, что вычитал из какого-то популярного справочника и увидел на цветных картинках юбилейного буклета — портовый город на берегу Средиземного моря, университет на горе, роскошные гостиницы; загорелые, по-голливудски улыбающиеся евреи и рядом с ними безопасные, выставочные арабы; счастливые, похожие на только что принятых в октябрюта и пионеры ребяташки с бело-голубыми флажками в руках; чисто выбритые, смуглолицые солдаты в лихо заломленных пилотках с вещмешками и автоматами за плечами...

Вере Ильиничне эта гористая, рекламная Хайфа с ее тянущимися вдоль всего побережья песчаными пляжами самой нравилась. Пляжи и море напоминали ей Палангу, ту самую, где в невод попала ее золотая рыбка и где она была так коротко и так безвозвратно счастлива. Если уж ехать в какой-нибудь израильский город, то, наверно, туда — в Хайфу.

— Вы, мамуля, каждый день там будете ходить к морю, смотреть на волны и на чаек, — нахваливал Хайфу Семен. — Там, кстати, в университете преподает Исаак Ильич Каменецкий, у которого я пять лет учился. Второй Эйнштейн.

В Хайфе проживала и старая приятельница и сослуживица Ефима — Фейга Розенблюм, которая в Вильнюсе не раз приходила к ним в гости. Ефим орудовал в той конторе ножницами и бритвой, а Фейга выстукивала на машинке протоколы допросов и прибегала к Вижанскому стричься. Польская гражданка, старая дева, Фейга одна из первых в шестидесятых добралась через Польшу до Святой земли. В сентябре прошлого года после долголетнего отсутствия она первый раз появилась в Вильнюсе.

— Я приехала к маме, — сказала она Вере Ильиничне. — Никуда не хожу, ни с кем не встречаюсь, общаюсь только с ней. Когда вдоволь с ней наговорюсь и наплачусь, улечу... Больше тут меня ничего не интересует.

— Но ты хоть разок по проспекту Гедимина прогулялась? Мимо своей бывшей работы прошла? — не выдержала Вижанская.

— Зачем спотыкаться о прошлое, где вдоволь и костей переломано, и крови пролито?

Вера Ильинична водила ее целый день по кладбищу; Фейга останавливалась у могил, вздыхала и тоненьким и колючим, как иголочка, голоском восклицала:

— И Левин умер! И Сапожников! И Горовиц! И твой Фима, светлый ему рай. Кто же, Вера, в живых остался?

— Пока мы...

— Хурбан, хурбан, — причитала на иврите Фейга. — Бежать отсюда надо... Будь жив твой Фима, он бы тут не засиделся, при первой же возможности увез бы вас к нам. Таких парикмахеров — раз-два и обчелся. Как он стриг! Как он стриг! До сих пор помню свою прическу — под мальчика! Твои не собираются?

— Собираются... Сейчас, Фейга, все куда-нибудь собираются... даже литовцы...

— А Иланка твоя как записана? — литовцы сослуживицу Ефима, видно, мало интересовали.

— Еврейкой. И внук мой евреем записан. Это только зять — Сема до прихода Горбачева по паспорту был русским, но теперь, кажется, пришел в сознание...

— У нас с этим делом строго, за подделку документов можно и срок схлопотать. Имейте это в виду, — предупредила Фейга и по пути к могиле матери, близоруко шурясь на надгробья, как из классного журнала, продолжала ронять в тишину: — Злата Иоселевич! Клара Фрадина! Ида Померанц! Какая женщина была, какая женщина — не Померанц, а Грета Гарбо! Хурбан, хурбан. Ужас!

На прощание Фейга Розенблюм подарила Вере Ильиничне брелок для ключей с изображением Стены плача и оставила ей на всякий случай свой хайфский адрес, но Вера Ильинична его куда-то так засунула, что по сей день не может вспомнить — куда... Может, в проданную «Защиту Лужина», может, в какой-нибудь том Чехова...

Никто из Вижанских из-за пропажи адреса особенно не сокрушался. Пропал так пропал. Дальновидный Семен больше рассчитывал на своего учителя Исаака Каменецкого — второго Эйнштейна, чем на скромную машинистку «из органов». Только Каменецкий может помочь своему бывшему студенту устроиться на каком-нибудь военном заводе. За Илану беспокоиться нечего — она работу всегда найдет; лаборантки-химички там нарасхват. Главное, поскорее выбраться из Литвы. Но все попытки найти для Веры Ильиничны однокомнатную квартиру оказывались тщетными. Все, что Семен предлагал, теща тут же выбраковывала. То район не по нраву, то этаж слишком высокий, то народ вокруг не симпатичный.

— Она меня доконает, — пожаловался он Илане. — Пусть сама ищет. Ты, пожалуйста, поговори с ней.

— Ладно. Поговорю.

Илана и без просьбы мужа собиралась поговорить с мамой, но всем не о жилье. Оставшись с ней наедине, она так и начала:

— Мне, мамуля, надо с тобой поговорить.

Вера Ильинична приготовилась было к очередной проповеди о преимуществах Израиля, о его синем-пресинем небе, теплом-претеплом море, о пальмах и кипарисах и о вреде упрямства.

Но в том, как дочь произнесла эти обыденные, затертые слова, была какая-то неожиданная загадочность и тревога. Илана, пусть и рохла, пусть и мягкая, податливая, как воск, никогда не обращалась к ней по пустякам, не имела обыкновения посвящать ее ни в свои интимные, ни в служебные дела. Она была не похожа ни на нее в молодости, ни на несуетного и степенного Ефима — может, только мягкостью и незлобивостью походила на покойную Клаву.

— Говори, — сказала Вера Ильинична.

Илана мялась, то и дело поправляла волосы, как будто прихорашивалась перед невидимым зеркалом.

— Я даже Семену об этом не говорила. Он ничего не знает.

— Чего не знает?

Долгое и невнятное вступление озадачило Веру Ильиничну. Она почувствовала, как от этой Иланиной невнятицы начинает бунтовать сердце, но не показала виду — сидела и не спускала с дочери глаз. Размазня, но красивая, очень красивая... сорок с лишним, а и сегодня ею залюбуешься.

— Я ходила на проверку...

— В онко?.. — опередила ее мама.

— Да.

— И что? — Вера Ильинична старалась не дышать, боялась, что выдст дыханием свое замешательство.

— Дали направление на биопсию...

— Грудь или по женским?..

Вера Ильинична из-за боязни расплакаться по-палачески укорачивала свои вопросы.

— Грудь. Нашли какое-то затвердение... Ума не приложу, что теперь делать. Дальше откладывать отъезд невозможно. Семен не работает, Павлик не учится, я в диспансере на птичьих правах, гражданство отнято... Кошмар...

— Улетайте немедленно. Все, что полагается, сделаешь в Израиле. На здешних врачей нечего полагаться. Ихние куда лучше...

— А ты?

— Я?

Вера Ильинична не нашлась, что ответить. Страх за Илану, как саранча, пожирал все ответы.

— Улетайте!.. Первым же рейсом! К черту квартиру, машину, книги, — все к черту! Главное — не опоздать.

— А ты?.. — Илана обняла мать за плечи. — Если со мной что-то случится... Не представляю, что будет: двое мужчин... без женщины и родственников... без языка... в абсолютно новой стране... Семен только на вид герой и на словах борец, а так...

— Ничего с тобой не случится, слышишь, ничего! — закричала Вера Ильинична. — Ни-че-го! Все, что могло случиться, в нашей семье уже случилось... Отец... Клава... Пусть все, что еще должно случиться, случится со мной. Кому я, дура старая, нужна? Только червям, только червям. Раз уж в Израиле синее-пресинее небо и теплое-претеплое море, надеюсь, там и черви имеются? — она попыталась свой вопрос превратить в шутку, но от этой шутки коченели пальцы.

— В Израиле все имеется, — растерянно отщутилась Илана.

— Так, скажи на милость, что за разница, достанусь ли я им на десерт в Вильнюсе или в Хайфе?.. Поеду... Буду рядом... Меня и Ефим просил. Что я говорю? Не Ефим — Павлик.

— А если ничего страшного не найдут... ты не пожалеешь, что оставила отца? — от испуга и нежности задохнулась Илана и, набрав в легкие воздуха, прошептала: — Ты только, ради Бога, не подумай, что я все это наплела, чтобы тебя разжалобить и выманить отсюда... Ты знаешь, я никогда тебе не врала. Никогда... Можешь не ехать, можешь остаться... дело твое... я все равно тебя буду... ну ты знаешь... все равно... Какая, мамуля, я гадкая, злая, если взяла и все тебе рассказала... я ничего не должна была говорить. Ты же не говоришь, когда тебе больно... когда жить не хочется...

— Мало ли кому жить не хочется, а живут...

Вера Ильинична наклонилась к дочери, запустила руку в ее густые каштановые волосы и принялась их безмолвно и ласково ерошить. Она ерошила их так, как в Иланином детстве, когда от каждого прикоснове-

ния к ее кудряшкам, к вывязанному на макушке белому банту испытывала ни с чем не сравнимое удовольствие...

— Что за идиллия? — неожиданно вторгся в это безмолвие голос Семена, который неслышно вошел в разоренную гостиную. — Вы что, уже начали прощаться? Не рано ли?

— Мы, Сема, не прощаемся, — усмирила его Илана.

— Раз это не прощание, то уж наверняка заговор. Может, и ты, Илана, решила никуда не ехать? Хорошенькая перспектива: жена остается, теща остается, взрослый сын со своей девкой — белокурой Лаймой остается, только идиот Семен Портнов, как поется в комсомольской песне, отправляется в другую сторону?

— Ты, видно, только и мечтаешь, чтобы мы остались? — с вымученной улыбкой сказала Илана.

— Мечтать никому не запрещается. Но не все мечты сбываются, — огрызнулся Портнов. — На данном отрезке времени я мечтаю только об одном — что-нибудь вкусенькое съесть и вытянуть на тахте ноги. За день, как пес, набегался. Где я только не был: и на таможне, и в Сохнуте, и в конторе по съему и найму жилья. — Семен ждал, что ему выразят сочувствие, спросят, нашел ли он, наконец, для Веры Ильиничны что-нибудь приличное, не требующее капитального ремонта, но Илана и теща, словно договорившись, молчали, и это молчание гасило его неукротимый пыл и сбивало с толку.

— Что будешь есть? — наконец спросила Илана. Ее так и подмывало обрадовать Семена, сказать, что мама едет с ними, но она решила не торопиться — пусть эта упряmica, эта тугодумка сама ему скажет, тогда уж обратного хода точно не будет.

— Все буду есть. Все... — и вдруг без всякой связи с предыдущим твердо и четко сказал: — Я встретил на Гедимино Павлика с его пассией Лаймой... Шляюсь в обнимочку как ни в чем не бывало. По-моему, парня надо срочно увозить, пока совсем не потерял голову. Еще не хватает нам на Земле Обетованной литовки.

— Лучше Лайма, чем Ливан, — бросила Вера Ильинична. — Ведь как только его высочество приедет на Землю Обетованную, он тут же загремит в армию. А вчера передали, что на границе убиты два израильских солдата.

Семен покосился на нее, решительным жестом поправил съехавшую набекрень непоседливую ермолку и сел за кухонный стол ужинать. Шестиместный, обеденный, праздничный стол из орехового дерева — нержавеющая ось прежней жизни — вместе со стульями и немецким столовым сервизом, полученным Ефимом Самойловичем Вижанским за верную службу в подарок к его пятидесятилетию юбилею от чисто выбритого руководства славных органов госбезопасности Литвы, уже был продан и увезен новыми хозяевами.

VI

Ей никуда не хотелось ехать, но она без колебаний отправилась бы на край света — хоть в Израиль, хоть в Пуэрто-Рико, хоть на Мадагаскар, чтобы только спасти от беды Илану.

Вера Ильинична никому — ни Семену, ни своим товаркам — не собиралась объяснять, в чем причина того, что она вдруг передумала. Передумала, и все. Каждый имеет право распоряжаться своей судьбой как ему заблагорассудится. Семен, тот, конечно, вздохнет с облегчением, и все ее шатания спишет на женскую блажь и завихрения; Валентина Павловна и Ольга Николаевна, ближайшие кладбищенские подруги, ее наверняка не осудят — сами одной ногой тут, другой — там. Вижанская кого-нибудь из них попросит, чтобы присмотрели за Ефимом. Наверно, Валентину Павловну. Профессор Марк Гринев-Коган и Ефим — соседи, лежат рядом, один под сосной, другой под липой. Ольга Николаевна, если согласится, могла бы еще присматривать за могилой Фаины Соломоновны Кочергинской и заняться союзом русских вдов. Уже лето, а ничего не сделано. Пошумели бабоньки, пошумели, надавали интервью и замолкли. А ведь кто-то должен отстаивать и права мертвых. Что с того, что они мертвые? Мертвые — тоже человечество.

Больше всего Вера Ильинична опасалась предстоящего разговора с Семеном, не сомневаясь, что зять устроит ей форменный допрос и попытается выудить, что к чему, начнет допытываться, не кроется ли за ее решением какая-нибудь тайна? Что-то из рук вон выходящее должно было стрястись, чтобы теща взяла и вдруг выбросила белый флаг. Это неспроста.

Вопреки опасениям все получилось куда лучше, чем Вера Ильинична предполагала.

— Давно бы так, — выслушав ее, посетовал Семен. — Зачем же вы нас столько времени мучили? Не могли решиться раньше?

— Думала, Сема, думала. Человек даже перед отпуском ломает голову, ехать или не ехать. А мы, если я не ошибаюсь, не в отпуск отправляемся. Там, как я понимаю, отпуска не будет. Придется вкальвать круглый год.

— А разве тут мы не вкальвали? Нежились на солнышке? — Портнов вперил в нее следовательский взгляд, боясь довериться своей радости и борясь с внезапно закравшимися подозрениями. — Сколько надо, столько и будем вкальвать. Но у меня к вам один вопрос: вы от меня ничего не утаиваете? Помните — чистосердечное признание облегчит вашу участь, — улыбнулся он.

— А что мне от тебя утаивать? По дороге не сбегу, из самолета не выпрыгну... И вообще, разве от тебя, Сема, что-нибудь утаишь? Ты же наш домашний Штирлиц...

Слова тещи польстили Портнову, хотя ни одному из них он не поверил. Говорит, не выпрыгнет, а может... вполне может... «Эль Аль» в небесах остановит, в горящую избу войдет.

На кладбище Вера Ильинична в первую очередь решила сообщить о своем отъезде доктору Валентине Павловне, отношения с которой были более близкими, чем с остальными, но и ей выкладывать всю правду она не собиралась.

— Валечка, у меня вдруг все пошло вверх тормашками, — комкая в руках кисти платка, промолвила Вижанская, когда в кладбищенской аллее встретила Гриневу-Коган с пудельком на коротком поводке.

— Вы уезжаете? — ошарашила ее Валентина Павловна.

— Неужели у меня это на лбу написано? Так сложились обстоятельства. Только, ради Бога, ни о чем меня не спрашивайте. Я вас очень прошу.

— Я просто очень и очень за вас рада... Вместе с детьми, вместе с внуком... Это ж такое счастье!

— Счастье?

— Конечно.

— Оно могло и вам подвалить...

— Могло, могло... Но не подвалило. Пока меня оставили, как в камере хранения. Не бросили, но и с собой не взяли. Хорошо еще, что я с Джонином, — сказала немногословная Валентина Павловна и потрепала песика за уши. — Обещали забрать, но не сказали когда... И, наверно, уже не скажут.

— Не может быть.

— В жизни, Вера, все может быть. Даже то, чего быть не может. Вот оно, мое Пуэрто-Рико, — доктор Гринева-Коган ткнула пальцем в первое попавшееся надгробье. Она смотрела на Веру Ильиничну прямо, без слез, покусывая накрашенные губы и крепко прижимая к груди кучерявого любимца, пялившего на нее свои добрые, бархатные глаза.

На другой день не остывшая за ночь новость просквозила кладбище и дошла до Пашиной учительницы Ольги Николаевны.

— Вы правильно решили, — выдохнула она. — Что бы ни случилось, лучше быть рядом со своими. Мои, как вы знаете, упорно зовут к себе на полгода в гости или на постоянное жительство. Но я не тороплюсь. Под своей крышей и мышь тише скребет. Перспектива лепить в подсобке ресторана на Амсельштрассе пельмени, печь кулебяку, наливать бюргерам русскую водку меня не очень прельщает. Лора и Абраша — молодцы, расширяются, слава Богу. У них уже одна москвичка, кандидат географических наук, кухарит, а другая, экономист, подает. Сгодились бы в помощницы и я. Но грех бросать такую квартиру. И библиотеку Моисея Израилевича, и его картины. Вы же знаете — он собирал модерн: Фалька, Добужинского, Гончарову...

Ольга Николаевна волновалась, желая как бы оправдаться за то, что в отличие от Веры Ильиничны остается в Литве, что даже в гости в Любек отказывается ехать, и Вижанской почему-то сделалось неловко и грустно от этих искренних и сумбурных оправданий. Ведь еще совсем недавно она сама только и делала, что выискивала схожие доводы и твердила: не поеду, не поеду, даже предлагала организовать союз русских вдов на кладбище... Теперь же Вера Ильинична, если перед кем-то и собиралась оправдываться, то только перед Ефимом — больше не перед кем.

Вера Ильинична не представляла себе, что она скажет мужу на прощанье — ведь одному Богу известно, на сколько лет они расстанутся друг с другом. Может, на годы, как Фейга Розенблюм со своей мамой. Может, навсегда. Зато знала, чего никогда Ефиму не скажет. Пусть себе спокойно спит. Он не должен обо всем знать. Всю жизнь она старалась его — живого ли, мертвого ли — радовать. Приходила на могилу и рассказывала, как ценят на работе Илану, как в Москве под аплодисменты защитил свою диссертацию Семен, какой красавец и умница Павлуша. И сейчас, прощаясь, будет рассказывать только хорошее.

Только хорошее рассказывала она и своей младшей сестре, когда навещала ее на укромном староверском кладбище, где за могилой Клавды ухаживала блаженная Варварушка, вдовая попадая, древняя, костлявая старуха, жившая при церковке в ветхом, как Старый Завет, двухэтажном деревянном доме вместе с сыном-алкоголиком. Варварушка исправно молилась за рабу Божью Клавдию, ухаживала за могилой и высаживала на ней задумчивые анютины глазки. Вера Ильинична аккуратно приплачивала Варварушке к ее нищенской пенсии, доставала через доктора Гриневу-Коган дефицитные лекарства, которые вместо старушки частенько принимал ее непутевый, пьющий по-черному сын.

Чтобы Вера Ильинична могла неспеша попрощаться с сестрой и Варварушкой, Семен выкроил из своего сумасшедшего отъездного графика время и привез тещу на «Жигулях», битком набитых всякой всячиной, на староверское кладбище. На виду у откормленного, как на убой, неряшливого батюшки в широкой и длинной, похожей на потертый театральный занавес рясе, он выпрузил из багажника и по шатким скрипучим ступенькам занес на второй этаж к Варварушке ручную швейную машинку, ворох шерстяных носков и кофт, корзину с обувью, пальто с выдровым воротником, пуховые одеяла, дубовую подставку, на которой когда-то стояли «Ундервуд» и «Эрика», мясорубку и миксер, тщедушный пылесос «Ветерок» и две завернутые в целлофан акварели: одну — со вздыбившимися морскими волнами, другую — с кленом и прислоненной к стволу пустой скамейкой, заметенной листьями.

Вера Ильинична не сказала Варварушке, куда уезжает — старухе было все равно; не сообщила она и сестре. Услышав про пункт назначения, Клавдия завопила бы на все кладбище из гроба. В Израиль?! Да у тебя,

Верка, шарики за ролики зашли? С одной Голгофы на другую... Одумайся, пока не поздно!

К удивлению Семена, терпеливо ожидавшего тещу под кладбищенским каштаном, прощание сестер было коротким. Все обошлось, без слез и вздохов. Вера Ильинична перекрестила надгробье, осенила себя крестным знамением, остудила руку о скромный могильный камень, как бы оставив Клаве в залог частицу своего убывающего тепла, и направилась к машине.

В разоренном доме хозяйничал избранник Семена — упаковщик Федор Гаврилов, двухметровый гигант с воловьей шеей и руками-кувалдами. Под присмотром Веры Ильиничны он заколачивал в ящики почти всю ее прошлую жизнь. Следя за мощными движениями Гаврилова, за тем, как он лихо вгоняет гвозди в доски, Вера Ильинична то и дело ловила себя на мысли, что между напиханным в ящики барахлом, многолетними семейными реликвиями, альбомами и почетными грамотами Ефима, радиоаппаратурой Семена и обувью Павлика, бельем Иланы, кухонной утварью и кассетами, остатками мировой литературы и недорогими морскими пейзажами в облезлых рамках оказалась как будто и она сама.

— Заколочено классно, — обжегшись о взгляд Веры Ильиничны, нахваливал свою работу Гаврилов. — Если литовцы на таможне не придурятся, и в Одессе хохлы не разворуют, все дойдет в целости и сохранности...

Господи, о какой целости и сохранности он говорит? И что у нее можно украсть? Копейск? Первый крик и первый шаг Иланы? Могилу Ефима?

Когда Гаврилов кончал работу и, нахлобучив на голову красный шлем, уезжал на своем оружии мотоцикле домой, Вижанская подходила к заколоченным, пахнувшим сосновой смолой ящикам, на которых, как и на всей жизни, не было обратного адреса, оглядывала их сверху донизу, словно надеясь что-то найти, и с тяжелым сердцем отправлялась спать. По ночам ей чудились загроможденные контейнерами порты, заваленные ящиками пакгаузы, причал Хайфы, грузчики, которые торжественно и скорбно, как гробы, выносят чужой скарб; Вера Ильинична металась во сне, разгребала барахло, колотила руками в стенки, в крышку ящика и кричала: «Выпустите меня, выпустите!», но ее никто на берегу не слышал.

Гигант Гаврилов с их житьем-бытьем справился быстро; с помощью подъемного крана ящики погрузили в кузов грузовика и увезли на таможню. Одновременно без всякого предупреждения отключили записанный на Семена телефон, и шумный, безалаберный, гостеприимный дом Вижанских-Портновых лишился голоса. Ни к Илане в физдиспансер, ни к Валентине Павловне Вера Ильинична не могла дозвониться — приходилось за полкилометра бегать к автомату, в будку с разбитыми стеклами, испещренную русскими матерщинами и утратившими актуальность ос-

вободительными призывами, либо — в крайнем случае — стучаться к соседу Пятрасу Варанаускасу.

— Звоните куда угодно. В вашем положении без связи — *klūkis* (крышка), — сказал Варанаускас, когда Вижанская появилась на пороге. — Это только зять ваш смотрит на меня зверем... отворачивается как от прокаженного. А ведь я не зверь. И не враг, как на первый взгляд кажется. Вы знаете, кто мои враги... Звоните, звоните... Не стесняйтесь. Чтобы вам не мешать, я выйду на лестничную площадку... покурю. Пятрас и впрямь выходил на площадку и затягивался дешевой каунасской сигаретой «Астра».

Вера Ильинична старалась не злоупотреблять его добротой, которая в любую минуту могла обернуться подогретой алкоголем неприязнью.

— Дозвонились? — вежливо спрашивал Пятрас, когда Вижанская выходила из квартиры.

— Спасибо. Стыдно за чужой счет прощаться с друзьями. К себе не пригласишь — есть некуда, три стула, угостить не можешь — нет посуды... И к другим, когда сидишь на чемоданах, в гости не сходишь. Но я, Пятрас, не по международному, я по местному...

Вера Ильинична не успевала попрощаться со всеми — разве всех обойдешь, разве ко всем дозвонишься, друзей за полвека набралось немало. Может, потому Вижанская коротко и пронзительно, как перед казнью, кричала в трубку: — Пока! Счастливо! До свиданья...

— Поне Вижанскене, — успокоил ее непредсказуемый Варанаускас. — Что-то вы стали редко от меня звонить? Звоните, пожалуйста. Хоть по местному, хоть по международному. Когда-нибудь расквитаемся... Не удивляйтесь, и я мечтаю туда слетать.

— Куда?

— Туда, куда вы летите, на литовском самолете... не со звездой, а с конем и нашим всадником на фюзеляже, — он облизал сухие губы и спрятал в карман янтарный мунштук. — Я вам на прощание открою один секрет. Можно?

— Открывай!

— Помню, много лет тому назад — еще моя Бируте была жива — я крепко выпил. Первый раз, когда евреи надавали под зад этому герою Советского Союза Гамалю Абделю Насеру; второй раз, когда они всех арабов из пустыни выкинули вон. Не верите?

— Верю, верю... Какой же это, Пятрас, секрет — крепко выпить ты мастак...

— Мастак, мастак, — не обиделся Варанаускас. — Но я выпил не просто так, а за Израиль, когда евреи этому герою Советского Союза под зад надавали. Выпил и подумал: так бы нам, литовцам — сплотиться и надавать оккупантам, выкинуть их вон из Литвы... Поне Вижанскене, клянусь всеми святыми, я имею в виду не вас, вы — хорошая женщина, но вы не в политбюро... Потому и звонить можете куда угодно и сколько

угодно — хоть по местному, хоть по какому... Между прочим, у меня в Израиле родственник.

— Родственник?! — вытарашила глаза Вижанская.

— Мертвый... Дядюшка мой... Ксендз Миколас... В его честь там в каком-то парке дерево посадили... В войну он двух еврейчат в Купишкисе спас — мальчика и девочку. Может, говорю, увидите его... На табличке, говорят, написано: Литва. Миколас Константас Пошкус... Девичья фамилия моей мамы — ПошкUTE... Эяна ПошкUTE... Если, поне Вижанскене, забредете в этот парк, черкните, что это за дерево... какой породы... ихней или нашей. И снимочек пришлите. А я буду вашу почту вынимать и присылать в Израиль. Ладно?

Веру Ильиничну растрогала его просьба, и она пообещала, что если ей встретится когда-нибудь дерево Миколас Константас Пошкус, то она обязательно Пятрасу напишет и снимок в конверт вложит.

Это дерево не выходило у нее из головы. Придумали же люди такой вид благодарности. Конечно, и дерево можно испоганить, поджечь, спилить, но корень — это не могильный камень, дерево ломом не повалишь, не выкорчуеть, оно не перестанет зеленеть и тянуться вверх, к Богу, а на его ветках будут вить свои гнезда не только вороны, но и певчие птицы, которые продолжают петь для мертвых то, что пели им, живым, в детстве или в молодости. Мог бы и на еврейском кладбище в Вильнюсе расти вяз или ясень Ефим Вижанский, а рядом с ним шелестеть туя Вера Филатова! Ведь, как подумаешь, столько лет они шелестели вместе. Наверно, умереть, думала Вера Ильинична, это и значит не исчезнуть, а навсегда укорениться, на чужбине или на родине...

Поскребывание ключа в замочной скважине прервало ее раздумья. Вера Ильинична приосанилась и застыла в ожидании: за дверь послышался голос — Павлуши и какой-то незнакомой женщины.

— Баб, — пробасил с порога внук. — Мы забежали только на минуточку... Мне надо переодеться. А это, — он повернул голову к своей смущенной спутнице, — моя подружка и однокурсница Лайма. Прошу любить и жаловать.

— Вижанская... Вера Ильинична, — с какой-то не свойственной ей многозначительностью представилась хозяйка и, спохватившись, добавила: — Может, все-таки чем-то вас угостить? Есть вкусный яблочный пирог с корицей...

— Нет, баб... Некогда. Мы с Лаймой спешим. Решил хотя бы перед нашим отъездом вас познакомиться...

— Очень приятно, очень приятно, — промолвила озадаченная Вера Ильинична, просвечивая Пашину подружку враждебно-любопытным взглядом. Господи, ни дать ни взять — Эйфелева башня! Бедняга-бабушка ей даже до плеча не достает. А волосы — копна соломы, можно с головой зарыться. А глаза! Не глаза, а ледяные проруби!

— Мы, баб, только что с кладбища.

— С кладбища?

— Да. Я Лайму к дедушке водил. Она согласилась время от времени навещать его... Живет недалеко — в Шешкине... около супера. Ну ты извини, я потопал переодеваться... опаздываем на рокеров из Манчестера... — отбарабанил Павлик и нырнул в свою комнату.

Вера Ильинична и Лайма, чем-то похожая на актрису Вию Артмане, стояли в опустошенной гостиной и молча смотрели друг на дружку, как бы соревнуясь — кто кого перемолчит. Обе ждали, когда появится Павел и наконец избавит их от неловкости и этого настороженного и ревнивого молчания, заполнявшего пустую квартиру.

— Я на еврейском кладбище была первый раз в жизни, — сдалась Лайма. — Очень интересно...

О чем еще можно говорить с Пашиной бабушкой, она не знала и захлебнулась от растерянности.

— Вам-то, по-моему, рановато по кладбищам ходить, — сказала Вера Ильинична. — Лучше уж на этих рокеров.

— Поговорили? — спросил Павел, переодевшись.

— Да... — сказала Вера Ильинична. — Когда ты явишься обратно?

— Наверно, под утро.

— Ты не забыл, что завтра прощаемся с дедушкой.

— С памятью, баб, у меня пока все о-кэй. Передай предкам, чтоб не волновались... И ты не волнуйся. В наши годы ведь и ты не сидела на печи.

Вера Ильинична проводила их до дверей, достала заначенную в пустом цветочном горшочке сигарету «Мальборо», прошла на кухню, нашарила на осиротевшей полке коробок спичек, чиркнула и закурила. Павлик и Лайма вдруг до боли напомнили ей что-то далекое, безвозвратное, невосполнимое — ее саму с шестимесячной завивкой, в крепдешиновом платьице, с потертым ридикюльчиком из свиной кожи на коленях, и галантного, отвергнутого горным мастером Филатовым, черноволосого, ушастого ухажера в гимнастерке и в галифе, заправленном в начищенные до блеска хромовые сапоги: взявшись за руки (за полвека до появления на свете рокеров), они сидели в жарко натопленном шахтерском клубе, слушали выступление ансамбля песни и пляски Уральского военного округа и притопывали в такт не то танцорам, не то своему счастью.

Глядя в голый потолок, с которого гигант Гаврилов снял и уложил в ящик тяжелую люстру грузинской чеканки, Вера Ильинична пускала вверх голубые, вычурные колечки дыма и, сама того не замечая, медленно и тихо, в такт притопывала ногами то ли своей неизбежной печали, то ли промелькнувшему за окном Пашиному ослепляющему счастью. Притопывала и, как в Копейске, самозабвенно, до головокружения, затягивалась этим когдатощим счастьем.

Всю ночь перед прощальным свиданием с Ефимом Вера Ильинична, несмотря на двойную дозу снотворного, не сомкнула глаз. Она лежала на кровати с открытыми глазами, пытаясь представить, как каждый будет себя вести завтра. Семен, конечно, притащит с базара ворох цветов — ее любимые астры и гвоздики и, поражая домочадцев своими познаниями, произнесет что-то мобилизующее и высокопарное с ударной концовкой на иврите; Илана, как всегда, займется прополкой, детской лопаткой взрыхлит суглинок и высадит гладиолусы; Павлик всех — в одиночку и вместе — несколько раз сфотографирует на фоне старой и преданной Ефиму сосны и поблекшего гранитного надгробья с русскими письменами; а она, Вера Филатова-Вижанская, останется с ним до рассвета, почти до отлета в Израиль. Постелит газету, сядет на почерневшую от времени скамейку и власть поговорит с Ефимом о том, о сем, но ни слова не проронит о главном, о самом болючем, о том, что через сутки расстанется с ним и навсегда уедет на другой конец света, в государство Израиль, о котором Ефим в давние-давние времена вслух боялся упоминать. Пускай, если он вдруг ее хватится, думает, что и она умерла, что их долгая и нелепая разлука кончилась. Пускай думает, что, как встарь, они снова легли рядом — он слева от абажура, она справа, поближе к шкафу, и можно протянуть друг другу руки, обняться, притулиться, как в выступленном копейском кинотеатре «Победа»...

На рассвете следующего — после прощания с Ефимом — дня за ней, озябшей, приехал на такси Семен — у «Жигулей» уже был другой владелец.

Вера Ильинична неторопливо шла к выходу по кладбищенской аллее и в обе стороны кланялась мертвым — ведь столько с ними прожито и пережито.

VII

Ей никуда не хотелось уезжать, но и отказаться уже было невозможно.

— Вам еще жить и жить, а мне что, мне только дожевывать — вы и выбирайте город, — сказала Вера Ильинична, когда, приземлившись в аэропорту Бен Гурион, Семен попросил у расфуфыренной чиновницы Сохнута, чтобы их направили в Хайфу к Фейге Розенблюм и к университетскому учителю Семена, профессору Исааку Каменецкому.

Начало было обнадеживающим — просьбу зятя удовлетворили.

В Хайфе они на первые, ни за что ни про что полученные от государства деньги сняли на бульваре Бат Галим трехкомнатную меблированную квартиру у благообразного, сухопарого еврея, все время подкручивавшего, как остановившиеся часы, свои седые пышные пейсы, и с трудом изъяснявшегося со съемщиками на полузабытой с сильными примесями идиша польщизне.

— Все мои миешканцы были сченстливы... Их зол а зей лебн. Один отвожил русский магазин на Макс Нордау... Другий в мэрии глувный помощник нашего мэра пана Мицны... Третий в Цахале... в нашем вуйске... подпоручник... Нийеден из моих людзи, барух ашем, не был забит пшеклентыми арабами. Ир фарштейт, вос их рейд?

— Ферштейт, ферштейт, — не моргнув, сказал Семен. — Мы из Вильно.

— О, Вильно! Гаон Элиягу бен Шломо-Залман! Ди гройсе шул!.. — восклицал добродушный владелец квартиры, приносящей жильцам счастье всего лишь за пятьсот двадцать пять долларов в месяц.

Ни Семен, ни Павел не собирались стать подпоручиками или помощниками городского головы Хайфы, а Илана и Вера Ильинична никогда не грезили о собственном магазине на улице Нордау, тем не менее, несмотря на заломленную цену, всех подкупила безвозмездная доброжелательность хозяина.

Счастья, обещанного шустрим Моше, квартира на бульваре Бат Галим на первых порах не принесла, но она и впрямь была хороша. Из окон гостиной открывался вид на всю верхнюю Хайфу, в сумерках напомиавшую огромный, светящийся огнями корабль, отправившийся по волнистым каменным утесам в плаванье, а из кухни в просветах между разнокалиберными, как бы случайно встретившимися домами угадывалось море — до него было рукой подать.

— Когда, мамуля, оседлаем иврит и найдем какую-нибудь работу, вы каждый день будете ходить к морю, — пообещал щедрый на посулы Семен. — Между прочим, здешняя набережная называется совсем по-нашему — Марина...

Против всех ожиданий зять и дочка строптивый иврит оседлали довольно быстро; не без помощи старожилы Моше, который приехал в Израиль на полвека раньше, чем они — чутьли не прямо из Освенцима, устроились на временную работу. Моше, почетный гражданин Хайфы, замолвил за них словечко перед Ициком, Ицик — перед Авишаломом, Авишалом — перед Бени, Бени — перед Эли, Эли — перед самим Амноном, и чудо свершилось: Илану приняли на полставки лаборанткой в больницу Рамбам, а Семен подрядился в мастерскую бытовой техники — чинить стиральные машины и холодильники, кондиционеры и электроволновые печи. А сверхсамостоятельный Павлик уехал укрощать иврит в первый дом на родине — в кибуц Алоним.

Вера Ильинична больше всего была благодарна Моше за Илану. Полставки, конечно, не Бог вещь что, но главное не жалованье — в больнице дочка пройдет все проверки, и, может, все с Божьей помощью уладится...

Когда Илана и Семен уходили на работу, Вижанская заступала на свою вахту — принималась хлопотать на крохотной кухоньке, что-то варить, жарить, печь, стирать, чистить, проветривать; бегала в русскую лав-

ку «Одесса» и поначалу покупала даже впрок у раскрашенной, точно пасхального яичко, Иннесы крамольные свиные сосиски.

— Вы, мамуля, свиные сосиски больше не покупайте, если не хотите, чтобы Моше содрал с нас еще пятьдесят шекелей. И ни с кем не открывайте — ни с благодетелем, ни с этой Иннесой, ни с этим Цицероном — подметальщиком Рувимом. Душу ни перед кем не раскрывайте. Помните: по здешнему закону, только я в нашей славной мишпохе сто процентный еврей, а все остальные крепко не дотягивают до нормы. Короче говоря — потомки Владимира Красное Солнышко, — предостерег ее Семен.

Русские? Там, в Литве, все было наоборот. Там они все до единого были стопроцентными евреями, даже Семену, который от всех свое еврейство скрывал, как доставшуюся ему в наследство дурную болезнь, даже ему не удалось стать русским. Там и ее, Веру Филатову, потомственную кержачку, в очередях не раз обзывали жидовкой! А тут все вдруг проснулись русскими.

— Ничего не поделаешь. В каждой стране, мамуля, свои законы. Павлику, боюсь, придется сделать обрезание и вместе с Иланой пройти гиюр. То есть принять иудейскую веру...

— Обрезание в двадцать лет! Гиюр! — приуныла Вера Ильинична. — А через что мне, старухе, придется, Сем, пройти?

— Вы, мамуля, останетесь тем, кем были, — успокоил он тещу и снова посоветовал ни с кем — даже с Фейгой Розенблюм — не открываться. Болтун — находка для врага. Что с того, что тридцать лет назад та стриглась под мальчика в одной конторе с Ефимом Самойловичем? А тут где работала? В налоговом управлении? А может быть, по совместительству в органах служила. Нет на свете страны без органов!

На праздники Фейга на такси приезжала в Бат Галим в гости, привозила кучу подарков — почти неношенные платья и туфельки для Веры и для Иланы, спортивные рубашки для Паши, галстуки для Семена. Вижанская наотрез отказывалась что-либо брать, но Фейга обиженно надувала щеки, насилу совала свои дары и глухо приговаривала:

— Бери, не стесняйся! Устройтесь и сами будете новичкам дарить. Наш Израиль мы тоже получили в подарок.

— В подарок?

— Его нам за наши муки и слезы подарили...

Дома Вера Ильинична и Фейга не засиживались, отправлялись к морю и допоздна прогуливались по набережной. Примостившись где-нибудь на скамейке, они молча смотрели, как дыбятся разухабистые волны, как грозно накатывают на песчаный берег и все с него смывают в переполненную тайнами глубину.

Когда Вера Ильинична и Фейга уставали, то заходили в какое-нибудь укромное кафе, выбирали столик с видом на море, заказывали кофе с

мороженым и не спеша перетряхивали свое прошлое. По совету Фейги Вижанская приносила с собой казенные бумаги, договора, банковские счета, уведомления из Битуах Леуми, и Фейга охотно выступала в роли переводчицы и главной советницы.

— Послушай! Вас в мисраде апним как записали? — потягивая пахучий кофе, как-то спросила у Веры Ильиничны Фейга.

— Записали как есть. Семена евреем. А всех остальных — никак.

— Д-а-а, — печально протянула Фейга. — Это, Вера, нехорошо. Очень нехорошо. Случись что — возникнут большие проблемы...

— Выгонят?

— Выгнать не выгонят. Но после смерти жену рядом с мужем не положат, а сына с отцом.

— Что ж, если не положат, останется один выход — улепетнуть с кладбища!

— Ну что ты городишь?

— А что? Сбегу! В Литву, к Ефиму.

— Я с тобой серьезно. А ты... шуточки-прибауточки.

— И я серьезно! — ответила Вера Ильинична. — Кто мне запретит? Скину саван, и ноги в руки.

Веру Ильиничну беспокоила не столько полицейская запись в ее удостоверении личности, сколько отметка докторов в истории болезни Иланы. Если отметка не будет равнозначна смертному приговору, она, Вера Филатова-Вижанская, согласна на все клейма, на то, чтобы ее, как собаку, зарыли под любым забором — арабским или еврейским, согласна дважды пройти гиюр, принять любую веру, смириться с обрезанием взрослого внука — дед Ефим не стал же от этого евнухом, и Павлик не станет.

Приходила Вера Ильинична на море и одна, без Фейги Розенблюм. В отличие от азартных и говорливых стариков-пенсионеров, тех, которые жили по соседству, и тех, которые обретались в сквере, подкрепляясь русской водочкой и коптя израильское небо дешевым куревом, пытали свое счастье уже только в картах и домино; не в пример потучневшей хористке Иннесе, у которой она покупала крамольные свиные сосиски; богомолу Моше, осыпавшему ее при встрече с ног до головы вопросами (как и всякий еврей, он состоял на восемьдесят процентов не из воды, а из вопросов), море ни о чем не спрашивало, не допытывалось, у него были одинаковые для всех без исключения законы и кары — для водоплавающих, для птиц и для людей, ему было безразлично, какого ты происхождения, какой веры придерживаешься и на каком кладбище истлеют твои косточки. Море было храмом для каждого — сюда все могли приходиться молиться. Вера Ильинична и приходила к нему, как в храм, как к самому Богу, чтобы помолиться за Илану, за Павлика и за безымянных прохожих, которые за день чередой проходили мимо нее по этому променаду.

В море, в этой бесконечной, живой и изменчивой чаше, умещаются и плещутся, как ей казалось, все времена — прошлое, настоящее и будущее и, если долго не отводить глаза, то можно узреть то, что было, и то, что с тобой будет. На волнах качались рыбацкий дом в Паланге, просторная мансарда, молодой и бойкий сосняк; на самый гребень из небытия вдруг, как бильярдный шар, выбрасывало голову Винценты в крестьянском платке; из пены выныривали сохнувшие сети, заносчивый кот со шляхетскими усами, рослый Ефим в штурмовке, в вязаной шапочке, с удочкой-самоделкой; Ефим перешагивал через волны и двигался к берегу, к ней, сложившей на животе руки, но у самой кромки отлив подхватывал его и уносил обратно в брызжущую яростью бездну.

У Веры Ильиничны на набережной была своя стоянка, и она никогда не меняла ни своего места, ни своей позы — стояла как вкопанная у парапета, спиной к веренице праздно гуляющих, вперяла взгляд в расплескавшуюся от края до края вспененную синеву и взглядом из сизого марева привораживала все самое дорогое, что у нее было в жизни.

Уверенная в том, что тут, на набережной Марина, никто ее не окликнет, не прервет ее раболопного и умиротворяющего любования простирившейся до самого горизонта завораживающей стихией, внушающей и восторг, и ужас, Вижанская нимало не удивилась, когда услышала:

— Батюшки-светы! Вера! Вижанская! А я-то думал — обознался.

По голосу Вера Ильинична сразу же узнала Игоря Кочергинского из давнишней «Зари Литвы», вдохновенного певца рассветов над Неманом.

— Кого я вижу! Игорь! Тебя тоже занесло в Хайфу?!

Кочергинский был таким же вальяжным, как в Вильнюсе. На нем была тенниска и модные шорты, из-под спортивной шапочки с новой — на сей раз ивритской — надписью «Едиот ахронот» выбивался длинный хвост волос, перехваченный на затылке пестрой резиночкой; через плечо с юношеской небрежностью было переброшено махровое купальное полотенце с носатым дельфином. Мастер рассветов над реками чувствовал себя на средиземноморской набережной Марина не хуже, чем в Паланге или в Сочи.

— Занесло, занесло. А какими ветрами занесло сюда тебя?

— Попутными.

— Навсегда или в гости?

— Навсегда... в гости! — рассмеялась она.

— Вот уж не ожидал. Давно?

— Давненько. Но я твою просьбу, Игорь, выполнила — за Фаиной Соломоновной ухаживает моя подруга... доктор Гринева-Коган. Рассказывай! Как устроился? Что ешь? Когда на премьеру «Рассвета над Иорданом» пригласишь?

— С премьерами, Вера, баста... Из драматургов я переквалифицировался в охранники. Ани шомер! За неплохие шкалики, — так он называл

шекели, — ночами на складе матрасы «Аминах» стерегу. Говорят, ляжешь вдвоем на такой матрасик и вставать не хочется... А занимаюсь... чем бы ты думала? Днем я, как молодой Ленин, раздуваю в Израиле из искры пламя. Работаю внештатным пресс-секретарем русской партии. Кстати, у тебя нет желания вступить? У тебя же в семье все русские... Тебе сам Бог велел.

— Прости, Игорь, партии — не мужчины, у меня они никаких желаний не вызывают. Не то, что у тебя, старого члена капэсэс с дореволюционным стажем.

И снова рассмеялась.

— Шутки шутками. Мы хотим, — не обидевшись, продолжал он с пафосом старого газетного волка, — в корне изменить нашу Израйловку... И мы ее — если сплотимся — изменим, голову на отсечение даю!

— Игорек, — остановила его Вера Ильинична, — твоя патлатая голова мне не нужна. И сплываться мне ни с кем не хочется. Вспомни, как вы уже один раз сплотили нас и знакомую тебе страну изменяли и так и эдак. И что из этого вышло? Пшик! Не лучше ли тебе, чем искры раздувать, заняться чем-нибудь другим — теми же рассветами? Мой «Ундервуд» к твоим услугам. Дорого не возьму...

— Ты, Вера, все шутишь. А ведь сюда хлынул миллион наших. Чтобы его не обижали, у него должны быть свои вожаки... поводыри! Согласна?

— Согласна, милый, согласна, но где их возьмешь — поводырей? Мы с тобой в Сусанины точно не годимся — дороги с моря к себе домой, и той толком не знаем. А ты — в поводыри!..

Они еще минуту-другую постояли друг против друга в боевой стойке, обменялись номерами телефонов, и молодой Ленин, обмотав махровым дельфином породистую, на редкость чуткую к атмосферным изменениям шею, вихляющей походкой первопроходца и реформатора зашагал к автобусной стоянке.

Когда Вера Ильинична, усталая, возвратилась с моря домой и растянула на долларовом диване опухшие, в набрякших венах ноги, позвонил внук, хотя она ждала не его звонка, а дочери, — что там с диагнозом? Уже пора было бы все знать... А может, Илана получила ответ и скрывает от нее?

— Эрев тов, сафта. Мидабер Пинхас. Павлик, баб, Павлик, — как всегда, начал внук на беглом иврите. — Ты что, баб, молчишь? Отвечай: эрев мецуян... Или — шалом... Всю жизнь ты меня учила, теперь я тебя кое-чему научу.

— Шалом, — выдавила Вера Ильинична.

— Шалом увраха

— Увраха, увраха. Что с тобой?

— Беседер гамур... Ат миткадемет.

— Не можешь сказать по-человечески?

— Ты, баб, делаешь успехи! Со мной полный порядок.

— И славу Богу. Хоть у одного полный порядок.

— Баб, я, наверно, завтра на денек приеду. Приготовь чего-нибудь такого-эдакого... как ты умеешь. Буду не один... с подружкой... Веред... по-русски — Роза.

— И кто эта самая Роза?

— Сюрприз.

Гостя оказалась миловидной солдаткой, черной и кучерявой, как пуделек доктора Валентины Павловны.

— Веред из Эфиопии... Она меня учит амхарскому, а я ее — русскому. Так? — обратился он к своей спутнице.

— Большое спасибо, — невпопад продемонстрировала свои широкие познания Веред и оскалила белые, как рафинад, зубы.

Павлик и его ученица стрекотали на иврите, закусывая его пирогом с маком и запивая холодным клюквенным морсом (баночку ягод Валентина Ильинична успела прихватить с собой из Вильнюса и заморозить).

— Роза говорит, что ты, баб, можешь договориться с какой-нибудь кондитерской и зарабатывать на этих пирогах кучу шекелей.

Вера Ильинична смотрела на них и по-старомодному думала о справедливости и несправедливости (негритянка Веред — еврейка, а сын еврея — русский), о воспитой в песнях Дунаевского и Блантера доисторической верности (как же оставшаяся в Литве Лайма?) и еще думала о себе, замешкавшейся на этом белом (белом ли?) свете. Разве что-нибудь изменилось бы в мире, не родись она в заштатном Копейске? Разве что-нибудь изменится, умри она сегодня от инсульта на хайфской набережной Марина?

Внуку не было до нее никакого дела, он громко и заразительно смеялся, чокался с Веред морсом, дружески трепал ее за черный крендель ушка и что-то страстно и торопливо объяснял. Вера Ильинична ежилась от этого смеха, от этой их веселой и беспечной отчужденности и даже не заметила, как, отвесив ей шутовской поклон, Павлик и его лиловая красотка вышли. Оставшись одна, Вижанская снова принялась думать об Илане, не скрывает ли та неутешительные результаты анализа; о Пашеньке, который решил, отказавшись от отсрочки, попроситься в какие-то элитные части и только после службы в армии сдать экзамены на медицинский в иерусалимский университет.

При одной мысли, что арабы могут Павлушу тяжело ранить или, Господи спаси и помилуй, убить, что она может со всеми своими хворями пережить и дочь, и внука, у Веры Ильиничны от ужаса заходило сердце. Не для этого она сюда приехала, чтобы хоронить кого-то из своих близких или катать их в инвалидной коляске по набережной. Вижанской нравились эта суровая, неподатливая земля, это неправдоподобно синее, как на лубке базарного мазилы, небо, и теплое, подогретое надеждами море,

и эти люди, скорее, похожие на узбеков или таджиков, чем на евреев, но она никак не могла взять в толк, какое отношение ко всему этому восточному люду имеет она — Вера Филатова, негаданно пожаловавшая в еврейское государство; за что ежемесячно получает от него незаработанное пособие; чем и кому может помочь рутинной варкой обедов, печением пирогов с маком, хождением поутру к зеленщику Йоси или к размалеванной Иннесе за крамольными свиными сосисками и украинской ветчиной, навязчивыми страхами за дочь и внука, членством в русской партии Игоря Кочергинского? И кто может помочь ей самой, белой вороне, залетевшей с ненастного севера в здешние оливковые и миндальные рощи? Ее никто не обижает, не гонит прочь, не обзывает оккупанткой, не винит во всех смертных грехах, но куда девать от неприкаянности душу? Может, не страна, не город, не вера в другого Бога делает человека чужаком, а его душа — начало и вместилище чужбины, от которой если и можно избавиться, то лишь в тот миг, когда она отлетает в вечность.

Даже внук уже тяготится ее вниманием, даже он уже чурается ее любви, даже дочь уже раздражает ее тревога. Куда девать душу?

— Я тебя, мамуля, не разбудила? — спросила Илана и прикрыла за собой входную дверь.

— Нет.

— Сема еще не приходил?

— Приходил твой сын-изменщик со новой кралей. Поздравляю — уехали от литовки приехали к эфиопке.

— Ты, мамуля, всех сразу женишь... Сейчас так в мире принято.

— Как?

— Сейчас пару выбирают по конкурсной системе. С отсевом и выбыванием. Ты в лавке у Йоси персики как выбираешь? Поштучно? Помятый или с гнильцой отбрасываешь...

— Но я их перед покупкой не надкусываю.

Вера Ильинична засуетилась, заторопилась на кухню, но Илана ее остановила и обняла за плечи:

— Я, мамуля, сыта... даже с доктором Шнейдером бокал французского вина выпила. Моше прав: наша квартира — счастливая. Кажется, меня беруг на полную ставку. Мой начальник... доктор Шнейдер мной очень доволен. Говорит, что я мумхит — большой специалист...

— А что у тебя с анализами?

— Разве я тебе не говорила? — повинулась Илана.

— Нет.

— Бить меня, идиотку, надо... Слава Богу — ложная тревога. Обыкновенная циста. Ничего серьезного. Велели через полгода еще раз показаться. Ты, мамуля, лучше своей грудной жабой займись. А то она у тебя по ночам квакает.

Илана говорила заботливо и складно, в ее голосе не было ни волнения, ни фальши, и от этой округлости и повторяемости фраз, от их размеренности и монотонности, от этого подчеркнутого благодушия и спокойствия у Веры Ильиничны только закрадывались новые подозрения. Бодрость дочери казалась чрезмерной, а потому наигранной. Если все так радужно и просто, почему Илана не удосужилась сказать ей раньше о цисте? Но Вера Ильинична решила ни о чем ее не спрашивать — они всю жизнь ее подкармливали враньем, которое, видно, устраивало обе стороны. Спросить бы у доктора Шнейдера, но и он ей правды не скажет. Может, диагноз и впрямь не такой, как нашептывал ей страх, но Вижанская кроме расхожих словечек «тогда» и «беседер», на несшемся от нее вскачь иврите ничего произнести не могла. На ее месте каждый бы боялся. Бояться не стыдно, полезно. Страх — сторож жизни.

— А Семе ты сказала? — пустилась на хитрость Вера Ильинична.

— Зачем? Он вообще никогда ничего о моих болячках не знает и живет по принципу: в незнании — сила, — без запинки, с прежней искренностью и беспечностью отчеканила Илана.

Вера Ильинична опешила от ответа, но виду не подала.

Когда стемнело, появился хмурый Семен.

— Почему так поздно? — чмокнув его в небритую щеку, поинтересовалась Илана

— Искал Каменецкого... Телефон не отвечает. Адрес в книжке неправильный. Решил съездить на кафедру... — Портнов вдруг вздохнул и замолк.

— И на кафедре не нашел? — подстегнула его Илана.

— Оказывается, я все время гонялся за покойником — Исаак Эммануилович ушел полгода тому назад. Жаль, очень жаль. Второго Эйнштейна больше нет. А я-то думал, что кто-кто, а он мне поможет.

— Умирают и Эйнштейны, — буркнула Вера Ильинична. — Все умирают...

— Не вовремя, мамуля, мог бы чуточку потянуть, — пропел Сема.

— У смерти, Сема, свой календарь, — процедила Вижанская и пытливо взглянула на дочь.

Илана достала из сумочки пилочку и принялась непринужденно подпиливать покрытые багровым лаком ногти.

— Не повезло, не повезло, — пригорюнился Семен. — Я так на него рассчитывал. А теперь... теперь придется за гроши дальше ишачить в этом вонючем подвале и чинить «алте захен», которые на улицах подбирают эти наши двоюродные братья.

— Благодарю Бога, что хоть такая работа есть, — вставила Вера Ильинична.

— Бога поблагодарить никогда не поздно. Недаром Он вездесущий. Но, может, говорю, чем ждать у Средиземного моря золотой рыбки, взять

и махнуть в Канаду? Каждый день в газете: «Требуются электронщики... программисты... Торонто, Ванкувер, Монреаль».

Вопрос увяз в молчании.

— Сем, — вдруг подала голос Вера Ильинична. — Скажи на милость, а человек... где требуется человек? Или на человека в мире уже нигде спроса нет?

VIII

Ей никуда не хотелось ехать, но для того, чтобы вернуться на круги своя, у нее уже не было ни сил, ни надежды.

Вера Ильинична и не заметила, как с того дня, когда они ступили на Святую землю, пролетело больше года. Вокруг вроде бы ничего и не изменилось — так же над Хайфой девственником голубел небосвод; так же неподалеку ворчал море, недовольное, видно, своим вечным соседством с высокомерной сушей; так же, не считаясь ни с какими датами, светило расточительное солнце, о котором богомольный Моше, в прошлом узник концлагеря в Польше, говорил, что светило с лихвой старается выплатить уцелевшим евреям и их потомкам свою задолженность за мрак и стужу Колымы и Освенцима; так же, грозясь махнуть в хлебный Монреаль, клял свою работу Семен: «Поеду на разведку. А когда устроюсь, всех заберу»; так же ни свет, ни заря отправлялась в больницу Рамбам Илана; так же внизу с грохотом открывал зарешеченную дверь своей лавки зеленщик Йоси, выкатывавший на шербатый тротуар под ноги покупателям уложенную в картонные ящики аппетитную радугу из помидоров и перца, апельсинов и бананов, яблок и груш, абрикосов и персиков, дынь и грейпфрутов.

Ничего не менялось и внутри, пока из первого дома на родине — из kibbוצа Алоним не ушел в армию Павлик — готовка, стирка, хандра, мытье окон и полов, боли за грудиной, тягучие восточные напевы за стеной, телевизор, подаренный на новоселье Фейгой Розенблум.

Как Вера Ильинична ни уговаривала внука воспользоваться правом на положенную ему отсрочку, он ее не послушался.

— Неприятности, баб, возрастают по мере их откладывания на завтра. Уж лучше отслужить сразу.

— А если война?

О войне Павел и слышать не хотел. Он служил на военной базе в Негеве, где-то за Беер-Шевой, возле покосившихся шатров безлюдного бедуинского стойбища.

Вера Ильинична ездила туда вместе с Семеном и Иланой на его день рождения, хотя зять, как это повелось, и настаивал, чтобы она осталась дома — дорога тяжелая, длинная, мало ли чего со старым и больным человеком может случиться, ведь от автобусной остановки до Пашиной

базы надо по нестерпимой жаре еще шагать и шагать. Но теща была непреклонна. Случится, мол, так случится, важно, чтобы ничего не случилось с Павликом.

Она купила себе шикарную соломенную шляпу с широкими полями, испекла свой фирменный торт с орехами и какао, набрала в лавке у Иннесы, которая, как оказалось, в прошлой жизни работала не в торговле, а была хористкой Одесского театра музыкальной комедии, всякой всячины — маслины, хумус, шпроты, московские конфеты «Мишка на Севере», бородинский хлеб и пять блоков «ЛМ» для всей роты (сам Павел не курил), коротко, скорее по погоде, чем по моде, постриглась у нелегальной парикмахерши Иды, принципиальной ненавистницы налогов, обслуживавшей всех приезжих по дешевке: с мужчины — десятка, с женщины — полторы, и даже перед дорогой, неизвестно зачем, впервые за долгие годы накрасила Иланиной помадой давно увядшие губы.

Обливаясь потом и потягивая по пути из горлышка горячую, как чай, «Колу», путники добрались до военной базы, со всех сторон окруженной колючей проволокой и жалкими бедуинскими постройками. У контрольного пункта их с переброшенным через плечо автоматом «Узи» уже ждал Павлик. Он был в выцветшей гимнастерке, из-под погона которой торчал лиловый берет бойца бригады «Гивати», в тяжелых, смахивавших на черепаший панцирь, ботинках и в темных очках. Павел что-то быстро объяснил часовому, и тот неспешно, с подчеркнутой начальственной ленцой и снисходительностью проверил у гостей новехонькие удостоверения личности и пропустил их на запретную территорию части.

Когда после объятий и поцелуев все устроились под натянутым на кольях брезентовым тентом, предназначенном, видно, для встреч, Вера Ильинична расстелила на сколоченном из черных досок столе бумажную скатерть и аккуратно разложила свои гостинцы. Исхудавший, загорелый именьник снял автомат, положил его рядом с тортом, на котором из свежих ягод черешни была выложена юбилейная цифра «20», и для приличия спросил:

— Как вы?

— Хорошо, прекрасно, замечательно, — словно по уставу на «первый-второй» рассчитались родичи, умолчав о хлебном Монреале, онкологических проверках и боли за грудиной.

— А ты? — бесстыдно любуясь внуком, поинтересовалась бабушка.

— Разве не видно? — уминая плавящийся в лучах торт и выколупывая пальцами черешенки, ответил Павлик.

— Не жалеешь?

— Уммм, — промычал он полным ртом.

Вере Ильиничне не терпелось спросить его, не постреливают ли тут арабы, но она сдержалась. Вокруг стояла тишина, теплая и густая, как войлок, и боязно было подобными вопросами будить беду. В тишину было

запеленуто все: и пасшиеся поодаль вневременные, горделиво выплывшие из вечности двугорбые верблюды; и жесткие, поросшие щетиной, как бы подвергнутые гончарному обжигу кустарники; и змеившиеся недаленые ущелья в белокаменной оправе, и солдат-часовой, и Павлик. Тишина укутывала его с ног до головы, и, глядя на него, Вера Ильинична освобождалась от страха — даже «Узи» с полной обоймой не внушал опасения и рядом с тортом казался большой, заваливающейся на чердаке игрушкой. Она молила Бога, чтобы так было все три года службы, чтобы внук вернулся из тишины в тишину, и больше ни о чем его не спрашивала. Не обременяли своим любопытством сына и Семен с Иланой. Военных тайн у него не выпытаешь, а терзать его рассказами о своих тяготах и заботах бессмысленно. Главное — все живы-здоровы, чего еще хотеть. Воздерживался от вопросов и Павел, не спросил даже о том, есть ли письма из Вильнюса, от Лаймы — он молча, с наслаждением продолжал чинить расправу над своим любимым лакомством, одобрительно причмокивая.

Когда солнце чуть остыло и склонилось к земле, троица собралась в обратный путь.

— Я провожу вас до остановки, — сказал Павлик.

Пристроившись к бабушке, замыкавшей цепочку, он двинулся с ними по пустыне, пышущей, как паровозная топка, к шоссе.

Вера Ильинична нет-нет да останавливалась, вытряхивая из туфель песок и оглядывалась назад. Пустыня была чем-то похожа на море — такая же безбрежная, безмолвная, нелюбопытная к чужой судьбе, в лучах закатного солнца ее гофрированная поверхность колыхалась, а невысокие барханы дыбились и волнами накатывали друг на друга. Как и море, пустыня ни у кого ни о чем не спрашивала, ей было все равно, кто ты и откуда, каждый — насекомое ли, пресмыкающееся ли, зверь или человек были для нее не больше, чем жалкие песчинки. Подхватит ветер, закружит, понесет Бог весть куда, и следа не отыщешь.

— Ты, баб, не мучайся, сбрось туфли!..

Она послушалась, и вдруг ощутила какую-то непривычную легкость, словно скинула не обувь, а что-то другое, долго ее угнетавшее, но сама не могла разобраться, что; ее вдруг захлестнуло неодолимое желание замедлить шаг, удлинить дорогу до остановки, чтобы подольше сохранить поднимающееся к сердцу ощущение не столько тепла, сколько чего-то далекого, затерянного, закатившегося, как обруч в детстве.

Семен и Илана шли впереди, молча, но от их молчания, как и от песка, веяло не теплом, а какой-то недосказанностью, непостижимой отрешенностью, которые дома обычно скрадывали общие стол и стены.

— Все вы, баб, в день моего рождения какие-то стукнутые. Поссорились, что ли? — понизил голос Павел.

— Да нет.

— Папа не говорит с мамой, ты — с ними... Что-тостряслось?

— Просто всегда грустно расставаться с солдатами. Это у меня с войны. Каждый раз кажется, что расстаешься с ними навеки.

— Меня, баб, не обманешь, — отрубил Павлик. — Не будешь мне говорить правду — и я тебе не буду.

Уже видна была извилистая, вонзившаяся в пустыню полоса шоссе, по которой, как доисторический птеродактиль, медленно двигалась бедуинская повозка. Над повозкой, груженной ветошью и обломками мебели с городской свалки, огромной стрекозой в небе повис потрескивавший винтами военный вертолет. А может, это от жары потрескивал сам воздух...

— А я, Павлик, все твои правды знаю, — осевшим голосом сказала Вера Ильинична.

— А вот и не все! — не дожидаясь ее вопросов, задиристо выпалил внук. — Не знаешь, например, что больше я тут служить не буду. Нас, баб, переводят поближе к вам. На ливанскую границу. Теперь по субботам у тебя, баб, на кухне дел прибавится... Одними тортами от меня не отделаешься!..

— Но там стреляют, — выдавила она. — Там, сохрани и помилуй Господи, и убить могут. Мама говорит, что к ним в больницу каждую неделю оттуда кого-нибудь привозят.

— Убить могут повсюду. Даже в Хайфе. У тебя под носом

Автобус долго не приходил, и они переминались на пустой остановке с ноги на ногу.

— Пора вам, пап, каким-нибудь мотором обзавестись — «фолькс-вагеном» или «пежо». Нечего жмотиться! — посоветовал Павел. — Не жарились бы сейчас, как бедуины...

— Пока у нас, сынок, сбережений хватило только бабушке на птичку. Угадай, как мы ее назвали?

— Машкой.

— Бери выше — Карлушей. В честь Маркса. Разве бабушка тебе не говорила? Приедешь в отпуск — концерт устроит... — сказал отец.

— Бабушка или птичка?

— А уж там как ты захочешь, — отшутился Семен. — Они обе у нас известные мастера вокала.

Всю дорогу от военной базы до шумной, взмывающей к небесному куполу Хайфы Вера Ильинична пыталась привыкнуть к неутешительной мысли о том, что Пашеньку переведут из безропотной и по верблюжьей невозмутимой пустыни на спокойную ливанскую границу, откуда на Израиль постоянно совершает свои злодейские набеги самонадеянная и неразборчивая смерть. Вижанская никак не могла взять в толк, что поразило ее больше — то ли известие о новом месте Пашиной службы, то ли спокойствие, с которым он отнесся к этому небезопасному перемещению — «Катюши», «Хизбалла», похищения... Удивило ее и то, что внук почему-то не посчитал нужным сказать об этом родителям. А их-то, на-

верно, прежде всего и надо было оповестить... Глядишь, папаша перестал бы бредить Монреалем или Отгавой, сидел бы в своей мастерской на улице Нисенбаум и не рыпался бы — вокруг столько безработных, поумней и способней его. Бога бы еврейского не гневил. Не про Павлика да будет сказано, мало ли чего с солдатами на границе случается, когда у страны в соседях не латыши-флегматики и не белорусы-бульбоводы. Старожилка Фейга Розенблюм и хозяин — Моше такое рассказывают, что волосы дыбом, да и по радио в русских новостях только и слышишь — тут засаду смертельную устроили, там танк подбили. Послушаешь и весь день ходишь больная — сердце шалит, давление зашкаливает за двести. К одному тяжелораненому срочно мать-казачку с Кубани вызвали, к другому на похороны — отца из Лос-Анджелеса, куда тот отправился на заработки... Назавтра включишь приемник — то же самое, те же вымокшие в крови новости.

Вера Ильинична не чаяла, не гадала, что поездка в Негев обернется для нее такими горькими раздумьями. Кто мог подумать, что тревога за Павлика вытеснит из ее сердца Илану, которая получила увольнительную на полгода. Еще в Вильнюсе она убеждала зятя не трогаться с места, пока их не примет Америка, мол, в Израиле что ни день, то убийство, но Семен только отмахивался от ее доводов — убивают-де повсюду, и если хорошенько пораскинуть мозгами, то страшней и неумолимей убийцы, чем сама жизнь, нет и не будет...

После того, как Пашу перевели на север, Вера Ильинична ночами не смыкала глаз, засыпала только со снотворным, видела страшные сны: взрывы, изуродованные тела, носилки, и во всех снах самое себя, взлохмаченную, в ночной сорочке, в тапочках на босу ногу — бродит по окопам и траншеям, переворачивает с живота на спину убитых, вглядывается в подсвеченном траурными звездами мраке в застывшие солдатские лица и громко зовет: «Павлик! Пашенька!»

Не дождавшись отклика, Вера Ильинична срывалась с постели, распахивала окно и, задыхаясь, не сдерживая слез, начинала неистово и бесвязно что-то шептать.

— Своими страхами ты себя до могилы доведешь, — сокрушалась Илана, застав ее среди ночи в слезах у распахнутого окна. — Ничего с ним не случится. Мы купили твоему внуку мобильный телефон и договорились, что он тебе будет звонить каждый день.

Внук действительно время от времени звонил, но ей от этого не становилось легче. В промежутках между его короткими звонками Вера Ильинична принималась в пустой квартире, обставленной чужой мебелью и увешанной массивными портретами благочинных старцев, видно, далеких родичей Моше, беседовать с тезкой основоположника научного коммунизма Карлушей, который на каждое слово своей кормилицы откликался долгим и понятливым щебетом, и тогда ей казалось, что никто

ее так не понимает, как эта маленькая птичка со звонким голоском, серыми перышками и тонкими, похожими на китайские иероглифы, лапками. Карлуше она поверяла свои сомнения, делилась своими страхами, и он, ее исповедник, наклонив набок голову и скосив плутоватые бесслезные глазки, слушал ее с неподдельным состраданием, не свойственным пернатым. Иногда, смущенный признаниями хозяйки, шегол от волнения и доверия начинал отважно перепрыгивать с жердочки на жердочку, порой врзался с размаха в стенку и падал на дно клетки, усыпанное зернышками и кашками.

— Ну чего ты, дурачок, бросаешься, как Матросов на амбразуру? Так и разбиться можно, — журила его Вера Ильинична.

С особым воодушевлением Карлуша отзывался на трель телефона, которая, видно, напоминала ему о предках, заливавшихся не в крохотной клетке, а в приветливой, тенистой купе деревьев, под обжитыми просторными небесами. Услышав звонок, он расправлял отвыкшие от полетов крылышки и вдруг заходил в громком счастливом пересвисте. В такие минуты от его самозабвенного сольного номера увлажнялись глаза не только у чувствительной Веры Ильиничны, но, похоже, и у жестоковъиных старцев — польских прадедов Моше на стенах.

Вера Ильинична устраивалась за столом напротив Карлуши и, чтобы забыться, писала под его ободряющие рулады письма в Вильнюс своим кладбищенским подругам Ольге Николаевне и Валентине Павловне, расспрашивала их о Ефиме; о Пуэрто-Рико и Любеке; о союзе русских вдов; рассказывала им о детях, о Павлике, о ценах и о себе, о том, как к ней пытался посвататься такой Миша из Керчи, бывший моряк-подводник в героической тельняшке на худосочной груди, приторговывавший на набережной пиратскими кассетами Шафутинского, книжками Блаватской и Марининой, советской символикой — спортивными значками, морскими вымпелами и юбилейными медалями «За оборону Одессы» и «За взятие Берлина»; о хозяине Моше, который взял и отменил ее прежнее христианское имя и на местный, еврейский лад нарек Дворой — Пчелой. Против нового, кошерного имени Вера Ильинична особенно не возражала. Раз человеку так хочется, пусть будет Пчела. Главное, чтобы Моше вдобавок к квартирной плате не требовал от нее еще и меда.

— Перемена имени — перемена судьбы, — загадочно сказал не расставшийся с молитвенником Моше.

Никаких перемен в судьбе Веры Ильиничны, однако, не происходило, ничего не менялось, и это постоянство не столько радовало ее, сколько почему-то настораживало и пугало. А вдруг... А вдруг с кем-нибудь из них что-то произойдет — с Иланой, с ней самой или, не приведи Бог, с Павлушей.

— В Израиле все до единого ждут чуда, а ты все время ждешь несчастья, — упрекала ее Фейга Розенблюм.

Тем не менее, с тех пор, как Вера Ильинична уехала из Литвы, ее не переставали мучить дурные предчувствия, каждый день она и впрямь ждала чего-то, что в одну минуту взорвет привычный ход жизни, и, как ни старалась, не могла заглушить в себе эту тревогу. Всякий раз, предчувствуя что-то неладное, она в жертву выбирала самое себя, готовая заплатить непомерную дань любой беде, даже смерти за благополучие и невредимость своих близких.

Смерти Вера Ильинична не страшилась. Если что-то и заставляло ее съеживаться и содрогаться, то только мысль о том, прихлопнет ли ее безноса сразу, одним махом, или, упиваясь своим коварством и безнаказанностью, поглумится над ней, прибегнет к пыткам — искалечит, отнимет разум, превратит из человека в его жалкое и беспомощное подобие. Не было дня, чтобы ее не преследовало ощущение, что вот-вот что-то все-таки случится; не было ночи, чтобы ей не снились покойники: отец Илья Меркурьевич, Ефим, сестра Евдокия, дядя Дементий, погибший на лестнице рейхстага, мужа Ольги Николаевны и Валентины Павловны, давно покинувшие эту бедную землю. Вера Ильинична во сне и наяву с ними бывала чаще, чем с живыми, и почти не сомневалась в том, что, когда наступит ее смертный час, она не почувствует никакой разницы, и, не причиняя никому излишних хлопот и тягот, просто перейдет в небытие, как из одной комнаты в другую, пусть и менее освещенную, и соединится с ее обитателями. Господь удостоит ее такой милости, хоть один раз выполнит ее потайное желание — что Ему стоит? Ведь на своем веку она не докучала Ему своими просьбами. Может статься, это Он и надоумил Моше назвать ее Пчелой, может, в новом ее имени сокрыт какой-то вещий знак, заключено какое-то тайное предначертание, и ей суждено превратиться не в тую, а перевоплотиться в скромную труженицу-пчелу, умудряющуюся добывать сладость даже на погостах: вспорхнет, зажужжит и полетит со взятком отсюда, от Средиземного моря, от чужого дома на Бат Галим в Литву, на еврейское кладбище, где под вороний грай покоится Ефим и где по весне до головокружения пахнет хвоей и медуницей.

Боясь пропустить какой-нибудь важный звонок Павлуши (или упаси Господь, о Павлуше), Вера Ильинична все реже приходила на набережную. Вырвется, бывало, на полчаса из дому, спустится к самому берегу, выберет отдаленную отмель — ночлежку крикливых чаек, и, уединившись, стоит, зажмурившись, и думает о том, в чем никому кроме моря до сих пор не смела признаваться. Морю можно, оно не выдаст, не осудит ее, только вскипит волной, загудит, застонет...

Иногда редкий прохожий, такой же отшельник, как и она, останавливался и тихо спрашивал:

— Женщина, вам плохо?

— Нет, нет, — отвечала она. — Все в порядке... — и, устыдившись, что кто-то застиг ее врасплох и нечаянно угадал ее мысли, быстро уходила прочь.

Отрешенность Веры Ильиничны, навязчивое ее стремление уединяться, отстраняться, отмалчиваться раздражали и тревожили Семена с Иланой. Теряясь в догадках, что с ней происходит, они по ночам принимались о чем-то подолгу шушукаться, шепотом спорить, в неуточное время вставать — подойдут на цыпочках к ее комнате, тихо-нечко приоткроют дверь и, убедившись, что старая дышит, топают обратно к своей постели.

Вера Ильинична притворялась, что не замечает этого неуклюжего и заботливого подслушивания, этой благожелательной слежки и успокаивала их то нарочито громким храпом, то невнятным и сердитым бормотанием, то хриплым и надсадным кашлем.

— Спите, спите. Я еще жива, — однажды выдохнула она в темноту.

Преображалась Вижанская только в те дни, когда на побывку с ливанской границы ненадолго приезжал Павлик, который сбрасывал у входа свой тяжеленный, Бог весть чем набитый рюкзак, вешал на толстый гвоздь свой неразлучный «Узи», сдирал с себя пропахшее едким потом обмундирование, залезал в ванную, пускал, как радио, на всю громкость струю душа и, завернувшись в белую простыню, тут же заваливался спать. Вера Ильинична воровато осеняла внука крестным знамением и, пока тот спал, принаряживалась — надевала выходное платье в крупный голубой горошек, стягивала в узел седые волосы, закалывала их на затылке, подкрашивала губы и, уставясь на Пашино небритое лицо, на его буйные брови, на остриженную под ноль голову, на голые мускулистые ноги с крупными мясистыми пальцами, заступала в охранение. Стоило Карлуше залиvisto запеть, как она вскакивала с дивана, хватала клетку и, грозя певуну пальцем, спешно уносила ее на кухню.

— Потом, Карлуша, споешь... — умоляла его она, боясь, что Павлик зашевелится и раньше времени проснется... — Потом...

И щегол покорно затихал. Разве ослушаешься того, кто день-деньской тебя кормит?

Вера Ильинична ждала своего солдата и на праздник Шавуот — Дарования Торы. Когда раздался звонок в дверь, она бросилась к ней, на ходу вытирая о фартук руки (теща жарила для Семена картофельные блины). Радостно приговаривая: «Бегу, Пашенька, бегу», Вера Ильинична призывно зазвякала ключами. Она была уверена, что это он — просто не предупредил ее по телефону, решил огорошить, негодник, сделать сюрприз, он очень любит сюрпризы и розыгрыши, это он, он, никто кроме него в это время прийти не может — Семен и Илана на работе, Фейга Розенблюм от нечего делать по четвергам ходит на английский язык, хозяин Моше заглянет к ним только через четыре месяца, чтобы продлить договор и взглядом поздороваться со своими соскучившимися по нему предками на стенах.

— Сейчас, сейчас, — повторяла она, никак не попадая ключом в замочную скважину.

Наконец ключ шелкнул, и в дверном проеме появился офицер в вязаной кипе и в роговых очках, за которыми, как у арийца, пронзительно голубели доверчивые глаза, и женщина в цветастой блузке и в короткой — не по возрасту — юбке, не вязавшейся с ее одышкой и полнотой. Хотя Вера Ильинична и не была ни с кем из них знакома, она сразу догадалась, что это та парочка, с которой, по рассказам Фейги, лучше не знаться. Горе тому дому, в дверь которого они стучатся.

Поначалу Вера Ильинична еще тешила себя тем, что этот офицер, исполняющий печальные обязанности вестника смерти, и эта вертлявая, молодящаяся сотрудница армейской службы психологической помощи ошиблись дверью, скажут «Слиха» и уйдут, но когда в иврите «кацина хаир» — коменданта города, как жучки в крупе, зашуршали русские слова «Павел Портнов», Вижанская обомлела и замороженными губами тихо простонала:

— Убили?

Казалось, до ответа, до которого и мига не было, она не доживет.

— Ле, — донеслось до нее сквозь толщу страха и накатившей тошноты. — Мамаш ле, — добавил офицер и еще что-то добавил на иврите, но Вера Ильинична ничего не поняла, стояла, не дыша, и все время вытирала о фартук дрожащие, потные, ненужные руки.

— Ранение средней тяжести, — по-русски объяснила Вижанской женщина, все время одергивавшая свою юбку и стягивавшая на животе юношеский поясок с аляповатой пряжкой.

— Правда?

— Наша служба — единственная в Израиле, которая никогда не врет. Кто погиб, тот погиб, кто ранен, тот ранен.

— Кен, кен, — закивал офицер, по долгу службы усвоивший два-три роковых русских глагола, и протер очки.

— До прихода ваших... если позволите, я побуду с Вами... Меня зовут Кларетта... Ложитесь, отдохните, с вашим внуком, поверьте, все будет хорошо... — гостя потянула носом воздух. — У вас на кухне что-то, кажется, горит... Наверно, блины жарите... Не беспокойтесь. Отдыхайте, отдыхайте... Я дожарю... Вы только мне подсказывайте, где и что...

И как ни в чем не бывало прошла на кухню.

Вера Ильинична опустилась на диван, закрыла фартуком лицо и зарыдала.

Напротив хозяйки в клетке неистово защебетал невольник Карлуша. Может быть, и он по-своему, по-птичьи плакал. Кто их, пернатых, поймет — когда они отпевают, а когда ликуют...

IX

Ей никуда не хотелось ехать, и ранение Павлика только подтвердило ее правоту. Как ни трудно было в Литве, как ни коробила ее высокомерная неприязненность хозяев к пришельцам, устремившимся на чужие хлеба, внуку там ничего не угрожало. Учился бы парень на своем факультете, бегал бы по вечерам на танцульки или на тренировки в спортзал «Жальгирис», читал бы на досуге своего ученого тибетского монаха или миловался бы с Лаймой, а не лежал бы сейчас с раздробленным коленом за Тверией, в больнице «Пория». Кстати, еще вилами по воде писано: с раздробленным ли коленом или — страшно вымолвить! — с ампутированной ногой? Разве от скрытницы Иланы и Семена узнаешь правду? Правды они всегда требовали от нее, но сами ей правду никогда не говорили. Если и говорили, то такую, от которой ни радостей, ни печалей.

Вера Ильинична умоляла дочь и зятя взять ее с собой — мол, она сама хочет убедиться, что же произошло с Павликом, но те наотрез отказались. А одна куда двинешься — языка не знает, как добираться до этой Тверии, не знает, никого, кроме Миши из Керчи, хозяина Моше, Фейги и Карлуши, не знает, и ее, бедолагу, никто не знает.

— С таким давлением в дороге? Да ты что, с ума сошла? Мало нам Павлика! — скинулась Илана. — Я попрошу Фейгу — пока мы вернемся, она с тобой посидит.

Давление и впрямь зашкаливало за двести, у нее кружилась голова, тошнило, перед глазами роем мелькали какие-то черные бесшумные мушки.

— Когда оклемаешься, — утешила Веру Ильиничну Фейга, которая согласилась пропустить свой английский и на весь конец недели стать кухаркой и сиделкой, — я тебя туда и обратно на такси отвезу. Честное слово. Могу себе, Вера, такую роскошь позволить. Тем более, что отсюда это недалеко, и красота там неопишемая... Кинерет... Озеро, на котором рыбачил один твой знакомый.

— Кто? — не подозревая подвоха, спросила Вижанская.

— Иисус Христос, — улынулась Фейга. — Встретишься с Павликом, поговоришь с докторами, я переведу тебе их ответы, и успокоишься.

— Спасибо, Фейга...

— Мне, конечно, о таких вещах легко говорить — у меня ни солдат, ни солдаток. Бог не дал ни детей, ни внуков. Но раз уж ты выбрала эту страну, то к этому надо привыкнуть.

Вера Ильинична не могла взять в толк, к чему она должна привыкнуть: к красотам Тверии, к докторам или к тому, что с ней не считаются?

— К ранам надо привыкнуть, — с какой-то щемящей ласковостью и доверительностью объяснила Фейга, — к увечьям... и даже к смерти. Дело, видишь ли, в том, что воды... обыкновенной питьевой воды в Израиле с

каждым годом становится все меньше и меньше, а пролитой крови — все больше и больше. Наша жизнь совсем не похожа на ту, которая была в Литве... Это — жизнь в черной рамке... Хочешь, я тебе, Вера, выжму лимон, говорят, его сок снижает давление... Я всего накупила — лимонов, персиков, арбуз, дыню... Брокколи... Сварить тебе брокколи?

— Фейга, — неожиданно спросила Вера Ильинична. — Почему ты ни разу замуж не вышла?

— Почему? — сиделка вздохнула, задумалась и тихо промолвила: — Никого не любила... И меня никто не любил... Все проходили мимо... Так и жизнь прошла. Спроси меня сейчас, что лучше — хоронить тех, кого любил, или хоронить самое себя, и я тебе сразу отвечу... самое себя... Так как — варить брокколи?

— Нет...

— Нет так нет... Когда проголодаешься, скажешь... А теперь откровенность за откровенность... ты, я чувствую, жалеешь?

— О чем?

— Что бросила все и приехала сюда?

— Лично я ни о чем не жалею, потому что я давным-давно уехала, но пока нигде не сделала остановки, — сказала Вера Ильинична и повернула отяжелевшую голову к окну, видно, в сторону великолепной Тверии. — А что до детей, то жалею — зря они приехали, — она сделала долгую паузу, достала из тумбочки таблетку, сунула ее под язык и, когда та рассосалась, продолжала: — Подумай сама: ну какие они евреи? Еще совсем недавно им было все равно куда податься — что в Израиль, что в Пуэрто-Рико, что в Америку, что в Германию... Лучший пример — Павлик. Прадед — старовер, бабка — русская, мать — ни то ни се, серединка на половинку, отец — вынужденный еврей, всю жизнь тяготившийся своим еврейством и пытавшийся избавиться от него, как от злокачественной опухоли... Ты, конечно, будешь смеяться, но во всей нашей семье, включая и моего Ефима, только я, урожденная Вера Филатова, слышишь, только я была единственной и настоящей еврейкой.

Фейга прыснула.

— Это я больше всех испытала от тех прелестей, что выпали на вашу долю — и суды, и запреты; это я дрожала от страха не за свою, а за вашу жизнь, когда в Москве схватили кремлевских докторов; это я люто ненавидела своих сородичей за проклятый пятый пункт, за «кукугузу» и «гогу Агагат», за наветы; это я знала все секреты еврейской кухни и все ваши обычаи, все праздники; это я при всем честном народе не стеснялась говорить со знакомыми на идиш; это я записалась в еврейскую самодеятельность и, когда большинство актеров разъехалось кто куда, я под аплодисменты всего зала играла Эти-Мени — Эрнестину Ефимовну, жену портного Шимеле Сорокера...

— Я-то всегда тебя считала еврейкой, но ты передохни, ради Бога, передохни, — испугалась Фейга. — Тебе нельзя так напрягаться...

— Можно, можно... Какая разница — днем раньше хватит Кондратий, днем позже. Ты знаешь — я не хвастунья... Говорю, как было. Ничего не прибавляю. Разве после всего этого я не заслужила, чтобы меня положили на еврейском кладбище рядом с евреями, с теми, за кого я всю жизнь заступалась, с кем вместе страдала, а не зарыли, как собаку, под забором? Разве я, скажи честно, не заслужила?

Фейга не перебивала, поддакивала, опасаясь, что Вера Ильинична еще больше распалится, и тогда придется вызывать скорую — «Маген Давид», но Вижанская не собиралась довольствоваться ни ее уверениями, что со временем в Израиле и Павлик, и Семен с Иланой станут полными евреями, ни с ее молитвенными кивками, и продолжала говорить — правда, без прежнего пыла и обиды, с каким-то примирительным отчаянием, как будто изливала душу не перед бесхитростной Фейгой Розенблюм, а перед кем-то другим, невидимым и бесконечно справедливым. Иногда она замолкала и принималась скользить затуманенным взглядом по чужим стенам и обоям, по облысевшим дверцам платяного шкафа и дубовому комоду, на котором чернел оставленный Моше арендный семисвечник, и от этого молчания, от этого пристрастного поглядывания Фейге становилось еще страшней.

— Может, ты все-таки что-нибудь съешь? — в который раз предложила Фейга.

— Лучше накорми Карлушу... И воду в поилке смени... А то он что-то совсем приуныл, — промолвила Вера Ильинична. — В кухне на верхней полке в целлофановом мешочке корм... Только смотри — не выпусти из клетки... Я уже один раз за ним по всей квартире гонялась. Еле поймала... Вылетел бы, дуралей, и попал бы в пасть к коту, — и неожиданно добавила: — Интересно, Фейга, какой национальности и религии птицы? Евреи, русские, арабы, литовцы? Христиане, мусульмане, буддисты?

Вопрос ошеломил Фейгу. Чего, чего, а такого поворота она от сумасбродки Вижанской не ждала. В роду Розенблюмов ломали голову над всякими вопросами, но чтобы ее такими идиотскими морочили!

— Птицы? — замаялась она. — Наверно, у них у всех и национальность одна, и религия одна — птичья.

— А почему, Фейга, так не может быть у нас? Одна на всех — человечья.

— Не знаю.

— Было бы, ей-Богу, неплохо. Где свил гнездо и высидел своих птенцов, там и родина, где летаешь и щебечешь на ветке, там твой дом, и ты не чужак, а свой... И ни тебе распрей, ни войн...

Затрещка телефон, который и вернул их к прежним заботам — к раненому Павлику, к Тверии.

— Это Илана, — выдохнула Вера Ильинична. — Сними трубку... Сейчас я подойду. Сейчас...

— Может, мне с ней поговорить?

— Я еще не умираю, — буркнула Вера Ильинична, с трудом встала с дивана, запахнула халат и грузно зашагала к телефону.

— Алло! Да... Слушаю. Да... Упало, упало... Сто шестьдесят пять на сто. Да... Принимаю... Две таблетки. Фейга? Шомерит. Сторожит меня!.. Не беспокойся... Заночует... Что это ты все про меня да про меня... С него бы и начала... Я не расслышала — сколько? Ничего себе... А нога? Не отрежут, говоришь? Не клянись, не клянись. А что, хирурги — не люди, не врут? Хорошо, хорошо. Значит, не заедете... Оттуда прямо на работу. Ладно. И ему от нас передай... Скажи, на будущей неделе награнием... С ревизией... А мне ни от кого никакого разрешения не нужно...

— Ну? — не вытерпела Фейга.

— Операция вроде бы прошла успешно... Восемь осколков выковыряли. Два из живота... остальные из ноги... Но голос у доченьки невеселый...

— В больницах какое веселье?.. Главное, что он жив.

— Жив-то жив, а если выпишут инвалидом... калекой? — гнула свое Вера Ильинична.

— У тебя сразу — инвалид, калека! Может, все обойдется. Не про твоего внука да будет сказано, я тут знаю не одну семью, где согласны были бы водить слепого, катать в каталке парализованного. Да что там согласны — в своем несчастье были бы даже счастливы... Только бы на могилу не ходить... только бы видеть своего... рядышком дышать...

— И я, наверно, была бы не против. Но кто, милая, знает, что лучше... Иногда уж лучше могила. Господи, не покарай меня за мои слова! Заткни уши! Не слушай дуру! Ты же, как и мы, не любишь правду. Тебе, как и нам, тошно от нее и больно... Потому-то, Господи, все Тебе дружно врут... и Ты, жалеючи нас, врешь напропалую, — тихо, почти шепотом, как в церкви, держась за край стола, чтобы не упасть, пробормотала Вера Ильинична и беспомощно глянула на застывшую у Карлушиной клетки Фейгу.

— Ты чего, Фейга, плачешь? Чего плачешь?.. Если не перестанешь реветь, я тебя выгоню.

— Я не плачу... Чего мне плакать? Кого оплакивать? Кроме квартиры и пенсии, у меня ничего и никого нет... Никого... Ни мужа, которого могли бы убить на войне. Ни внука, которого могли бы ранить на границе... Кто собирал радости и печали, а я двадцать с лишним лет собирала для Израиля налоги... Все остальное — мимо, мимо, мимо... Даже Кондратий, как ты говоришь, и тот мимо, — на одном дыхании произнесла Фейга, вытирая краем ладони накопившиеся за долгие годы и до сих пор не растраченные слезы.

Она сменила в поилке воду, насыпала щеглу корм, затем юркнула на кухню и заварила чай.

Погоняв чай с трескучими, чуть подсолеными галетами, они под неусыпным надзором досточтимых старцев на стенах улеглись спать — Фейга в кресло-кровать, а Вера Ильинична на диван. Сон не шел, и обе до утра царапали открытыми глазами темноту и, как галетами, под неумолкающий гул моря похрустывали воспоминаниями.

В полдень их разбудил Моше. Он долго стоял за дверью, пока женщины одевались, а когда ему открыли, поздоровался, но остался стоять на пороге...

— Проходите, Моше, — пригласила Вера Ильинична...

— Я на хвилинку... — сказал он по-польски, непривычно задумчивый и не улыбочивый. — Все, пани Двора, будет хорошо... Такой уж я, проще панства, человек. Даже в Освенциме я в наигоршы часы мувил себе: «Моше, вшистка бендзе в пожондку...» И с вашим внучком бендзе в пожондку...

Вера Ильинична благодарно кивнула.

— А тераз... Тераз, шановна Двора, хчем пани цос поважние доповиедаць. Може, лиепей по-жидовски, — и Моше вдруг перешел на идиш: — Фундем кумендинкн монат вет ир мир цолн ойф хундерт доллар вейникер... Бисайерят вет нит кумен цу зих. Мир зайнен дох софкол-соф идн.

— Что?

— Со следующего месяца вы будете платить на сто долларов меньше, — быстро перевела Фейга Розенблюм, у которой слез было больше, чем долларов. — Пока парень не встанет на ноги. Мы же все-таки евреи.

— Глейбт мир, геверет Двора, майн дире вет айх нох бренген глик! — щеголяя своим великодушием, пробасил хозяин.

— Поверьте, эта квартира еще принесет вам счастье, — в точности постаралась перелопатить его идиш на русский Фейга, позволив себе при переводе единственную вольность: — Алевай!

Моше оглядел своих бородатых предков и, как бы заручившись их одобрением, откланялся.

— Таких балабайтов я еще тут не встречала! — воскликнула Фейга.

— Моше — добрый человек, — сказала Вера Ильинична. — Но что было бы, узнай он, что я не еврейка?

Фейга развела руками.

— То-то... Спасибо ему, но я бы из своей пенсии сто долларов еще приплатила бы, только бы Павлика не ранило...

Под вечер Фейга сбежала в лавку к музыкальной Иннесе за курицей, отварила ее, оттушила овощи, приготовила на закуску салат и рубленую селедку, нажарила картошки, поставила под руководством Веры Ильиничны все блюда на стол, приказала ей снять халат, переодеться, надуться и сесть за стол — мол, уж если решила ехать в Тверию, то пускай

изображает здоровую — и, отвергнув приглашение отужинать вместе, попрощалась до завтра.

— Ну зачем вам, мамуля, тащиться в такую даль и через полчаса мчаться обратно? — вгрызаясь в куриную ножку и уплетая салат, сказал после ухода Фейги Семен. — Павлуша, слава Богу, вышел из этой передраги более или менее благополучно. Двух его одногодков убило на месте... Парень больше беспокоится за ваше здоровье, чем за свое. Знаете, что он сказал?

Вера Ильинична сидела, не притрагиваясь к еде, и смотрела на жирные пальцы зятя, на Илану, все время что-то подкладывавшую ему в тарелку.

— Он сказал, чтобы вы сидели дома, побольше отдыхали, ходили на набережную, — Семен вытер салфеткой губы, отрыгнул и, попросив прощения, вынул из колоды козырную карту. — Он сказал, что хочет видеть вас живую... Слышите! Жи-ву-ю и здо-ро-ву-ю! — по слогам повторил зять.

— Поэтому-то я и еду... — отрубил Вера Ильинична. — Чтобы он меня живую и увидел...

— А вы что, собираетесь того?

— Собираюсь, — просто сказала Вижанская. — Надеюсь, этого никто мне, как поездку в Тверию, не запретит?

— Мама! — закричала Илана. — Семен! Если вы сейчас же не прекратите вашу перепалку, я сбегу из дому... зачем, спрашивается, мы сюда приехали? Зачем? Чтобы друг другу в горло вгрызаться, со свету сживать?

— Некоторым евреям, по-моему, об этом надо было подумать там, в Литве, а не поднимать откормленную на сале задницу и губить своих детей.

— Это вы кого, уважаемая, имеете в виду? — вскинулся Семен.

— Сумасшедший дом! — вскрикнула Илана. — Еще раз умоляю, прекратите! И без того нервы на пределе!

— Делайте что хотите... — сдался Семен.

Чем больше дочка и зять противились поездке в «Порию», тем яростней Вера Ильинична туда рвалась. Сопротивление и натужная забота о ее здоровье вызывали у Вижанской только смутные подозрения. Они, конечно, что-то от нее скрывают, в глаза не смотрят, болтают о чем угодно, словно ездили не к раненому сыну, а куда-нибудь на веселую пирушку. «Павлик из этой передраги, можно сказать, вышел благополучно...» Что значит «благополучно»? И по сравнению с чем? Она достаточно наслушалась от них вранья!

До самой поездки в больницу Вера Ильинична больше не обронила ни слова. В условленное с Фейгой утро она сложила в дорожную сумку еду, две бутылки минеральной воды, завернутый в фольгу пирог с маком и купленную в русском магазине «Колизей» книжку остриженного наголо тибетского монаха с желтушным, изможденным лицом — точно такую же, какую Павлик оставил в Вильнюсе своей Лайме.

Соблюдая строжайшую конспирацию, Вера Ильинична ни свет ни заря, как заправская подпольщица, на цыпочках вышла из дому и направилась к остановке такси, где по уговору ее уже ждала деловитая и самоотверженная Фейга.

— Лекарства свои положила? — спросила она у Вижанской.

— Что с того, что положила? Лучшее лекарство — добрая весть... Но где его взять?

Всю дорогу до Тверии Вижанская не отрывала взгляда от бокового окна. За окном, казалось бы, не было ничего такого, что могло так приковать ее внимание: крыши городков и киббуцов, крытые красной черепицей; скалистые холмы, похожие на сбросивших ярмо и бредущих по пашне волов; дымчатые оливковые роши; высококордные лавры и сикиморы; неприхотливые сосны, ни разу на своем веку не потревоженные роковым вороньим карканьем; крутые, упирающиеся в преисподнюю обрывы; спускающиеся, как тысячи лет тому назад, к водопою обалдевшие от жары и величавой лени овцы.

— Красиво? — обратилась к Вере Ильиничне заскучавшая Фейга.

Вижанская не откликнулась, и ее попутчица смекнула, что та видит не то, на что так пристально и неотрывно смотрит, а что-то совсем другое, не доступное обыденному, куцему зрению — может, всю свою промчавшуюся жизнь, а может, забралась с ее видимых околиц за ее невидимые границы...

Такси подкатило к самой больнице, водитель, немногословный иракский еврей, пожелал им счастья, развернулся и уехал, а они, волоча затекшие ноги, направились внутрь.

— Сколько я тебе, Фейга, должна? — Вера Ильинична порылась в кошельке и достала оттуда стошекелевую бумажку.

— Нисколько.

— Это ты брось! В нашем возрасте опасно оставаться должным. Покойники долгов не возвращают.

— Штует! Глупости!.. Как ты только можешь так говорить!..

После недолгих поисков они нашли в «Пории» хирургическое отделение. На их счастье, дежурным оказался русский доктор из Ленинграда, тут же поговору посетительниц вычисливший своих соотечественниц:

— Доктор Габай... — представился он. — Вы, простите, к кому?

— К внуку... К Павлу Портнову... — объяснила Вера Ильинична, уверенная в том, что он тут знает всех раненых.

— Очень сожалею... — вежливо пояснил Габай. — Со вчерашнего дня в больнице карантин... Желтуха... После карантина, милости просим... А сейчас...

— Мы приехали из Хайфы, — перебив его, взмолилась неугомонная Фейга. — Я-то могу подождать во дворе... А вот она... Она зайдет в палату только на минуточку, посмотрит на внука и выйдет... Можете засечь время...

Вера Ильинична, доверившая Фейге все переговоры, стояла, потупившись, боясь поднять на дежурного глаза — казалось, поднимет и ошпарит.

— Ну что вам даст одна минуточка?

— Что вы? Это очень много, — усиливала свой натиск Фейга, приученная в Израиле идти напролом. — За одну минуточку можно стать счастливым.

— Или несчастливым — лишиться работы... — вставил Габай и первый раз грустно улыбнулся.

Улыбка подхлестнула переговорщицу к еще более решительным действиям, и она атаковала противника с другого фланга:

— Наверно, у такого красивого молодого человека, как вы, доктор, тоже есть бабушки. Бабушкам нельзя отказывать.

— Обе мои бабушки давно умерли, — отразил атаку Габай, но то ли из жалости, то ли от лести, то ли в память о своих бабушках, оставшихся на Преображенском кладбище в Ленинграде, вдруг смягчился: — Не имею права. Но, учитывая ваш возраст и обещание, так и быть — шестая палата. Прямо по коридору и налево...

— Бог вас вознаградит, — просияла Фейга.

— Вашего бы Бога да в наши главврачи! — отмахнулся от похвалы Габай. — Минута пошла.

Вера Ильинична накинула больничный халат, надела на лицо повязку и, забыв в суматохе про пирог с маком и про тибетского монаха, шмыгнула из коридора в шестую палату.

Кроме Павлика, в палате было еще двое раненых, но Вижанская еще издали увидела знакомую голову и, оглядываясь, не появился ли в дверях доктор Габай с часами в руках, приблизилась к задвинутой в угол койке.

— Еле прорвалась... Карантин, — уставясь на белоснежную простынь, которая обрывалась и сплющивалась от пустоты чуть ниже правого колена, Вера Ильинична загнала в желудок крик и, чтобы не рухнуть на пол, ухватила руками за железную спинку койки. От нахлынувшего отчаяния и растерянности у нее разбегались мысли и прятались слова, которые она приберегла для встречи, вместо них откуда-то из чрева бесстыдного перла какая-то шелуха:

— А пирог-то я, растяпа, забыла в коридоре... И монаха...

— Какого еще монаха? — спросил Павлик, оценив ее мужество.

— Ну того — твоего... Из Тибета... Тридцать шекелей отдала, — как ни в чем не бывало продолжала она, страдая от удушливой лжи и притворства.

Павлик слушал ее не перебивая, и от этого его почтительно-жалостливого молчания ее речь становилась еще прерывистой и бессвязней.

— Какая у тебя борода!.. Прямо-таки Че Гевара... — насильовала себя Вера Ильинична.

Он улыбнулся:

— Отрастил в Ливане... А что у тебя, баб?

Вера Ильинична смотрела на его ливанскую бороду, на пеструю больничную пижаму, на костыли, прислоненные к стене, и ее так и подмывало броситься к нему, прижать к себе и гладить, гладить его лицо, плечи, ампутированную ногу, пока в дверях не появится неумолимый и милосердный доктор Габай.

— Минута прошла, — услышала она сзади.

— Иди, баб... Иди... И не расстраивайся. Могло быть намного хуже. Мы еще с тобой станцуем. Помнишь, что я тебе перед отъездом говорил...

Она не помнила, что он ей перед отъездом говорил. Боли у нее было больше, чем памяти.

— Хочу, чтобы ты меня ждала... Как много лет тому назад из школы... Ты подходила, баб, к окну, высовывала голову и взглядом прочесывала всю улицу... потому что всегда боялась, что я не приду... что по дороге домой со мной обязательно что-то случится... Так вот, когда вернешься на Бат Галим, сделай то же самое — открой окно и высунь голову, и со мной уже больше никогда ничего не случится...

В Хайфу свою приятельницу Фейга привезла полуживую.

Вера Ильинична долго отлеживалась, не выходила из своей комнаты, слово приняла обет отшельничества и молчания.

Первое, что она сделала, когда стала ходить, — суеверно распахнула окно.

Каждое утро Вера Ильинична подходила к нему, открывала настежь, высовывала голову, вдыхала прохладившимися легкими морской воздух и под легкомысленный щебет Карлуши самовольно, на годы назад откручивала время, меняла по своей прихоти города проживания и улицы, в цвет своей молодости — серый и суровый — перекрашивала небо (после посещения «Пории» немислимо яркое солнце и ежедневная, яловая синева раздражали ее) и безропотно ждала, когда в горку с битком набитым ранцем поднимется маленький кудрявый мальчик.

Ждала его Вера Ильинична и в то утро, когда он должен был вернуться из Тверии. За распахнутым окном простиралось спокойное, как бы прирученное море, плескавшееся так близко, что, казалось, из него можно было зачерпывать пригоршней воду; солнце, только что выкатившее свой обруч на синие луга, слепило глаза, но Вера Ильинична не отворачиваясь, смотрела на дорогу. Маленький кудрявый мальчик опаздывал, и она никак не могла унять волнения. В горку вместо него один за другим поднимались только мертвые — муж Ефим, сестра Клавдия, отец Илья Меркурьевич, и — как ни странно — она сама, тоже мертвая, но молодая, крепкая, с трофейной пишущей машинкой «Ундервуд» за плечами — поди знай, может, ангелам на небесах понадобится срочно напечатать докладную для Господа. Сквозь мерный плеск средиземноморских волн

до ее слуха донеслось отчетливое и уверенное постукивание клавиш, с каждым мгновением стук усиливался, буравил виски, заполнял грудь, и Вера Ильинична Филатова-Вижанская вдруг с благодарным испугом почувствовала небывалую легкость, которую никогда в жизни не испытывала и о которой, по глупости, всегда мечтала. Замолк в клетке Карлуша, отхлынуло от окна и полностью иссушилось море. Скрылись за облаками солнце и невероятная синева. Все вокруг забелила она, эта освободительная, эта уравнивающая и роднящая всех на земле смертельная легкость.

Когда Семен и Илана вошли в дом, из притихшей, вымершей гостиной в открытое окно с громким жужжанием вылетела пчела. Кроме седобородых предков бывшего лагерника Моше никто на нее и внимания не обратил: залетела — вылетела, обычное дело. Пчела покружилась над карнизом, над улицей Бат Галим, над отмелями и, не переставая жужжать, устремила в высь, к редким облакам, плывущим на север, туда, где в горку поднимается маленький кудрявый мальчик с набитым ранцем и где в эту самую пору на заброшенных могилах еврейского кладбища распускаются неброские медоносные цветы.

Май, 2002

Уладзімер Арлов

ОПОВІДАННЯ

Уладзімер Азлов — провідний білоруський письменник, автор двох десятків книг прози, переважно історичної. Його твори перекладено більш як двадцятьма мовами світу. Народився у серпні 1953 року в Полоцьку. Закінчив історичний факультет Білоруського державного університету. Працював учителем історії, журналістом, редактором у видавництві «Мастацкая літаратура». Лауреат Літературної премії імені Францішка Богушевича Білоруського ПЕН-центру. Мешкає в Мінську. «Єврейська тема» присутня у багатьох творах Арлова, особливо ж — у «Полоцьких оповіданнях», кілька з яких наслідують запропонувати увазі читачів «Сгуця» у власних інтерпретаціях українською.

О.Ірванець

ОВОА ЦИМЕРМАН

Благословен, хто має на світі дім, у якому промовив перше слово, навчився ходити під стіл, а потім дотупцяв до ганку, гримнувся об нього і, рюмсаючи від страху та болю, поповз на збитих колінах назад.

Те місце, де стояв колись наш дерев'яний полоцький дім, вже давно зайняте приземкуватим бетонним кубиком Палацу культури Полоцького заводу скловолкна. Часом я заходжу до ненависної мені споруди, блукаю її пустими коридорами і намагаюсь уявити, що де містилося у ті роки, коли полетів у космос Юрій Гагарін і нашу вулицю назвали його іменем.

Сам дім був, здається, там, де сьогодні гардероб, «шпаківня» стояла прямо на місці теперішньої вбиральні, а під підлогою глядацької зали, можливо, вціліла жменя попелу з того, розкладеного під мою улюблену пінкою вогнища, на якому ми якось спалили, попередньо виколовши йому очі, портрет Йосифа Віссаріоновича Сталіна. Тоді мені було дев'ять років, а Вові Цимерманові, котрий разом з нами брав участь у каральній акції, — на

півтора роки менше, але цей рослий головатий хлопчик зі схожими на два м'ячики рожевими щічками міг легко подужати кожного з нас.

Статистика свідчить, що 1885 року з кожної сотні мешканців Полоцька євреями було шістьдесят шість чоловік, а на початку ХХ сторіччя — рівно половина. У роки мого дитинства загальне співвідношення вже, мабуть, відчутно змінилося, але нашого району це нітрохи не стосувалося. Довкола нас мешкали Шефи й Гофеншефери, Лівшиці та Епштейни, Рафайловичі, Срулевичі й Герциковичі, трохи далі — Берманти, Бернштейни, Каці, Кацмани і Кацнельсони. Завдяки пізнішим історичним пошукам, мені вдалося спостерегти, що деякі представники цих славних фамілій вперто зберігали вірність професіям предків. Обоє дорослі Срулевичі, наприклад, працювали у міській друкарні — що правда, були вони не господарями, як їхній дід, а всього лиш метранпажами з вічно чорними від олова і фарби пальцями. Бермант і Бернштейн, так само як і їхні рідні перед «великим Жовтнем», їли свій хліб з фотографії.

Чим займалися сто років тому Герциковичі, я не довідався, однак син старого Залмана Айзік, який працював завучем нашої школи, мав безперечні заслуги у боротьбі з шикарною зачискою майбутнього білоруського літератора Вінцеса Мудрова, а племінник Айзіка Залмановича Аркаша Кацман керував популярною пізніше секцією аеробіки. Після закінчення загального заняття він зазвичай просив залишитись у затишній спортивній залі одну зі своїх вихованок, аби ще з півгодини позайматися індивідуально, а потім приходив я, ми різалися в пінг-понг, і я пропонував Аркаші трохи відредагувати назву секції, додавши перед «б» літеру «е». Граючи зі мною прощальну партію напередодні свого від'їзду до Лос-Анджелеса, Аркаша Кацман вимовив сакраментальну фразу: «Не пойму я никак, Володя, почему ты вырос среди евреев, а никак приличную квартиру не получишь».

Але це сталося через багато років після дитинства, а у той щасливий час, живучи серед сусідів, яких суцільно звали Хаїмами, Абрамами, Ізраїлями та Мойшами, я від душі дивувався, що у мого тата таке нетутешнє ім'я — Олексій.

Дім моїх батьків на вулиці першого космонавта оточували будинки різних установ, де після шостої залишалися тільки сторожі та вахтери, а тому увечері в нас було порожньо й тихо. Зате за нашим садом починалися аж три густо населених вулиці з порядковими номерами під загальною назвою Робітничка. Щоб там жили хоч які-небудь робітники, я не пригадую. Там жили євреї, і ті вулиці, принаймні, старша частина їхнього населення, розмовляли на їдиш.

У теплі літні надвечір'я господарі виходили з дерев'яних будиночків, вмошувалися на лавках біля садочків, у яких росли бузок, «розбите серце» та жовті жоржини, й поважно гомоніли незрозумілою мені мовою. На розбитих вулицях, де авта з'являлися, тільки коли хтось помирав, ходили

кози й кури, бігали непородисті коти та собаки різної масті, а ми з єврейськими дітьми гралися в «пекаря» та в «калім-бам-ба».

Товста, як паляниця, тітка Роза Соломонівна любила почастивати нас агрусом або малиною. На свята з її пухких пальців можна було отримати шматок єврейського медового пряника з екзотичною назвою «тей-гелех». Тітка Роза працювала касиркою на атракціонах у парку біля Двіни і своїм людям відповідала по-своєму: «Драйсік копікес білет». З мене грошей вона ніколи не брала. З часом я, здається, зрозумів причину такої доброчинності: мій тато був прокурором, а її син Фіма тягнув строк за те, що зарізав жінку. Цей злочин уявлявся мені безкінечно загадковим, бо саме майбутній злочинець дав мені почитати «Маленького принца» і ще багато цікавих книжок.

Строк Фіма отримав невеликий, бо вчинив смертовбивство, як казали дорослі, «на почве ревности». Моя дитяча спроба дізнатися, що ж це за «почва», закінчилася нічим. Ну й що з того, що він застав жінку з іншим? — розмірковував я над почутим поясненням, інтуїтивно підозрюючи, що з цієї причини можна перерізати занадто багато жінок. І потім, було зовсім незрозуміле, навіщо — коли вже застав її з іншим — різати саме її, а не того, іншого.

Звісно ж, наші сусіди-євреї не тільки продавали квитки у парку культури й відпочинку та різали жінок. Царський генерал Михайло Без-Корнілович, який видав 1855 року книжку «Исторические сведения о примечательнейших местах в Белоруссии», писав про полоцьких і взагалі придвінських євреїв таке: «Предприимчивы, любопытны, проницательны. Заранее рассчитают барыши, какие может доставить предпринимаемая операция; исчислят расходы и тогда только возьмуться за дело. Избегают утомительных работ: между ними найдете много портных, сапожников, шапошников, стекольщиков, лудильщиков, жестянщиков, резчиков печатей, золотых и серебряных дел мастеров; редко встретите кузнеца, плотника, пильщика. В вере тверды, единодушны, любят помогать своим, в особенности когда пострададут от пожара».

Все це правда.

Чоловік тітки Рози Ізраїль Мойсейович так само унікав брудних та «утомительных» робіт і заробляв на хліб нічним вартуванням паркових атракціонів. Хоча ім'я цього мужнього чоловіка в пам'яті полочан вже стерлося, його подвиг назавжди увійшов до аналів міста. Коли в парку встановили атракціон «Петля Нестерова», двоє патрульних міліціонерів під час чергування розштурхали сплячого Ізраїля в його сторожці й наказали їх покатати. Чоловік тітки Рози слухняно натис на кнопку й пішов дивлятися сон. Міліціонери «петляли» у склепаному з бляхи літачку до світанку. Зняли їх непритомних і ледве живих. На щастя, один з «льотчиків», перш ніж знепритомніти, встиг витягнути пістолета і розрядити всю обойму в бік сторожки, чим і порушив безжурний сон пильного Ізраї-

ля Мойсейовича. (Перед від'їздом до Ізраїлю чоловік Розі Соломонівни, щоправда, зізнався, що не заснув тієї ночі ні на хвилинку).

І стосовно пожежі також правда. Коли в Герциковичів згоріла половина будинку, їм поприносили з усіх Робітничих вулиць стільки речей, що старий Залман був просто щасливим і хвалився, ніби у відбудованому домі втішається зі своєю Сімою не на двох, як до пожежі, а відразу на чотирьох ліжках.

Ще одна Сіма — Сімочка Музикант, дочка інспектора міськвно, жила поруч з нами у завулку з глибокою калюжею, в яку задивлялися через паркан підв'язані синіми стьожками мальви. Смаглява, з глибоким малиновим рум'янцем і зеленими мигдалеподібними очима, Сіма надовго зайняла місце у моїх еротичних фантазіях і самотніх забавах. Ще й зараз, перечитуючи «Пісню над піснями» царя Соломона, я бачу торкнуті легкою засмагою Сіміні ніжки — палеві, з блакитними прожилками.

Так, варто було вийти з дому, пробігти сотню кроків, і ти неначе потрапляв до іншої країни — з її мовою, з її обличчями, іменами, незвичайними звичаями та стравами.

Неодмінною частиною цієї країни, над якою віяли далекі гарячі вітри, був дядько Грицько Цимерман, який сидів на лавці коло доглянутого, пофарбованого в теракотовий колір будиночка і замислено дивився вицвілими лавандовими очима на столітню тополю.

Вдень батько Вови Цимермана працював шевцем у будці біля першого в Полоцьку універсаму. Увечері, перш ніж вийти зі свого, пропахлого шкірою і клеєм закутка, щоб подивитися на тополю, він так само працював шевцем. Особливо мене захоплювало те, як спритно дядько Грицько випльовував з рота крихітні цвяшки і одним снайперським ударом загнав їх у належні місця. На війні він служив в артилерії, отримав контузію, і щороку, на схилку літа ним опанувало затьмарення. Він робився балакучим, розповідав, як випивав з маршалом Жуковим, як бачився на передовій із самим товаришем Сталінім, а розійшовшись, починав викрикувати артилерійські команди. Тоді дядька забирали на місяць за Двіну, де в колишніх мурах монастиря бернардинів містилась божевільня. Хворих лікували там не лише медичними препаратами, а й психотерапією. Наприклад, коли медикам раптом знадобилася цегла, склепи в монастирському соборі розібрали, а кістки похованих там мерців розкидали просто під ногами в пацієнтів.

Після ліків дядько Грицько до наступного серпня губив усю свою войовничість, робився покірним та лагідним і щовечора займав свою звичну позицію навпроти тополі. Його відносини з цим деревом нагадують мені почуття, які пов'язали полковника Ауреліано Буендіа з каштаном, вткнувшись у стовбур якого лобом, герой Маркеса назавше попрощався з нашим світом.

Коли в роки «розвинутого соціалізму» будинки, лавки і садочки на Робітничих вулицях позносили, а тополю спиляли і, причепивши тросом

до бульдозера, кудись відволокли, Цимермани отримали квартиру в дев'ятиповерхівці, поряд з їхнім колишнім подвір'ям. Дядько Грицько шовчочора влаштувався біля вікна на п'ятому поверсі й до темряви дивився у той бік, де колись шелестіла листям його тополя. Думаю, у ті хвилини він, як і раніш, подумки сидів на виковзаній штанами й спідницями лавці при теплій теракотовій стіні. В новому помешканні вже ніхто не почув від нього ані спогадів про Жукова, ані артилерійських команд. Не дочекавшись серпня, дядько Грицько одного разу широко відчинив вікно.

Але я забігаю наперед. До вікна, через яке Вовин батько замислено ступив до любого йому уявного світу, ще залишалася половина дитинства.

Ми переходили з класу у клас, починали читати братів Стругацьких і Бредбері, писати любовні записки й тискати їхні отримувачок у шкільній роздягальні. Мені подобалась повненька однокласниця Поля Кругляк. У шостому класі я кілька разів підвозив її на велосипеді додому і пропонував «дружити». Поля червоніла, опускала очі й, картавлячи «р», казала, що вона згодна тільки на серйозні стосунки. Я не знав, що то воно таке — серйозні стосунки, і тужно позирав услід повненьким ніжкам Полі, схожим на лігрові молочні пляшки.

До Сімочки Музикант Полі було, безумовно, далеко, але Сіма з батьками вже виїхала до Ізраїлю. Вибрались на історичну батьківщину й багато інших сусідів. Виїхали Шефи із сином Льком, моїм однолітком, який мав не надто, мабуть, зручне для ізраїльського громадянина прізвисько з дещо арабським присмаком — Мустафа Ягло-Ягло. Виїхали Кацнельсони зі своїм Мишком, прізвисько в якого (дане йому, до речі, Фімою-вбивцею) було набагато довшим, вишуканішим і дивовижнішим — Мабута Чомба Лея Пінзя Сквородкін.

«Жиди рдеют, а ряды жидеют», — зі злістю зятятого антисеміта казав вчитель військової підготовки Іван Кирилович, який на заняттях з цивільної оборони навчав нас ще змалечку користуватися протигазом, якого одного разу назвав таємничим словом «гандон». Я не розумів його злісті. Мені шкода було однокласників, які назавжди зникли з мого життя разом з прізвиськами, батьками, братиками й сестричками. До шостого класу офіційних євреїв у нас залишилося всього троє: Поля Кругляк, Марко Альтбрегін, якому я пекуче заздрив, бо в нього вдома було аж два телевізори, та ще Боря Гасіль.

Борі я не заздрив. Виконуючи піонерське доручення, я мусив «підтягати» його з математики.

«Підтягання» Борі відбувалося доволі цікаво. Ми займалися на кухні, де плавав настояний запах смаженої цибулі, за столом, застеленим білою цератою в блакитну клітинку. Слід сказати, що з моїх пояснень Боря ніколи нічого не розумів, та й не намагався зрозуміти, а весь час пропонував зіграти в настільний футбол. Він продовжував навчатися з математики на стабільну двійку, але я вперто приходив до Борі знову і знову.

Окрім масних плям на зошитах з математики, я завжди ніс у кишені жменю дорогих цукерок типу «Мишка на севере», отриманих від Боріної матері як незаслужений гонорар. Плюс гра в настільний футбол. Плюс кучерява Боріна сестра Фірка, котра хвилювала моє серце не менш за Полю Кругляк.

Під час наших занять Фіра зазвичай влаштовувалась на дзиглику поруч і їла мене своїми великими овечими очима, доки я не збивався й не заплутувався в розрахунках. Зауваживши це, вона дарувала мені вдоволену усмішку і струсонувши кучериками, випливала з кухні, підкреслено крутячи стегнами й залишаючи в усій моїй істоті солодкуву гарячу млість. В ті хвилини перед очима стояв малюнок з недавнього минулого, коли я навчався в четвертому класі, а Фіра — у третьому. Залишений на другий рік п'ятикласник Вася Шуйський пропонував Фірці за морозиво сходити з ним у зарості лопухів за ровом, і там показати, що вона має під трусиками. Коли Фіра повернулася, те ж саме, тільки вже за п'ятдесят копійок, запропонував їй Васін приятель Валерка Окорков, і вона знову погодилася. Розповідають, ніби потім, вже на землі предків Фіра почала з масажного салону, дуже швидко пішла угору й тепер керує величезною мережею таких кабінетів по всій країні, у що я, пригадуючи ту дитячу кухонну млість, охоче вірю.

З книги про Григорія Распутіна я довідався, що секретарем у нього служив мозирський єврей Симонович. Одного разу геніальний придворний пройдисвіт вирішив подарувати помічникові золоту таріль з написом. Напис власноручно награвував граверові на шматковій паперу сам Распутін: «Лутшиму ис иврейв».

Якби мені в дитинстві запропонували подарувати таріль з таким написом котромусь з моїх знайомих євреїв, я без вагань вибрав би Вову Цимермана.

У шкільні роки ми ходили один за одним, наче прив'язані. Разом годували привезеного мною із села від бабусі молодого зайця Колю і разом, пустивши сльозу, ховали його кісточки у коробці з-під взуття, коли бідолашного Колю роздер сусідський пес Дунай. Разом обносили чужі садки, а у своїх садках, які обносили вже чужі хлопчачки, ми пекли в багаттях картоплю. Разом лякали дівчат жовтовухими вужами, яких ловили у травні на приміських озерах і приносили до школи за пазухою.

Моя мати годувала нас дерунами, галушками і стародавньою полоцькою стравою — холодною вареною картоплею з кислою приквашеною бруслиною. Мати Вови Цимермана, вчителька молодших класів Марія Абрамівна, частувала рибою-фіш, фаршмаком і цимусом. Єдине, що з її куховарства не подобалося — певно, з причин генетичних, — це маца.

Разом з Вовою ми перший раз перепливли туди й назад Двіну і, зворушені своїм досягненням, присягнулись один одному клятвою довічної дружби, яку написали в двох примірниках на аркушах, видертих з учнів-

ського зошита. Присяга була по-чоловічому лапідарною — «Дружба до гроба», підписи ми поставили кров'ю, розколупавши пальця шпилькою, яка заміняла мені гудзика на рукаві зеленої — запам'яталося через урочистість моменту — сорочини.

Та й ще багато чого пережили ми разом з Вовою.

Нас не спромоглася роз'єднати навіть ізраїльсько-арабська війна 1967 року, після якої чимало полоцьких євреїв узялися змінювати імена й прізвища, перетворюючись з Ізраїля на Іллю, з Абрама на Олександра, з Макса Мойшевича на Марка Михайловича. Вова Цимерман зовсім не ображався на мої оповідки типу тієї, де герой слухає дорогою додому по радіо, що євреї наближаються до Каїра, а потім відчиняє двері, а вони вже там.

Нас — банальна історія! — розвела у різні боки білоруська дівчина Наталя Усвайська з мого колишнього десятого класу. Наприкінці школи вона з непримітної худорбини, що мала тонесенькі ноги-тростиночки й навчалась на четвірки та п'ятірки, несподівано перетворилася на прекрасну трієчницю, докруг якої увивались навіть льотчики із задвінського лісового аеродрому. Я приглядався до Наталі звіддалік, і, даючи волю мріям уночі, вдень готувався до іспитів у БДУ, та марив про той час, коли зустріну Усвайську, повернувшись додому студентом.

Першими, кого я зустрів, повернувшись додому з Мінська, були Вова Цимерман з Наталею. На моє гордове повідомлення, що я вже студент, Вова поклав дамі мого серця долоню на талію (а насправді трохи нижче) і, театральнo закотивши очі, продекламував найогидніші з усіх відомих мені доти поетичних рядків:

Натали моя, Натали,
Утоли мою плоть, уголи...

Перед Наталею стояв студент університету, а вона в цей час схвально підхихикувала якомусь паршивому десятикласникові. Я мовчки повернувся і з нелюдською самотністю в душі пішов геть, прямуючи у бік дороги знань, зробивши на шляху до неї короткий привал у барі «Пролісок», де вперше у житті випив алкогольний коктейль «Луна».

Коханка з моїх снів «утоляла» Вову Цимермана недовго. На зимових канікулах я зі зловтішною чорною радістю довідався, що мій суперник не витримав конкуренції з якимсь задвінським льотчиком, який недовзі зробив Наталі дитинку й поспішно перебазувався на якийсь інший лісовий аеродром неосяжної країни.

В душі моїй знову заворушилися було схололі дружні почуття, та ми з Вовою вже рухалися різними траєкторіями, і я міг слідувати за ним лише звіддалік.

Звістки, які до мене доходили, тільки підтверджували мої висновки: друг дитинства був нетиповим носієм національного характеру свого народу.

Це виявлялося, наприклад, у тому, що Вова Цимерман займався не шахами, як більшість його схильних до спорту одноплемінників, а вільною боротьбою, ще й мав з неї розряд. Після школи він не поліз до інституту, а пішов у технікум через дорогу від його дому і потім працював на автoremонтному заводі з різним залізниччям.

Вова міг непогано випити, у тому числі й за свій власний рахунок.

На відміну від багатьох одноплемінників, Вова пішов служити у радянську армію. Щоправда, там він не стрибав з парашутом, і не будував БАМу, а грав в оркестрі на ударних, але дружня армійська сім'я все ж таки невдовзі підготувала Цимерманові непросте випробування. Двоє дембелів покликали Вову з репетиції на серйозну розмову за казарму. «Слушай, жидяра пархатый, — сказав, показавши на черевики, перший дембель, родом звідкись з-під Ростова, — будешь по утрянке вылизывать нам до блеска говнодавы». Другий, більш витончений та освічений, бо зростав у «колищі революції», інтелігентно додав: «В противном случае, сударь, сыграем на ваших гениталиях шестую симфонию Шостаковича». Після цього Вова показав своїм співрозмовникам кілька борцівських штукочок, і до самого прощання з рідною військовою частиною ті дембелі публічно зверталися до нього саме так, як і було наказано, — «господин Циммерман».

А ще Вова був великим спеціалістом по жінках. До чуток тут додавалися й мої власні спостереження. Працюючи після університету в міській газеті, я отримав завдання написати репортаж про те, як городяни допомагають селу. Діставшись з фотокором надвечір до колгоспу, ми застали всіх, хто приїхав допомагати, на кіносеансі в клубі. Після кожної частини кіномеханік безкінечно довго міняв бобіну, і в залі вмикалося світло. Під час однієї з таких зупинок я угледів попереду велику стрижену голову і круті плечі Вови Цимермана, який обіймав симпатичну молодичку. Ще за кілька хвилин пропахла тютюном і запльована соняшниковим лушпинням зала почула притишений, але виразний Цимермановий басок: «Слушай, Зинка, надоело. Пойдем лучше пое...ся». «Тихо ти!» — цикнула на нього Зінка, і дві постаті рушили до дверей.

Із сумом мушу відзначити, що саме тоді я бачив Вову востаннє. Невдовзі він спробував влаштуватись на новополицьке підприємство під кодовою назвою «Измеритель», однак перший відділ завернув його документи. «Не прошел по шнобелю», — весело пояснював Вова знайомим. Але в душі все ж образився і зазбирився до Ізраїлю...

Поміж днем, коли я взявся писати ці спогади, і днем, коли закінчив, була ніч, в яку мені приснився Поліщук. Чомусь він видавався схожим на Нью-Йорк з відомого фільму «Якось в Америці», а ми з друзями — на підлітків, котрі зробилися гангстерами. Цілісіньку ніч ми ганяли вулицями, когось там мочили, грабували і гвалтували, до останнього патрона відстрілюючись від міліції.

Від цієї стрілянини я й прокинувся.

Лежав і з утіхою думав, що, дякувати Богу, нікого ми з Вовою Цимерманом насправді не згвалтували, не пограбували й не зарізали. А тому залишилися в нас на двох спогади цнотливі та чутливі, якими не шкода й поділитися.

РИБА ТА ІНШІ

Існує мільйон способів розпочати цю оповідь.

Я починаю її так.

Уявіть собі міський травневий ранок з ріденьким туманцем, що пахне черемшиною і хімічними сполуками. У білому цвітінні понад берегом ріки востаннє схлипує очманілий від усіх цих ароматів соловей. Поблизу його схованки над одноповерховими міщанськими будиночками кінця минулого сторіччя підіймається обшарпаний білий собор з іржавими куполами, а трохи далі — колишня кірха з червоної цегли. Ще дуже рано, і на прибережній вулиці можна угледіти хіба що хитливу постать невиспаного рибалки.

Колись цією вулицею пробігав з вудкою малий Франціск Скорина. Мовистившись на теплому, як черінь батьківської печі, камені, він плював на черв'яка або ж просто плював у воду, задумливо дивлячись через Двіну на монастир бернардинів, в якому монахи навчали його латині. Колись десь тут-таки, перед виправою у великий світ по науку, притискав до дерев'яних парканів дівчат безбородий юнак, якого пізніше з пошаною називатимуть Симеоном Полоцьким.

Зрештою, підліток у засмальцьованих штанях-дудочках та в світленькій майці з невизначним портретом Джона Ленона, який бредє у ранковій імлі пустельною вулицею з опущеними на ніч віконницями, не шукає зустрічі з тінями предків. Сьогднішньої ночі він не заснув ані на мить з іншої причини. Його рука, яка стискає ножика, вже тремтить від знемоги, а повіки прилипають до очей, наче мухи на жовту липучку в шкільній їдальні, де він одного разу з'їв, побившись об заклад, тридцять пончиків, запивши їх вісімнадцятьма склянками бридкого сірого киселю.

Змальовуючи цей ранковий образок, я пропустив одну вельми істотну деталь. Все місто у цей час обклеєне афішами, які повідомляють, що завтра тут розпочинається чемпіонат СРСР. Хлопчак з ножиком розпочав свій хитромудрий маршрут опівночі і, крадучися від об'яви до об'яви, обійшов уже майже всі вулиці. В кожному повідомленні про чемпіонат він акуратно вирізає по дві літери.

Копітка нічна праця притупила пильність, і хлопчак не зауважує, що його вже давно заскли. Він потрапив на око міліції ще біля пам'ятника Леніну, який тоді і в страшному сні не міг собі уявити, що станеться років так за двадцять з його носом.

Прочитавши першу відредаговану хлопчаком афішу, двоє міліціонерів багатозначно перезирнулися й дозволили юному правопорушникові діяти далі. Вони були в доброму гуморі: у країні розгорталася боротьба з пияцтвом, і вчора увечері начальник міськвідділу довірив їм почесну місію — відвезти «на розстріл» у задвінський ліс два десятки місцевих жлуктїв. Міліціонери вирішили брати злочинця тоді, коли «розстріляні» добредуть до міста. Саме доти, за їхнім підрахунком, він мусив би впоратися з усіма об'явами.

Коли рибалки витягли першого сонного пічкара, а з того боку, де за рікою понад лісом стричали труби місцевого гіганта нафтохімії, з'явився на мості безладний стрій «розстріляних» п'яндиг, саме у що хвилю хлоп'як з перочинним ножиком безпорадно шарпнувся й повис в руках у міліціонерів біля останньої опрацьованої афіші: «Вкусиш, суко, — врїжу по нирках, — про всяк випадок незлостиво промовив сержант. — Все життя юшкою сцятимеш».

Через кілька годин в одній з міських шкіл було скликано загальні збори.

Герой минулої ночі сидів у першому ряду поруч з моложавою жінкою в мундирі. Це була добре знана в підлітковому середовищі інспекторка дитячої кімнати міліції Луїза Степанівна. Днями, коли вона виступала перед старшокласниками з лекцією про запобігання правопорушень, дев'ятикласник Володя Попович підняв руку й запитав у неї, чи передається трипер через поцілунок, за що був негайно поставлений на міліцейський облік.

Теплі сонячні промені струмують на стенди наочної агітації, прикрашені пісними обличчями будівничих комунізму. Шеренгами піонерів і школярів літає туди й сюди новина: «Рибу пов'язали». За що — ніхто іще достеменно не знає. Одні кажуть, ніби Риба — а саме з таким прізвиськом ходить по землі нічний лиходій — написав на пам'ятнику Ленінові коротке непристойне слово, інші готові запрягнути, що це він минулого тижня повісив на тополі під вікнами директорського кабінету kota з прикріпленням до хвоста написом «Он помогал партизанам». Сам Риба собі куняє. Його велика, стрижена під канадку голова падає на груди. З-під куртки визирає у залу перебитий на трафареті півнячий профіль Ленона. «Хто це такий?» — спіймавши Рибу на сходах за вухо, якось запитав директор. «Ленон», — лаконічно відповів Риба. «Щось він на Володимира Ілліча не схожий», — засумнівався директор, але маючи певну долю фантазії, можна було розгледіти у вицвілих обрисах не те що Леніна, а навіть і Мао Цзедуна, тож директор відпустив Рибине вухо на волю.

Тим часом педагогам вдається вгамувати залу, і в дверях з'являється директор школи Іванович.

У його батьків було інше прізвисьце. Інше прізвисьце носив донедавна й сам директор, але після останніх подій на Близькому Сході він написав

куди слід заяву, що не хоче мати з агресивними єдинокровцями нічого спільного, навіть імені.

Той, хто розглядав заяву, милостиво дозволив Кіпервассерові стати Івановичем, але саме з ім'ям вийшла заминка. Можливо, поважні люди, які накладали резолюції на такі заяви, просто від усієї душі поважали старого Ізю, який ще недавно наливав біля ринку пиво до шербатих кухлів, і який у далекі двадцяті нарік сина Абрамом. А може, вони, ці поважні люди, мудро собі розважили, що учорашнього Кіпервассера небезпечно випускати до одного вольєра з іншими Івановичами, Івановими та Івановськими, а тому потрібно його, так би мовити, окільцювати, щоб потім у потрібний момент марно не вимахувати підсакою. Ось вам, мовляв, Іванович, але — Абрам.

Абрам Ізраїлевич іде проходом, тримаючись за серце, і на ходу кидає завучеві загадкові фрази: «Ну хоч би чемпіонат області, ну республіки... Але СРСР...»

Напившись якихось пігулок, директор виходить на сцену. Його інститутський ромбик на лацкані мишачого кольору піджачка від хвилювання аж перекосився. В руках у Абрама Ізраїлевича скручений руркою чималий шматок паперу. На високому директоровому лобі, який непомітно переходить в неосяжну лисину, застигли три глибоких зморшки, подібні до трьох чайок, які злітають увись точно одна над одною.

— Я не маю слів, — після трагічної довгої паузи починає директор. Луїза Степанівна поправляє зачіску, торкає Рибу за рукав, і той безтямно кліпає очима, ніби витягнутий з дупла на сонце пугач.

— Слухай, зараза! — гучно шепоче інспекторка.

— Я не маю слів, — повторює Абрам Ізраїлевич. Але слова у нього все ж таки знаходяться.

— Сьогодні уночі міліція заарештувала учня нашої школи Рибчинського, — грасуючи, каже директор. — Його узяли на місці злочину. Справа набуває політичного забарвлення.

Абрам Ізраїлевич піднімає таємничу паперову рурку до синього виголеного підборіддя і повільно розгортає її. Зала завмирає. Чайки на директоровому чолі журливо опускають крила.

— Ну й що тут такого? — чується в тиші здивований голосок примадонни шкільного драматичного гуртка Нінки Мороз.

Кілька наступних хвилин зала здригається від дикого реготу. Вчитель фізкультури Михайло Карпович Епштейн за вухо тягне до виходу Володю Поповича. У дверях виростає шкільний сторож Харитонович, який у сталінські часи працював шофером на «воронку» і, кажуть, якимось назавжди відвіз до НКВС власного батька.

На сцені здійснюється директор. Тепер він трохи нагадує бачених у телевізорі негрів-пикетників, які чогось там вимагають біля Білого дому. В руках у Абрама Ізраїлевича об'ява:

ЧЕМПИОНАТ СССР ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ

На місці літер «Г» і «Р» в останньому слові — порожні віконця, кризь які визирає директоровий інститутський ромбик.

Примадонну Нінку, яка виконувала на шкільній сцені роль Ульяні Громової, потім довго ще діставали запитанням, чи брала вона участь у чемпіонаті СРСР з цього самого академічного виду спорту. Можна лише здогадуватись, як страждали, чуючи таке, її ніжно-рожеві вушка, прикрашені смарагдовими крапельками кульчиків.

Це саме вона, Нінка, була авторкою славетного виразу: «Я належати-му тільки своєму чоловікові».

Можливо, на Нінчине моральне обличчя наклало свій відбиток те, що вона доводилася донькою начальникові міського відділу міліції. Тому самому, який вигадав «розстріли» п'яниць за Двіною.

Винахід був до геніального простим. Підібраних на вулицях і в парках жлуктїв одразу сортували. Лежачих везли до витверезника, а ходячих збирали у внутрішньому міліцейському подвір'ї, поряд з клітками службових собак. До п'яниць виходив Нінчин батько.

— Що будемо робити, товаришу полковник? — киваючи на п'яний контингент, суворо запитував черговий по відділу. — Може, собак спустимо?

Службові пси заходилися при цих словах жакливим гавкотом, а п'янидиги помітно тверезіли.

— Відставити собак!

На подвір'ї западало мовчання, в якому тихі, втомлені слова начальника міліції лунали, наче пістолетні постріли.

— Розстріляти усіх на х., щоб не псували наше соціалістичне місто.

Після цього небораків запихали до машин, відвозили на десяток кілометрів від міста й «розстрілювали» на лісовій галявині з пістолетів холодними патронами. Міліція від'їздила, а «розстріляні», дехто навіть з мокрими штанами, всенюку ніч плентали шосейкою додому. Скаржитися на Мороза боялися, та все ж ця історія невідомо як впливла на світ, і Нінчиного батька відправили навчатися до Москви, у міліцейську академію.

«Я належатиму тільки своєму чоловікові», — чув від Нінки кожен, хто наважувався навіть на цілком безневинні пропозиції. Одного разу, в десятому класі я, натхненний її довгими смаглявими ніжками, які росли, здається від самісіньких вух, і дивовижною оксамитно-брунатною родиною плямкою завбільшки з копійку на її лівій щоці, подолавши свою природну сором'язливість, підійшов до Нінки на перерві й з усмішкою закоханого блазня витиснув з себе кілька страждених слів, щоб у відповідь так само почути позбавлене навіть натяку на взаємність: «Я належатиму...». Можна подумати, що я пропонував їй віддатись мені просто на шкільній парті чи в гардеробі після занять, а не сходити на вечірній сеанс до

кінотеатру «Космос», де я, згідно зі своїм відчайдушним планом, намірявся усього лиш покласти долоню на її нестерпно кругле коліно.

Пам'ятаю, моє юнацьке почуття було настільки вражене, що я пообіцяв господині чудових ніжок написати на стіні її дому «Тут живе Нінка, яка належатиме тільки своєму майбутньому чоловікові», а внизу додати: «Але це ми іще подивимося».

Такий самий меморіальний напис можна було зробити й на нашому мінському студентському гуртожиткові, бо там мешкала Віра Крапелька. Окрім акуратних конспектів, розкішної коси, яка опускалася нижче того місця, де Вірина спина втрачала свою горду назву, і тьми-тьменної інших позитивних якостей, Віра також мала пунктика стосовно того, кому вона буде належати, причому формулювання слово в слово повторювало Нінчине, що давало підстави їх обох підозрювати у плагіаті.

Що сталося з жіночим *credo* Ніни Мороз, я розповім трохи пізніше. А Віра Крапелька, завдяки ще одному мешканцеві нашого гуртожитку, потрапила до неофіційної історії рідного факультету.

Цього мешканця звали Юліком Канапацьким, і до четвертого курсу він під благотворним впливом сусідів по кімнаті зі старанного студента, який дивився на викладачів, роззявивши рота, перетворився на цілковиту свою протилежність, і частенько, влаштувавшись в останньому ряду аудиторного амфітеатру, просто під час лекції висмоктував крізь соломинку пляшку чи й дві неколекційного вина.

У тій славетній кімнаті, де я програв свого лівого черевика, якого потім мусив викупувати за половину своєї стипендії, верховодив Вітя Кішко. Цілком навіть можливо, щоб був він нащадком могутнього роду білоруських магнатів Кішків, котрі свого часу уславились як королівські кухмістри, гетьмани, дипломати й меценати.

Вітя ж був щедро наділений іншими здібностями. Запропоноване кимось прізвисько — Магнат — так до нього й не причепилося. І причина, мабуть, ховалася не тільки у тім, що Вітя перекутив фамільне прізвище на французький копил.

У той час в нас на історичному факультеті почав виходити самвидавський літературний альманах «Мілавіца». Один з майбутніх світил вітчизняної археології вмістив у першому числі вірша:

Було безлюдним узбережжя Нілу
І в піраміді не лягло ще ні цеглини,
Та існувало вже й тоді «чорнило»,
Яке пилось ще чарками малими.

Це було сказано не про Кішка.

До копійки прогайдамачивши за кілька днів тогочасну тридцятирублеву стипендію, Вітя ще з день лежав у ліжку, дивився на запилюжену

стелю з павутиною по кутках і затаєно прислухався до своєї 90-кілограмової істоти. Та все більш і більш настирливо вимагала їсти. Вітя спускав з ліжка ноги, одягав білу нейлонову сорочку, взувався в чорні лаковані черевики, в'язав на шию виграну в карти краватку і з голодним блиском в очах блукав гуртожитком, шукаючи сала. «Може бути й жовте», — промовляв нащадок магнацького роду.

У нашій кімнаті Вітю якимось почащували пелюсткою сала з відбитим на ній газетним фотознімком Брежнева. Нащадок королівських кухмістрів поклав сало з портретом на кусень хліба і, не зішкрібаючи генсека, з гідністю жжував його, але замість подякувати, пообіцяв, що наступного разу всіх нас закладе, й нам пришиють політику.

Взявши шефство над Канапацьким, Вітя Кішко виховав учня, який перевершив свого вчителя — коли не в чорнильних подвигах, де все ж існував паритет, то принаймні у картах, бо Юлікові вдалося виграти в Кішка обидві пари його штанів. Відігравши одні штани, Вітя заचाївся в чеканні дня помсти.

Цей день прийшов разом із днем стипендії, коли Юлік повернувся близько опівночі до гуртожитка, виразно не добравши норми.

— Є бухнути? — запитав він у Віті Кішка.

— Та маємо, — наструнчившись відповів той. Юлік витяг з кишені зіжмакані гроші.

— Сховай сміття, — з гідністю, вартою його середньовічних предків, промовив Вітя й виставив свої умови: — Пробіжиш голяка до жіночого душу й назад — ставлю три фугаси.

— Не п....ш?

— Гадам буду! — Кішко ображено гримнув себе кулаком у груди. Юлік не вагався, лише попросив дозволу прикритися рушником. Гуртожитківський рушник був ненабагато більший від фігового листка, прикритися ним можна було тільки з одного боку, й Вітя милостиво погодився. Канапацький, очевидно, розраховував на те, що було вже пізно й коридором другого поверху можна було промчати, не зустрівши нікого. Тож він скинув сорочку, штани й попросив Вітю показати вино. Той виставив на стіл три темно-зелені фугаси «Агдаму».

Юлік стягнув плавки і приміряв рушника, якого, щоб обкрутити докола могутніх Юлікових клубів, треба було подовжити приблизно утричі.

— Зачекай, — спинив його Кішко, в мить, коли Канапацький вже взявся був за клямку. — Ковтни для натхнення. — Він простягнув Юлікові один з фугасів.

Доки Юлік боровся з поліетиленовим корком і ковтав вино, підступний Вітя вихором пролетів по коридору, стукаючи в кожні двері й повідомляючи, що Канапацький зараз голяком побіжить до жіночого душу.

Коли Юлік, тримаючи перед собою рушника, ступив у коридор, той був повний. Підходили люди з інших поверхів. До честі Канапацького, він

не розгубився. Набравши повні груди повітря, розправив плечі й з диким криком: «Ну, кенти, бля, тримайте мене!» рвонув уперед.

А сталося так, що в жіночому душі, куди під улюлюкання глядачів з торпедною швидкістю мчав Юлік, милася саме згадана вище Віра Крапелька. Точніше, й не милася, а вже одягала на свої розпарені принади махрового халатика, щоб відчинити двері саме в той момент, коли до них на повній швидкості, загубивши дорогою рятівного рушника, підлітав любитель «Агдаму».

Наступної миті гуртожиток почув розпачливе Вірине верещання. Сказати Юлікові, що вона належатиме тільки своєму майбутньому чоловікові, дівчина вже не встигла: закотивши під лоба пожовтілі від жаху очі, вона тихо з'їхала по стіні на брудний лінолеум.

Дивно, але після нічного забігу Канапацького з гуртожитка не виселили. Його врятувала видана коханкою-медсестрою довідка про те, що під час сесії він перевтомився і тимчасово з'їхав з глузду.

І взагалі, забіг пішов Юлікові на користь. На останньому курсі він спромігся зменшити дозу і одружився з дочкою проректора політехнічного інституту. Внаслідок цього він став аспірантом, шось там захистив і невдовзі постав перед нами в іпостасі респектабельного викладача наукового комунізму в тестевому вузі. Одного разу, коли сентиментальність вчергове занесла мене у стіни *alma mater*, в коридорі я зустрів Юліка в синьому, з іскрою, костюмі-трійці. Поглянувши на його шкіряний дипломат на замочках з шифром, я мимоволі відзначив, що туди можна легко сховати фугасів шість «Агдаму». Моє безневинне запитання стосовно того, коли, згідно з науковими дослідженнями, ми збудуємо світле майбутнє людства, Юлікові настільки не сподобалося, що я мусив сформулювати наступне: чи пробіг би він у чому мати народила нашим п'ятим істфаківським поверхом від чоловічої до жіночої вбиральні за ящик коньяку.

— Пішов ти на х... — притишено відрізав викладач наукового комунізму...

Тепер мені здається, що забіг голяка до жіночого душу — необхідний етап у кар'єрі кожного викладача наукового комунізму. Такі подвиги дарма не минаються.

Треба сказати, що життя в Канапацького після його зустрічі з розпареною Вірою Крапелькою склалося набагато вдаліше, ніж доля Юлікового сусіда по кімнаті Артура Завалішина після рандеву з викладачкою історії середньовіччя Русаковою.

Якось в зимову сесію Артурчик складав їй залік одним з останніх. Молода доцентка подивилася на рослого блондина зі значком першорозрядника на куртці, потім замислено позирнула у вікно, за яким гуснули бузкові сутінки і, розписавшись в заліківці, попросила студента провести її додому, позаяк вона мешкала в погано освітленому мікрорайоні.

В погано освітленому мікрорайоні нещодавно розлучена доцентка взяла Артурчика за руку і не відпускала вже до самих дверей квартири, за

якими перед студентом виник спершу коньяк, а потім і сама викладачка — вже у чомусь ефірно-прозорому.

Другий акт здачі заліку пройшов настільки успішно, що Завалишин почав цілими днями не з'являтися у гуртожитку, носити моднячі сорочки й палити «Marlboro». На всі запитання він, як і було йому наказано, відповідав, що перебуває на спортивних зборах.

Однак щасливий учасник зборів, у якого вже ніколи не мало б виникнути проблем з вивченням історії середньовіччя, на жаль, не зберіг свого щастя. Він якось напився, похвалився друзям спортивними досягненнями й почав дозволяти собі вирази на кшталт: «Піду, свою стареньку трахну».

Заздрісники і злостивці зробили свою справу. На екзамени в доцента Русакової Артурчик відхопив таку несподівану двійку, що так і не спромігся перекласти курс ані своїй «старенькій», ані комісії, й тому опинився спершу на заочному відділенні, а потім і взагалі кудись здимів.

Нещодавно один наш колишній однокурсник нібито впізнав Завалишина в верховоді рекетирів, котрі відбирали долари у співвітчизників по тойбіч польського кордону. Якщо це й справді був колишній фахівець з історії середньовіччя, то на своїй слизькій стежині він має не одну нагоду зустрітися з підполковником білоруської міліції Віктором Кішком, який, за чутками, свою другу зірку отримав за успішну боротьбу з тими, хто наприкінці вісімдесятих розмахував на площах біло-червоно-білими стягами і заперечував науку, яку викладав Алік Канапацький.

Віра Крапелька, згідно з одними чутками, вийшла після університету за мадагаскарського князя, а згідно з іншими — за лепельського сільгосптехніка. Будемо сподіватися, що в кожному разі — чи то в мадагаскарському гамаку з матрацом зі страусового пуху, дивлячись у темне, ніби дьоготь, південне небо з чужими сузір'ями; чи то на мульковому лепельському ліжку виробництва спільного білорусько-ізраїльського підприємства з прогресивною назвою «Погоня», з якого видно тільки низьку стелю стандартної панельної квартири, — Віра належить виключно своєму чоловікові. Можливо, при цьому вона ностальгічно пригадує майбутнього (і вже минулого) викладача наукового комунізму Юліка Канапацького, котрий одного разу, як геній чистої краси, виник перед нею на порозі вбогого, оздобленого арабесками цвілі гуртожитківського душу. Можливо, саме цей спомин у темряві задушливої мадагаскарської ночі найміцніше поєднає Віру з далекою холодною батьківщиною.

Вістки про Ніну Мороз більш вірогідні. Вона стала дружиною офіцера-танкіста, якого закинули виконувати інтернаціональний обов'язок до Афганістану.

Про чоловіка мені розповіла сама Ніна, коли ми зустрілися з нею в місті нашого дитинства і зайшли до кав'ярні «Бусли». Я довідався, що чоловік вже двічі приїздив у відпустку і привіз цілий склад афганських кожушків-дублянок та японської апаратури, і що їй видається, ніби він

колеться наркотиками, спить з афганками марксистської орієнтації і хоче її, Ніну, покинути, а може, просто хоче загинути — підірватися після каральної акції на міні або пірнути в туманну гірську улоговину на підбитому гелікоптері.

Після кав'ярні ми послушали привезеного з Афгану магнітофона, і якось саме собою сталося те, що не вдалося мені колись в кінотеатрі «Космос». Моя рука опинилася на теплому і ще не постарілому, на відміну від обличчя, Нінчиному коліні, й легенько слизнула угору.

— Я хочу на підлозі, — сказала, дивлячись кудись убік, Ніна.

Ми кохалися на м'якому, певно, так само трофейному ворсистому килимі під зеленим торшером. Її велика родимка на лівій щоці кололася трьома підстриженими волосинками, її руки й ноги вміло обіймали мене, а уста шепотіли незаслужені мною слова ніжності. До зеленого кола торшерного світла підійшов і спокійно дивився на нас персидський кіт, а мій погляд знову й знову натикався на залишені танкістом після відпустки криві кинджали, і я не міг позбутися думки, що саме такими кинджалами добивали десь під Гератом мого найкращого шкільного товариша Юрка.

Від того вечора, коли нам з Ніною світив зелений торшер, залишалося ще зо два роки до того часу, коли скасували науку Юліка Канапацького, а вождеві трудящих, який стояв біля нашої школи, хтось відбив носа. Риба ніякого стосунку до цього вже не мав, бо працював партійним секретарем у закритому казахстанському місті, звідки щось запускали, і гірко жалкував за своє ідеологічно грішне дитинство, яке не давало можливості йти угору швидше, ніж в нього виходило.

Щодо носа Володимира Ілліча, то йому зліпили і прикріпили нового, проте у зимові морози він сам собою знову відпав, що надало злим язикам можливість пригадати про бридку вождеву хворобу. Врешті міські власті утворили комісію, і та видала довідку про низьку естетичну цінність монумента. В акті експертизи фігурувала прикметна фраза:

«У пам'ятника утрачен нос».

Коротше кажучи, від Володимира Ілліча, як за тридцять років до того від Йосифа Віссаріоновича, котрий стояв по інший бік школи, залишився тільки порожній постамент.

А шкода, нехай би вожді стояли.

ПРОРОЦТВА РОЗИ ГЕРЦИКОВИЧ

Це, звісно, патологія, та мушу вам зізнатися, що провівши ревізію в своїх спогадах, я остаточно переконався: ані у дитинстві, ані потім я, за гамбурзьким рахунком, не позаздрив жодній людині.

У третьому класі я був опанований мрією поселитися з однокласницею Вірусською на власному атолі в тропічних широтах, та чомусь ні крихти не заздрив американським мільярдам, які могли собі дозволити купити десь в Індійському океані цілий архіпелаг. З дитинства маючи схильність до фаталізму, я хворобливо не заздрив хлопцям, котрі «ходили» з красивішими за моїх дівчатами. Я (що взагалі непростиме) жодного разу — які б шедеври вони не створили — не відчув заздрості до колег-літераторів.

Але шкодувати мене за обділеність одним із найміцніших, найдивовижніших і найбарвистіших людських почуттів ви не поспішайте. Що таке заздрість, я знаю не гірше, а може, й краще за найзавзятіших заздрників. Їхні емоції скеровувалися на собі подібних, мій же діапазон був незрівнянно ширшим: об'єктами заздрості мені служили речі, рослини, стихії...

Я заздрив першому на нашій вулиці телевізоріві і з радістю перетворився б на незграбний і, з сьогоднішнього погляду, убогий чорно-білий «Неман», навколо якого збиралося вечорами народу стільки ж, як і в малому залі кінотеатру «Батьківщина». Іще раніше я відчував пекучу заздрість до сомів, які жили у Двіні таким недосяжно цікавим і таємничим життям, що порівняно з ним моє суходільне існування видавалося суцільною недоречністю. Я не відмовився б перетворитись на автомобіль, або на першу подаровану мені книжку «Русские богатыри», або на теплий шкіряний фотель у батьковому службовому кабінеті. Кожна з цих заздростей мала свою історію, варту новели, а може й цілої повісті.

Однак нікому й нічому я не заздрив так, як собаці. Точніше — сучці.

Її звали Лайка. Вона, якщо хтось пам'ятає, була першим радянським космонавтом.

Лайку запустили восени, коли у нашому саду опадали останні антонівки, солодкі, майже як пепінки, а в сусідки Хведорівни, яка жила через город від нас, наливались гіркуватим солодом калинові грона. Калина разом з трьома молодими вишнями позначала початок сусідчих володінь; плоту між городами не ставили і, коли Хведорівна спускала з ланцюга рябого кунделя Дуная, той міг уявляти себе господарем величезного обширу.

Щоправда, він, цей обшир, миттєво мізернів перед тим, яким володіла хвостата космонавтка.

Задерши голову, я стояв на осінньому холоді й намагався розгледіти у провітах між хмар космічну будку з великими, вже знайомими мені літерами: СССР. У тій будці летіла до болю рідна і близька істота.

О, як мені хотілось хоча б на день опинитися у її шкурі, аби так само мчати над Землею, натискати лапами кнопки управління, радісно гавкати на зорі й досхочу їсти з консервних бляшанок кільку в томаті, якими — я був у цьому переконаний — Лайку щедро забезпечили до кінця космічної експедиції.

«Марш до хати! Досить яблука пасти!» — гукала мама.

Авторство другої фрази належало не мамі, а моїй бабусі Авгінії, яка жила в придніпровському селі під Шкловом, куди мене відвозили у травні на все літо.

Влітку пасти яблука було більш приємно. Я лягав біля стодоли на розтрушене шурхітливе сіно, мені під бік підмощувався кіт (бабуся ніколи не давала своїм котам імен, називаючи їх просто Котами чи Кицями), й ми годинами дивились на пухнасті, білі, неначе безліч кульбабних голівок, яблука. З-за кушів агрусу й порічок медово пахла конюшина, голова чи то нагріте сонцем сіно під нею приємно пливло кудись у просторі, безмірному котіві снилися смачні товсті миші, і він щасливо муркотів, раз по раз посмикуючи обрубаним за надмірну шкідливість хвостом... Дрімота підкрадалася й до мене, але я боляче шипав себе за литку, боячися, що саме тоді, як я на мить засну, на одній з таких м'яких, наче збита перина, хмарин і пропливе над бабусиною стодолю Бог.

Бабуся Авгінія встигла вже не лише напівлегальне охрестити мене в Кописицькій церкві, а й розучити зі мною «Отче наш». Я знав, що «Отче наш» — це і є Бог, а «на небесі» — значить, на небі.

Тлумачити, що таке «іже еси», бабуся, сподіваючись на онукову тямушість, вважала зайвим. Справдуючи її надії, я й хотів підстерігти, чим там «Отче наш» харчується. Може, кільками в томаті та картоплею в мундирах?

Чудово пам'ятаю, що заздрості до Бога — нехай він собі й харчувався виключно моїми улюбленими міськими стравами — у моїй маленькій душі навіть не ночувало. Коли я ще й не розумів, то вже відчував, що долі у нас із Богом — цілковито різні. Він був дуже вже старим і мусив, незважаючи на добре харчування, невдовзі померти, а мене переповняв кураж невмирущості. Він був великим начальником, а я ніяким начальником робитися ніколи не збирався. Окрім усього іншого, я страшенно боявся височини й мав слабкий вестибулярний апарат: вистачало двох кругів на каруселі, щоб рот мій наповнювався бридкою солодкою слиною і мене починало нудити.

Тоді, восени, шукаючи в небі космічної будки, яку різні мудрагелі називали біологічним штучним супутником Землі, про свій вестибулярний недолік я зовсім забув, бо, мабуть підсвідоме був переконаний, що перевтілюючись у собаку, миттю позбудуся й усіх людських хиб.

Доки Лайка літала, а я пас серед хмар свої яблука, на землі розпочинались різні пов'язані із космосом події.

У нас першим безпосереднім наслідком Лайчиного польоту стала загибель Дуная.

Посаджений до вкраденої на пивзаводі порожньої бочки, сусідчин собака вирушив у космос зі старої червоної водогінної башти на березі Полоті.

На останньому земному притулку космонавта № 2 було так само написано «СССР» і ще кілька коротких, часто бачених на сценах і площах слів, сенс яких у ті часи залишався для мене загадкою.

Трагічне Дунаєве приземлення, мушу сказати, викликало в мене більше утіхи, ніж смутку. Річ не у тім, що я від народження був хлопчиком недобрим і злостивим. Просто за місяць до того Хведорівнин кундель зжер на підвечірок мого привезеного з села зайця Колю, який пару тижнів встиг порозкошувати в скриньці з-під яблук, а потім утік і три дні дихав свободою, гризучи на городі моркву й капусту.

Запуск Дуная здійснювали Ілько Шеф і Вітя Бундель. Вони вже ходили до школи і в них прокидались таланти, які пізніше доповодять обох до в'язниці. Вітя пограбує в Лепелі квартиру й отримає свій перший термін у десятому класі, а Ілько сяде за щось вже в Ізраїлі, куди від'їде з батьками і зі своєю прикметною мусульманською кликухою — Мустафа.

Цей Ілько Шеф навчить мене віршика, через який я вперше збагну силу поетичного слова.

Того вечора батько приведе на вечерю перевіряючого з області й за столом, щоб похвалитися сином, мама попросить почитати чужому дядькові що-небудь напам'ять. Я виставлю одну ніжку наперед, закладу руки за спину і гучно й виразно продекламую:

Вот к чему пришла наука:
В космосе летает сука,
Прославляя до небес
Мать твою капэээс.

Батько зміниться на виду і, не спускаючи з гостя очей, витягне з формених прокурорських штанів довгого паска. Але дядько лише зарежоче, порадить мені не читати цього віршика у дитячому садку й остаточно зніме напругу, підливши до чарок.

Забігаючи наперед, зауважу, що успіхи СССР в дослідженні космосу будуть у моєму житті й надалі пов'язані з поетичною творчістю — чи народною, чи й моєю власною.

Після польоту Терешкової на дощці у нашому класі з'явиться новий твір невідомого автора. Великими літерами й без помилок хтось вивів крейдою чотири достатньо професійних рядки:

Валентине Терешковой
За полет космический
Подарил Хрушев Никита
... автоматический.

Якого подарунка припас космонавтці Хрушов, було, звісно, написано дослівно.

Цього віршика батько знайшов у моєму скінченому зошиті з арифметики. Ми носили тоді прив'язані до портфелів торбинки з чорнільницями-каламарями і писали дерев'яними ручками з металевими перами. Ці пера вічно заїдали, плювалися і пирскали, тому старанно переписаний твір на космічну тематику був оздоблений півдужиною ляпок.

Історичні джерела свідчать, що за часів Великого Князівства Литовського прикордонна сторожа батьківщини наших предків, аби закріпити у пам'яті громадян точну лінію кордону, практикувала досить ефективний метод. Місцевих підлітків з усією ширістю сікли різками саме на межі держави. Як після тієї екзекуції у свідомості до скону залишалися «сфотографовані» під різками межові камені й дерева, так після важкої батькової руки з попругою в мені назавжди закарбувалася сторінка з поганим словом і подібною до незнамого космічного сузір'я чередою ляпок.

Мій власний віршик, складений з нагоди кружляння навкруг земної кулі першого тримісного корабля «Восток», вирізнявся первісною ідеологічною і лексичною цнотливістю. Але про це трохи пізніше. Повернімося в осінь, над якою лунало відлуння гавкоту знаменитої радянської сучки.

Серед тих, кого її політ вразив якнайглибше, я передусім пригадую ще одну нашу сусідку — Розу Соломонівну Герцикович, яка часто заходила до моєї мами поскаржитися, що її невістка, жінка її сина Фіми, «погулює», і яка вперто кликала мене не Вовою, а Бобом.

Тепер буквально з неба впала нова тема.

Товста, як дві чи навіть дві з половиною мами, тітка Роза Герцикович не любила розмовляти стоячи й велично опускалася на нашу зелену канану, яка під раптовим тягарем вгиналася і жалібно стогнала, зовсім як живе створіння.

Влаштувавшись зручніше, Фіміна мати починала розповідати неймовірні речі. Вона чула, що невдовзі у космос запустять супутника з мухами, комарями, тарганами і блошицями. На це мама зазначала, що тарганів і блошиць у нас, дякувати Богові, немає. Пустивши нетактовне зауваження повз вуха, тітка Роза Герцикович продовжувала розробляти космічні родовища. За її словами, услід за комашнею в міжпланетний простір стартоне супутник з котами, потім, як вона казала, «зафугують» козу.

Я несміло поцікавився про акваріумних рибок. «Вода розплюскається», — відмахувалася сусідка й після кози пророчила політ корови.

В її словах я відчував певні суперечності, бо — якщо виводити на орбіту всіх по порядку — тоді починати слід було не з Лайки, а справді з мух, чи навіть і з мікробів. Але сусідку такі тонкощі нітрохи не бентежили, і вона пророкувала собі, що услід за коровами в космос почнуть «фугувати» карних злочинців.

Тітка Роза не знала, що за кілька років її Фіма одного нещасливого вечора застане дружину з коханцем і заріже невірницю кухонним ножом, а тому, не стримуючи своєї фантазії, стверджувала, що над кримінальни-

ками в космосі ставитимуть різноманітні експерименти: годуватимуть самою кукурудзою чи самим часником з цукром, з'ясовуватимуть, скільки днів людина витримає без їжі та скільки без води; алкашів нібито триматимуть на самій горілці, а гвалтівників — підвішуватимуть у космічних кораблях за яйця.

Понура сусідчина уява широко розгортала крила, і наступного дня, на додаток до попередніх жахів, ми довідувалися, що космічні кораблі з кримінальниками на борту стануть мішенями для радянських льотчиків, або що вона, тітка Роза Герцикович напише, куди слід, аби до кримінальників для якихось незрозумілих мені досліджень запустили її невістку.

На жаль чи на щастя, натхненні пророцтва Фіминої матері не справилися. Услід за Лайкою в космос полетіли не мухи чи кози, а Білка зі Стрілкою. Котів, корів і злочинців так само оминули, і на орбіту одразу закинули просто чоловіка.

Одного дня на деяких будинках нашої тихої вулиці поміняли таблички з назвою. Тепер і наш дім, і школа, де я вчився, стояли, як сказала вчителька, на вулиці першого радянського космонавта, і тому ми мусили пишатися й бути гідними.

Може, саме з тієї причини, що вирізаний з журналу «Огонек» Лайчин фотопортрет, як і раніш, висів у мене над ліжком, несправедливість вчительчних слів сприймалась особливо загострено. Я отримав перший урок офіційної брехні. Всі чудово знали, що першим космонавтом була Лайка.

(Оскільки контрапунктом у нас проходить тема заздрості, зауважу, що, думаючи про Юрія Гагаріна, я знову не знаходив у душі ані дрібочки згаданого почуття. З тієї самої причини я відчував глибоку людську симпатію до тітки Рози Герцикович. Її оповіді, присвячені космонавтиці, незаперечно свідчили, що сусідка так само ні разу не позаздрила захмарному героєві і ніколи не побажала його долі своєму улюбленцеві Фімі).

Влітку в мене з'явилися додаткові аргументи: від свого двоюрідного діда, а маминого рідного дядька Гриця я довідався, що Гагарін не був першим космонавтом і серед людей.

Попереднього разу дід Грицько відвідував рідне село, коли взагалі ще не був мені дідом, бо мене ще не існувало на світі, й мій тато жив не з мамою, а зі своєю першою дружиною, яка тоді ще не захворіла на невиліковні сухоти. Дорослі казали, що дід Грицько «засекречений», і щоб переконатися у цьому, досить було побачити посилки, які він надсилав нам з Москви перед кожним Новим роком. Ум'явши ту товстелезну червону рибину з веселковим переливом на перерізі, я цілий місяць не згадував про кільок, а чудові родзинки в першокласному шоколаді поруч із обсипаними цукром крамничними «подушечками» видавались привітанням з іншої планети, яка у своєму розвитку випередила нашу не на сторіччя, а назавжди.

Дід Грицько був абсолютно лисий, і я любив потайки розглядати його ушерть вкрити синіми, червоними й зеленими прожилками кавуноподіб-

ну голову, яка сильно скидалася на глобус. Свояки стверджували, нібито про свою московську працю дід не скаже ані слова навіть на якомусь Страшному суді. В пам'ять врізалось, як суворо зиркнув він на мою тітку, а свою племінницю Ольгу, коли та, почувши по радіо популярну тоді обіцянку наздогнати й перегнати Америку, підтвердила, що так, наздоженемо, бо ж босим бігти легше. Одначе я добре запам'ятав і те, як перед бабусею Авгінією дід одного разу трішки розсекретився, повідомивши, що має справи з небесною канцелярією.

Другим разом дід розсекретився переді мною, коли, прослухавши радіопередачу про Гагаріна, раптом хапонував без закусі склянку двічі перегнаної бабусиної самогонки і притишено проказав — точніше, не проказав, а схлипнув: «Ех, Вовка, скільки хлопців до Гагаріна на запусках попалили...» І далі ще декілька слів, яких мене вчили ніколи не казати.

Я пережив мить, яку називають моментом істини. Моїй дитячій душі відкрилося, що сльози на дідові, так само лисі, майже без вій, очі повернулися не від могутнього бабусиноного самогону, а від того, що дід не лише знав тих «хлопців», а й сам — страшно подумати — палив їх...

Злякавшись своєї відвертості, дід Грицько попросив мене забути почуте, інакше його можуть вигнати з роботи, а то й посадити у в'язницю. Я хотів і надалі отримувати перед Новим роком московські посилки, а тому дав «чесне жовтеняцьке» і підкріпив його тим, що перехрестився, як вчила мене бабуся, на образ Миколая-чудотворця.

Посилки з лагоминками приходили ще років зо п'ять. Повернувшись з дідових похоронів у село, тітка Ольга повідомила, що на поминки звідкись привезли два автобуси генералів.

Ні тоді, ні пізніше, коли літали Биковський з Терешковою, і тітка Роза Герцикович, розповідаючи, що їх запустили задля космічного розмноження, передрікала обов'язкове народження потвор, я так і не відчув жодної охоти хоч би на мить зробитись космонавтом. Тим не менш, піддавшись масовому психозові, після польоту першого багатомісного корабля, я написав свій перший віршований твір:

Мчиться тройка, мчиться быстро
В корабле «Восход»,
И ведет его уверенно
Капитан вперед,
Там инженер-полковник,
Врач, ученый,
Отчизны верные сыны.
Вокруг земного шара
Вперед летят они.

Потім я довідаюся, що ціла когорта відомих закордонних політиків, серед яких був і один американський президент, взагалі не вірили у ре-

альність деяких космічних кораблів із серії «Восход», сприймаючи їх, як звичайну ідеологічну туфту.

Невдовзі після завершення польоту трьохпілотного «Восхода» Фіма Герцикович і зарівав свою жінку. Певно, через переживання біологічний механізм, від якого залежала повнота тітки Рози, почав нарощувати її кілограми з катастрофічною швидкістю. З таким самим ефектом, як вона, на нашу нещасну канапу міг, напевно, сісти сам привокзальний залізний Ленін. Коротше кажучи, канапі, незважаючи на колосальні успіхи СССР в освоєнні космосу, настав кінець, а на нову в батьків бракувало грошей.

Коли під час випробування крупновантажного корабля «Союз» загинув космонавт Комаров, тітка Роза Герцикович до нас уже не завітала. Вона не читала історика Фернана Броделя, який колись сформулював свій знаменитий постулат, згідно з яким «коли євреї приїздять до певної країни, то це означає, що життя там іде добре чи піде краще, а коли від'їздять — що життя йде погано або зміниться на гірше». Фіміна мати просто дочекалася сина з тюрми і виїхала з ним до Ізраїлю.

Моїй тітці Ользі, тій самій, яка колись афористично висловилася стосовно нашого бігу наввипередки з Америкою, не було куди виїздити, і вона хоч-не-хоч мусила зайняти якесь місце у всесоюзних багатомісячних розмовах про долю космонавта Комарова.

Ходили чути, ніби командир «Союзу» не загинув під час посадки, а лише покалічився. Одні бачили людей, які на власні очі бачили, як Комаров приземлився на полі під Новосибірськом, вибрався з кабіни й попросив пива. Інші божилися, ніби чули про це ж саме по «ворожих голосах».

Я був певен, що така масштабна подія не обмине на її історичній батьківщині й носійку стародавнього і славного прізвища Герцикович. Мені уявлялися смагляві мешканці бетлеємських передмість (зрештою, дуже подібні до наших недавніх сусідів), які чують з масних тітчиних вуст, що коли Комаров і вцілів, то його все одно спіймають і вб'ють або, у кращому разі, назавжди кудись запроторять, аби ніхто не подумав, що радянські газети, радіо й телебачення збрехали радянському народові.

Позиція тітки Ольги у всій цій історії відзначалася ще більшою безкомпромісністю. Іконописно підібгавши вуста, мамина сестра сказала, що Бог нарешті взявся карати літунів, які без його дозволу нарobili у небі дірок і зіпсували погоду й життя взагалі. Зроблю примітку: з тіткою була солідарна більшість жінок з її шкловського села Кописиця, яке квітло під сонцем колгоспного ладу за три кілометри від тоді ще нікому не відомої Александрії, мешканці якої гнали не гіршу за кописицьку самогонку й не підозрювали, що за чверть століття один їхній землячок розпочне всенародне змагання з якимось страшним закордонним Натом.

Ні, нікому з них — ні колишньому александрійцеві, ні першому космонавтові-білорусові Климукові, ні другому, Ковальонку, в якого у де-

бютному польоті щось не витанцювалося, і наавтра ж з хати його матері забрали привезеного напередодні телевізора — я, хоч ви мене вбийте, не заздрив.

Коли яка крапля заздрості й отруїла мою істоту, то до зовсім ненашого космонавта Ніла Армстронга. Ось у нього був справжній політ. Це, знаєте, наче увивається навколо неймовірної красуні безліч зальотників, цілують ручки, підносять дарунки, хтось і за бочок вщипне, але не більше, а потім з'являється той, хто проводить з нею ніч і залишається першовідкривачем.

І жевріє на денці душі моєї мрія — відшукати, коли знову потраплю до Америки, старого Ніла й запитати, що ж він там таке на Місяці, в тім Морі Спокою побачив чи відчув, що, кажуть, зав'язав із космосом і навіть заховався від людей та й живе самотником.

Розумію, що мої шанси отримати відповідь близькі до нуля. Та мені подобається думати, що — якби жива ще була бабуся Авгінія — старий Ніл міг би замість їхнього розбавленого віскі хапонути зі мною чистого, як дитяча сльоза, перегону, і, як колись мій дід Грицько, розколотися, та й послати усю цю космонавтику на...

Українською переклав Олександр Ірванець

Этгар Керет

РАССКАЗЫ

Жанр, в котором вот уже десять лет пишет все еще молодой израильский писатель Э. Керет, назван литературными специалистами ужасным термином «постмодернистский абсурдизм». И если, друзья, вам трудно даже выговорить такое, смотрите киноленты двадцатых годов, бессмертные короткометражки с Чарли Чаплином, Гарольд Ллойдом, толстым и тонким. Это и есть, как бишь его, постмодернистский абсурдизм.

В коротких рассказах Э. Керета обыденность доведена до парадокса, вывернута наизнанку. Список его тем на редкость банален: армия, девушка, родители, тусовки, дружба. Вот и все. Серая жизнь среднего мужчины. Но при этом писатель нам мастерски напоминает, что именно эта повседневность абсурдней любого фантастического сюжета: сарказм, черный юмор, алогичность повествования — его излюбленные приемы.

Э. Керет родился в городе-спутнике Тель-Авива — Рамат-Гане, и сделал он это в 1967 году. Первая книга Керета «Трубы» появилась в 1992 году, точь-в-точь под начало мирного палестино-израильского соглашения, а последний сборник рассказов, — «Анигу», — вышел в 2002 году, когда уже стало ясно, что идея мира — иллюзия политиков. В этой атмосфере Э. Керет и создает своего антигероя, Швейка-по-жизни. Смех сквозь слезы, ставший главной нотой в голосе этого автора, — главная нота в голосе целого поколения.

Э. Гельман

РАЗБИТЬ СВИНЬЮ

Папа не согласился купить мне куклу Барта Симпсона. Мама как раз хотела, но папа не согласился, сказал, что я избалованный. «Почему это мы должны купить, а? — сказал он маме. — Почему мы должны ему покупать? Он только успевает пикнуть, а ты уже становишься навтыяжку!» Папа сказал, что у меня нет уважения к деньгам. И что если я не пойму этого, пока маленький, то когда же? Дети, которым с легкостью

покупают куклы Барта Симпсона, вырастают потом в хулиганье, которое воруется по киоскам. Потому что они привыкают, что все, что им пожелается, сразу достается им с легкостью. И поэтому вместо куклы Барта Симпсона он купил мне уродливую глиняную свинью с плоской дыркой в спине, и теперь я расту нормальным, не буду хулиганьем.

Теперь каждое утро я должен выпивать стакан какао, несмотря на то, что терпеть его не могу. Какао с пенкой — это шекель, без пенки — полшекеля. А если я сразу после этого вырву, то не получу ничего. Монетки я кидаю свинье в дырку на спине. Если ее потрясти, она звенит. Когда в свинье будет так много монеток, что при встряске они уже и звенеть не будут, тогда я получу куклу Барта Симпсона на скейтборде. Папа говорит, что это — воспитание.

А поросенок как раз славный. Пятачок у него прохладный, если потрогать. И он улыбается, когда засовываешь в него шекель. Даже если полшекеля. Но самое замечательное то, что он улыбается, даже если не кидаешь в него вообще ничего.

Я уже придумал, как его назвать. Я зову его Песахзон, так же, как звали одного человека, который жил когда-то в нашем почтовом ящике, и моему папе так и не удалось отколупать его наклейку. Песахзон не такой, как мои другие игрушки, он гораздо спокойнее, без мигалок, без подпрыгиваний, без батареек, которые текут у него внутри. Только за ним нужен глаз да глаз, чтобы не спрыгнул со стола вниз. «Песахзон, осторожно! Ты же глиняный!» — говорю я ему, когда замечаю, что он стоит, пригнувшись на краю стола, и смотрит на пол. А он мне улыбается и терпеливо ждет, пока я возьму его в руки и спущу вниз. Я обожаю его, когда он улыбается. Только ради него я пью каждое утро какао с пенкой. Только для того, чтобы иметь возможность сунуть ему шекель в спинку и увидеть, что его улыбка ни капельки не изменилась. «Я люблю тебя, Песахзон, — говорю я ему после этого. — Честно, я люблю тебя больше, чем папу с мамой. И я буду любить тебя всегда. На остальное наплевать. Даже если ты будешь взламывать киоски. Но только не вздумай прыгать со стола!»

Вчера папа пришел, взял Песахзона со стола и стал его трясти и переворачивать. «Папа, осторожней, — сказал я ему, — у него от этого болит живот». Но папа все равно тряс его. «Он уже больше не звенит. Ты знаешь, что это значит, Йовачик? То, что завтра ты получишь Барта Симпсона на скейтборде». «Прекрасно, папа, — сказал я. — Барт Симпсон на скейтборде, чудесно. Только перестань трясти Песахзона, ему от этого становится плохо». Папа поставил Песахзона на место и пошел звать маму. Он вернулся через минуту. Одной рукой он тащил маму, а в другой руке держал молоток. «Ты видишь — я был прав, — сказал он маме, — так он научился ценить вещи, правда, Йовачик?» «Конечно научился, — сказал

я, — конечно. Но зачем молоток?» «Это для тебя, — сказал папа, и дал молоток мне в руку. — Только будь осторожен». «Конечно. Я буду осторожен», — сказал я, и, вправду, был очень осторожен. Но через несколько минут папе уже надоело и он сказал: «Ну же, давай, разбей эту свинью!» «Что? — спросил я, — Песахзона?» «Да, да, Песахзона, — сказал папа. — Ну давай, разбей ее. Ты заслужил Барта Симсона. Ты достаточно тяжело поработал для этого».

Песахзон улыбался мне грустной улыбкой глиняного поросенка, который понимает, что это его конец. Чтоб он сдох, этот Барт Симпсон! Это чтобы я врезал молотком по голове своему другу? «Я не хочу Симпсона». Возвращаю папе молоток: «Мне достаточно Песахзона». «Ты не понимаешь, — говорит папа, — это нормально, это — воспитание. Иди сюда, я разобью ее для тебя». Папа уже поднял молоток, и я посмотрел в разбитые глаза мамы и на усталую улыбку Песахзона, и понял, что теперь все зависит от меня. Если я ничего не сделаю, он умрет. «Папа!» — я схватил его за ногу. «Что, Йоавчик?» — спросил папа, а рука его с молотком все еще была в воздухе. «Пожалуйста, я хотел бы еще один шекель», — умоляюще произнес я. «Дай мне завтра затолкать еще один шекель, после какао. И тогда уже разбить. Завтра. Я обещаю». «Еще шекель? — папа улыбнулся и положил молоток на стол. — Ты видишь? Видишь, какое понимание я развил в мальчишке?» «Ага, понимание, — сказал я. — Завтра». У меня уже слезы подступали к горлу.

Когда они вышли из комнаты, я крепко-крепко обнял Песахзона, и дал слезам выплакнуться наружу. Песахзон не сказал ничего, только тихонько дрожал у меня в руках. «Не переживай, — прошептал я ему в ухо, — я тебя спасу».

Ночью я подождал, пока папа закончит смотреть телек в салоне и пойдет спать. Тогда я тихо-тихо встал и слинял вместе с Песахзоном через веранду. Мы долго шли в темноте, пока не набрели на какое-то поле с колючками. «Свиньи обожают поля, — сказал я Песахзону, когда поставил его на землю. — Особенно поля с колючками. Тебе здесь будет хорошо». Я подождал ответа, но Песахзон ничего не сказал. Я погладил его пяточек в знак прощания, а он в ответ только печально на меня уставился. Он знал, что больше никогда меня не увидит.

ДЫРА В СТЕНЕ

На бульваре Брандот, совсем рядом с автовокзалом, есть дыра в стене. Когда-то там висел банкомат, но он сломался или что-то там еще, или им просто не пользовались. Тогда приехал грузовик с ребятами из банка, которые забрали его и не вернули, никогда.

Уди однажды кто-то сказал, что если прокричать в эту дырку в стене свое желание, то оно сбывается, но Уди не сильно в это верил. Правда, один раз, возвращаясь из киношки, он крикнул в дырку, что хочет, чтобы Дафна Римельт влюбилась в него, но ничего не произошло. А в другой раз, когда он почувствовал себя страшно одиноким, проорал в ту дырку, что хочет, чтоб у него был друг ангел, и действительно, ангел потом появился, но другом он не был вовсе, и всегда пропадал, как раз когда на самом деле был необходим. Ангел этот был тощим и скрюченным, ходил все время в дождевике, чтобы никто не увидел его крыльев. Люди на улице были уверены, что он горбун. Иногда, когда они были одни, он снимал свой дождевик, а один раз даже дал Уди потрогать перья на крыльях. Но если были еще люди в комнате, он всегда оставался в своей накидке от дождя. Кальяновские дети однажды спросили его, что у него под плащом. И он ответил им, что у него там рюкзак с чужими книгами, которые он боится намочить. И вообще, он все время обманывал. Он рассказывал Уди такие истории, что можно было просто сдохнуть. Про всякие места на небе, про людей, которые идуг ночью домой спать, забывая ключи в стартере машины, про бесстрашных котов, которым неведомо даже слово «кыш».

Он такие истории выдумывал! А еще клялся жизнью Всевышнего.

Уди страшно любил его и старался всегда верить ему, даже пару раз подкидывал ему денег, когда тот был в стесненных обстоятельствах. Ангел же, несмотря на все это, не помогал Уди ни в чем, только говорил, говорил, говорил, и рассказывал ему свои маразматические истории. За те шесть лет, что они были знакомы, Уди не видел даже, чтобы тот хоть чашку вымыл.

Когда Уди проходил «курс молодого бойца» и действительно нуждался в ком-то, чтобы пообщаться, ангел вовсе исчез на два месяца. Потом вернулся с небритой физиономией типа «ой-не-спрашивай». Уди не спрашивал. В субботу они сидели в одних трусах на крыше и грелись на солнышке. Уди рассматривал другие крыши, с проводами, кабелями, солнечными бойлерами и небесами. Он обратил вдруг внимание, что за все годы их знакомства он ни разу не видел, чтобы ангел летал.

«Может, летаешь чуть-чуть по воздуху, — сказал он ангелу. — Это улучшит твоё настроение».

Но ангел сказал: «Брось, еще люди увидят».

«Да ну, в натуре, — сказал Уди, — полетай немного, для меня». Но ангел только извлек отвратительный звук из своего ротового отверстия, и его плевки смешался с белесыми пятнами на шифере.

«Ну и не надо, — приставал к нему Уди, — ты попросту не можешь летать».

«Да могу я, — злился ангел, — просто, не хочу, чтобы меня видели».

Они смотрели, как дети на крыше напротив кидают вниз кулек с водой. «А знаешь, — улыбнулся Уди, — раньше, когда я был маленьким, еще до того, как познакомился с тобой, я сюда частенько поднимался и запускал кульки в людей, которые проходили внизу по улице. Я их протискивал как раз в щель между навесами». Уди, согнувшись, показал в щель между навесом гастронома и обувного. «А люди задирали головы, видели только навесы и не могли понять, откуда это на них свалилось». Ангел тоже поднялся посмотреть на улицу, он открыл рот, чтобы сказать что-то. Уди неожиданно толкнул ангела легонечко сзади, и ангел потерял равновесие. Это было так, для смеха, он не хотел сделать ему ничего плохого, только заставить его полетать немножко, по приколу. Но ангел падал все пять этажей, как мешок картошки. Уди, ошеломленный, смотрел на него, лежащего внизу, на тротуаре. Все его тело было неподвижно, только крылья еще подрагивали предсмертной дрожью. И тогда он наконец-то понял, что из всех тех вещей, что ангел сказал ему, ничто не было правдой, что он даже не был ангелом. Так, просто врун крылатый.

ПОЧИСТИТЬ ШЛЯПУ

В конце выступления я достаю кролика из шляпы. Я это делаю всегда в конце, потому что дети очень любят всяких зверюшек. По крайней мере, я любил, когда был пацаном. Так можно завершить выступление в самый кульминационный момент — я пускаю кролика по рукам, и ребяташки могут его погладить и покормить. Когда-то это так и было на самом деле. Сегодня детей не так просто впечатлить. Тем не менее, я всегда оставляю кролика для финала. Это трюк, который я больше всего люблю, точнее, любил. Мои глаза все время следят за публикой, рука проникает в шляпу, ищет там глубоко-глубоко внутри, пока не нащупывает уши Казяма, моего кролика. И тогда: «А-ля-казим, а-ля-казям!» — я извлекаю его оттуда. Каждый раз это удивляет по-новому, причем не публику, бросьте, — меня. Каждый раз, когда моя рука нащупывает эти смешные уши в шляпе, я чувствую себя волшебником. И несмотря на то, что я знаю, как это работает — сориентированная емкость в столе и тому подобное, — все равно, это настоящее волшебство.

В ту субботу, в Л. (30-го), я оставил этот фокус со шляпой на самый конец. Дети на этом дне рождения были совсем вялыми. Некоторые повернулись ко мне спиной и смотрели по кабельному фильм со Шварценегером. Виновник торжества вообще был в другой комнате и играл с видеоприставкой, которую только что получил в подарок. Моя публика свелась всего к четырем детям. Это был особенно жаркий день, я под сюртуком был весь мокрый, хотелось только закончить и пойти домой.

Я даже пропустил три фокуса с веревками и перешел сразу к шляпе. Моя рука исчезла в ее глубинах, а глаза погрузились во взгляд толстой очкастой девочки. Нежное прикосновение ушей Казыма как всегда было неожиданным: «А-ля-казим, а-ля-казям!» Еще одну минутку в кабинете отца, — и я смываюсь отсюда с чеком на триста шекелей. Я потянул Казыма за уши, и почувствовал в нем что-то не то, легкость. Моя рука поднялась в воздух, а глаза до сих пор были на зрителях. И вот — вдруг — эта влага на фраке, и толстая очкастая девочка, которая начинает орать. Моя правая рука держала голову Казыма, длинноухую, с кроличьими глазками и его оскалом. Только голова, никакого тела. Голова и много-много крови. Толстуха продолжала орать. Дети, сидевшие ко мне спиной, отвернулись от телевизора и начали мне аплодировать. Из другой комнаты пришел мальчик со своей новой видеоигрой. Когда он увидел оторванную голову, аж присвистнул от восторга. Я почувствовал, как мой обед поднимается по горлу. Меня вырвало в мою волшебную шляпу, и тошнота прошла. Дети вокруг меня сходили с ума от радости.

Ночью после этого выступления я не мог заснуть. Я проверил все свое оборудование десятки раз. И не смог найти никакого объяснения тому, что случилось. И тельце Казыма тоже не смог найти. Утром я пошел в лавку фокусов. Они тоже не нашли никаких объяснений. Я купил кролика. Продавец пытался меня уговорить взять черепаху. «Кролики — это фигня, — сказал он, — сейчас идут только черепахи. Ты скажи им, что это — черепашка нинзя, и они упадут со стула». Я все равно купил кролика. И назвал его тоже Казымом. Дома, на автоответчике меня ожидало пять сообщений. Все с предложениями о работе. Все от детей, что были на том представлении. В одном из них ребенок даже настаивал на том, чтобы я оставил у него оторванную голову, как я это сделал в Л. Только тогда я вспомнил, что не забрал оттуда голову Казыма.

Следующее мое выступление было в среду. Десять лет пареньку из Рамат-Авив-Гимель. Я нервничал все выступление. Был несобранным. Фокус с королевством у меня вышел смазанным. Я все время думал о шляпе. И вот, наконец: «А-ля-казим, а-ля-казям!» Взгляд направлен на публику, рука внутри шляпы. Не смог нащупать уши, но вес тельца был как раз тот. И вот снова вопли. Вопли и аплодисменты. В руке был не кролик, это был мертвый ребенок.

Я уже не могу больше делать этот фокус. Когда-то я любил его, но сейчас, стоит мне только подумать о нем, у меня дрожат руки. Я продолжаю представлять себе те жуткие вещи, которые я вытаску наружу, и те, которые ждут меня внутри. Вчера мне снилось, что я запускаю руку, и на ней смыкаются челюсти чудовища. Мне даже трудно представить, как у меня раньше хватало мужества засовывать руку в это странное место. Как у меня раньше хватало мужества закрывать глаза, засыпать.

Я уже совсем не выступаю, но мне это безразлично. Я не зарабатываю денег, но и это — совершенно нормально. Иногда я еще надеваю свой сюртук, просто так, дома, или проверяю скрытое пространство в столе под шляпой, но на этом все. Кроме этого, я больше не прикасаюсь ни к каким фокусам, кроме этого, я не делаю больше ничего. Только лежу себе в кровати и думаю про кроличью голову и трупик ребенка. Будто они — это подсказки в головоломке, будто кто-то пытался сказать мне что-то, что сейчас не самый удачный период для кроликов, и для младенцев тоже. Что это не самое удачное время для волшебства.

Перевод с иврита Елены Гильбо

ПОСЛЕДНИЙ РАССКАЗ И С КОНЦАМИ

В ту ночь, когда черт явился забирать у него талант, он не спорил, не ныл, и вообще не поднимал шума. «Чему быть, того не миновать», — сказал он и предложил черту шоколадную конфетку «Моцарт» и стакан лимонада. «Приятно было, вкусно было, было в кайф. Но сейчас пришло время, и вот ты здесь, и это твоя работа. Я не собираюсь устраивать тебе неприятности. Только, если можно, я бы хотел еще один маленький рассказ, прежде чем ты отнимешь его у меня. Последний рассказ, и все. Чтобы на губах у меня осталось хоть что-нибудь от этого вкуса». Черт разглядывал золотую обертку шоколада и понимал, что сделал ошибку, согласившись на угощение. С этими обаятельными всегда самая морока. С паскудами никогда не возникает проблем. Приходим, достаем душу, срываем скотч, извлекаем талант, и с концами. Вы можете орать и проклипать хоть до завтра. Он, как черт, уже может поставить галочку на бланке и перейти к следующему по списку. Но эти симпатяги? Все эти с тихими словами, сладостями и лимонадами, ну что ты им скажешь?

«Хорошо, — вздохнул черт. — Один последний. Но чтобы короткий, ладно? Уже почти три, а мне еще надо хотя бы в два места подскочить». «Короткий, — устало улыбнулся парень. — Короче не бывает. Три страницы, и точка. А ты пока можешь посмотреть телевизор».

Прикончив еще двух «Моцартов», черт растянулся на диване и начал развлекаться с пультом. Тем временем из соседней комнаты было слышно, как парень, угостивший его шоколадками, строчит по клавишам, как будто набирает в банке бесконечный секретный код. «Дай бог, чтобы у него вышло что-нибудь красивое, — подумал черт и уставился в муравья, который семенит по экрану в научно-популярном фильме на восьмом канале. — Что-нибудь эдакое, чтоб много деревьев и девочка, которая ищет своих родителей. Что-то с самого начала берущее тебя за живое, а конец надрывный такой, и все рыдают». Он, в самом деле, был славным, этот парень. Не просто милым, а из тех, кто вызывает уважение. И черт

от всей души надеялся, что он уже близок к концу. Было начало пятого, и в течение двадцати минут, от силы получаса, он должен сорвать у этого человека скотч, вытащить товар и отчалить. Иначе потом на складе ему так вставят, что мало не покажется.

Но он в самом деле был молодцом. Через пять минут уже вышел из комнаты, весь мокрый от пота, с тремя отпечатанными страницами в руке. И рассказ действительно был хорош. В нем не было девочки, и он не хватал за живое, но затягивал по-черному, не то слово. И когда черт сказал ему об этом, видно было, что парень страшно рад. И эта его улыбка осталась и после того, как черт удалил у него талант, свернул его хорошенько, и уложил в специальный футляр. И все это время этот человек совершенно не строил из себя гонимого художника, напротив, принес ему еще сладостей. «Передай своим шефам мою благодарность, — сказал он черту. — Скажи им, что я в самом деле получил удовольствие от таланта, ну и все остальное. Не забудь». И черт сказал: хорошо, а про себя подумал, что если бы, вместо того чтобы быть чертом, он был человеком или они бы просто познакомились при других обстоятельствах, они могли бы стать друзьями. «Ты знаешь, что будешь делать сейчас?» — озабоченно спросил черт, уже стоя в дверях. «Не очень. Конечно, лучше всего сходить к морю, повидать приятелей и все в таком роде. А ты?» «Работа, — сказал черт и поправил короб на спине. — Видишь ли, у меня в голове только работа, можешь мне поверить». «Скажи, — спросил парень, — Просто любопытно, что, в конце концов, делают со всеми этими талантами?» «Не очень-то я знаю, — признался черт. — Ну, приношу на склад, там их пересчитывают, расписываются в накладной, и конец игре. Я без понятия, что с ними потом делается». «Если при подсчете у тебя останутся лишние, всегда буду рад получить его обратно», — улыбнулся парень и похлопал по коробу. Черт тоже улыбнулся, но как-то убито, и спускаясь с четвертого этажа, только и думал, что о написанном парнем рассказе, и об этой своей фискальной работе, которая когда-то как раз казалась ему привлекательной.

ТРУБЫ

Когда я перешел в седьмой класс, к нам в школу пришел психолог и устроил тесты на профпригодность. Он показал мне одну за другой двадцать разных картинок и спросил, что в них не так. Все они выглядели вполне нормально, но он заупрямился, и снова показал мне первую картинку с мальчиком. «Что неправильно на картинке?» — спросил он устало. Я ответил, что картинка в полном порядке. Он ужасно рассердился и сказал: «Ты что не видишь, что у мальчика на картинке нет ушей?» Честно говоря, теперь, когда я снова посмотрел на картинку, я действительно увидел, что у мальчика нет ушей, но все равно картинка выглядела

абсолютно нормально. Психолог определил меня «страдающим тяжелым расстройством восприятия» и отправил в ПТУ для столяров. В училище выяснилось, что у меня аллергия на опилки, и меня перевели на сварку. Там у меня, в общем-то, неплохо получалось, но работа эта мне не нравилась. Правду сказать, не было вообще ничего такого, чтобы мне как-то особенно нравилось. После окончания учебы я начал работать в мастерской, где делали трубы. В начальниках был у меня инженер из Техниона. Крутой парень! Если бы я показал ему картинку с безухим мальчиком или что-нибудь в таком роде, он бы справился с этим в два счета.

После работы я оставался в мастерской, строил себе конструкцию из скрученных таких труб, похожих на закугавшихся змей, и катал по ним шарики. Я знаю, что это выглядит по-идиотски, да и мне самому не очень-то нравилось это занятие, но я все равно продолжал. Однажды вечером я собрал трубу, в самом деле сложную, с массой вывертов и изгибов, и когда я запустил в нее шарик, на другом конце он не появился. Я подумал сначала, что труба забилась посредине, но после того, как попробовал запустить вовнутрь еще штук двадцать шариков, понял, что они просто исчезают. Я понимаю, всё, что я говорю, выглядит глуповато, все прекрасно знают, что шарики не исчезают. Но когда я видел, как они входят в трубу с одной стороны и не выходят с другой, это нисколько не казалось мне странным, это выглядело просто абсолютно нормально. И тогда я решил, что построю себе большую трубу, точно такую же, как эта, и буду ползти по ней до тех пор, пока не исчезну. Я начал обдумывать эту идею, и мне стало так радостно, что я засмеялся. Думаю, что смеялся я первый раз в жизни.

С этого дня я начал работать над гигантской трубой. Каждый вечер трудился я над ней, а по утрам прятал части на складе. Постройка заняла десять дней, и в последнюю ночь мне понадобилось пять часов, чтобы собрать трубу: она заняла почти половину цеха.

Когда я смотрел на нее, такую совершенную и ждущую меня, я вспомнил свою учительницу по социологии, которая как-то сказала, что первый человек, взявший в руки палку, не был ни самым сильным, ни самым умным в своем племени. Тем людям вообще не нужны были палки. Просто больше других ему требовалась палка, чтобы скрывать свою слабость и выжить. Я не думаю, что есть на свете человек, который сильнее меня хотел бы исчезнуть. И поэтому я избрал Трубу. Я, а не этот инженерный гений из Техниона, начальник мастерской.

Я пополз по Трубе, не зная, что ждет меня на другом конце. Может быть безухие дети, которые восседают на холмах из шариков. Мне неизвестно, что именно произошло, когда я перебирался через некое место в Трубе, знаю только одно — сейчас я здесь.

Думаю, что теперь я ангел, и, значит, у меня есть крылья и этот круг над головой, и здесь еще сотни таких, как я. Когда я очутился здесь, они сидели и играли в шарики, которые я запустил в трубу несколько недель назад.

Я всегда считал Райский Сад местом для людей, которые всю жизнь были добрыми и хорошими. Но это не так. Господь слишком милостив и милосерден, чтоб принимать такое решение. Рай — это просто место для тех, кто был не способен стать по-настоящему счастливым на земле. Мне объяснили здесь, что люди, кончающие жизнь самоубийством, возвращаются на землю проживать свою жизнь снова, потому что если им не понравилось в одном воплощении, это еще не значит, что они не найдут своего места в другом. Но те, кто действительно не пригодны для этого мира, находят свою дорогу сюда, у каждого есть своя дорога в Райский Сад.

Здесь есть летчики, крутившие петли в определенных точках, например в Бермудском треугольнике, чтобы попасть сюда. Есть домохозяйки, которые, чтобы сюда попасть, пробирались сквозь заднюю стенку посудного шкафа. Математики, нашедшие в пространстве топологические скрутки и ухитрившиеся протиснуться сквозь них. Так что, если ты действительно несчастлив там, внизу, и разные люди говорят тебе, что ты «страдаешь тяжелым расстройством восприятия», поищи свою дорогу сюда, а когда найдешь — захвати с собой карты, нам уже поднадоели эти шарики.

МЫСЛЬ ПОД ВИДОМ РАССКАЗА

Это рассказ о людях, которые жили когда-то на Луне. Сейчас там уже никого нет, но до недавнего времени на Луне было просто здорово. Лунные люди считали себя очень необычными, ибо они умели думать так, что их мысли принимали любой вид, какой бы они ни пожелали. Мысль могла стать лодкой или столом, или даже выглядеть как брюки клеш. Лунные люди могли поднести своей подруге такой оригинальный подарок, как размышление о любви, принявшее вид чашки кофе, или мысль о верности, которая выглядела вазой.

Это очень впечатляло, все эти смоделированные мысли, только вот со временем у лунных людей стало выкристаллизовываться единое мнение о том, какой вид пристало иметь каждой мысли. Мысль о материнской любви всегда имела вид занавески, в то время как мысль об отцовской любви моделировалась пепельницей, так что не имело значения, в какой дом вы пришли, всегда можно было догадаться, какие мысли и в форме чего ожидают вас, сервированные на чайном столике в салоне.

И среди всех людей на Луне был только один, кто представлял свои мысли по-иному. Он был человеком молодым и немного странным, по-

груженным в вопросы экзистенциальные, и слишком мало интересовался хлебом насущным. Главная мысль, которая постоянно вертелась у него в голове, была чем-то вроде веры в то, что у каждого человека есть, по крайней мере, одна особенная мысль, похожая только на саму себя и на этого человека. Мысль такого цвета, и объема, и содержания, какую только он мог бы придумать.

Мечтой этого человека было построить космический корабль, скитаться на нем в космосе и собирать все эти особенные мысли. Он не посещал общественные мероприятия и увеселения, а всё свое время посвящал строительству корабля. Для него он построил двигатель в виде мыслеудивления, а механизм управления сделал из чистой логики, и это было только начало. Он добавил еще множество изощренных мыслей, которые помогут ему вести корабль и выжить в космосе. И только соседи, все время наблюдавшие за его работой, видели, что он постоянно ошибается, ибо только тот, кто совсем ничего не понимает, может смоделировать мысль о любознательности как двигатель, в то время как совершенно ясно, что эта мысль должна выглядеть микроскопом. Не говоря уже о том, что мысль чистой логики, если мы не хотим обнаружить дурной вкус, должна быть сконструирована в виде полки. Они пытались ему это разъяснить, но он ничего не слышал. Это стремление найти и собрать все подлинные мысли во Вселенной вывело его за рамки хорошего вкуса, не говоря уже о пределах рассудка,

Однажды ночью, когда юноша спал, несколько его соседей по Луне исключительно из сострадания разобрали почти готовый корабль на мысли, из которых он состоял, и устроили их по-новому. И когда юноша утром встал, он нашел на том месте, где стоял корабль, полки, вазы, термосы и микроскопы, а вся эта груда была покрыта грустным размышлением о его любимой умершей собаке, имевшем вид вышитой скатерти.

Юноша совсем не обрадовался этому сюрпризу. И вместо того, чтобы сказать спасибо, впал в буйство и начал яростно крушить все вокруг. Лунные люди смотрели на это с великим изумлением. Они очень не любили буйства. Луна, как известно, планета с очень малой силой тяжести. И чем меньше сила тяжести, тем больше эта планета зависит от послушания и порядка, потому что всем вещам на ней довольно и легкого толчка, чтоб потерять равновесие. И если бы при малейшем огорчении все начинали буйнить, это бы просто закончилось катастрофой. В конце концов, когда лунные люди увидели, что юноша не собирается утихомириваться, им не оставалось иного выхода, как начать думать о способе его остановить. Тогда они создали одну мысль об одиночестве размером три на три и затолкали его внутрь этой мысли. Она была величиной с карцер, с очень низким потолком. И каждый раз, по ошибке натыкаясь на стенку, он содрогался от холода, и это напоминало ему, что он, в сущности, одинок.

Это случилось, когда он обдумал в камере свою последнюю мысль отчаяния в виде веревки, сделал на ней петлю и повесился. Лунные люди очень воодушевились этой идеей муки отчаяния с петлей на конце, и немедленно сами придумали себе отчаяние и стали обматывать им шею. Так вымерли все люди на луне, и осталась только эта одиночная камера. А после нескольких сот лет космических бурь и она тоже разрушилась.

Когда первый космический корабль прилетел на Луну, астронавты не нашли там никого. Нашли только миллион ям. Сначала астронавты думали, что эти ямы — древние могилы людей, живших когда-то на Луне. И только когда обследовали их поближе, обнаружили, что эти ямы были просто мыслями о ничто.

Перевод с иврита Анны Дубинской

Гаїм Нахман Бялик

ВІРШІ

Один з найвидатніших єврейських поетів Гаїм Нахман Бялик був нашим земляком, бо народився у селі Ради на Волині. Сталося це 9 січня 1873 року. Таким чином, 2003 рік є його ювілейним роком.

Бялик писав свої твори на двох мовах єврейського народу — на івриті та на їдиш, а найвизначніший свій твір — поему «Сказання про погром» (назва їдишистського варіанту — «У місті різанини») — створив у двох мовних інтерпретаціях — на івриті і на їдиш (у моєму перекладі з їдиш вона має увійти до антології єврейської поезії, що незабаром вийде друком у видавництві літератури мовами національних меншин).

У творчості Бялика знайшло відображення все те, чим живив його народ. Поет глибоко переймався соціальною та національною несправедливістю у Російській імперії, розгулом і підтримкою майже на офіційному рівні чорносотенних дій і настроїв. Поема, про яку йшлося, і присвячена погрому у Кишиневі, одному з найжасливіших.

Але поет жваво цікавиться єврейською історією, символікою Старого Заповіту, що знайшло відображення у пропонуваній читачам «Єгуця» поемі.

1920-го року Бялик емігрував з Росії, жив у Палестині, підтримував ідеї сіонізму. Помер поет 4 липня 1934-го року у Відні.

Увазі читачів «Єгуця» пропонуються поема Бялика «Останнє чекання» та два вірші у моєму перекладі з їдиш.

Валерія Богуславська

ОСТАННЄ ЧЕКАННЯ

(3 пророків)

До вас я від Бога прямий посланець.
Він бачить: тут зводять життя нанівець,
Він бачить: все гине, гнітить, загнива.
Що день, то сивіша його голова.

У відчай руки здійняв Пресвятий.
Обурений, владою Він скориставсь.
Мені загадав у цю землю іти,
І от посланець я від Нього до вас.

І так мені промовив Бог:
«Страшний тягар — я вже без сил,
Іди й розбий, хоч серця зойк
Сльозою зір би загасив!
Хай важко й гірко натшесерце,
Хай в небокрай — останній стогін,
Але й земля тоді здригнеться,
Струсне із себе бруд і погань».

І я послухався і рушив
Шляхом, камінно перестиглим.
І всі чуття мої і душу
Пекло, мов у зміїнім лігві..
Зі мною і навкруг — нікого..
То тільки ваших болів спогад,
Яким потрібна допомога..
Бог покаранням серце дав,
Що біль чужий сприйма, як власний.
Ятрить його чужа біда
І палить пекло повсякчасне..
І ваш тягар відчув я враз.
Чуттям понад знання сягав.
І ваших слів пекучий спазм
Розрад від мене вимагав, —
Хвилини згаяти не можна..
Я йду — вже у печері вашій.
Злжу із ран кровинку кожному,
І кров навічно нас пов'яже.
Так має статися — так буде,
Заколисаю і загою,
І голос мій вас вранці збудить,
Поки земля не заспокоїть.
Я йду — то йде розради час.
Несу я звістку душам вашим.
Бог спорядив мене до вас,
Я вашим душам дар назавше..
Я гарт несу від Бога люду,

Щоб зрушив гори він без труду.
Від руху рук моїх кремезних
З очей злостива мла пощезне;
Мені Бог мову дарував,
Щоб дзвоном зло я таврував;
Щоб камінь почувавсь залізом
Залізо гартувала сталь,
Щоб всі і кожен Бога визнав,
Щоб знову люд народом став.
Стою під вашими дверима,
Вже відбира мені язик,
Вже суне глупа ніч невтримно,
Аби мій промінець зник.
Навстріч мені — ганьба і кпини,
Чола каміння не мине,
Та й це мене вже не зупинить —
Сам Бог напучує мене.

Та не промовлю вже до вас,
Бо смерть прорік вам Божий глас.
Одне лиш вимовив слівце,
Та вітер геть відніс і це;
І мовлене єдине те
У травах іскрою росте,
І по посохлих травах вже
Пожежа радісно ірже.
Було — та тільки загуло,
У попіл слово полягло.
Але і той морозом взявсь,
І крапля кулею здалась,
І луснуло віддуння громом,
І день раптово споночів,
І серце стислось підсвідомо,
І розколось на плачі!
Та постріл у сльозу влуча!
Як боляче! Плачі облиште —
Не вірить більше тим плачам
Ні Бог, ні я, ані хто інший.
В багнюці й болоті хай буду заради
Вас, люди, хай одяг собі роздеру,
Аби моє слово — на ваші розради,
Розвіявши вашу одвічну журу...
Ніхто вам на поміч не прийде однині,

Я друг ваш єдиний, напутник єдиний...
Молитви моєї зціляючі звуки —
Крізь двері ґратовані, холод і голод.
Намарне вам Божі відштовхувать руки —
До вас я всміхаюся Божим глаголом.

Бідахи, вам слід пам'ятать повсякчас,
Що більше не зможу втішати я вас,
Бо я тільки слово страшної мети,
Що вам з цього місця повік не зійти;
Що в чорне обвугляться сонячні дні,
Серця розпанахають руки брудні,
І рота поранять вам їжа й питво,
І в хлібі щоденнім — гіркота отрут,
Життя гидуватиме вашим еством,
І смерть відсахнеться, угледівши труп...
Надії на втіху вам світ не лиша.
Дошенту й моя відпалає душа,
Аби розірвався мій з вами зв'язок...
І мужність поляже, згубивши путі.
Та жовчний сарказм, а не зболений зойк
Ще плюне криваво у пики пусті...

Всевишній вийшов і прорік:
«Щоб Я востанне чув цей скрик!
Востанне — стогін навздогін,
Мов гори витисли з долин».
І слово Бог зронив тверде:
«Почуй, оглухий:

день гряде,
Я сонячні відкрию брами,
Щоб всесвіт світанково плинув.
Раби ж залишаться рабами,
Од світла спивши лиш краплину...
Засліплі їх сини і доні
Блукатимуть, як поторочі,
І повтікають світ за очі,
Хапаючись за промінці
І обпікаючи долоні...
Куди? Оманні манівці!..

Звільнив би Я ваше життя від страждань,
По вінця влив радість у ваші моря,

Та вам увірвалася нитка чекань,
 Тому переповнена й чаша моя;
 І всохнути вам без дочок і синів,
 І жєбрати коло чужинських дверей,
 І битися лобом у груди земні,
 І колінкувать коло їхніх джерел;
 І згага вам горло ножем роздере,
 Ніхто вам і краплі не дасть в чужині...
 І кпинами кожен ощериться рот,
 Бо зась вам до їхніх джерельних щедрот.

Та Дух вам втіху сповістить,
 Як Божої роси блакить —
 То шлях новий в новітнє небо —
 Ви, як суха солома, всі
 Травою зродитесь в росі,
 Запліснявілі і занедбані.
 Хто закоцюрб і геть зневіривсь —
 Вдмухне Дух іскру сили й віри —
 Палкими вмитися слізьми,
 Віддатись вічності в офіру...
 Тож, люде, в серце ти візьми —
 В людину виплекати звіра...

Та, зцілення чекавши, знай:
 Сумирно маєш перебути
 Дикунський зловорожий край
 Старцем біля чужих набутків;
 Камінням під чужий поріг
 Лягти у виразках і ранах,
 І ще до прикрошів старих
 Чекати штурханів старанних;
 Жебрацьку мову вигнання
 Ховати у торбині вутлій,
 За гроші помирать щодня...»

Життя пручається й не хоче
 Без зір — у нескінченні ночі...
 Та вітром зойк відносить геть,
 Він не сягне до вух пророчих.
 І моторошно в наших злиднях,
 І моторошно стертись в дерть.
 Запаморочний смерті віддих

Знекровлює жагу життя,
Й Бог вимагає каяття...
Жахливим болем серце тисне
Єство хижацьке прямовисне,
Вуста не мають сил молитись,
Отут і спробуй не схилитись
І надихнутись днем безплідним...
Та непохованії жертви
Від тебе воскресіння ждуть,
Попри вогненну звичку жерти,
Попри єдиний вихід — смерть...

І Бог звелів:
іди і будь
У домі гончара за горщик,
Розбийся і промов пророчо,
Щоб чуло небо й всі почули:
«Отак терпіти біль навчу я,
Без стогну й волання — мовчки.
Хай гнуть дугою — ані руш.
І зійде Бог до ваших душ...»

* * *

Не йшов по сліду чи на голос,
Я сім шляхів долав, бува.
Я впав, немов роса на колос,
Чи під дощем — суха трава.

Дарма кричати, бить на сполох,
І ваша пісня — не моя.
Палаю — очманілий голуб,
Якого вжалила змія.

Йду: не зворушить звуків злива,
Вітань я майже не розчув.
Смерть лащиться до ніг хітливо,
Та я ногами й потопчу.

Промовистіші ваші очі
В мигтінні чорних блискавиць,
Аніж ті знаки, що охоче
Лишають пазури левиць.

Речу я — небо незворушне,
Земля, немов сухий листок,
І спраглі гори з місця зрушать
За слова Божого ковток.

ПІД ДЕРЕВЦЕМ ЗЕЛЕН-ЯСЕНЕМ

Під деревцем зелен-ясенем
Шлоймо чи Мойшеле грав собі,
В татовій кофті закасаній,
Єврейське курчаточко щаснее.
Здиміло тільце горіхове
В пір'я й солому під стріхою,
Вітром недбало розтринькане
На горобине цвірінкання.

Очі лишилися, синочку,
Очі, із ночі росиночки,
Ніби дві чорні жариночки —
Очі пророчі, всезнаючі,
Очі, в безодні пірнаючі —
Очі пташині із вирію,
Очі з такою довірою...
Чим я вам ласку відміряю?..

Переклад з їдиш Валерії Богуславської

Перец Маркіш

КУПА

ВІД ПЕРЕКЛАДАЧКИ

Ще перекладаючи вірші і поеми для книги «Вибраного» Переца Маркіша, я захопилася ідеєю перекласти також його поему «Ді Купе» («Купа»). Я приблизно знала тоді тільки її зміст, знала, що її не сприйняли ані кати, ані жертви, бо обидві сторони не влаштував кут зору поета. Тим більше мені хотілося самій «дойти до самої суті».

Але... Я прочитала, що поема вперше була видана в Києві 1920-го року, роком пізніше — перевидана у Варшаві. На моє прохання її шукали по бібліотеках і Києва, і Варшави, але не могли знайти ні там, ні там. Пізніше я дізналася, що вона навіть повністю не перекладалася ні на російську, ні на українську мови, перекладалися лише окремі фрагменти. Невже поема так безслідно і загинула?! Зрозуміло, що тема погромів не дуже заохочувалась радянською владою з її державним антисемітизмом. То хто б наважився зберігати цю вибухівку, перевидавати чи перекладати цю крамольну поему?!

Тим більше, що, як відзначав (чи не з примусу?) відомий критик І.Добрушин: «В своей знаменитой «Куче» Маркиш ставит и решает вопрос о погрмах в узконациональных рамках...»

Мабуть, велике бажання завжди знаходить відгук, а люди, захоплені спільною ідеєю, не можуть не зустрітися. Олександр Верленович Заремба познайомив мене з молодого американською дослідницею-ідишисткою Амелією Глейзер, і вона — о, диво! — подарувала мені ксерокопію Маркішевої «Купи» на ідиш з Нью-Йоркської бібліотеки. Це був примірник першого, київського видання. Коло — через океан, попри загибель автора і майже всіх примірників книги — замкнулося. (Можливо, говорячи так, я забагато беру на себе).

Не можу сказати, що я переклала цю річ на єдиному подиху. Занадто багато страждань, мук і крові в цій поемі, за один раз цього б не витримало жодне серце.

Я не знаю, чи стачило в мене хисту донести, вихлюпнути на папір все те, що заклав у цей твір геній Маркіша. Але я знаю, чого боялася радянська влада:

*Купи собі моє червоне серце, горе,
Поший із нього свій кривавий прапор!*

Слова ці стали пророчими і для самого поета. Чи не з йдого простріленого, закатованого серця шили свої криваві прапори нелюди, що вбивали поезію в душах і душу поезії!

На жаль, ця поема і в наш час, коли життя не варте і ламаного гроша, а поезія, як і вся культура, жебракує, є більш ніж актуальною. На жаль. То хай же вона лунає, як застереження!

Валерія Богуславська

*Вам, вбитим на Україні, що переповнили її
землю перетрамбованими, непохованими
«купами», городищами містечок вздовж
Дніпра — моя заупокійна молитва.*

Перець Маркіш

1

Ні! Із залиплої не злиже бороди
І небо дьоготь, що вивергується з рота,
Брунатний розчин крові і блювоти —
Земля вгинається від чорної води...

Повітря б! Геть! Куди? Я покидьок, смердюк!
Шукаеш ти батьків, товаришів своїх?
Це я отуг гребусь! Це я! Це тхне від мене і від них!
Геть! Геть від дротом скручених, залятих кров'ю рук!

Нас в купу скидано, немов брудну білизну!
Рви, вітре! Повіншуй! І на вінках наймення віднови...
Навпроти церква возсіда, як тхір, над купою
потрошених людей...

О небеса трэфні! Щасти вам! Сало вже от-от
на сорочки суботні бризне...
Хай вам здоровиться між падла день-у-день,
І каяттю не буде місця...

2

На осонні містечко припада до землі,
Як в болоті возів перекинутих валка.
О, хоч хтось би увагу йому приділив,
Хоч би словом до нього озвався...

Перепілка — чи вітру на заході зойк,
І засліплі дахи, мов жебрацькі долоні...
О, з потятого листя потятих зірок
Всемогутньому —
Руки червоні...

Я б в молитві з'єднався з Тобою, Господь,
Замість клясти Твою сивину,
Богохульством бруднити і серце, і рот:
Руки, що відмолились, Тобі простягну,
І вдесьте клену:
От Тобі, от!..

Як собака, хлебчи, припадай, скаженій
З ран роздертої шкіри — кривавицю, гній, —
Це від мене — пожертва Тобі!..

Я в базарній юрбі прислужуся Тобі,
В чорній купі, що кров'ю стікає...
Ти із даху свого в груди цілиш мої,
Крук, старезний ватаг тії зграї...

Моє серце, те серце, що молилося ревно,
В спільній купі непотребу — рийся у смітнику!..
Дзьобай, длубай це м'ясо! Возами смердючими
пре воно —
Перетравиш жертву таку?..

Сповідувати — мій зарок, бо я заручник,
З тобою вкупі присуд мій цим ідолам служитьь...

Христос! Аллах! До біса — хто там ще?.. Ходіть,
паломники, до мене,
Тут ваш, блукальці, мертвий син лежить!..
З усіх світів, земель, з усіх небес,
Хай горні янголи тебе в цій купі коронують!..

Ходіть, закидайте притьмом питьмою нутроші смердючі,
Тупцюйте, витопчіть ушент злопінявий засів,
Як здитинілий товк султан своє добро —
ви гаддя це плодуче...

О перепілко, переплач!
Вже кров'ю обважніли крила вітру,
Лиш я, сповідник ваш, несу безсонну варту...

5

Геть ціпок мандрівничий для рішучого кроку,
Накажи своїй правій нозі,
На крові присягнися,
Як шиї сокири — кашкет,
Охолонь...

О Всепомічний!
Он спинилася чорна бідарка із людом поснулим,
То кривавий наш вирок зловісний...
Зворухнулося щось там іще...

О нестулені ріки, ви, очі мої!
Їх вихлюпоую криком — це пожертва Тобі!
Я — у чорній бідарці, у послулій сім'ї,
У кривавому присуді долі...

Забирай мене вже, забирай мене вже, забирай...

Клич, хрести, зарахуй і мене —
Поголовно рабів,
Поголів'я рабів
Відштовхни, як завжди це робив,
Я — за них відступне,
Я — жертва...

6

Гей, ходаче засліплений, що біблійно воскрес,
У престолу Всевишнього на козенятко обмінаний,
В мертве місто ходи, розкриває там купа обійми,
Шестикриле, скропи її слізно росою небес,—

Гей, ходаче осліплий, не намацуй стежину — лехаїм.
Цю біблійну пожертву озвучать цимбали нехай нам,
Хай співає ество моє скрипки мова казкова,
Заклинаючи
Сповіддю,
Серцем
Бузковим!

Розцяцькована біблія, вимагаюча сплати,
Тата замість ягняти,
Молока із грудей, що роззято,
Де маля, заціміле у камінь,
В місті, вславленім кістяками!..

Гей, ходаче осліплий, шестикриле святий,
Для престолу всевишнього ти — пісне козенятко,
Кров'ю землю ненатлу втамуї,
В купі гною зіщулься зернятком, —
Нагодуюш саму
Матір Божу,
Застиглу з квітучим малим боженятком...

Гей, сюди, шестикриле,
Закликають цимбали,
Скрипка змушує серце
Долітати до неба і скривавленим дзьобом
Із продертого неба
Бруд і піну зчищати,
Щоб засявав твій німб!..

7

О яблука очей
В землі, що дні зносила,
Розбившиися об ночі пруг,
Лискучі й лисі
Латками звисли,

Стікаючи на груди теплим гноєм:
У Божій хаті вибиті шибки.
Ви — вікна-сліпаки!..

Білок драглистий...
В пилюці й попелі сліпцями лізти...
Лизать, мов хробакам, із вогняних криниць,

Старцями їм на цвинтарі світанків
Молити ниць...

Колін горби,
На ланцюгах до паколів прип'яті,
Шляхами обперезані навхресно,
Обгавкують, обпатрують їм п'яти...
Я черепом вкочусь під ваші вії,
Здійму я мертвих, Боже, іменем твоїм,
Амінь!..

З країв, де листям облетіли дні,
Де чорна костюмаха, ніби вдома,
Я випливу у човника на дні,
Я проросту із дуби дубенятком,
Продерши млу, зірву печатку долі
Злої,
Вдеруся до воріт,
Здеруся на амвона:

8

— Гей, злидні-крамарі,
Причинники, ганчірники старі,
Старці базарні,
У чорній цій дірі
У постіль мли
Всі покотом лягли
Ви о нічній порі!..

Несуть з усіх усюд обвуглені тіла,
Їм брудершафтами втішатися укупі,
І орють борозни плечима трупи,
Сріблиться з чорноти запаморочлива імла:

Жахає будь-кого тягар святої муки,
Та будь-кому кортить зігріти жаром руки...

І колесом повз нас кривавий вітер в небуття,
У срібних пелюшках сполохане дитя...

Спливають у моря обсмалені мерці,
Затискуючи сні в замурзаній руці...

І божевілья жебонить:

— Спиніть!

— Спиніть!

Святенний спокій жертв не до лица нікому!..

А вітер виє в комин:

— На поминки!.. На помин...

9

І надходять, і йдуть за батьками — насадки
Задля хліба і солі у праці нешадній,
Може, крони, круками пригашені
Непогрішимо
Припорoshать, нарешті, грошима...

Щоб, може, світило
Про нас поспитало
І нам присвітило...

Посеред вічно сліпучого світу
Двори занехаяні
В плачах безпросвітних...

В них занурений, світ, наче привид стоверстий,
Чуха спину об сонце й прокляттями хрестить:
— Щось свербить, щось смердить мені, браття і сестри!

Дзвін розбитої шиби — заміна оркестра,
Витріщаймось на море крізь пустку віконця:
— Диво! Диво! Спокуса! Затьмарення сонця!..

І полудневе сонце із пробитої циці
Кров біблійного мору лле на юрмища всі ці.

І картає цю купу, засмальцьовану хмару:
— Хто розтяв мені серце?
Хто загоїть, попестить?

Чи ковчегу, заблуклому в повені сліз,
Голуб з мертвого моря жарину приніс?

О розпачливий вітре пустель,
Поверни
Мені попіл цілунку Прометеевих скель!..

Омини, о, мене омини —
Голові не спочити в ковчезі оцім
Серцю трунку не спити, як в пустелі вівці.
Не пали мене,
Затули!..

10

Поспішає повз купу древня, згорблена гава,
Розпашіла, патлата, із дзьобом трухлявим...

— Ти куди це летиш в надвечір'ї осінньому?
— Щоб була не сама, хай злетяться сини мої!..

Щоб не скиглили, з голоду пухнучи в гніздах.
— Ну, лети, хай щастить, поки ще не запізно!..

І злетілась до купи гайвороняча зграя,
Недосвідчених гава стара намовляє:

— Ми городи і броди всі позаду лишили,
Гайворонячі крила ми вітром підшили!..

Звеселяє поява гайвороняча купу!
Діти, гості, дорослі — радо шкіряться трупи.

Жити хочеться зграї, і в ній — кожній гаві,
Чорнокрило варнякають, як цигани гаркаві!..

Вже на пададь хапливо накидатися можна...
Їжте! Бог допоможе плодитись і множитись!..

11

Поволі! Вітре, стережись у мандрах гудзуватим полем!
Як йти по купі черепів, по снігу, змішаному з кров'ю?
Оце бенкет тисячоліть, ця шкіра мамонта обсмолена
Доплюне кров'ю — й ти свої крила важенні, вітре, згорнеш!..

Чигають навколо криниць з підзем'я животи порубані,
І випинають кістяки, як рогів і копит луна.
В криницях двох тисячоліть блукання завірюх розгублене,
І досі їх тужливий схлип не досягає дна...

Поволі! Купа в небо пре, роти дрилями хмари смокчуть,
І гній з роздряпаних кісток світ порохом переміря,
Червона юшка божевіль плачем перекипа в моря...

На шибениці батька ти не дуже, вітре, перекочуй,
Він смертю в купи відкупивсь, де мама просто спить моя.
Поволі! Вітре, стишуй крок, за кроком крок повз мої очі!..

12

О, плачте і квильте, нічні поїзди,
У плямах кривавих, гейби в копійках сургучевих...
Крізь гавкіт і гвалт рівчаками червоними,
Крізь слів і буслів огорожі,
Хай вам привид біди
Не розбудить сторожі...

Із задимлених чорних ровів
Вам націлені в груди
Змії напханих туго лузгою із гречки кишок...

— Заспокойся, менше з тим,
Споруджу високий тин,
Спи, стулою мертві вічка,
На скрипці колискова-нічка, —
Не треба свічки...

Анічичирк... До кого не озвися,
Ніхто, ніхто не піде звідси...
Вагон, іще вагон — мов Іродові таці,
Стрічаються і шлють гудки вітань...
Чи тишить світ кривава ця ілюмінація?—

Та я, немов задимлений ліхтар,
Немовби дзвін,
Йду сам-один
Збудить з кровопролиття,
Розбухати, звеліти:
«Гей, купо, годі кліпать,
Хапайте смолоскипи!»

13

Базарний, ярмарковий хрип —
Окріп.
Крик, вариво дряпучих крил,
Цеберок гвалт.

Всіх підхопило збудження вечірне,
Скажений фрейлахс закаблукам заяскрив.
Вже вторгував собі танок ганчірник,
До неба крамом скриню намостив.
День плідним був! Доскочили червінці!..
Старці бандурам моляться в пилюці,
Відмірює сліпцям їх статки куці
За Божим заповітом благодать...

«Гей, краме мій, цеберки безневинні!..
З роси й води вам, дітки!..»
Розкидане в ровах наївні риють свині,
Мое багатство і мої святині,
В пилюці і багні життя шматки...

14

Минає цей день, ніби голуб, щезає.
Нікого навкруг, в землю вчавлена їжа,
Востаннє він кида зацькований погляд...
Гарчить, і плюється, й тікає чимдуж...

А що він поробить з мерцями у місті, —
В порожніх обійстях
Воньота нависла...
Як чорний побитий собака, за ними
Скрадається ніч різанини...

Колиско непотребу,
Тхне твоя циця
І хвиця...

Тікай, бо вже край,
Чимдалі тікай...

15

Хрещену голову сховав
Від псів, від гав
І поховав...

І дав зарок:
Ані на крок...

Очима в піні вловлюю знічев'я:
У стерві —
Черви...

У небо погляд —
Там нікого.
Прокляв я Бога!

Ти кажеш: ані руш, і не посмій.
О Боже мій!

До Божих ніг
До краплі все, з усіх голів моїх,
Ще й сам би ліг...

Та крила круків крають Божу вись!..
— Дивись, дивись,
Радий хреститися іще — мені з'явись!

16

Нехай над шляхами лунає мій крик:
«Тут дім з порцеляни поставив Господь,
Отут він нам явить свій сяючий лик,—
Жebraцтво, приходь,
З посмертним синцем, що забув бути ротом,
Вітаючи голод двадцятого року,

Ходи звідусюди,
Щоб жерти, впиватися аж по нікуди —
— Лехаїм! Із нашого поту і труду!..

Іду, і вертаюся знов безнастанно:
Гей, шийте нас в дурні, беріть у заставу,
Сколотини туги, наш біль замість рому, —
Лехаїм! Єгово! Христосе! Аллаху!

Отруена падаль, блювота погрому,
Колода єдина від хати,
Щоб лихо її колихати,
Єдина — на ніч всю, на місто,
На жах...

О, швидше би звідси,
Молити, молитись:
— Даруй для нужденних,
Даруй для страждених,
Даруй і мені
Скривавлений німб!..

17

Ой, безтямні мої ноги ще й дурні,
Нічку поспіль прострибали по стерні...

Чийсь поранений, ридаючий поріг
Проминули в цьому світі без доріг?

Там в свічада ясно сяючих шибок
Не загляне ні людина, ані Бог...

Біля хвіртки (що порубана — шкода!)
Всівся сум, як кіт, що гостей вигляда...

Наче мало тигру світанкових барв?
Брись із двору, гадку хвору тут не бав!..

Ой, безтямні мої ноги ще й дурні,
Нічку поспіль простирчали на стерні...

18

Віднині навек розпрощатися треба,
Бо тліном відгонить обіцяне небо,
Зруйноване свято Адама-дитини,
Де поряд пасуться і вівці, і свині;
Де мед з молоком перехлюпують полем
І повнять колосся, тамуючи голод.

Попечені груди в коростянім струпі,
В коморах пожеж, що розвалюють слупи,
Аж репають, напхані мамами з дітьми...
Солом'яні стріхи вогненно вагітніють...

За віщо їх спалюють, струують димом?
Аж кожне з десятків тих тіл — то єдине...

Самотнє прибилося чиєсь козенятко,
Пречисте, з дзвіночком на шиї біленькій,
Буцається, грається, дзвоником дзенька...

Обкрутять... охрестять... замучать... зламують...
Он в шийку пречисту залізо встромляють...
На німби покроять
Покроплене кров'ю...
Розділим на трьох з неостиглого праху!
Лехаїм! Єгово, Ісусе, Аллаху!

19

Полоше в роті ніч, заграючи,
З десяток зірочок-краплинок.
Де срібним вівцям пастися вночі?
Ходи сюди, ягня сумирне!

Хто тут поліг, тим спокою нема,
Чатує ніч, як ніж, на спалах сяйва.
— Ходи сюди, голісіньке, в труну,
Сумирно ляж, мое ягнятко срібне.

Спи, чоловіче. Не скарає крук,
Бо ліньки йому порати непотріб.
Труна — ковчегом для сумирних куп,
Що, ніби вівці, різнику покірні.

Поцупили в святковості субот
Скривавлений, з світання здертий скаल्प.
Круки, не зазіхайте на ягнят,
Посріблених сумирно для заклань...

Ненатлим — гори їдла задарма!
Пантрує пададь круків'я голодне.
Вже гайворонням кублється пїтьма.
Ягнята срібні на заклання згодні.

20

«Гей, мерщій на базари в нічнім занімінні,
З-під поли там гендлюють бородами й кістками...»

О, як плачуть верблюди, що в пустельні світання
Тягнуть мотлох возами із базарювання...
Їх обпатрує дощ,
Їх батожать вітри...
Де засіяно тричі — врожаю не збери...

Береги їм лягають — об'їдені хмари,
Губ порепаних згагу чи втамують вони їм?..

Ти, із рогами променів оленю, танучий димом,
З ротом, повним піснями,
Промайнеш поміж нами,
Сніжно-білим лелекам шлях змастивши далекий...

21

Так із рогами променів олені, танучі димом,
З повним ротом пісень
Промайнуть поміж нами,
Сніжно-білим лелекам шлях змастивши далекий...

Вишину опівнічну протопчуть верблюди,
В клапті краючи пашами сніжно-білу пустелю,
Як вервечка чернеча в задимлених рсях,
Повз бархани мерців, різанину погромів
І повз трупи, як дрова, на хвилях Дніпрових...

Перший серце, ще тепле, за ногами волочить,
Захолонуті в глину він, розтятий, не хоче,
Інший в зашморгу віття чорним віхтем тріпоче...

То куди ж ви, верблюди, із накраденим скарбом?
Глина, дрова — Дніпрові не дасте ви спокою...
Геть! Вп'єтеся до смерті вогняною рікою!
Дніпре, вбитих прихильно похитуй рукою!..

Линуть трупи по хвилях, пливають поторочі,
Із човнів мертві руки звисають, мов дрова,
І човни, як верблюди, крають хвилю Дніпрову,
Мов, пустелю долаючи, горбляться, плачуть...

22

Ой ти, оленю-Дніпре
В разках надвечірніх вінків,
Що дочкам України
Наречених жаданих приваблять...
Схвально захід бурштинні впліта співанки,
Осяваюсь тобою,
О мій оленю-Дніпре!

Дніпре, Дніпре, криваво покраяний ти,
Вік твого б не побачити плину,
Світ за очі тікати...
Замордовані линуть брати
Вируванням розтятим...

Плач, дівча! Невсипуша ріка —
Рана й жах України.
Шкаралуша,
Кривава смага шкарубка —
Я твій суджений нині!

23

Тобою, мною, чи моїм злощастям
Сатається нитками долі дрантя,
Смикнеш за котру?

Застигла вдавано
Луна церков кошлата
З хижацьким дзьобом...

Голодний рік двадцятий
Мене плондрує — на нові хрести
Мені плювати!..

Моя мезуза в небі розіп'ята.
Дерева мсти,
Фортеці раю з брамами Синаю —
Все, все проклинаю!

24

Немов колосся, що до неба ласе,
Все гладшає, бо щоки надимає —
Але чи небо дасть ковток хоча б?..

І небо, чайник у блакитній блясі,
Гне кирпу коло вуст — дощу немає —
Чи їм перепаде краплиночка хоча б?..

Тонкі стеблинки, мов криві дротинки,—
Чи колесують їх, чи хто шмагає —
Ковтнути вітру свіжого хоча б...

Немов кістками рученят дитинних,
Травою ситий захід ремигає,
Сивіє димом диво на очах...

25

Не хочу я, щоб місто визнав світ
Своїм амвоном
І таврував мене він звідти:
«Згвалтований!»

О, ця кривава купа, суміш праху,
У Божі вуха — божевілля жаху.

Тікаймо, тікаймо,
Втулімося в камінь,
Хай скеля на скелю війною,
Стіною, —

О поколінь параноія!

Мене розтинає
Бажання останнє:

Сльозами мене поливайте,
Доправте мене, поховайте,
Як оленя, у світанні!..

Намарив я небо, палюче і рвійне,
Де безліч зірок і пісень солов'їних...
Хто шив тії шати,
Й мене б мав втішати?..

Очей повидзьобаних обгорілі зорі —
Ув ополонку мідяки сніжинок,
В скривавлених моїх грудей долину —
Купи собі моє червоне серце, горе,
Поший із нього свій кривавий прапор!

26

Сьогодні ніч зливає молоко із глеків ще живих та гожих.
О чорна кицько, ти не бійсь моїх тривожних кроків:
Тікаю із цупких лабет нового юрмища пророків,
Що чавить, начебто гора, всі десять заповідей Божих.

Димлять роти їм спраглі, як вогненний кратер,
І дудлять кров п'янку і мозок — чорний опік...
Гей, приводом зелених свят годилось би мій спів обрати,
Горою Божий заповіт вщент не розтрошено допоки!..

Дві пташки хрестять їм роти, та мови заборони
Їм сповивають язики у каяття без меж...
І хилять голови до них в зірковій піні крони...

О горо ворожнеч! З тарелі, що вгорі, ти злизуеш
сукровиці блавати,
Кішками блукачі поміж нічних пожеж,
Між знавіснілих пик юрби, що їй на Боже і людське плювати!..

27

Кривавий Бог, скажений танцюрист,
Паланням дзвону кличе до розплати, —
Голгоф біблійних обертальний зміст!..

О небожителю, у купі гною
Нарівні Ти зі мною,
Залізом так прип'ятий,
Як віспою цвяхів ми до бруківки міст...

Голгофа!
До Бога церква хрест несе, немов шинкарка штофа,
Як срібняки!

Хо́да Христова
Морозить крони до зірок, і град збиває цвіт!

В твоїм крилі я, мов забитий перший цвях,
У височінь, біблійні де зірки...
Хай перша крапля крові із руки —
В бурдюк бездонний, в ненажерний світ,
Що спрагло всмоктує світань жарини...

То хай води із прахом ніг Твоїх ковтне
В засліпленості Магдалини,
Хай чаша ся не промине!..

28

Ні! Із залиплої не злиже бороди
І небо дьоготь, що вивергується з рота,
Брунатний розчин крові і блювоти, —
Земля вгинається від чорної води...

Повітря б! Геть! Куди? Я покидьок, смердюк!
Шукаеш ти батьків, товаришів своїх?
Це я отуг гребусь! Це я! Це тхне від мене і від них.
Геть! Вошам до вподоби я, мідяк з обдертих рук...

Нас в купу скидано, немов брудну білизну...
Рви, вітре! Що тобі до цих красунь, до цих діток!?
Навпроти церква возсіда, як тхір, між купи
пошматованих кісток...
Ось я! Оце ось я! Чи хто мене на небо візьме?..
О мудрість Божа! Бог із нами!
Амен!..

Переклад з їдиш Валерії Богуславської

Вероника Батхен

СТИХИ

ЕРШАЛАИМ

Скалы скиний застыли слепо,
Жаркий абрис зари багров.
Наши предки смотрели в небо
Через крыши своих шатров.
Нам дожди устилали ложе,
Умоляя «Усни, остынь...»
Им навеки въедался в кожу
Потный, пепельный дух пустынь.
То верблюжьей тропой, то птичьей
По пескам, как по морю шли
За желанной, живой добычей —
Черной грудью своей земли.
И шептали, кривясь от жажды,
Струпья-губы сводя с трудом:
«...Не у нас — у детей однажды
Будет город и будет дом...».
На реках Вавилонских больше
Не сидеть нам с тобой, дружок.
Над пустыней горящей Польши
Не трубить в золотой рожок.
Не метаться Москвой в карете,
Не упасть на соленый наст —
Ждет в пыли, миндале и лете
Ершалаим — земля для нас.

* * *

Не ради суетных наград —
 Для соблюдения традиций
 Я выбираю наугад
 Страну, в которой не родиться.
 О чем ты плачешь, Шуламит,
 Под лаской месяца нисана?
 В сухом песке пустых обид
 Озера глаз твоих — осанна
 Судьбе за столь непрочный дар.
 Горчит луна, лепешкой пресной
 Маня из Азии туда,
 Где сочиняет Песню Песней
 Шлимазл Шломо бен Давид.
 Скажи ему, что все проходит...
 Ваш виноградник ядовит.
 И галопирует по хорде
 Из точки «а» до точки «и»
 Пророк на ослике лохматом.
 За счет непризнанной любви
 Я не согласен стать распятым
 Ни в этой заспанной земле,
 Ни на любом другом отрезке.
 Я гистрион навеселе,
 Я синий скол латинской фрески.
 Швырнешь на звезды — не найдешь,
 Отбросишь в пыль — я буду камень,
 Пока любой случайный дождь
 Не смоет небо под ногами.

РЕ-ПАТРИАЦИЯ

...Я вернусь. А когда я вернусь?..

А.Галич

Я вернусь? Я вернусь. А куда возвращаться потом,
 Ностальгия не мест, но событий, созвучий, союза.
 Я вернусь... Где мой город? Где царский, где девичий дом?
 Где парад площадей? Где червонное золото блюза?
 Кто подаст на прощанье — не хлеба, а вечной любви,
 Сохранит на груди фотографию в желтом конверте.
 С остановки трамвая продует в ушко «се ля ви»
 Серый ветер, заложник своей кочевой круговерти.
 Только пыль подворотен, парадные злые замки

Да душок нищеты — не ищи адресов и знакомых.
Чьи-то дети на лысом асфальте, ломая мелки,
Расписали сюжеты от ломки, инфаркта и комы
До добра на двоих, на троих, на скольких повезет.
Вот уют, пять углов и бессмысленный поиск шестого.
Начинается сон, сладко кружится сказочный зонт.
И манжурит шарманка, шепча: время тронется снова.
Кто поверит? Хоть раз окунувшись в Неву,
Кто войдет в эту маслянно-мутную, стылую воду,
Присягая на верность гранитному дохлому льву?
Были проводы вон. Грохотали по рельсам подводы.
Колыбели квартир, лабиринты бездонных дворов,
В Петропавловске полночь, диндон, позывные куранты.
Раз под грузом тельца развалился отеческий кров,
Блудный брат, верный брат, мы с тобой наравне эмигранты.
Я вернусь! С самолета, как есть, второпях
Позабыв прикоснуться губами к сырому бетону у трапа,
В город пламенных флагов и белых посконных рубах,
Где творят корабли, и слова выбирают, как рапорт,
Точный, вечный доклад о любви...
Я — вернусь?

04.02

ПОЭМА ИЕРУСАЛИМА

Страну на союз и предлог не деля,
Полжизни пропью за пургу миндаля,
За шорох в туманном проеме
Ореховых фантиков. Кроме
Таких же как мы, обособленных сов,
Кто сможет прокрасться по стрелке часов,
В полдня с февраля до июля,
Метель лепестков карауля?
Слепительный дым сигареты задув,
Попробуй, как пахнет истоптанный туф.
В нетронутой копоти свода
Смешались дыхание меда
И крови коричневый злой запашок,
И масел святой разноцветный пушок,
И скука нечищенной плоти...
Выходишь на автопилоте
По Виа... короче по крестной тропе,
Туда, где положено оторопеть

У нового храма — остова,
Где брошено тело Христово
(На деле обветренный купол камней,
Овал колокольни и звезды над ней
Внутри полутьма и глаза и
Все свечи дрожат, замерзая
В подвальном сырье вековой суеты
Снаружи торгуют землей и кресты
За четверть цены предлагают)...
Пока аппараты моргают,
Фиксируя, можно по чьим-то следам
Спуститься туда, где обрушился храм
И стены глядят недобито,
Мечтая о сыне Давида,
Который возьмет мастерок... А пока
Бумажки желаний пихают в бока,
Чужие надежды и цели
За день забивают все щели.
Ночами арабы сгребают в гурты
Кусочки молитвы, обрывки беды
И жгут, отпуская далече
Слова и сословия речи.
В любом переплете до неба рукой
Подать лучше с крыши — не с той, так с другой.
Под тенью небесного свода
Вино превращается в воду,
Как только захочешь слегка подшофе
Промерить бульвар от кафе до кафе.
На запах кунжутных булок
Заходишь в любой переулок.
Хозяин пекарни, худой армянин
Положит в пакет полкило именин,
Щепоть рождества и до кучи
Поллитра душистой, тягучей
Ночной тишины на жасминном листе
Немного отпить — все равно, что взлететь
В сиянии звездных шандалов
Над крышами старых кварталов.
В такую весеннюю круговороть
Мне хочется душу по шву распороть
И вывернуть — вдруг передурим
Петра с Азраилом под Пурим.
Медовой корицей хрустит гоменташ,

Шуткуется «Что ты сегодня отдашь,
За то, чтоб Аман, подыхая,
Не проклял в сердцах Мордехая?»
Хоть пряник и лаком, но жить не о ком.
Холмы за закатом текут молоком,
Туман оседает на лицах
Единственно верной столицы,
Сочится по стенам, по стеклам авто,
Под черными полами душных пальто,
Струится вдоль спинок и сумок.
Такими ночами безумно
Бродить в закоулках пока одинок —
То тренькнет за домом трамвайный звонок,
То сонные двери минуя,
С Кинг Дэвид свернешь на Сенную.
У моря погода капризна, и вот
Унылый поток ностальгических вод
Смывает загар и румянец.
Пора в Иностран, иностранец —
За черной рекою, за черной межой
Ты станешь для всех равнозначно чужой,
Пока же придется покорно
В асфальте отбрасывать корни.
Ведь сколько ни ходишь, за пятым углом
То Витебск, то Питер, то *Ir ha Shalom*,
Короче — участок планеты,
Где нас по случайности нету.
Такая вот, брат, роковая петля —
Полжизни продав за пургу миндаля,
Вторую ее половину
Хромаешь от Новых до Львиных
Бессменных ворот, обходя суету,
Собой полируя истоптанный туф.
На улицах этих веками
Стираются люди о камни.

08.02

Дэвид Харрис

АНТИСЕМИТИЗМ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ *

Я имею честь представлять Американский еврейский комитет, старейшую организацию в Соединенных Штатах, основанную в 1906 году группой выдающихся американских еврейских юристов, дипломатов и бизнесменов, которые понимали, что там, где угрожают евреям, ни одно из других меньшинств также не будет чувствовать себя в безопасности. Уважаемые деятели американской гражданской жизни — люди, подобные Сайрусу Адлеру, Льюису Маршаллу, Якобу Шиффу или Оскару Страусу — стремились на национальном и международном уровнях содействовать продвижению принципа юридической защиты меньшинств и уникальной американской идеи плюрализма.

Ими руководили, должен отметить, не только высокие идеалы, цель которых — навсегда покончить с нетерпимостью, но также прямая обеспокоенность. Зверские убийства евреев в царской России в первые годы двадцатого столетия сильно встревожили этих благородных людей, и они предприняли ответные действия, создав Американский еврейский комитет.

Мы в Американском еврейском комитете в течение десятилетий — и, конечно, это касается и более длительного периода времени — наблюдали поразительно тесную корреляцию между уровнем антисемитизма в обществе и уровнем общей нетерпимости и жестокости по отношению к другим меньшинствам. Отношение к евреям в данном обществе фактически стало замечательно точным барометром состояния демократии и плюрализма в этом обществе. Там, где евреи могут безопасно исповедовать свою религию и выражать свою идентичность, в безопасности находятся все граждане; а там, где евреи находятся в опасности, учит история, недалеко до

* В основе статьи — доклад Американского еврейского комитета Комитету Сената США по международным отношениям 5 апреля 2000 года.

дурного обращения и с другими национальными группами. Фанатизм и ксенофобия, проявляются ли они по отношению к евреям или к любым другим уязвимым меньшинствам, представляют угрозу для всей социальной структуры. Исходя из нашего исторического опыта, можно сказать, что евреи стали своеобразной «шахтерской канарейкой», сигнализирующей об опасности.

В течение девяноста четырех лет Американский еврейский комитет поддерживал мечту об этническом и религиозном понимании во всем мире. Эта мечта была неодолимой и неизменной. С течением времени она не только не утратила своей актуальности, но приобрела еще большую значимость. Это стало особенно и болезненно очевидно после окончания холодной войны, поскольку этнические и религиозные конфликты продолжают бурлить и иногда взрываются насильем и войнами.

Американский еврейский комитет провел новаторское научное исследование по антисемитизму. В период после Второй мировой войны мы имели честь финансировать оригинальную пятитомную серию «Исследования предрассудков», в которой были представлены совершенно новые теоретические модели (в том числе модель *авторитарной личности*), которыми пользуются до сих пор, объясняя природу расизма и антисемитизма. Мы продолжаем проводить регулярные исследования отношения к евреям и другим меньшинствам в странах Европы и за ее пределами, и изучать толерантность в школьных программах и политической жизни.

Представляется уместным задать старый вопрос: в чем сущность антисемитизма? Как написал профессор Гарвардского университета Дэниэл Гольдхаген, ответ, в конечном счете, будет неизбежно уклончивым: «Антисемитизм... понимают смутно. Наше представление о том, что это такое, как это нужно определять, что является причиной этого, как это следует анализировать и как это функционирует, остается неясным, несмотря на тома, написанные на эту тему». Проблема состоит в «трудности исследования главной проблемной области — разума»¹.

Но хотя глубинная сущность антисемитизма может оставаться в конечном итоге непостижимой, его проявления распознать легче. На протяжении всей истории антисемитизм был исконно переплетен с циничными политическими устремлениями и маневрированием, а также с более широкими и сложными вопросами национальной идентичности и социальной психологии фанатика. «Фанатик стремится притеснять всех, кто его окружает. Он использует политическое угнетение, экономическое господство, социальное рабство и, что хуже всего, угнетение разума». Нобелевский лауреат Эли Визель в своем выдающемся эссе в австрий-

¹ Daniel Jonah Goldhagen. *Hitler's Willing Executioner*. — New York: Knopf, 1996. — P. 34.

ском периодическом издании «Дас Юдише Эко» написал: «Фанатик оценивает себя по той боли и страху, которые испытала его жертва, а не по своей собственной способности к созидательному творчеству». И продолжил: «Он чувствует для себя угрозу со стороны свободного интеллекта или души».

Хотя это заявление касается антисемитизма в Европе и на Ближнем Востоке, мы полностью осознаем, что широкая проблема нетерпимости возникает везде и является, возможно, одним из самых страшных вызовов нового столетия. Нет иммунитета к этой опасности и в Соединенных Штатах. Летом 1999 года произошел целый ряд убийств на почве ненависти в Иллинойсе, Индиане и Калифорнии, поджоги трех синагог в Сакраменто, а также другие трагические акты насилия, вызванные ненавистью.

Многие демократические правительства и люди в Европе — континенте, связанном с нашим в культурном, политическом и экономическом отношении и преследующем благородную цель еще более тесной региональной интеграции — вступили на путь новых экономических и социальных тенденций. Но мы также видим сильный откат назад, в том числе новое политическое и социальное приятие крайних партий правого толка, которые поддерживают нетерпимость и едва завуалированный антисемитизм. Учитывая вопиющую историю антисемитизма в Европе, все это нуждается в тщательном исследовании.

В арабском мире ситуация сегодня еще более тревожная. Здесь антисемитизм откровенный и неприкрашенный, полностью отвергающий дипломатические переговоры о мире в регионе и подрывающий наше страстное стремление положить конец арабо-израильскому конфликту, добиться полной нормализации отношений в новом духе сотрудничества и развития в регионе.

Для нас чрезвычайно важно понять источники антисемитизма в обоих этих регионах, в Европе и арабском мире, масштабы, притягательность и степень опасности, которую они представляют.

1. АНТИСЕМИТИЗМ В ЕВРОПЕ

Позвольте мне сначала уделить внимание Европе. Я не буду касаться событий в бывшем Советском Союзе, так как участник дискуссии и мой уважаемый коллега Марк Левин из NCSJ уже раскрыл эту тему.

Заслуживают внимания несколько вызывающих беспокойство инцидентов и тенденций. То, что проявления антисемитизма, которые теперь имеют место в Европе, следует воспринимать крайне серьезно — это аксиома. Антисемитизм — старейшая из известных социальных патологий, и на протяжении столетий Европа была его главным инкубатором. Европа столетиями предоставляла много возможностей евреям, в том числе свободу вести богатую культурную и интеллектуальную жизнь в различ-

ных странах и в разные времена. Но некоторые страницы истории Европы пропитаны кровью евреев. Еще совсем недавно болезненные представления одного человека о новой социальной иерархии, где арийцам отводилось место на вершине, восточным европейцам внизу, а евреи были приговорены к истреблению, захватили воображение слишком многих казалось бы просвещенных европейцев и приветствовались пассивной индифферентностью многих других народов.

Американский еврейский комитет идентифицировал и продолжает отслеживать шесть источников антисемитизма, которые в тот или иной период истории угрожали евреям: (1) крайне правые внепарламентские группы; (2) крайне левые политические партии; (3) модели национальной идентичности, опирающиеся на этнос или религию, выделяющиеся, де-юре или де-факто, среди остальных групп населения страны; (4) крайне левые внепарламентские группы; (5) антисемитизм, опирающийся на церковь и (6) арабские и исламские экстремистские группы, действующие в Европе.

(1) Крайне правые внепарламентские группы

Наиболее явными источниками антисемитской деятельности в Европе сегодня являются неформальные группы, которые руководствуются крайне правыми идеологиями и открыто исповедуют неонацизм. Их мишенями являются евреи, иммигранты, рабочие-иностранцы, беженцы, рома и синти — иными словами, каждый, кого они считают «другим».

Такие группы, действующие также и в Соединенных Штатах, вызывают серьезную озабоченность. Они разжигают ненависть и несут ответственность за жестокие, вызывающие содрогание преступления и омерзительные акты внутреннего терроризма. Но эти проблемы приобретают совершенно другие размеры в Европе. Если американским неонацистам остается только мечтать о такой Америке, где правами наделены одни лишь белые христиане, то сегодняшние правоэкстремистские группы в Европе вполне могут черпать опыт из не такой уж далекой истории, когда подобная идеология господствовала в Германии, Австрии и других странах, стремиться подхватить эту историческую нить и строить на этом свою политику.

Антисемитизм безнадежно переплетен с мировоззрением современных неонацистских групп. Даже в обществах, где фактически нет евреев, риторика таких групп остается изначально сфокусированной на ненависти к евреям. Иногда даже наблюдается обратное явление — чем меньше евреев живет в данной стране, тем назойливее говорят там о мнимой еврейской угрозе.

Есть какая-то жуткая норма в противоправной деятельности в Европе. По всему континенту вооруженные до зубов охранники круглосуточ-

но стоят перед синагогами и другими еврейскими учреждениями, чтобы умерить страх перед постоянной угрозой взрывов бомб. Это шокирует приезжающих американцев, но не представляет ничего нового для европейцев. Возможно, повсеместное одобрение этой ситуации помогает понять, почему в некоторых европейских странах антисемитские инциденты, в том числе частое осквернение кладбищ, не вызывает громкого протеста общественности.

Странно, но футбол, наиболее популярный вид спорта в Европе, тоже стал видимым выходом для антисемитских проявлений. Фаны в Италии прославились тем, что дали волю настроением, ностальгирующим по Муссолини и грубому антисемитизму. На флаге команды-соперницы на решающем национальном матче в прошлом году было написано: «Аушвиц — ваша страна, и печи — ваши дома», а значки со свастикой стали таким обычным явлением, что на них уже не обращают внимания. Италия, следует отметить, начала предпринимать шаги против этого развязного — а в Италии и незаконного — поведения, вплоть до угроз прекратить игру при появлении оскорбительных символов и оштрафовать команду. Но эта проблема существует и в Голландии, и в Германии, и в Англии, и вообще в культуре футбольных фанатов в Европе и за ее пределами.

Одной из центральных составляющих радикальных идеологий правого крыла является отрицание Холокоста. Эти люди не просто хотят снять тяжкую моральную ношу Холокоста с имиджа фашизма — хотя им *действительно* этого хочется. Поддерживая тезис, что евреи просто придумали Холокост и «одурачили мир», заставив его поверить в ложь, неонацисты стремятся перевернуть все с ног на голову и убедить мир, что это они являются жертвами. Неонацисты понимают, что тень Холокоста создает определенное сочувственное понимание уязвимости евреев и опасности вступления на скользкий путь антисемитизма; поэтому отрицание, искажение, преуменьшение, опoшление или любое смягчение трагедии Холокоста рассматривается неонацистами как укрепление их позиций и оправдание их целей и задач. Уроки, извлеченные из Холокоста, — неприятие антисемитизма и расизма и осознание ценности каждой человеческой жизни — таким образом дискредитируются как продукт еврейского «манипулирования».

К сожалению, многие из опубликованных материалов, подогревающие отрицание Холокоста в Европе — хотя их распространение незаконно в Австрии, Германии, Швейцарии и других странах — исходят из Соединенных Штатов, где они издаются под защитой Первой поправки. Более того, всемирная сеть Интернет резко увеличила возможности крайних правых групп, занимающихся искажением истории и поддержкой антисемитизма, распространять свои идеи, — среди них Институт исторических обзоров в Калифорнии и Комитет открытых дебатов по Холокост-

ту. Многие должностные лица в Европе говорили нам, что их усилия в сдерживании неонацистских движений были бы успешнее, если бы Соединенные Штаты смогли найти средства внимательнее отслеживать перемещение информации от неонацистских групп, базирующихся в Америке. В Европе также созданы интернет-сайты, распространяющие идеи антисемитизма и ненависти. Немецкие власти, которые особенно бдительно следят за антисемитскими тенденциями, подсчитали, что количество пропагандистских сайтов антисемитского содержания на немецком языке возросло с 1998 года на 600%.

Сотрудничество Европы и США в области крайне правой деятельности также существует в виде расистской и антисемитской «музыки белых», которая стала частью культуры скинхедов (бритоголовых) и молодых неонацистов во всем мире. В то время, как в Европе она пошла на убыль благодаря борьбе с ней и круглым мерам со стороны правоохранительных органов, «музыка белых» продолжает служить средством культурной коммуникации и приносить миллионы долларов крайне правому движению.

(2) Крайне правые партии

Мы видим сегодня все более проницаемый барьер между радикальными неформальными группами правого крыла и растущим количеством крайне правых политических партий, которые уже нашли признание в общем русле политической жизни. Характерно, что новейшую экстремистскую партию правого крыла в Германии (собравшую около 13 % голосов в 1998 году на выборах в Саксонии-Анхальте, хотя, как и другие крайне правые партии в Германии, она собирала прежде минимальное количество голосов) возглавляет Герхард Фрей, мюнхенский издатель экстремистских материалов, пропагандирующих теорию международного еврейского заговора против Германии.

Крайние партии правого крыла теперь вошли в русло политического процесса, хотя важно отметить, что эти партии обычно завоевывали популярность, обращаясь в своих странах к гораздо более широкому спектру вопросов, например, становясь в оппозицию в вопросе об иммиграции и интеграции в Европейский Союз.

Жан Мари Ле-Пен из партии Национальный фронт во Франции регулярно получал 14 % голосов французов и достиг уровня 15,2 % в 1997 году, хотя его популярность упала после раскола его партии в 1999 году; Швейцарская Народная партия Кристофа Блохера недавно набрала 23 % голосов, и это при том, что на предыдущих национальных выборах она получила 14,9 % и стала второй наиболее популярной партией в стране; Прогрессивная партия Карла Хагена в Норвегии на выборах 1997 года собрала 15,3 % голосов; Фламандская национальная партия Франка Вангекке выиграла 10 % голосов на бельгийских выборах 1999 года; Северная лига

Итали получила свыше 10 % голосов на выборах 1996 года; антисемитская венгерская партия Иштвана Чурки «Справедливость и жизнь» получила 5,5 % голосов в 1998 году, став первой послевоенной антисемитской партией, вошедшей в венгерский парламент.

Австрийская Партия свободы — наиболее успешная ксенофобская партия в послевоенной Европе. Первоначально состоящая преимущественно из стареющих бывших нацистов, Партия свободы до того, как в 1986 году ее возглавил Хайдер, обычно выигрывала 5-6 % голосов — намного отставая от социалистов и консерваторов. В 1986 году количество голосов, отданных за партию, подскочило до 10 %. В 1990 году ее часть голосов составила 16,6 % и в 1994 году 22,5 %. И тут некоторые обозреватели решили, что Партия свободы достигла своего пика, положение вроде бы стабилизировалось на уровне 21,9 % в 1995 году и 22 % в 1996. Но в 1999 году партия выиграла выборы в земле Каринтия, набрав там 42 % голосов, и в апреле Хайдер стал губернатором земли. И совсем недавно, на национальных выборах в октябре 1999 года, Партия свободы заняла второе место по количеству депутатов в парламенте, собрав 27,2 % голосов.

Поскольку мы всецело признаем гибкость австрийской послевоенной демократии и ее уважение к правам человека, а также учитываем тот факт, что 73 % австрийских избирателей *не поддержали* Партию свободы, это тревожное событие не застало нас врасплох.

Американский еврейский комитет последние несколько десятилетий налаживает тесные контакты с еврейскими и другими гражданскими лидерами в Австрии, и мы очень точно чувствовали атмосферу, предшествовавшую выборам в стране. Хайдеру удалось выиграть голоса, подключившись к нескольким вопросам, волновавшим страну. Во-первых, он выглядел как смелый и хорошо смотрящийся на экране телевизора молодой лидер, который приведет к переменам после того, что воспринималось как бесконечное и слишком уютное царствование консервативно-социалистической коалиции. Во вторых, Хайдер выглядел как человек, который будет отстаивать «права австрийцев» в обстановке растущего количества беженцев, проникших в страну в прошлом десятилетии из Восточной Европы и, в частности, из бывшей Югославии. И наконец, Хайдер обратился к австрийскому ультранационализму, который все еще существует в стране. Он и его партнеры по Партии свободы на протяжении многих лет делали заявления, угождавшие худшим из чувств ностальгии и ревизионизма в австрийском народе. Конечно, мы признаем, что не все из тех, кто голосует за Партию свободы, обязательно придерживается расистских или антисемитских взглядов. Тем не менее, мы обеспокоены тем фактом, что они совершенно спокойно присоединяются к тем, кто это делает.

Более того, исследования отношения австрийцев к Холокосту, проведенные институтом Гэллапа в 1991 и 1995 годах по заказу Американско-

го еврейского комитета, обнаружили, что к отрицанию его и негативному отношению к евреям расположен значительно более высокий по сравнению с другими австрийцами процент сторонников Партии свободы. Эти люди продолжают сегодня составлять костяк партии Хайдера. Хотя Хайдер формально отстранился от руководства партией, это никого не ввело в заблуждение: он остается ее путеводной звездой и вдохновителем. И именно потому, что Хайдер дьявольски умен и способен, подобно хамелеону, менять окраску в зависимости от ситуации, он заслуживает особенно тщательного изучения — такое изучение необходимо еще и потому, что он, конечно, намеревается в один прекрасный день стать канцлером.

В отличие от Германии, австрийское правительство в течение более чем сорока лет не обнаруживало особого желания обращаться к своему нацистскому прошлому. И до тех пор, пока канцлер Враницкий не произнес достойные одобрения речи в 1991 и 1993 годах, последовавшие за самоанализом, к которому Австрию подтолкнуло президентство Вальдхайма, лидеры страны ходили вокруг да около главной ответственности Австрии за преступления Холокоста. Официально считалось, что между 1938 и 1945 годами этой страны просто не существовало, и поэтому она не несет какой бы то ни было ответственности за то, что случилось на ее территории. Более того, заявление союзников в 1943 году в Москве, о том, что Австрия была первым государством-жертвой третьего рейха, обеспечило необходимое прикрытие. Вместе с тем, в Австрии, несмотря на заметные усилия, предпринималось слишком мало организованных попыток стимулировать диалог на эту тему или же взглянуть в лицо истории открыто и честно. В результате, Хайдер и его Партия свободы получили доступ к политическому большинству, тогда как их законное место — на обочине политического процесса.

Американский еврейский комитет приветствует принципиальное решение Европейского Союза и Израиля сократить дипломатические контакты с Австрией после включения Партии свободы в правящую коалицию.

В соседней Германии боязнь заразиться от успеха Партии свободы пока оказалась необоснованной. Партии крайнего правого крыла, например, в феврале 2000 года на федеральных выборах в Германии собрали в Нижней Саксонии ничтожно малое количество голосов. Но вслед за победой Хайдера, мы увидели в Швейцарии потрясающий успех Швейцарской народной партии Кристофа Блоха, чья платформа поразительно напоминала платформу Хайдера. Кроме того, предметом для беспокойства является также крайняя правая партия Венгрии.

Радикальные идеологи правого толка набрали в последние годы новую силу, и это произошло не столько потому, что они изменили тактику или стратегию, сколько вследствие достижения успеха в поисках аудитории, восприимчивой к их идеологии узко понимаемого национализма и

ксенофобии. В дополнение к этому, идеология антисемитизма и членоконенавистничества медленно, но верно пробивает себе дорогу в большую прессу, в политический и гражданский дискурс. Недавний позорный иск Дэвида Ирвинга против Деборы Липштадт, профессора университета в Эмори, открыл в Англии дорогу для отрицания Холокоста. Ирвинг подал на Липштадт в суд за клевету на его «академический труд», и ей пришлось нести в лондонский суд многотомные доказательства того, что, например, евреи действительно были задушены газом в Аушвице. Вердикт суда ожидается в середине апреля, однако само дело, хотя и временно, но породило новую волну псевдореспектабельных отрицаний Холокоста. Немецкий политолог Гидеон Боч вызвал переполох в Германии в начале 2000 года, когда привлек внимание к тому факту, что изъятия антисемитизма переместились на страницы уважаемых газет. В его исследовании приведены примеры из газет всего политического спектра, которые опубликовали статьи с антисемитским подтекстом. Эта динамика могла бы объяснить тот крайне негативный тон некоторых немецких газет, которым были проникнуты сообщения о Конференции Еврейских Требований (членом-основателем которой является Американский еврейский комитет) во время последних переговоров о компенсации за рабский и принудительный труд. В многочисленных сообщениях сама Конференция Требований, а также большинство еврейских юристов изображались алчными и корыстными, в результате в главных газетах возникла странная дискуссия о том, в действительности ли выжило именно то количество евреев, о котором было заявлено на Конференции Требований.

Конечно, есть основания полагать, что недавние переговоры о долго игнорировавшихся и с запозданием заявленных требованиях, касающихся периода Холокоста (счета в швейцарских банках, принудительный и рабский труд, украденные предметы искусства и т.д.) привели к росту антисемитизма в широкой общественности, к вызывающей тревогу реакции типа «виновата жертва». Опросы мнений европейцев, проведенные Американским еврейским комитетом за последнее десятилетие, указали на те же тревожные тенденции. На вопрос, какова их реакция на утверждение: «Евреи эксплуатируют память об истреблении евреев нацистами в своих личных целях» — 16 из 39 % жителей европейских стран ответили, что они согласны с этим.

(3) Модели национальной идентичности

В последнее десятилетие произошло возрождение принципа национальной идентичности. Во многих европейских странах, в отличие от Соединенных Штатов и других современных стран, основанных иммигрантами, гражданство традиционно связывалось с национальной этничностью или определенной религией. Наиболее жестокие периоды антисемитизма в европейской истории всегда совпадали с усилением таких уз-

ких концепций национальной идентичности, и антисемиты извлекали выгоду из представлений о еврее как аутсайдере. Расизм в Европе обычно основывался на том же принципе.

Есть несколько объяснений подчеркнутому вниманию к национальной идентичности и религии, которое наблюдается в последнее время. С одной стороны, в некоторых странах имеет место отрицательная реакция на глобализацию и создание единой европейской идентичности. Мы видели это во Франции во время кампании — с ее антиамериканским подтекстом — против фирмы МакДональдс. С другой стороны, европейские государства испытывают влияние всемирной интенсификации политики идентичности.

Национальную идентичность, возможно, лучше всего иллюстрировать на примере того, каким языком пользуются в разных странах. Совершенно импульсивно и бессознательно варшавяне, например, будут говорить о «поляках и евреях», подразумевая людей, имеющих общее гражданство и родившихся в Польше.

Этот тревожный уровень риторики в отношении национальной идентичности объясняет то, почему крайне правые сосредотачивают внимание на иммиграции. Хотя озабоченность размерами и характером иммиграции, безусловно, небезосновательна и заслуживает серьезного обсуждения на государственном уровне, крайне правые слишком часто хватаются за вопрос об иммиграции, преувеличивают его и таким образом раздувают существующие страхи, присваивая себе право на решение проблемы.

В недавно опубликованном тринадцатом исследовании молодежи, финансируемом немецкой нефтяной компанией «Шелл», утверждается, что более двух третей молодежи в бывшей Восточной Германии и 60% молодежи Западной Германии считают, что в Германии сейчас слишком много иностранцев, хотя общее количество иностранцев составляет менее 10% немецкого населения. Мнение авторов, что эта ксенофобия отражает страх перед безработицей и не является экстремизмом правого толка, едва ли объясняет эти цифры. Ле Пен, Блохер, Чурка и другие сделали анти-иммиграцию центром платформ своих экстремистских партий. Как уже говорилось, успех Хайдера можно частично отнести на счет отрицательной реакции на великодушную политику Австрии, принявшей беженцев во время боснийского кризиса.

Но сегодня, как никогда раньше, плюрализм является для общества не столько выбором, сколько необходимостью. Глобализация, изменяющиеся формы мировой миграции и новые средства коммуникации делают общество все больше подверженным влиянию международных факторов, и оно уже не сможет, как раньше, просто закрыть перед ними дверь. Европейские правительства должны регулировать политику иммиграции и предоставления убежища так, чтобы поддерживать стабильность.

Но они должны будут все же примириться с темпами движения и изменений. Ни одна страна никогда не будет населена только ее уроженцами, — конечно, так было только в немногих странах — и попытки сделать страны «чистыми» в национальном отношении заканчивались кровопролитием и террором. Если крайне правые получат контроль в этом вопросе, это превратит болезнь роста в источник бедствий, страха и насилия.

Не терпящая отлагательств проблема — раздувание вопроса о национальной идентичности в Греции. Греческое правительство готово выпустить новые идентификационные карточки для использования в пределах Греции и для поездок по всем пятнадцати странам-членам Европейского Союза. В соответствии с новым законом, в этих карточках будет строка для отметки о религиозной принадлежности человека. Эта политика особенно болезненна для небольшой еврейской общины. Шестьдесят лет тому назад 96% греческих евреев были истреблены нацистами, и намерение центрального правительства регистрировать всех евреев даже в демократической Греции вызывает глубокое беспокойство, не говоря уже о страхе перед насилием. «Представьте, — сказал нам один греческий еврейский лидер, — что в этом безумном мире с таким количеством антисемитов, всюду, куда бы я ни пошел, я должен показывать документ, в котором указана моя сокровенная религиозная вера». Греция — единственная страна Европейского Союза, которая включает религию в национальную идентификационную карточку. Правительственные должностные лица, многие из которых сказали нам, что не согласны с этой политикой, отметили, что это является уступкой мощной греческой православной церкви, которая усматривает тесную связь между греческой национальностью и церковью.

(4) Экстремистские внепарламентские группы левого крыла

Два или три десятилетия назад мы наблюдали сильнейшее проявление антисемитизма в Европе, которое пришло от другого источника — крайне левых. Зачастую прикрываясь симпатией к делу палестинцев и антиссионизмом, экстремистские левые группы, такие как Красные бригады и немецкая группа «Баадер-Майнхоф», сотрудничали с террористическими группами, организуя акты насилия против евреев. Работая в Европе в конце семидесятых с потоком еврейских беженцев из Советского Союза и Восточной Европы, я очень хорошо осознавал реальную опасность, которую представляли эти связи. Позже эта угроза, казалось, уменьшилась.

Сегодня, однако, есть некоторые данные о нарождающемся коричнево-красном альянсе фашистов и коммунистов. Хотя это явление более распространено в бывшем Советском Союзе, чем в Европе вообще, стирание граней между левыми и правыми можно увидеть в таких

проявлениях, как Национал-европейская коммунистическая партия (НКП) в Швейцарии. Эта группа, прежде известная под названием «Третий путь», активна только во франкоязычных частях Европы и стремится объединить всех «врагов системы», как из числа правых, так и из числа левых. Точно так же небольшой Союз кругов сопротивления во Франции стремится собрать вместе «революционеров» слева и справа, находящихся в оппозиции к Соединенным Штатам, Израилю и капитализму. Выкрики семисот неонацистов, промаршировавших через исторические берлинские Бранденбургские ворота 30 января 2000 года, чтобы отметить шестьдесят седьмую годовщину прихода Гитлера к власти в 1933 году и выразить протест по поводу строительства большого мемориала Холокоста в Берлине, также озвучили интонации как левых, так и правых. Лозунг «Работа вместо еврейской агитации» они выкрикивали вместе с лозунгом «Честь и слава войскам СС». И, наконец, проявляя интерес к тайным обществам, движение Новый век недавно обеспечило особенно плодородную почву для теорий ненависти, в том числе теории еврейского заговора, теорий, традиционно объединяющих отдельные элементы как правых, так и левых. Поставленные вне закона в Германии книги о так называемых иллюминатах (членах тайных религиозных политических обществ в Европе во второй половине 18 века) — концепция, равноценная концепции «сионских мудрецов» — часто продаются на собраниях Нового века и являются бестселлерами на многих популярных европейских курортах.

Национальные действия

Многие люди и правительства искренне озабочены антисемитскими тенденциями в Европе, активно отслеживают их и борются с ними. Правительство Германии заслуживает здесь специального упоминания. Оно было непоколебимо в своих усилиях просветить население Германии в отношении истории войны — как в школах, так и с помощью программ организации памятных и просветительских мероприятий среди широкого населения. Безусловно, как показывает статистика преступлений на почве антисемитизма и ненависти, эта добрая воля не решила проблему полностью, но ей в большой мере удалось изолировать крайне правые партии и группы.

Тем не менее, недавний ежегодный обзор, проведенный Немецким федеральным агентством по вопросам защиты Конституции, сообщает, что хотя количество неонацистов и экстремистов правого крыла имеет тенденцию к уменьшению — от 54 000 до 51 000 в период между 1998 и 1999 годами — склонность неонацистов к насилию, по оценкам агентства, повысилась за этот же период на 10%.

В этом же контексте следует упомянуть и Швецию. После введения в действие широкой национальной просветительской программы по Холо-

косту, премьер-министр Геран Перссон уже в январе этого года приступил к организации самого широкого собрания политических деятелей высокого уровня — с участием, в том числе, свыше десятка президентов и премьер-министров — для того, чтобы обсудить важность знания истории и уроков Холокоста. Делегацию США на Стокгольмском международном форуме по Холокосту возглавил заместитель секретаря министерства финансов Стюарт Айзенштат. Его усилия, направленные на защиту выживших после Холокоста и реституцию награбленных во время Холокоста активов, были неустанными, вдохновенными и решительными. К сожалению, это историческое собрание по необъяснимой причине фактически не освещалось в прессе Соединенных Штатов.

Хотя безошибочных методов борьбы с антисемитизмом нет, история научила нас, что существуют способы сдерживания и маргинализации его, и, наоборот, некоторые действия лишь способствуют проникновению антисемитизма в политическую жизнь. Массовая французская демонстрация, которую организовал тогдашний президент Франсуа Миттеран в ответ на особенно гнусное осквернение кладбища в Карпентрасе в 1990 году, стала примером того, как руководство может превратить ужасное событие в важный политический урок на будущее. Подобным же образом, мирные шествия со свечами после нападений на иностранцев в Германии, собравшие вместе сотни встревоженных немцев, помогли маргинализировать виновных в преступлениях на почве ненависти. А мирные — и многочисленные — демонстрации против Йорга Хайдера сегодня в Австрии обнаруживают открытое и решительное единодушие, готовое сказать «нет» хайдеровскому ограниченному представлению об Австрии.

С другой стороны, оглушительное молчание польского президента Леха Валенсы в 1995 году, когда отец Янковски, приходской священник Валенсы в Гданьске, произнес злобную антисемитскую речь в присутствии этого президента, — это пример того, какой реакция быть не должна. Похожая ситуация была несколько лет назад, когда после взрыва еврейского ресторана в Париже, учиненного террористами, премьер-министр Франции, осуждая нападение, отметил, что умерло также «несколько французов», так или иначе давая понять, что французские евреи, которые погибли, все-таки не были французами. Хотя эта реакция, возможно, и имела добрые намерения, ее результаты подчеркнули ту мысль, что по отношению к французам евреи — «другие».

В 1998 году Американский еврейский комитет открыл бюро в Берлине, которое занимается мониторингом политических и социальных тенденций в Германии и по всей Европе. Мы тесно сотрудничаем с немецким правительством, независимыми фондами и общественными организациями, чтобы помочь укрепить толерантность и гражданское общество, в особенности в Центральной и Восточной Европе.

Многонациональные действия

Организация Объединенных Наций и сорок один член Совета Европы помогли установить юридические нормы защиты от расовой дискриминации и религиозной нетерпимости, но сделали очень мало, чтобы реагировать на факты антисемитизма или принимать меры к его искоренению. Необходимо активное участие США, чтобы обеспечить отпор антисемитизму во всех сферах жизни как в Европе, так и за ее пределами. Международные организации, как правило, не занимаются решением вопроса об антисемитизме надлежащим образом, а на нескольких форумах, когда об этом заходила речь, им не удавалось подкреплять свои слова действиями.

Существующая в течение двадцати пяти лет Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, одним из пятидесяти трех членом которой являются США, подтвердила свою озабоченность в отношении антисемитизма на политических собраниях, но никогда не подкрепляла свои слова действиями вне этих собраний. Организация Объединенных Наций, созданная в ответ на события Холокоста, имеет репутацию еще более бесчувственной организации. Резолюция 1960 года по антисемитизму Комиссии по правам человека была последним упоминанием об этом вопросе за тридцать четыре года. Хуже того, резолюция «Сионизм — это расизм», принятая Генеральной Ассамблеей в 1975 году, справедливо названная Генеральным секретарем Кофи Аннаном «низшей точкой» в действиях всемирной организации по отношению к евреям и Израилю, сама стала источником антисемитских заявлений во всемирной организации; в 1991 году резолюция по инициативе США была аннулирована...

Лидеры Организации Объединенных Наций были более откровенны в вопросе антисемитизма, чем представители государств в отношении деятельности их политических органов. Генеральный секретарь Кофи Аннан призвал Организацию Объединенных Наций использовать пятидесятилетнюю годовщину Всемирной Декларации прав человека для «искоренения антисемитизма во всех его формах», и Верховный Комиссар по правам человека Мэри Робинсон открыла новую сессию Комиссии ООН по правам человека в Женеве в марте этого года предложением включить антисемитизм в список «вопросов, касающихся ущемления прав человека и нуждающихся в практическом внимании».

Совет Европы, в котором Соединенные Штаты имеют статус наблюдателя, в 1990-х годах принял резолюции, признающие важность борьбы с антисемитизмом в Европе. Только на прошлой неделе под руководством генерального секретаря Вальтера Швиммера и с помощью Американского еврейского комитета, Европейского еврейского конгресса и Европейского совета еврейских студентов, на совещании в Страсбурге была

принята Декларация по антисемитизму, рекомендующая некоторым европейским правительствам определенные законодательные меры...

Американский еврейский комитет настоятельно просит правительство Соединенных Штатов способствовать тому, чтобы Совет Европы включил вопросы, вкратце изложенные в Декларации по антисемитизму, в решение Европейской конференции против расизма и впоследствии в решение Всемирной конференции против расизма, а также побудить другие правительства провести в жизнь эту декларацию на всем Европейском материке. Европейская конференция должна также предложить конкретные практические меры, которые следует предпринять правительствам для предотвращения антисемитизма и расовой дискриминации и все более эффективного культурного просвещения в духе тех ценностей, которые объединяют наши общества.

Американский еврейский комитет настоятельно рекомендует делегации Соединенных Штатов не только присутствовать на предстоящем через несколько недель подготовительном собрании технической рабочей группы Европейской конференции против расизма, но и активно настаивать на включении борьбы с антисемитизмом в европейский план действий.

Мы рекомендуем Соединенным Штатам начать играть более активную роль в гарантировании выполнения Организацией Объединенных Наций и другими международными организациями важной функции непосредственной борьбы с антисемитизмом.

(5) Антисемитизм, поддерживаемый церковью

Исторически ненависть к евреям, погромы и физические нападения на еврейские общины зачастую проистекали из стереотипного образа еврея как «убийцы Христа». На этом фронте мы имеем сегодня положительные новости. Католическая церковь начиная с 1965 года (Второй Совет Ватикана) и многие протестантские церкви за последние полстолетия сделали поистине исторические шаги, чтобы положить конец презрению к евреям и иудаизму, иначе говоря, дистанцироваться от прискорбных исторических фактов насилия, направленного против евреев, инспирированного и санкционированного церковью.

Папа Иоанн Павел II, который постоянно называл антисемитизм «грехом против Бога и человечества», внес заметный вклад во взаимоотношения между евреями и католиками на протяжении всего своего пребывания на папском престоле, признав Государство Израиль, осудив антисемитизм и содействуя взаимопониманию между католиками и евреями. Его последний визит в Израиль в значительной мере усилил внимание мировой общественности к его деятельности в этой сфере. Несколько национальных конференций католических епископов, в том числе и те, которые состоялись во Франции, Германии и Польше, также безогово-

рочно осудили антисемитизм. Лютеранская церковь, как в нашей стране, так и в Европе, предприняла важные шаги, принесла извинения за акты антисемитизма, основывавшиеся на учении Мартина Лютера и совершенные его именем.

Мы в Американском еврейском комитете, как и другие организации, активно участвуем в деятельности, направленной на улучшение христианско-еврейских отношений в Европе, Соединенных Штатах и во всем мире.

(б) Арабские и исламские экстремистские группы, действующие в Европе

В 1970-х и 1980-х годах многие палестинские террористические группы активно выискивали еврейские мишени в Европе; наиболее запомнившимся трагическим инцидентом было убийство израильских атлетов на летних олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. В других террористических актах палестинские экстремистские группы объединялись с леворадикальными европейскими группами и с коммунистическими правительствами, от которых они получали материально-техническую и финансовую поддержку и которые обучали их обращаться с оружием, давали им безопасные убежища и политическое и дипломатическое прикрытие. Ниже приведены лишь несколько из драматических террористических инцидентов, случившихся за этот период и направленных на еврейские объекты в Европе.

27 июня 1976 года реактивный самолет компании Эр Франс был угнан в Энтеббе (Уганда) после взлета с аэропорта в Афинах. Семь членов Народного фронта освобождения Палестины, руководимые западногерманскими сообщниками, потребовали освобождения пятидесяти трех террористов, находящихся в Израиле, Швейцарии, Западной Германии, Франции и Кении в обмен на 257 заложников.

3 октября 1980 года в Париже четыре человека погибли в результате взрыва двадцатипятифунтового устройства, установленного под автомобилем возле синагоги на улице Коперника. Мопед, использованный при атаке, позднее навел на след палестинца, который проник в страну обманным путем.

27 декабря 1985 года в Риме и Вене организация Абу Нидала взяла на себя ответственность за два нападения, совершенных одновременно у пунктов контроля компании Эль Аль Эрлайнз в аэропортах обоих городов. Было убито в общей сложности семнадцать человек и ранено сто шестнадцать.

Хотя это сотрудничество в значительной степени угагло с крахом Варшавского пакта, значительное количество исламских экстремистских организаций, начиная с конца восьмидесятых, нашли убежище в Западной Европе, где они пользуются преимуществами свободы слова, свободы передвижения и свободы собраний, чтобы издавать исламские экстремистские материалы, распространяемые по всей Европе и в мусульман-

ском мире. Эти материалы способствуют проведению митингов и деятельности по сбору средств на дело джихада, интерпретируемого в его военном значении как «священная война», в том числе для организации террористических атак против Израиля и израильских объектов за границей. Для таких публикаций характерно отождествлять Израиль и его сторонников с силами зла, внедренными в сердце мусульманского мира Соединенными Штатами.

В прошлом месяце Траст безопасности общины, базирующийся в Лондоне, сообщил, что растущее количество актов антисемитизма, осуществляемых в Великобритании, инициируется исламскими экстремистскими группами. Антисемитская деятельность в Западной Европе, носящая как ненасильственный, так и крайне насильственный характер, отражает эту тенденцию. Мы также недавно получили тревожные сообщения от наших коллег в Западной Европе, что некоторые еврейские учреждения, в том числе школы и синагоги, находятся под наблюдением людей, использующих фотоаппараты и видеокамеры. Есть основания полагать, что исламские экстремисты принимают, по крайней мере, частичное участие в этой деятельности.

II. АНТИСЕМИТИЗМ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Феномен исламского экстремистского антисемитизма в Европе тесно связан с антисемитизмом на Ближнем Востоке.

Антисемитизм в Европе следует тщательно отслеживать и контролировать. Ситуация же на Ближнем Востоке намного хуже и в политическом отношении гораздо более опасна, так как отравляет атмосферу израильско-арабского мирного процесса. Поразительно, но в то время как западные государства, в особенности Германия и в значительной мере Швеция, участвуют в диалоге и программах, направленных на сохранение памяти о Холокосте, ведущие средства арабской массовой информации превозносят отрицание Холокоста. Несмотря на постоянные заявления мировых лидеров, что антисемитизм — это форма расистского действия, которую следует осудить, арабские средства массовой информации, педагоги и религиозные лидеры открыто проповедуют его, а многие политические деятели предлагают применять его в качестве официальной санкции.

По мере того, как продвигаются вперед к установлению долгожданного устойчивого мира израильские и палестинские участники переговоров, при всех сложностях этого процесса, шокирующим — и даже пугающим — выглядит оживление злобного антисемитизма в арабском мире. Он всегда присутствует в странах, формально уже находящихся в мире с Израилем, и в других странах, которые установили контакты с еврейским

государством в процессе прорывов в мирных переговорах последнего десятилетия.

Этот удивительный парадокс — строить мир, при этом активно очерняя еврейский народ, — совершенно возмутителен и требует, по нашему мнению, безотлагательного внимания Конгресса. В течение длительного времени эта тенденция может серьезно подрывать усилия по установлению климата мира в регионе, который важен для обеспечения прочности любого крупного соглашения.

Среди последних публичных заявлений арабских лидеров, отрицающих факты Холокоста, было выступление, назначенного властями Палестинских территорий муфтия Иерусалима Икрема Сабри, до и во время примечательного визита папы Иоанна Павла II в Израиль. «На самом деле, евреев было меньше шести миллионов, и Израиль использует этот вопрос, чтобы завоевать симпатии в мире», — сказал он в субботу перед встречей с папой. Комментарий муфтия — повторение слов его предшественника военного времени, который действительно был связан с Гитлером, — указывает на более глубокое и более зловещее течение, поддерживаемое арабскими политическими и духовными лидерами и находящее отражение на страницах официальных газет и школьных учебников.

Главный редактор официальной сирийской газеты «Тишрин» недавно утверждал в своей редакционной колонке и по сирийскому радио, что «сионисты создали миф о Холокосте, чтобы шантажировать и терроризировать интеллектуалов и политиков во всем мире». Это мнение редактора, появившееся на фоне усилий, направленных на то, чтобы подстегнуть затянувшиеся израильско-сирийские мирные переговоры, привлекло широкое внимание и было осуждено в официальных кругах США и Израйля, а также побудило многих, ранее доброжелательно настроенных израильтян, усомниться в предполагаемом стратегическом решении Сирии достичь примирения с Израилем после подписания соглашения о спорных Голанских высотах. К сожалению, оскорбления, подобные опубликованному в «Тишрин», являются скорее правилом, чем исключением.

От Египта до Иордании, до государств Персидского залива Катара и Объединенных Арабских Эмиратов и до Палестинских территорий язык отрицания Холокоста стал обычным явлением в печатных и электронных средствах массовой информации. Арабская пресса постоянно бросает невероятные обвинения в том, что Израиль распространяет яд и болезни на палестинских землях и дальше, в арабских государствах Персидского залива. Арабские газеты усиливают свои нападки на Израиль — и на еврейский народ — приклеивая израильскому премьер-министру и министру иностранных дел ярлык нацистов с помощью отвратительных слов и непристойных карикатур. Враждебные редакционные статьи и колон-

ки, подобные редакционной статье в «Тишрин» можно найти и в «Аль-Ахрам», «Аль-Акбар» и «Аль-Гумхурия», трех крупнейших ежедневных газетах в Египте, подписавшем мирный договор с Израилем более двадцати лет тому назад. На одной из карикатур, появившихся 29 февраля 2000 года, изображен карикатурный Давид Леви, министр иностранных дел Израиля, рисующий свастику на здании с надписью «Дипломатия Леви».

Ведущая позиция Египта в арабском мире позволяет ему пользоваться огромным влиянием. Пропаганда отрицания Холокоста и клевета на евреев может лишь препятствовать развитию отношений между египетским народом и Израилем и подает дурной пример другим арабским странам. Во время визита президента Мубарака в Соединенные Штаты, несколько израильских дипломатов были приглашены на конференцию в Каирском университете, но не были пропущены на территорию университета.

Кроме попиранения болезненно свежей памяти о Холокосте, столь чувствительной для евреев и израильтян, арабские средства массовой информации также используют и другую враждебную и деструктивную антисемитскую риторику.

Например, в Катаре, одной из передовых стран Персидского залива, установивших коммерческие связи с Израилем (вторая страна — Оман), Израиль был обвинен официальной газетой в том, что использует женщин для подрыва моральных ценностей и распространения болезней — новое обвинение, представляющее собой низкую клевету на евреев. «Прибыли ли эти женщины из Израиля или же из России, у них одна цель — передавать болезни и зло, чтобы вызвать крах нашей экономики», — заявляет «Аль-Шарк». «Это начало сионистской деятельности в районе Персидского залива... с целью полного уничтожения наших лидеров».

Катарская статья продолжает цитировать в качестве первоисточника печально знаменитую фальшивку «Протоколы сионских мудрецов», книгу, широко доступную в арабских странах. Карикатура, появившаяся в феврале в «Аль-Ватан» — катарской газете, принадлежавшей двоюродному брату эмира, изображает премьер-министра Барака в виде нациста, сбрасывающего бомбы на Ливан.

В Сирии школьные учебники пропитаны бешеной враждебностью по отношению к Израилю и еврейскому народу. Новое исследование сирийских учебников для четвертых-одиннадцатых классов, опубликованное Институтом исследований средств массовой информации Ближнего Востока (Вашингтон, штат Колумбия), обнаружило финансируемые государством программы, полные духа антисемитизма, отрицания Холокоста, демонизации Израиля — и, что самое ужасное, содержащие открытый призыв к истреблению евреев.

Официальные печатные органы палестинских властей, которые согласно подписанным с Израилем соглашениям обязаны противодейство-

вать подстрекательству к вражде, официальные печатные органы, не колеблясь, присоединяются к этому избиению Израиля и евреев. «Аль-Хай-ат Аль-Йеидада», официальная ежедневная газета палестинских властей, выходящая огромным тиражом, опубликовала карикатуру, изображающую приземистую гротескную фигуру со звездой Давида, находящуюся между стариком, представляющим двадцатое столетие, и юношей, символизирующим двадцать первое, назвав эту фигуру «болезнью столетия».

Согласно последним сообщениям в прессе, «Майн Кампф» Гитлера, книга, официально разрешенная к публикации и распространению палестинскими властями, занимает шестое место в списке бестселлеров на контролируемых ими территориях.

Вдоль реки Иордан многие образованные и влиятельные граждане Иордании, члены профессиональных ассоциаций, по-прежнему непреклонно противятся любому взаимодействию с израильтянами, невзирая на исторический мир, заключенный с Иорданским Хашимитским королевством. Один из вопиющих примеров: совсем недавно Иорданская ассоциация журналистов исключила одного своего члена и заставила трех других подписать просьбу о прощении за «преступление», которое состояло в том, что они посетили Израиль — и это через полных пять лет после заключения мира между Израилем и Иорданией.

Как отметил в своем исследовании «Дворец мечты для арабов» известный ученый Фуад Аджани, работающий в университете Джона Хопкинса, «стражи политической власти» в арабском мире некоторое время тому назад решили, что «дипломатический компромисс должен быть на повестке дня, но интеллектуальному классу предоставлена зеленая улица для агитации против мира».

Когда мы выразили нашу непреходящую обеспокоенность по поводу антисемитских выпадов арабской прессы во время поездки делегации Американского еврейского комитета в Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Иорданию и на территории, контролируемые палестинскими властями, наши собеседники охарактеризовали этот яд, как «цену за свободу прессы». Я должен отметить, однако, что вряд ли кто-нибудь найдет примеры подобного рода осуждения или критики в отношении режимов, которым служат эти печатные органы, или любых других режимов по соседству.

В то же время, понуждаемые расширять свои отношения с Израилем, правящие круги призывают к терпению, ибо, невзирая на то, что правительство активно стремится укреплять связи с еврейским государством, общественное мнение еще не готово к этому.

Нет подтверждения какой-либо связи между отношением арабов к Израилю и ежедневной злобой, которой их пичкают арабские средства массовой информации и школьные программы, причем и те, и другие делают это с санкции соответствующих арабских правительств. Хотя ре-

зультатом переговоров может быть установление отношений таких же прохладных, как и с Египтом, Израиль готов пойти на обдуманый риск ради достижения мира, который остается намного лучшей альтернативой, чем постоянная воинственность. Но антагонистическая позиция арабских средств массовой информации, школ, религиозных лидеров и интеллектуалов вряд ли способствует созданию необходимой атмосферы и культуры мира, которые так отчаянно необходимы для перехода от конфликта к сотрудничеству в регионе.

Ярослав Тинченко

ЕВРЕЙСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА*

Евреи Австро-Венгерской империи в политическом и культурном отношении были гораздо более европеизированы, чем их русские собратья. Уже в 60-х годах XIX века они начали избавляться от средневековой схоластики иудаизма: вместо начальных школ — хедеров, не дававших никакого образования, кроме начального религиозного, большое количество еврейской молодежи оканчивало гимназии, институты и университеты, вливалось в ряды чиновников, ученых, политиков и культурных деятелей разнородного по своему национальному составу австро-венгерского общества. Евреи-иноверцы не вызывали там такого отторжения, как в России. Все это способствовало тому, что, во-первых, в процентном отношении количество евреев, получивших светское образование, в Австро-Венгрии было намного выше, чем в России, а во-вторых, политическая ориентация еврейства была совершенно иной. В Российской империи большинство политически активных евреев исповедовало социализм всех окрасок и большевизм (при весьма малом проценте сионистов), но австро-венгерские евреи четко делились на сионистов и «австрийцев» (а затем — «поляков»). То есть тех, кто ратовал за создание еврейского государства, и тех, кто считал, что лучше на равных правах с остальными народами интегрироваться в монолитное австро-венгерское (а затем — польское) общество. К этим последним примыкали и темные еврейские массы — городские и местечковые низы, которым марксизм до поры был практически неведом.

Сионисты, постоянно требовавшие от австро-венгерской монархии новых уступок, были вечно недовольны венским кабинетом и всеми теми,

* Глава из неоконченной книги «Еврейские вооруженные формирования в гражданской войне. 1917-1920».

кто его поддерживал. Именно поэтому в политическом отношении сионисты блокировались с представителями наиболее отсталых в культурном и экономическом отношении народностей Австро-Венгрии, в первую очередь — с русинами (так в то время официально назывались галичане — западно-украинцы). Способствовал этому и тот факт, что большинство евреев Австро-Венгрии проживало на украинских землях — в Восточной Галиции, где составляло более 50 процентов городского населения.

Украинцы действительно были одним из самых отсталых (если не самым отсталым) народом Австро-Венгерской империи. Дети полей, лесов и гор, они были чужды городу, а вместе с ним — образованию, городской культуре и искусству, общественной жизни и т.д. Среди городских жителей Восточной Галиции украинцы составляли всего 13 процентов населения (евреи — более 50 процентов, немцы — 7, остальные в основном — поляки). Причем, зачастую это были городские низы. Лишь очень небольшая часть украинского общества окончила гимназии и университеты. Но и образование малочисленной (по сравнению с остальными народами империи) украинской интеллигенции носило приземленно-прикладной характер и было в основном направлено на удовлетворение потребностей села. Наиболее популярными профессиями среди украинской молодежи считались учителя, смотрители лесных хозяйств, врачи, а самые успешные становились юристами (для этого ведь надо было в совершенстве знать, как минимум, два чужих языка — немецкий и польский). Зато крайне непопулярными являлись торговля и военная служба.

Именно из-за малочисленности украинской интеллигенции галицким крестьянам приходилось прибегать к помощи юристов, медиков и, конечно же, торговых посредников и купцов других национальностей, а именно — евреев. Все это способствовало тому, что чуть ли не со времен вхождения Восточной Галиции в состав Австрийской монархии евреи и украинцы выступали в единой экономической и политической смычке и, понятно, единым фронтом противостояли польскому давлению. Еврейские и украинские депутаты были самыми верными союзниками в австрийском сейме, еврейские юристы отстаивали в судах права украинских крестьян, еврейские купцы торговали продуктами украинского села, а украинцы на выборах в сейм массово голосовали за кандидатов-сионистов.

Так же, как и в Российской империи, австрийские монархи не желали видеть среди своих офицеров иудеев. Но если для получения офицерского чина еврей принимал другую религию, его производили без проволочек. И здесь любопытно отметить, что, в отличие от русского еврейства, австрийское не отвергало и не изгоняло такого человека, а относилось к его смене веры с пониманием. Особенно — сионисты. Именно поэтому

изменившие ради карьерного роста свою веру евреи почти на равных принимались в австрийских сионистских кругах, что для подобных русских кругов было невозможно.

С началом Первой мировой войны австрийский император Франц Иосиф II отменил ограничения по национальному и вероисповедальному признаку при производстве в офицеры. В результате практически все евреи, имевшие высшее и законченное среднее образование, стали офицерами австро-венгерской монархии. По многочисленным австрийским свидетельствам, на фронте они сражались очень хорошо. И... опять-таки бок о бок с украинцами. Как известно, австрийская армия комплектовалась по территориальному признаку. А поскольку евреи проживали в основном в Восточной Галиции, то и попадали они в полки, на 60-90 процентов состоявшие из украинцев. Очень часто бывало, что командирами этих полков, батальонов и части рот являлись немцы, чехи, поляки, а младшими офицерами — украинцы и евреи. Понятно, что одинаковое служебное положение и общий быт еще более сблизили обе нации. Все это способствовало тому, что в конце 1918 года, когда на развалинах Австро-Венгерской монархии начали создаваться новые национальные государства и в Восточной Галиции была провозглашена Западно-Украинская Народная республика (ЗУНР), значительная часть просвещенного еврейства открыто выступила на ее стороне.

Впрочем, следует сказать, что руку помощи украинцам протянули лишь сионисты, имевшие к тому времени особенно много сторонников среди военнотружущих-евреев австро-венгерской армии (с украинцами ведь укрывались одной шинелью!). Бывшие проавстрийски настроенные евреи и местечковые низы в своем подавляющем большинстве относились к борьбе ЗУНР с поляками нейтрально.

Кое-кто из «австрийцев», перекрасившихся в «поляков», выступил на стороне польской армии — против украинцев. В основном это были либо евреи — уроженцы Западной Галиции, населенной поляками, либо «пилсудчики» — евреи, в период Первой мировой войны служившие в польских легионах. Известен, по крайней мере, один еврейский отряд («Дети Адама»), сражавшийся на польской стороне.

Еврейская милиция на территории ЗУНР

В октябре 1918 года страны Четверного союза потерпели сокрушительное поражение на фронтах Первой мировой войны. Австро-Венгерская империя и ее армия разваливалась на национальные кусочки. Создавались Чехословацкая, Венгерская, Польская и другие республики. Естественно, украинцы также не остались в стороне, решив на своей земле — в Восточной Галиции, — взять власть в свои руки. Единственной проблемой были города Восточной Галиции — в основном заселенные евреями

и поляками. Эти последние особенно преобладали в некоторых западных городах, в первую очередь — во Львове. Там по состоянию на ноябрь 1918 года поляков было более 60 процентов, еще 30 процентов — евреи. Но удаленность от Польши и многочисленные украинские села, окружавшие Львов, давали все шансы на захват украинцами этого города.

Судя по всему, между украинцами и сионистами перед переворотом в Восточной Галиции были проведены какие-то переговоры, на которых было принято решение выступить против поляков единым фронтом. Но судить об этом можно лишь по многочисленным косвенным фактам — документальных подтверждений этих переговоров не сохранилось. Во время переворота сионисты изгоняли со всех постов и должностей «австрийцев», а в ЗУНР получали ряд гарантированных прав и свобод и, кроме того, свою часть власти.

В канун переворота в ряде городов были отпечатаны листовки на двух языках — украинском и идиш с призывом к свержению австрийской власти. В запасных частях, расположенных на территории Восточной Галиции, украинские офицеры четко знали, что их сослуживцы-евреи не будут выступать против переворота. Более того, по-видимому, из военнослужащих-евреев этих запасных частей сразу же планировалось создать еврейскую милицию.

Она была создана, например, в Перемышле — при 9-м пехотном полку, в Тернополе и т.д.

В некоторых других местечках, где не было гарнизонов, еврейская милиция создавалась из демобилизованных солдат-евреев (например, в Подволочиске). Эта милиция подчинялась украинским военным комендантам, но в боевых действиях не участвовала.

Львовская еврейская милиция

Накануне переворота во Львове, который должен был стать ареной боев между украинцами и поляками, прибыл капитан-еврей венской жандармерии Вальдман. Он был делегирован венскими сионистскими кругами для организации еврейской милиции и сионистских властей.

Ранним утром 1 ноября 1918 года украинские части австрийского гарнизона заняли центр и все стратегические пункты Львова, вывесив на ратуше желто-голубое знамя. Все военнослужащие прочих национальностей либо были интернированы, либо заявили о строгом нейтралитете. Солдаты и офицеры евреи поспешили в центр города — в еврейские кварталы, где под руководством Вальдмана проходило совещание о позиции сионистов и «австрийцев» в создавшемся положении и о формировании милиции. Впрочем, ко мнению «австрийцев» особо не прислушивались: их просто сместили со всех занимаемых должностей, заменив сионистами.

Украинское командование поставило сионистов в известность, что во Львове совершен переворот и что оно пока не может взять на себя ответственность за жизнь и имущество евреев. Последним предлагалось для защиты своих кварталов организовать милицию, которая бы не пускала на свою территорию ни польские, ни украинские войска. Если учесть, что центральные еврейские кварталы оказались почти на линии украинско-польского фронта и составляли сначала четвертую, а затем третью его часть, то для их охраны потребовалось много милиционеров. По одним данным, сформированный тогда же, утром 1-го ноября, еврейский отряд насчитывал не более 200 человек под командованием поручика Эйслера, по другим — 300 человек, из которых 200 были вооружены ружьями, причем ими командовал тот же Эйслер, но — капитан (Меламед В. Евреи во Львове. — Львов, 1994. — С. 134). Думается, что Эйслер все же был поручиком. Во-первых, именно в этом чине он упоминается в двух или трех других источниках, а во-вторых — вряд ли бы он успел в австрийской армии дослужиться до чина капитана, поскольку был недавним студентом.

Было определено пять постоянных постов еврейской милиции, защищавшей свои кварталы. А именно: возле Синагоги Реформаторов на пл. Старый Рынок (это — самый центр Львова); у синагоги на ул. Божничей (ныне — Сянская); на ул. Жолкиевского, 25; на ул. Бляхарской (И.Федорова), 25 и на ул. Резницкой (С.Наливайко), 13 (Wasser O. Rola Żydów w listopadowey obronie Lwowa//Obrona Lwowa. — Warszawa, 1991. Т. 2. — S.837-839).

Еврейская милиция полностью одевалась и вооружалась украинскими властями. Вот что вспоминал один из офицеров-украинцев, участников переворота во Львове: «Еще нужно упомянуть про еврейскую милицию, которая по разрешению Генерального украинского военного комитета формировалась для обеспечения порядка в еврейских участках. Ее знаком отличия была нарукавная повязка на левой руке с сионистской печатью, и она должна была ходить по возможности в компании с украинской. Их (т.е. — евреев-добровольцев) с соответствующей запиской направляли к пор. М-ке, где они получали униформу и шли, так сказать, на свои позиции, но опоры и помощи от них не было — по улицам их не было видно...» (I-кий І. Спомини львівських Падолістових днів 1918 року//Український Скиталець. Ч.1. — Ліберці, 1920. — С.10-11).

На улицах еврейских патрулей действительно не было видно: они не выходили за пределы своих кварталов. Что же касается помощи... Например, впоследствии поляки небезосновательно обвиняли еврейскую милицию в вооруженной поддержке украинских отрядов. Подтверждения тому находятся и в украинских источниках. Более того, в одной из перестрелок с поляками в последние дни боев за Львов погиб и сам командир милиции — поручик Эйслер.

С самого начала борьба за Львов складывалась для украинцев не самым лучшим образом. Местное польское население оказало отчаянное сопротивление, а когда из Западной Галиции начали прибывать польские войска, дела обернулись окончательно не в пользу украинцев.

Еще начиная с 1 ноября 1918 года еврейские представители пытались на всякий случай добиться признания своего нейтралитета у польского командования. Спустя несколько дней, когда прибыли первые польские войска, решение этой задачи оказалось более чем необходимым. Лишь 9 ноября между польским командованием во Львове и еврейскими представителями было подписано соглашение о нейтралитете еврейской милиции. Но и тогда вооруженные стычки между евреями и поляками не прекратились. Начальник обороны Львова полковник Чеслав Мачинский писал об этом: «Я знаю лишь один серьезный случай — взятие казарм 95-го пехотного полка (должно быть — 15-го. — *Прим. авт.*) и несколько мелких эпизодов, в которых поведение еврейской милиции было таким, как это подобает нейтральным войскам. Но также знаю большое количество случаев, в которых эта самая еврейская милиция награждала огнем ружей и даже пулеметов наши, польского войска патрули и большие отряды, знаю случай, в котором такое поведение походило на серьезную поддержку атаки украинцев (14 ноября). Зато не знаю случаев... чтобы где-либо эта самая еврейская милиция встречала огнем украинские патрули или отряды, часто сокращавшие путь через еврейский город» (Maczynski Czeslaw. O stanowisku żydow w czasie walk listopadowyh//Obrona Lwowa. T. 2. — Warszawa, 1991. — S.819).

В ночь с 21 на 22 ноября 1918 года украинские части под напором поляков вынуждены были оставить Львов. С ними ушли и некоторые еврей-милиционеры, в основном — бывшие офицеры австрийской армии, полюбившие военное дело. Еврейская милиция решила остаться в городе, но тут же была атакована поляками. Поводом для этого послужил тот факт, что кто-то из милиционеров якобы обстрелял польскую батарею, когда та проезжала мимо еврейских кварталов. Батарея снялась с передков и тут же выпустила несколько снарядов по еврейским домам (Maczynski Czeslaw. Op. cit. — S.820).

Это столкновение стало сигналом для разоружения поляками львовской еврейской милиции и ареста ее командиров. Кроме того, после оставления украинскими войсками Львова в бедных еврейских улочках городских предместий начался погром, который длился с 21 по 23 ноября. По данным еврейских историков, во время погрома погибло 73 и было ранено 463 человека (Меламед В. Евреи во Львове. — Львов, 1994. — С.135).

Дальнейшая судьба еврейской милиции была такой. Некоторые львовяне одиночным порядком присоединились к украинским войскам, организаторы же милиции, оставшиеся в городе, были арестованы и брошены в тюрьму. Отряды из других городов старались сохранять нейтралитет,

помогали украинским властям, а после прихода поляков, как правило, разоружались и распускались.

Чеслав Мачинский в своих мемуарах сообщал о судьбе львовской милиции: «Из донесений наших частей и свидетельств пленных украинцев нам было известно о разных отрядах бывшей львовской еврейской милиции, которые вместе с украинцами осаждали Львов, известно нам и о нескольких офицерах-евреях, которые командовали разными частями украинской армии в боях за Львов. Один из них, командир украинской батареи, бил азартно по 6-му участку Львова и выпустил по нему, наверное, несколько тысяч снарядов. Во время нашего майского наступления несколько из них было захвачено в плен» (Maczynski Czeslaw. Op. cit. — S. 820).

В словах Мачинского есть ряд преувеличений: и о «тысяче снарядов», и об «отрядах еврейской милиции», и о еврее — командире украинской батареи. По украинским источникам, батареями во время осады Львова командовали либо украинцы, либо немцы. Евреев среди них не было, как равно и отрядов львовской милиции. Но отдельные офицеры-евреи действительно оставались в украинской армии и были захвачены в плен во время майского наступления поляков. Вот что вспоминал о еврейской милиции Львова один из украинских офицеров: «На один из последних дней ноября были назначены похороны еврейских жертв. Евреи, бывшие офицеры австрийской армии, несли гробы. С большой торжественностью несли гроб, в котором была полусгоревшая еврейская тора. Симпатии всех евреев были на нашей стороне. Нужно признать, что евреи сразу же отнеслись к нашей борьбе с позиций союзной нейтральности. Их еврейское войско, милиция, вооруженная нашими властями, действительно совестно охраняла еврейский город, так что не было никаких выступлений против еврейского населения. Временами на улице Тересской или Газовой еврейские милиционеры перестреливались с польскими бойцами. В одной из таких перестрелок погиб и командир еврейской милиции, мой знакомый поручик. Евреи были очень лояльными к нам гражданами и часто помогали нашей молодой государственности или армии, чем можно и нужно было. Знаю пару своих знакомых студентов-евреев, которые вскоре после тех похорон перешли фронт и боролись в рядах УГА. Один из них стал хорунжим и в боях под Белзом или Равой попал в польский плен» (Ф.О.Ш. Листопад 1918 р.//ЛЧК. Ч. 11 — Львів, 1937. — С. 21).

Войска Еврейской Народной Республики

После оставления украинскими войсками Львова битва за город продолжалась на его окраинах. Еще пять месяцев после того Львов находился в плотной осаде. Поляки бросали на фронт все новые и новые силы, в том числе — и сформированные во Франции дивизии Галлера. В

мае 1919 года они перешли в наступление, отбросили украинскую армию от города, а затем погнали ее к Збручу — границе с Восточной Украиной. В то время в Украинской Галицкой армии почти не оставалось снарядов и патронов — защищаться было совершенно нечем. Пришлось отступать.

2 июня 1919 года украинские части оставили Тернополь — столицу Западно-Украинской Народной Республики. В этих тяжелых условиях пришлось изыскивать союзников, резервы, деньги на покупку оружия. Евреи Восточной Галиции, и особенно богатые жители Тернополя, не раз помогали своими деньгами молодой республике. Теперь же встал вопрос о массовом привлечении евреев на сторону ЗУНР, в том числе — и в ряды Украинской Галицкой армии. Как-никак, в то время из 9 миллионов населения Восточной Галиции на долю евреев приходилось 1.850 тысяч человек (украинцев — 6 миллионов), значительная их часть могла вступить в УГА и бороться с поляками наравне с украинцами. Но чтобы обеспечить это самое «наравне», правительством Западно-Украинской Республики вместе с представителями еврейских кругов был разработан проект провозглашения на территории ЗУНР Еврейской Народной Республики — на правах национально-персональной автономии (правда, в оригинале она называлась ЖНР — «Жидівська Народна Республіка»). Этот проект не был реализован только потому, что УГА все равно вскоре пришлось оставить Восточную Галицию, а провозглашать Еврейскую Республику вне ее пределов было, во-первых, политически неправильно, а во-вторых — опасно: поляки незамедлительно начали бы репрессии против еврейского населения.

В рамках проекта по провозглашению Еврейской Народной Республики в мае 1919 года в УГА начали создаваться еврейские части и подразделения. На сегодняшний день известны три такие части, но, думается, существовали еще какие-то мелкие еврейские подразделения. О самой крупной части — Еврейском ударном курене (т.е. батальоне) I корпуса УГА (в оригинале — «Жилівський пробоевий курінь») написано несколько интересных статей. Об остальных — одно-два мемуарных свидетельства.

Еврейские части были немногочисленными (хоть есть историки, безосновательно называющие совершенно мифические цифры евреев в УГА), и в них служили не только евреи, но и украинцы. К тому же, архивные сведения об этих формированиях практически не сохранились.

Первые попытки создания еврейских частей были осуществлены еще в середине мая 1919 года — из евреев, служивших в различных соединениях УГА. Но, из-за крайне малого количества евреев в армии (фактически на тот момент речь может идти о 200-300 евреях на всю 50-тысячную УГА, причем, в большинстве — медиков), была создана лишь одна еврейско-украинская часть — Конно-пулеметная сотня 4-й Золочевской бригады четаря Салько Ротенберга.

В середине июня 1919 года, после контрнаступления украинской армии и отбития части территории ЗУНР, было создано еще, как минимум, две еврейские части, в том числе — и Еврейский курень. Но поскольку уже через месяц, в середине июля, под напором поляков УГА окончательно покинула территорию Восточной Галиции, дальнейшее формирование еврейских частей оказалось невозможным.

Конно-пулеметная сотня Ротенберга

Наибольшее количество евреев служило в 4-й Золочевской бригаде УГА. Евреями была большая половина медперсонала этой бригады, несколько десятков пулеметчиков, рядовых бойцов и — командир одной из стрелеческих сотен Салько Ротенберг (бывший офицер еврейской милиции). Именно ему как пулеметчику во второй половине мая было поручено сформировать конно-пулеметную сотню 4-й бригады, куда Ротенберг собрал всех евреев. Сотня получилась еврейско-украинской — приблизительно 50 на 50. Вот что вспоминал о Ротенберге и формировании сотни украинский мемуарист С. Гайдучок:

«Конная пулеметная сотня, — была ли такая при каждой бригаде УГА? Наверное, нет. Но была она при 4-й Золочевской бригаде уже в мае 1919 года.

Пришел на должность командира бригады полковник Чмелик, огляделся, и давай, хоть кол на голове теши, ее организовывать.

Появились двуколки, кони, пулеметы, и через несколько дней родилась в бригаде новая боевая часть.

Командиром ее был назначен Салько.

Еврей? —

Да, еврей — Салько Ротенберг — но знаете — украинский еврей. Зимой был ранен и вернулся назад в бригаду. Сколько ж чистокровных украинцев не были ранены, а боялись оказаться в бригаде...

Вторым в сотне был четарь Михайлив. Наверное, еще в великую войну тяжело раненный в голову. Точно не скажу.

Эх, что за чудесная боевая часть была эта сотня!

Обслуга пулеметов верхом на конях, 8 пулеметов на двуколках. Каждая двуколка с одним конем. Несколько двуколок — с патронами. — Как легко такой частью распоряжаться в бою, отступлении или наступлении!

А к тому же хлопцы своих командиров любили!

Вы их видели на марше?

Впереди организованная командиром музыка. Звучат две скрипки и еще какой-то инструмент. Плывет из широких грудей походная песня....» (Гайдучок С. Кінна скорострільна сотня//ЛЧК. Ч.2. — Львів, 1930. — С.16).

Вполне очевидно, что музыкантами были евреи: для военных украинцев скрипка была довольно чужеродным инструментом. Да и сам вы-

бор музыкального інструмента для єврейсько-української частини — не лишень оригінальності. Напевно, Ротенберг расуждал так: у українців — кобза, у шотландців — волярка, у поляків, австрійців, немців і російських — труби да литаври. Ну, а у євреїв, понятно, — скрипка...

Конно-пулеметна сотня Салько Ротенберга храбро дралась с поляками, а после переходу в Восточну Україну — с більшовіками. Особливо тяжелими, по признанню другого офіцера сотні четаря Владимира Михайлива, були бої с красними за Коростень, где сотня понесла більшіє потери и, вероятно, после отступлення из-под города была расформирована. Даже три музыканта сотни погибли, а сам Ротенберг, прикрывая 4 сентября 1919 года отступление остатков своей части, получил пулю в лицо: она выбила четарю зубы и застряла в шее. В тяжелом состоянии Ротенберга отправили в Житомир, затем — в Проскурів, а оттуда — в Каменец-Подольский. Там доблестный четарь, по слухам, и умер — от заражения крови... (Михайлів В. Сальцьо Ротенберг //Український Скіталець. Ч.12. — Йозефів, 1922. — С. 6-7; Гайдучок С. Кінна скорострільна сотня // ЛЧК. Ч.2. — Львів, 1930. — С. 16)

Єврейський ударний курень

Во время майского отступления Украинской Галицкой армии єврейская милиция, дабы не злить поляків, оставалась в своих городах и разоружалась оккупантами. Однако это мало повлияло на крайне негативное отношение польского командования к єврейскому населению. Так, после занятия Тернополя оккупационные власти арестовали всех «предателей» євреїв, помогавших Западно-Українській Республіці. Кроме того, в тюрьму попали почти все местные лидеры сионистского движения, а некоторые из них, самые активные, были даже расстреляны. Для мирного населения Тернополя также настали не самые лучшие времена.

Спустя полмесяца, 16 июня 1919 года, украинские войска отбили Тернополь. По воспоминаниям, єврейское население встречало украинские войска с цветами. Командир тернопольской єврейской милиции, созданной еще в ноябре 1918 года, бывший поручик 15-го пехотного полка Солломон Ляйнберг явился в штаб I корпуса УГА и предложил сформировать отдельную єврейскую часть. Командир корпуса полковник Микитка лично знал Ляйнберга по прежней службе в австро-венгерской армии, да и многие украинские офицеры являлись его сослуживцами по 15-му полку, до ноябрьских событий 1918 года располагавшемся во Львове. Ляйнберг хорошо зарекомендовал себя еще в бытность начальником тернопольской єврейской милиции. Кроме того, формирование єврейских частей теперь отвечало и политическим стремлениям руководства ЗУНР. Именно поэтому почти сразу же после занятия Тернополя при одном

небольшом украинском отряде — группе поручика Вовка начал формироваться Еврейский ударный курень.

Сам поручик Вовк вспоминал о его формировании: «Как раз тогда (т.е. — после возврата Тернополя. — *Я. Т.*) начало поступать в украинские части много еврейских интеллигентов, которые горели жадной мести к полякам за их нечеловеческие издевательства и, наверное, потому, что почувствовали на своей шкуре разницу между неведомой им до того польской властью и бывшей перед тем 8-месячной украинской. Корпусной адъютант, сот. Гнатович, поручил мне как командиру группы, заняться с пор. Ляйнбергом организацией еврейской части в составе моей группы. Чтобы не создавать отдельной административной единицы, было решено провести организацию в составе моей группы, имевшей коней, подводы, запас патронов, оружие, несколько десятков бойцов и около 10 офицеров-украинцев. И действительно, на протяжении нескольких дней явилось столько офицеров-евреев, что командование I Гал. корпуса передало начальство над бывшей моей частью пор. Ляйнбергу, а меня назначило его помощником. Эта часть получила теперь название «Жидівський пробоевий курінь» I Гал. корпуса. Офицерский состав этой группы состоял в большинстве из евреев. Но рядовых вступало мало. Зато было много добровольцев-украинцев, которые после отступления поляков стали прямо массово вливаться в армию.

Для спокойного окончания обучения в Еврейском ударном курене он был переброшен в Остапе, поскольку уже началось второе отступление нашей армии. В это время к Еврейскому ударному куреню было прикомандировано несколько офицеров-украинцев. Например, пор. Лащукевич, которому передано командование одной из сотен, а начальство над еще одной сотней принял перед тем чет. Доманицкий» (Вовк П. Пояснення//Український Скиталець. Ч.5. — Ліберці, 1921. — С.21-23).

Бывший офицер и историограф Еврейского куреня, пор. Г-р Нахман, представил беллетризованную историю формирования части, причем явно завысил его численность. Статья Г-ра о курене (помещенная в 1921 году в «Українському Скитальці», Ч. 4, с. 17-21 и Ч. 5, с. 17-21) перегружена помпезными и малоинформативными фразами. Так, первая часть этой статьи не несет решительно никакой информации, кроме, собственно, последнего абзаца об истории формирования куреня. Причем, приведенные в нем факты уже в следующем номере исправлял и дополнял поручик Вовк, чьи пояснения мы уже привели выше.

Так, Нахман Г-р писал: «Курень был административно самостоятельным, а оперативно напрямую подчинялся приказам командования I корпуса, от которого получал, хоть корпус и сам имел очень мало, униформу, продовольствие, фураж, деньги, оружие, офицеров, подофицеров и стрелцов для пополнения. Административно имел этот курень собственное снабжение и призывную комиссию, а благодаря тем условиям, кото-

рыте создали поляки, скоро достиг 1200 человек, включая прикомандированных к пор. Ляйнбергу инструкторов и офицеров. Имел 4 сотни по 220 человек, одну пулеметную сотню с 8 пулеметами по 500 патронов на каждый, один кавалерийский взвод, один взвод саперов, взвод телефонистов и радиостанцию пор. Ляйнберга, который был по профессии электротехником и собрал ее собственноручно. После краткого, но интенсивного обучения, эта часть как ударный курень вошла в состав I корпуса Украинской Галицкой армии» (Нахман Г-р. Передісторія і історія Жидівського пробоевого куріня I корпусу УГА/Український Скиталець. — Ч.4. Ліберці, 1921. — С. 21).

Численность куреня, указанная Г-р Нахманом, вызывает большие сомнения. Может быть, по штатам он и должен был насчитывать 1200 человек при собственной кавалерии. Может, в начале своего существования, за счет массово вступавшей в армию украинской молодежи, он даже достиг этой численности. Но в середине июля 1919 года, когда УГА начала отступать за Збруч, очень многие бойцы покинули ее ряды. И в первую очередь молодежь, вступившая в армию после возвращения Тернополя. Из-за этого в составе УГА пришлось даже расформировать несколько бригад. Что же касается Еврейского куреня, то через Збруч он перешел при численности вряд ли превышающей 500 бойцов — как евреев, так и украинцев. (Иначе, имея 1200 человек, он бы просто был развернут в полк или даже бригаду. Да и цифра эта не подтверждается имеющимися в нашем распоряжении дислокационными списками УГА).

Боевой путь и судьбу Еврейского куреня после начала отступления УГА поручик Г-р Нахман не без лишней помпезности изложил во второй части своей статьи (при переводе с украинского текст слегка откорректирован в соответствии с нормами литературного языка):

«14 июля 1919 г. приказом командования I корпуса Еврейский ударный курень был временно подчинен XXI бригаде, которая стояла тогда на севере, на главном пути, ведущем из Тернополя в Подволочиск, и вела отчаянную борьбу с поляками, пытавшимися эту бригаду окружить. Спустя небольшой промежуток времени из-за тяжелого положения на фронте пор. Ляйнберг был срочно вызван командованием бригады, прибыл скорым маршем с Еврейским ударным куренем из Остапье в Ходачков-малый, а оттуда — в село Колодеевка. По приказу XXI бригады он занял пространство между дорогой Тернополь-Подволочиск и селом Колодеевкой, а также и само село, прикрывая таким образом с севера и запада отступление бригады в направлении города Скалат. Эти изменения на фронте заметили поляки и предприняли попытку решительными атаками прорваться на данном участке, чтобы потом неожиданно, заняв линию реки Збруч, перерезать путь отступления за Збруч. Эта мысль хитрого ляха в случае удачи была бы роковой для всей галицкой армии, правительства и наших дорогих мечтаний. Но ударный курень под личным ру-

ководством пор. Ляйнберга не только с решительностью, достойной всякой похвалы, свел на нет польские планы, разбив значительные лядские силы, но и причинил им болезненные потери.

Вскоре после получения нового приказа курень расположился в районе г. Скалата, где провел своими авангардными частями ряд победных боев, заняв пространство между с. Медницей и Старым-Скалатом, прикрывая этим отступление XXI бригады. Когда под сильным напором врага начала шататься и отступать в направлении Збруча и IX бригада, расположенная до того налево от с. Медницы, ударный курень стал авангардом и в 3 часа ночи 15 июля вступил в г. Скалат. В тот же самый день в 7 часов вечера ударный курень получил приказ командования отступить скорым маршем через Городницу и Остапье в район Викина и там основательно укрепиться. Прибыв в эту холмистую местность в 2 часа ночи, пор. Ляйнберг немедленно приказал занять железнодорожную станцию Грималив и край леса на юг от города. Эти природные позиции курень держал до 10 часов утра 16 июля, а после, по получении приказа о дальнейшем отступлении, выступил из упомянутых мест и занял район г. Товстого. При этом, как авангард, он должен был вести бои с передовыми подразделениями тех масс ляхов, которые уже сконцентрировались в кулак, чтобы нанести освободительной украинской армии решительный удар. В это же время командиры XXI и IX бригад начали собирать вокруг себя людей, разбежавшихся во время ураганного лядского огня, и готовиться к ночному переходу через Збруч.

С юго-западной стороны, т.е. — от Копичинец и Гусятина, ляхи старались сорвать планы нашего командования: своей многочисленной кавалерией обойти наши позиции, неожиданными атаками сбить части. В связи с этим ударный курень получил приказ от своей бригады оставить район Товстого, занять район Трибуховец и всеми силами стараться удерживать эту позицию, чтобы обеспечить отступление наших войск с запада и юга. Пор. Ляйнберг, атакованный значительными силами ляхов на прежней позиции, оставил сильный заслон с 4 пулеметами, а сам с пехотой и оставшимися пулеметами в 10 часов вечера 16 июля выступил в Трибуховцы, где занял северную и западную их стороны. Получив по телефону уже с левого берега Збруча сведения о том, что XXI и IX бригады в полном составе, с обозами и артиллерией перешли реку, поручик приказал отступить пулеметам, оставленным в Товстом. Это распоряжение было отдано как нельзя кстати: в 6 часов утра 17 июля курень получил сообщение, что поляки наступают по дороге Трибуховцы-Гусятин и стараются захватить единственную на этом участке переправу через Збруч. Пор. Ляйнберг немедленно занял дорогу Гусятин-Трибуховцы, одновременно выслал свои подразделения для занятия паромной переправы в Трибуховцах. Эту последнюю позицию занял пор. Мазяр со своей 4-й сотней и 2 пулеметами. Вскоре ляхи начали наступать на переправу, и пор. Мазяр, несмотря на

геройскую оборону перед тучами врагов и попытки прорваться к своему куреню, попал со всей сотней в лядский плен.

Так Еврейский ударный курень геройским поведением и умелым руководством своего командира обеспечил отступление XXI и IX бригад, которые благодаря этому не понесли потерь ни в людях, ни в вооружении.

17 июля в 2 часа дня командование ударного куреня получило из XXI бригады приказ немедленно отступить за Збруч, уничтожив за собою мост. По выполнении этого приказа курень присоединился к XXI бригаде и был расположен на правом ее фланге. С бригадой курень дошел до м. Смотрича, оттуда — в район Дунаевец, где впервые столкнулся с большевиками. После первых артиллерийских выстрелов курень перешел из бокового охранения правого крыла в переднее охранение и, проведя тщательную разведку, занял линию от северо-западного с. Чанкова до с. Заставна и холмов на северо-востоке. Это было 24 июля. Во время ночных налетов ударный курень разбил сильные большевистские заставы и взял пленных.

Большевики, встревоженные активной деятельностью противника, начали на следующий день, т.е. 26 июля, отступать. Командование XXI бригады, заметив это, приказало ударному куреню и в дальнейшем находиться на правом крыле, энергично преследуя врага. В этой погоне бригада достигла местечек Солодковцы, Зинкив, а к исходу 31 июля — район м. Михальполя, которое еще находилось в руках сильного большевистского авангарда. 3 августа, после сильной перестрелки разведчиков, перешел в атаку и ударный курень, взял Михальполь и захватил почти весь большевистский гарнизон в плен. В результате этого успешного дела XXI бригада, а вместе с ней и Еврейский ударный курень, отдыхали в Михальполе два дня.

6 августа XXI бригада продолжила свой марш на север и заняла с. Богдановцы. Еврейский ударный курень вновь выполнял роль правого крыла. Узнав, что большевики укрепились на северо-востоке г. Меджибожа, курень повернул на восток и занял без боя села Голосково и Копачивка. Тут Еврейский ударный курень вновь помогал в успешных боевых операциях. Большевики, сильно ослабленные боями, 10 августа в паническом страхе отступили с прежних позиций, поспешив на северо-запад — к Староконстантинову. В погоню за вражескими войсками пустились XXI бригада и Еврейский ударный курень, остановившись лишь в с. Верховцы недалеко от Проскурова. Там командир куреня получил приказ от командования I корпуса УГА перейти в с. Лука Барская, где располагался корпусной штаб. Приказ этот был вызван тем, что в предыдущих боях курень не только отличился, но и понес значительные потери, кроме того, был подчинен XXI бригаде лишь временно. В Луке Барской курень стал охраной штаба I корпуса УГА.

Чуть позже со штабом корпуса ударный курень перешел в Браилов, а оттуда — в Винницу, где нес охрану города и выполнял гарнизонные функ-

ции. После значительных побед наших войск под Калиновкой и Бердичевом и по занятии этих городов курень, вместе со штабом I корпуса, перешел прямо в Бердичев, где продолжал выполнять те же функции. 28 августа, после взятия Казатина и Фастова, курень перешел с корпусным штабом в Фастов. Тут курень был подчинен командованию VI бригады, с которой участвовал в наступлении на Киев. В качестве авангарда бригады, курень первым дошел до предместий Киева — станции Святошино, занял ее и удерживал до общего отхода УГА из Киева. После оставления Святошина ударный курень обеспечивал отход VI бригады через реку Ирпень. Соединившись за Ирпенем с VI бригадой, курень отступал с ней на Фастов, Попельню, Казатин, аж до Бердичева. Тут по приказу командования I корпуса курень был откомандирован в распоряжение штаба — в Бердичев.

В Бердичеве своей гуманностью и примерным поведением курень завоевал большую популярность среди населения, причем командир куреня пор. Ляйнберг получил от городской управы разрешение провести мобилизацию еврейской молодежи. Командование I корпуса позволило куреню провести мобилизацию, а вместе с тем дало время на отдых и реорганизацию. Благодаря этим обстоятельствам курень пополнился добровольцами из числа евреев и украинцев. При отступлении из Бердичева в октябре 1919 года курень перешел с корпусом в Казатин.

Но немилосердный ангел смерти, сыпной и возвратный тиф, свирепо уничтожал ряды борцов-идеалистов за лучшую долю и свободу своих близких, стонущих под гнетом людским, как и под московским ярмом — судьбу и свободу еврейского и украинского народов. Жнива смерти были богатые. Две трети Еврейского ударного куреня, две трети сынов того угнетаемого народа, который угнетатели 24 апреля 1920 года в Сан-Ремо признали свободным, отошли с честью, славой и добрым именем в страну, где неизвестна ни ненависть, ни зависть, ни злоба и... пусть земля им будет пухом!.. Лишь небольшая горстка из этого куреня, горстка верных украинских сынов, борцов ЗУНР, пришла в распоряжение верховного командования УГА в Виннице. Там она исполняла какое-то время караульную службу в городе. Когда же ее ряды еще больше поредели, верховное командование Галицкой армии было вынуждено расформировать этот курень и распределить оставшихся бойцов по другим частям» (Нахман Г.-р. *Передісторія і історія Жидівського пробозового куріня I корпусу УГА // Український Скиталець*. — Ч.5. — Ліберці, 1921. — С.17-21).

Судьба бойцов Еврейского ударного куреня сложилась по-разному. Кое-кто из них тогда же, в начале 1920 года, добрался до Одессы, где вместе с остатками Одесской еврейской дружины вскоре выехал в Палестину (Жиди в УГА//Календар-альманах Червоної Калини на 1922 р. — Львів, 1921. — С.132). Большинство же евреев, служивших в курене, либо остались в Восточной Украине, либо, как поручик Соломон Ляйнберг,

вскоре вернулись в оккупированный поляками Тернополь. Для некоторых из них, в том числе — и для Ляйнберга, это стало роковым решением. Организатор и командир Еврейского ударного куреня поручик Соломон Ляйнберг был замучен поляками в тернопольской тюрьме в 1920 году.

Еврейский вопрос в Галицкой армии

Кроме конно-пулеметной сотни четаря Ротенберга и Еврейского ударного куреня поручика Ляйнберга, известно, по меньшей мере, еще одно еврейское формирование в составе УГА, хотя не исключено, что были и другие. Впрочем, просуществовало оно недолго и решительно ничем не отличилось. Это — еврейский отряд при 11-й Стрийской бригаде УГА.

Отряд был сформирован приблизительно в начале июля 1919 года из всех имеющихся в составе 11-й бригады евреев и принятых во время контрнаступления против поляков добровольцев. Отряд насчитывал всего около 70 человек, причем костяк его составляли посыльные, телефонисты и пр. небоевой элемент. Командовал отрядом за неимением в бригаде офицеров-евреев унтер-офицер. 18 июля 1919 года отряду впервые было поручено боевое, причем очень ответственное задание: обойти небольшой лесок, в котором засели поляки, и после атаки украинских войск в лоб не дать противнику уйти из этого леска. Украинские части атаковали, поляки действительно побежали, наткнулись на еврейский отряд, и... разогнали его (Г.Г. Бій 11 бригади під Черчем//ЛЧК. — Ч.11. — Львів, 1931. — С.19). Поскольку основная масса бойцов отряда разбежалась, то после боя восстанавливать еврейский отряд уже не стали.

Небольшой прилив евреев-добровольцев в УГА наблюдался лишь во время июньского контрнаступления украинских войск. Когда же в середине июля 1919 года армия начала отступать за Збруч — в Восточную Украину, подавляющее большинство добровольцев разбежалось по домам, и в первую очередь — евреи.

В первых же боях на Восточной Украине УГА столкнулась с евреями уже другого рода — русскими, насквозь проникнутыми марксистскими идеями. У галицких стрелцов вызвало искреннее удивление наличие большого количества евреев в красных частях, с которыми они столкнулись на Юге Украины: в формируемых Интернациональной, Бессарабской и 45-й стрелковой дивизиях. Примерно с 17 июля до 31 августа 1919 года — со времени марша по Восточной Украине — отношение УГА к русским евреям изменилось с благожелательного на нейтрально-враждебное. И это при том, что галичане никогда никого не грабили, ничего не отбирали, за все всегда платили и тем более — не были причастны ни к одному еврейскому погрому.

Но больше всего галицких стрелцов возмутило то обстоятельство, что утром 31-го августа, при вступлении в оставленный красными войсками Киев, их встретили огнем местные евреи. Нужно особо подчеркнуть, что галичане всегда относились к Киеву, как мусульмане к Мекке или как те же евреи к Иерусалиму, а потому можно понять крайнее озлобление галицких стрелцов по отношению к местному еврейскому населению. С тех пор хоть УГА и не устраивала погромов, но держалась от евреев Восточной Украины на предельном расстоянии.

Вообще же за весь период существования Украинской Галицкой армии в ее рядах служило едва более тысячи евреев, и это — с учетом наплыва добровольцев в конце июня — начале июля 1919 года. Подавляющее большинство из них приходилось на уже упомянутые три еврейских формирования и медиков. В некоторых бригадах (особенно — больших) среди офицерского состава попадалось по 2 — 4 еврея, но рядовых почти не встречалось.

Леонід Первомайський

З КНИГИ «ДИКИЙ ПЕГАС» (1924-1964)

Леонід Первомайський (Ілля Шлемович Гуревич, 1908-1973) — видатний український поет, належав до того покоління, що починало свій літературний шлях у перші пореволюційні роки. Сповнене найсвітліших сподівань, що їх обіцяла здійснити революція, воно щиро пішло за її гаслами. Це покоління, говорячи словами Бориса Слуцького,

*С собою привело псевдоними
Светлов и Весельї,
Но не допустило бы
снова называться
Горьким и Бедным.
Оно допускало фамилию
Беспощадный,
Но не позволяло фамилию
Безнадежный...*

Рання творчість Первомайського була реалізацією того романтичного захвату, тих юніорських сподівань. Але оскільки радянська держава не поспішала виконувати обіцянки революції, натомість все більше переходячи на імперсько-терористичні шляхи, виникав скепсис щодо сучасності і подальших перспектив. Можливо, саме той скепсис посунув Первомайського убік прози і художнього перекладу, до того ж перекладу з великого глузувальника Генріха Гайне.

Поетична творчість Первомайського від озвучування комсомольського ентузіазму все більше схиялась до оспівування вічних — сказати б, екзистенційних і онтологічних — цінностей. Його віри стає кришталево прозорим і кришталево твердим. Останні зажиттєві поетичні книжки Первомайського — висока класика. Поет посів у літературі таке місце, яке виправдовує цікавість і увагу до кожного його рядка.

Читачеві тут пропонується добірка сатиричних та іронічних віршів Первомайського, що належать одночасно і до літератури, і до літературного побуту. Ще за життя Первомайський сформував з них книжечку і сховав у далеку шухляду, розуміючи неможливість видання. Ці вірші добре репрезентують сатиричний хист поета і становлять цікавий коментар до літературних стосунків вже минулої епохи. Вчорашні кпини, вбивчі або поблажливі, з часом перетворюються на пам'ятники культури.

У повному вигляді ця книжка сатиричних та іронічних віршів Леоніда Первомайського під авторською назвою «Дикий Пегас», знайдена у його архіві внуком поета С.Е.Пархомовським і відредагована за участю І.А.Антропової, готується до друку у видавництві «Альтенпресс».

У нашій частковій публікації вірші з книги «Дикий Пегас» розташовані за жанрами у такій послідовності: епіграми, пародії, дружні послання, іронічні вірші.

І

НА О.ГРОМОВА

З азартом пристрашим яким
Він ахав, надимався й охав!
Але його бляшаний грім
Не вбив нікого й не сполохав.

НА В.СОСЮРУ

Проспівав мінористо на тему:
«Револуція, Я і Спідниця», —
Зачепивсь за богему
І скотився з Парнасу в пивницю.

НА М.ШАМОТУ

Ти пам'ятник собі воздвиг на віки вічні?
До нього бур'яном не заросте тропа!
Не дурно ж «Крокодил» за виступи дволичні
Тобі приспорудив страмотного стовпа.

Та що! Ти учень лиш... Тремтячою рукою
Ти пишеш тільки те, що пан тобі звелить.
Як жаль, що при стовпі страмотному з тобою
Натхненник шириий твій на площі не стоїть.

Одне одному в вид, неначе те люстерко,
Дивилися б ви там — той соб, а той цабе, —
То ти Дмитеркові, а то тобі Дмитерко,
І кожний в іншому б упізнавав себе.

20 листопада 1949

СЛОВНИК 1953 РОКУ

Можливість не абияка
Для українського поета:
Наслідуй мову Шеремета
І вчися слова у Собка!
О музо, вчись, не будь ледача,
У Копиленка й Рябокляча,
У Смолича et cetera...
Свічок не варта, кажеш, гра?
Правдива річ — слова полова,
Без мислі не існує мова,
Вмирає мисль — словник мовчить...
А хто їх мислити навчить?

8 серпня 1953

ПОЕТ ЧИ ШВЕЦЬ

Поети п'ють... А хто цього не знає?
І на здоров'я — бо не в цьому суть.
Вино душі й ума не присипляє,
Коли поети як поети п'ють.
Є в кожному ремесві свої прикмети,
Тут розбиратись слід кінцєм кінцєм.
Даремно, парубче, пошився ти в поети,
Ти п'єш як швець, то й будь собі шевцем.

Грудень 1954

НА ПОСТУ

Щоб приховати пустоту
Давно не творчої натури,
Стоїть він гордо на посту...
Урядника літератури.

II

ЄВГЕН ПЛУЖНИК.
РАННЯ ОСІНЬ

Ох, я ж малий! На дзвіницю б залізи,
Так сил немає... От-от заплачу!
Хіба не такий я, як канцеляристи,
Що звідси їх бачу?

Саме такий. Живу собі тихо.
Біля воріт насіння лузаю.
Десь там світ пожежею диха,
А я не чую й не знаю.

Не чую. Не знаю. Хіба мені треба?
Наче пластинка в хрипкім грамофоні я.
Аби самовар та окрасць непа...
...Міщанська симфонія.

Примітка для коректора: за граматикую занепадництва так і відмінюється: небо — непа. — Л.П.

ТЕРЕНЬ МАСЕНКО.
ПОСЛАНІЄ НЕСВІДОМИМ ЄГИПТО-ВАВИЛОНЦЯМ

В тумані віків Вавилон і Єгипет
Піраміди та вежі звели до небес.
Про це нам свідчить сам Юрій Ліперт,
А він, безперечно, скінчив лікбез.

О які несвідомі ви, єгиптяни,
Не було у вас елкасему!
А я його люблю до нестями
І піонерів бачив у Криму.

Любіть вавилонці, комуначу еру,
Гляньте хоч оком на наш виконком!
У нас в Радреспубліці піонери
Напиваються сонцем, мов молоком.

ДМИТРО ГОРДІЄНКО.
ПЕРЕД ЛИЦЕМ ОКТАВ

Стишки лишилися позаду,
А я стою перед лицем октав.
Мені на груди Рильський тихо пада
І каламутить серця мрійний став.

О ви, далекий, чулий, незнайомий!
Піду шляхами ваших чумаків.
Я не боюсь на півдорозі з дому
Упасти десь поміж восьми рядків.

Кінцем пера мене підніме Зеров,
Від плям мазугних виміє брудних.
Я оспіваю динамічну еру
В октавах довгих і нудних.

НАТАЛЯ ЗАБЛА.
ЛЕГЕНДА ДАЛЕКОГО КРАЮ

Над озерами Суомі
Сині тіні Калевали,
Синім маревом пантери
Вигинаються вночі.
В край далекий невідомий
Ви п'ятами наживали,
Де в туманах сплять озера
І вигукують сичі.

Край далекий, синій, сивий.
В снах поснули сині сосни,
Синя в соснах спить печера,
Чи печера, чи барліг.
Ходить Гільда синя, мстива.
Вечір виткав сині кросна.
А назустріч їй пантера.
Влітку дощ. Зимою сніг.

МИХАЙЛЬ СЕМЕНКО.
ПОВЕМА ПРО МАРУСЮ БОГУСЛАВКУ,
НОВУ ГЕНЕРАЦІЮ ТА АНГЛІЙСЬКУ БУЛАВКУ

Живий
я
ще
ви маєте рацію
заснував я недавно
Нову генераці
ю
кобзар
на базар
оселедці загортати
ой мій мам
ой моя тато
тремти у гроб
маруся в бога славка
нова генера
це
Англійська Булавка
збожеволів
збожеволі
збожевол
збожево
збожев
збоже
збож
збо
з
я ще не?!

[ПАВЛО ТИЧИНА].
ПІСНЯ ПРО ПОЕЗІЮ ТА ІНДОНЕЗІЮ

Люба сестронько, милий братику,
Чи ви знаєте математику,
Географію ще й політику?

Хай гикається мойму критику!
 Я писав колись про Івасика,
 Але годі з тим, то вже класика,
 Вже не тим моя душа збурена —
 Напишу я вам про «Мичурина»...
 Капітал на нас сичить-дується,
 Але ж в Індії голодується!
 Щоб не стали там справи гіршими,
 Я їх віршами, я їх віршами!
 Напишу, що помагається:
 Капітал уже розлагається,
 Є крім Індії — Індонезія...
 А поезія... Що поезія?

1952

III

НАПИСИ НА КНИЗІ «НЕВИГАДАНЕ ЖИТТЯ»

МИХАЙЛОВІ СТЕЛЬМАХУ

Тридцять літ писав я вірші —
 Часом кращі, часом гірші...
 Досить. Більше не грішу.
 Маєте цю давню прозу.
 Як запізнену загрозу,
 Що й нову я напишу.

МИКОЛІ РУДЕНКУ

Безперервно критикований
 (Тридцять п'ять чи й більше літ),
 Бачу образи казковими
 І казковим — білий світ.

Путь пройду мені прокладену, —
 Дощ не дощ, і грім не грім...
 Кажуть, чорт боїться ладану, —
 Ну, а я ж то тут причім?

САВІ ГОЛОВАНІВСЬКОМУ

Хай дивується Росія,
Баку, Прилуки і Тамбов,
Що я, як Сава — син Овсія,
Також на прозу перейшов.

Гріхи мої хай змиє Лета!
Боюсь я в глибині душі,
Що скажуть: проза у поета
Не краща за його «вірші».

РОМАНУ ЧУМАКОВІ.
НАПИС НА ТРИТОМНИКУ

За вашого чумакування
Оці три томи вийшли в світ, —
Про видання й перевидання
Тепер і мріяти не слід!
Але я все-таки гадаю,
Що для журби підстав нема —
Бо в тих рядках, що я складаю,
Живе поезія сама.
Ні вбити, ні перетворити
Її не пощастить на прах, —
Вона живе і буде жити
В нових невибраних томах.

22 вересня 1959

IV

ДО ОЛІМПІЙЦІВ

Рік війни минає швидко,
Чути подихи весни...
Що ж це й досі вас не видко
На страшних полях війни?

Десять місяців, я чую,
Все збирається ви в бій.

Чистить зброю, ладить зброю
І старий, і молодий.

Нащо, хлопці, ті вам коні,
Сідла, зброя й весь припас?
В міжнародному вагоні
Прибули б ви хоч на час.

Ох, забув я, що не в часі
Почалась для них війна!
Звикли їздить на Пегасі
Ті кіннотники здавна.

Олімпійці та герої,
Патріоти та бійці, —
З псалтирем замісто зброї
У божественній руці.

Плем'я сміле, плем'я горде
В славі затишній своїй,
Де ж твої «святі акорди»,
Щоб серця будили в бій?

Я вас, лицарі завзяті,
Тільки й бачив навкруги
В свята час, коли на святі
Роздавались пироги.

Що ж не видно вас сьогодні
На лихих шляхах війни,
Боягузи благородні,
Щиросерді брехуни?

Геть сумніви і турботи!
Кров'ю сходять рубежі.
Залишайте хатні дзоти
І запічні бліндажі.

На просторах України
В смертний бій ідуть брати!
Ми ждемо вас тут щоднини
Із Уфи й Алма-Ати.

Не баріться у дорозі,
Поки маєте ще час, —
Бо бува, по перемозі
Ми обійдемося без вас!

Ну яке ж без пісні свято!
Грім у полі одгримів —
Псалмопевцям час завзято
З ходу братись до псалмів.

Чорт із вами! Ворог згине,
Мир вітчизну осінить, —
Ви солдатів батьківщини
Хоч би словом спом'яніть.
Отоді ми й будем квіти.
Мавши всяк по булаві:
У гробах лежать побиті,
Сплять в Президії живі.

8-9 травня 1942

ПАВЛУ АНТОКОЛЬСЬКОМУ

Набридло листування в прозі,
Де зміст бреде, як віл в ярмі,
А муза вешталась в дорозі,
Мене покинувши в пільмі...
Чекаючи її приходу,
Часу я марно не губив:
Я пив, хоч не скажу, що воду,
Але й горілки я не пив.
Я пив тинктуру і мікстуру
(На день їх тричі треба пити) —
І проклинав літературу,
Що в печінках моїх сидить.
Тепер, з аптечного шинкваса
До краплі випивши напій,
Я осідлав свого Пегаса
І мчу до тебе, друже мій!
Наїзник в формі. Давня сила
Його жене в нестримний лет.
Пегасе, милий, ширше крила,
І не спиняючись — вперед!

Ну, що вже гірше для поета
І для його пророчих струн,
Коли гнобить його дієта
На вина, їжу і тютюн?
Траву жувати, мов корова,
І воду мати для пиття,
Це наче вірші Грибачова
Лише й читати все життя!
Я, друже, виріс на м'ясному,
На тютюнах та на вині —
У віршах січку та солону
Не легко споживать мені.
Коли б мені вина та м'яса
Та наплювать на лікарів,
Хто б наздогнав мого Пегаса,
Чого б я лиш не натворив!
Мене не дурно муза вчила:
Їж, пий, пиши та будь поет!
Пегасе, милий, ширше крила,
І не спиняючись — вперед!

А ти — який вживаєш трунок,
Простіше кажучи — напій?
Я знаю, в тебе добрий шлунок,
Ти м'ясоїд і винопий!
Хай здохнуть всі вегетар'янці
В поезії, як і в житті,
Хай дудки лопнуть в їх шарманці
В пісному тобто животі.
Як личить справжньому поету
Ти вмієш, друже, без зусиль
Спрягати шал хмільного лету
І розуму тверезий хміль.
Мерщій за стіл — стіло і келих
У вічнім шлюбі поєднай,
Пісень розумних і веселих
Нам, випиваючи, співай!
В твоїх піснях краса і сила, —
Їж, пий, твори, радій, поет!
Ану, Пегасе, ширше крила,
І не спиняючись — вперед!

ЖИТТЯ ВОЄННОГО КОРЕСПОНДЕНТА

Ви хотіли, хлопці, знати,
Як живеться на війні?

.....
Вечоріє. Б'ють гармати
Дзвонять шиби у вікні.

Самоліот летить над лісом,
То він бриє, то кружля.
Кров'ю, димом і залізом
Переповнилась земля.

У тісній селянській хаті,
На рипучім топчані,
Носом висвисти завзяті
Журналіст виводить в сні.

Ніч не спавши, не дрімавши,
Йшов він славі навздогін,
І спізнився він, як завше,
І заснув, стомившись, він.

Біля нього на долівці
Б'ється півень з гусаком,
За дверима блеють вівці,
Тхне гнойком і молоком.

Спить, не чує подорожній,
Офіцер середніх літ,
Як блокнот його порожній
У кутку шматує кіт.

Дужче й дужче б'ють гармати.
Сон зникає. Він встає.
І на двір виносить з хати
Все майно й добро своє.

Тиче з видом невеселим
(Оминем слівце круте!)
Свій трофейний «парабеллум»
У кобуру з-під «тете».

Тут, буває, що підводить
Коновод йому коня,
А буває, він виходить
В ніч і темінь навмання.

Як коли, то й на машині
З генералом їде він,
Та частіш з мішком на спині
Чимчикує сам-один.

Він бреде через долини,
По пісках і по траві,
І поета щохвилини
Зупиняють вартові.

Наливаються журбою
Очі й серце у бійця.
«Що ти ходиш полем бою
З недогризком олівця?

Ним ворожу силу кляту
Не зупиниш у бою.
Взяв би ти, поет, гранату.
Чи гвинтівочку мою!»

Степ гуде в лихому шалі,
Б'ється вогнище сліпе,
А поет проходить далі
Від «капе» і до «енпе».

Вже й світанок незабаром...
Якщо будемо живі,
Вип'єм чарку з комісаром,
А як трапиться, то й дві.

«Ну, во здоровіє піхоти!
Добре билися, орли!»
Де й взялися самолёти
І над нами загули.

Наш? Не наш? А він над лісом
Бомби сіє і кружля.
Кров'ю, димом і залізом
Переповнилась земля.

І тепер здається дивом
Той сніданок на траві,
І чому ми з начподивом
Залишилися живі.

Підвелися й подалися
Крізь бойовище сліпе —
Від узлісся до узлісся,
Від «капе» і до «енпе».

Знову бій і знов пожари,
Знову куль холодний спів...
Сунуть небом чорні хмари.
Ліс на бурю зашумів.

Не підводять нерви дужі,
Нам байдуже — ми заснем
На сухому і в калюжі,
Під дощем і під вогнем.

І не треба нас жаліти,
Недоречні тут слова.
Так ми можемо прожити
Скільки треба — рік і два.

Бо в боях ми тут пізнали,
Від душі — сповна чуття,
Чим для нас сьогодні стали
Батьківщина і життя.

Вб'є мене осколок міни,
Чи прострочить кулемет —
Вірним сином батьківщини
Жив поет і вмер поет.

Знав він, як гудуть гармати,
Воював, складав пісні...

... ..

От і все, що треба знати,
Як живеться на війні.

29 травня 1942

«МЕЖДУ НАМИ ДОЛГО БЫЛА КАКАЯ-ТО СТЕНА...»

Письма К. Чуковского к С. Маршаку

Их имена вошли в массовое сознание (с помощью расхожей критики) в виде некоего тандема, сиамских близнецов детской поэзии, литературной двустволки, стреляющей дуплетом: Маршак-Чуковский, Чуковский-Маршак. Что-то вроде «Ильф и Петров». Или «Маркс и Энгельс». Или «Макс и Мориц». Удобная легенда, создающая иллюзию ясности, когда далеко не все ясно.

Дело не только в том, что С. Маршак — выходец из глубоко русифицированной еврейской семьи, проведший детство в скитаниях по бесконечным российским провинциям — из пригорода в слободу, из слободы в предместье, из предместья еще на какую-то городскую окраину, а К. Чуковский, сын украинской крестьянки и неизвестного отца-еврея, родился в Петербурге и провел ранние свои годы в другом большом городе — в космополитическом котле, каким тогда была Одесса. Дело не только в этом, хотя и эти обстоятельства весьма значительны, поскольку все мы родом из детства, тем более — поэты, тем более поэты, сочиняющие для детей. Важно другое: невозможно даже нарочно придумать два столь несхожих человеческих характера, воплотивших себя в творчестве, столь же несхожем.

Бурный, экстатический Чуковский — и строгий, уравновешенный Маршак, страсть и захлеб одного — воля и чекан другого, «романтическое» и «классическое». Вот уж кто воистину был «дьяволом недетской дисциплины» — якобы детский поэт Маршак. Вот уж кто взаправду был демоном экстаза — якобы благостный «дедушка Чуковский». «Дионисийству» одного противостоит «аполлоничность» другого, если этим вышедшим из употребления терминам придать метафорический смысл.

«Так бегите же за мною / На зеленые луга!» — захлебываясь от безоглядного восторга восклицает Чуковский. «Полные жаркого чувства / Статуи холодны», — сдержанно напоминает Маршак с незаметной оглядкой на мра-

мор лессинговского «Лаокоона». Их решительное несходство и яркую индивидуальность — человеческую и литературную в единстве, ибо какое же здесь может быть разделение? — всегда остроумный В. Шкловский передал, сравнив их с Томом Сойером и Геком Финном (не без сарказма, сочувствовать которому не обязательно). Характеру «домашнего» и «уличного» мальчишек соответствует большая склонность Маршака к конформизму, большая ершистость и склонность к парадоксу Чуковского. Но Том и Гек, мы помним, сошлись и подружались...

Чуковский и Маршак сошлись на общем понимании смысла и задач литературы, на исповедании великого искусства, внятного всем, короче — сошлись на исповедании русской демократической культуры. Кризис отечественного народолюбия, выродившегося в коммунистический разгул и разгул кича, заставил искать замену рухнувшему в тартарары «народу». Замена была открыта в поистине великом «малом народе» — в детях. Детская субкультура была понята (или «восчувствована») как самая демократическая и, по-видимому, единственная общенациональная часть культуры.

Литературу для детей оба осмыслили не как «маленькую литературу», а как основоположение, краеугольный камень, не подвластный времени и моде, фундамент, закладываемый в основание личности на самых ранних этапах ее формирования. Интересы и представления взрослых людей разбросаны по разным социальным, профессиональным, возрастным, гендерным, политическим и прочим отсекам, но в детстве все пропитывается детской литературой, одними и теми же ее произведениями, которые в силу этого принимают на себя высокую функцию «главной книги», общенационального мифа.

В качестве другой важнейшей составляющей демократической культуры (то есть высокой и вместе с тем внятной всем) оба открыли для себя художественный перевод и сосредоточили на нем свои усилия — Маршак с большим уклоном в сторону художественной практики, Чуковский — преимущественно в сторону теоретического осмысления. Блестящих мастеров литературы, сложившихся или успевших начать свой путь до революции, новый мир — мир идеологического, лагерного и расстрельного террора — вытеснял из привилегированных, престижных жанров на литературные околицы, каковыми почитались детская литература и художественный перевод. В результате в советскую эпоху возникла небывало высокого качества литература для детей и уникального, нигде в мире не виданного уровня художественный перевод. Парадоксальным образом зло порождало добро, и объектами дьявольских игр — Мастерами — здесь были как раз Чуковский и Маршак.

Едва ли случайно то, что оба — Чуковский и Маршак — прошли школу английской культуры с ее развитым персонализмом, школу английской литературы, в которой открытие «детского мира» в качестве общенационально-

го мифа было совершено гораздо раньше. Оба были в известном смысле англоманами — русские деятели вообще нередко становились англоманами, идя по дороге либеральной демократии, и наоборот — приходили к идеям либеральной демократии, становясь англоманами (разумеется, в исконном, точном смысле слова, а не в нынешнем, «ожжириновленном»).

Маршак перевел «Шалтая-Болтая» — гениальную чепушинку, детский стишок, известный с малолетства каждому, кто говорит по-английски, и англичане приветствовали поэта-переводчика газетными шапками: «Он сделал Нимфту-Димфту русским!». Шалтай-Болтай — это, как полагают, просто куриное яйцо, и великая истина заключается в том, что уж если оно разбилось, никакая сила не сделает его целым:

*Вся королевская конница,
Вся королевская рать
Не может
Шалтая,
Не может
Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать!*

Чуковский тоже сделал Нимфту-Димфту русским, но по-другому: из разбитого английского яйца приготовил популярное детское лакомство, русский гоголь-моголь:

*И каждого гоголем,
Каждого моголем,
Гоголем-моголем,
Гоголем-моголем,
Гоголем-моголем потчует!*

В этом маленьком сопоставительном эпизоде сошлись детская поэзия, перевод, английский источник и веселое утверждение норм бытия, — все то, что сближает в сознании читателей имена Чуковского и Маршака. Маленький эпизод становится как бы моделью их отношений, далеко не всегда гладких и безоблачных, перемежавшихся острыми конфликтами, но неустанно стремившихся к гармонии на основе общего для них набора культурных ценностей.

Этому же — прежде всего литературе для детей и художественному переводу — в основном посвящена и переписка К. Чуковского с С. Маршаком. И еще — защите людей искусства, культурных деятелей, которые очень нуждались в защите, которых было от чего защищать в эпоху Чуковского и Маршака.

* * *

Здесь публикуются все 32 дошедших до нас письма К. Чуковского С. Маршаку. За пределами публикации осталось лишь несколько поздравительных открыток и телеграмм (частично использованных в комментариях) и еще одно письмо — неотправленное, но практически целиком вошедшее в публикуемое письмо от 9 ноября 1962 г.

Обратная корреспонденция — от С. Маршака К. Чуковскому — полностью опубликована в последнем томе восьмитомного собрания сочинений С. Маршака (С. Маршак. Собр. соч. в восьми т. Т. 8: Избранные письма. — М.: Художественная литература, 1972) и тоже частично воспроизводится в комментариях (с сокращенной ссылкой на это издание: С. Маршак. Т. ... — С. ...).

Письма Чуковского очевидным образом сохранились не полностью: отсутствуют ответы на некоторые обращения С. Маршака и наоборот — некоторые письма С. Маршака отвечают на отсутствующие обращения К. Чуковского. По сути, переписку следовало бы начинать не с 1930 года, как в этой публикации, а с 1920-х годов, но начало переписки, к сожалению, утеряно, кажется, безвозвратно.

Оригиналы писем находятся в семье С. Маршака; здесь они печатаются по фото- и ксерокопиям из архива К. Чуковского, любезно предоставленным Еленой Цезаревной Чуковской, которой редакция «Егуца» выражает свою глубокую благодарность.

1

<начало 1930>

Дорогой Самуил Яковлевич!

Вместе с сим я отправляю Ханину¹ подробное письмо о своих книжках. Мне было совестно обременять Вас, переутомленного, всеми своими докуками. Пусть они заденут Вас только самым маленьким краешком. Хлопочу главным образом о «Крокодиле». Прошу разрешить хоть семь тысяч экземпляров². То есть в десять раз меньше, чем требует рынок. Надеюсь, что Вы, Эпштейн³, Луначарский⁴, Ханин можете добиться этой скромной победы.

Видели, как я переработал «Бурундучиху» Еллинского⁵? Это талантливый человек, с огромным запасом сведений, но — лишенный самого элементарного вкуса. Возьмитесь за него, он того стоит.

Воображаю, как Вы устали. У меня тоже была проклятая зима. И как было бы чудесно нам обоим уехать куда-нибудь к горячему морю, взять Блейка и Уитмена⁶ и прочитать их под небом. У нас обоих то общее, что поэзия дает нам глубочайший — почти невозможный на земле — отдых и сразу обновляет всю нашу телесную ткань. Помните, как мы среди всяких «радужных»⁷ дрызг вдруг брали Тютчева или Шевченка — и до слез прояснялись оба. Ни с кем я так очистительно не читал стихов, как с

Вами. Странное дело: сколько ни пробовал я читать стихи с Тыняновым⁸, которого люблю как родного, — ничего не выходило. Стихи даже разъединяли нас, отчуждали.

Это я говорю к тому, что в кабинете у Гефта⁹ Вы очень больно обидели меня.

Письмо я пишу ночью — и потому оно — о постороннем.

Не слышком порицайте мои «Новые загадки»¹⁰, они выжаты из усталых мозгов.

После «Топтыгина и Лисицы»¹¹ я бросил детскую литературу — и снова взялся за брошенную свою книгу о Толстом.

Ваш Чуковский

¹ Д.М.Ханин (1903-1937, расстрелян) — заведующий отделом детской и юношеской литературы Госиздата РСФСР, член правления издательства «Молодая гвардия».

² Сказка К.Чуковского «Крокодил» была написана в 1915-1917 годах и впервые опубликована в журнале «Для детей» (прилож. к журналу «Нива») — во всех его двенадцати номерах за 1917 г., т.е. публикация началась еще при монархии, продолжалась между февральской и октябрьской революциями и закончилась уже при советской власти. Это «нечисто советское» происхождение самым трагическим образом отразилось на судьбе сказки (см. главу «Крокодил в Петрограде» в кн.: М. Петровский. Книги нашего детства. — М.: Книга, 1986). Восторженно встреченная поначалу читателями и критикой, она, начиная с 1920-х годов непрерывно подвергалась преследованиям и запретам властных советских учреждений — то за якобы содержащиеся в ней политические намеки, то просто потому, что это — сказка (см. главу «Борьба за сказку» в кн. К.Чуковского «От двух до пяти»). С дикими невежественными обвинениями обрушилась на «Крокодила» Н.К.Крупская (Правда, 1928, 1 фев.), поставив автора на грань литературной и гражданской катастрофы. Возражение М.Горького (Правда, 1928, 14 марта) помогло восстановить гражданскую репутацию К.Чуковского, но не изменило судьбу сказки. В апреле 1929 года Главсоцвос вновь запретил переиздание «Крокодила».хлопоты К.Чуковского об отмене запрета не увенчались успехом, разрешение не было получено. После 1927 года отдельное издание «Крокодила» состоялось лишь десять лет спустя, а потом вновь последовал почти четвертьвековой запрет — до 1964 года.

³ М.С.Эпштейн (1980-1938, расстрелян) — заведующий Главсоцвоса, член коллегии Наркомпроса, заместитель наркома просвещения.

⁴ А.В.Луначарский (1875-1933) — советский политический деятель, критик, публицист, литературовед, драматург, переводчик. До 1929 года — нарком просвещения РСФСР.

⁵ Елинский Б. Бурундучиха. (Рассказ) Рис. В.Кобелева. — М.-Л.: Гиз, 1930.

⁶ Над переводами из английского поэта Уильяма Блейка (1757-1827) С.Маршак работал с ранней юности и предполагал, что эти переводы станут его первой отдельной книгой; судьба распорядилась так, что они стали первой его посмертной книгой. Точно так же всю жизнь работал над переводами американского поэта Уолта Уитмена (1819-1892) К.Чуковский.

⁷ Т.е. связанных с издательством «Радуга» (1922-1930). В этом частном издательстве в 20-е годы вышли все основные издания детских книг С.Маршака и К.Чуковского. Единственным управителем издательства был его хозяин Л.М.Клячко — известный до революции журналист, «король репортеров». К.Чуковский вспоминал впоследствии: «Когда я привел к нему Маршака, тогда же, в самом начале 1922 г., он встретил его с восторгом, как долгожданного друга, издал томик его пьес и был очарован его даровитостью. [...] Весь 1922 и 1923 год мы работали у него с Маршаком необыкновенно дружественно, влияя друг на друга — потом отчасти эта дружба замутилась из-за всяких злобных наговоров Бианки и отчасти Житкова [...] и я не то чтобы поддался их нашептываниям, но отошел от детской литературы и от всего, чем жил тогда М[арш]ак» (К.Чуковский. Дневник. 1930-1969. — М.: Советский писатель, 1994. — С. 280-281).

⁸ Ю.Н.Тынянов (1894-1943) — писатель и литературовед, один из зачинателей т.н. «формального метода» в литературоведении (см. мемуарный очерк о нем в кн. К.Чуковского «Современники»).

⁹ И.С.Гефт (1897-1938, погиб в лагере) — заведующий издательством «Ленотгиз».

¹⁰ Новые загадки. Рис. М.Синяковой. — М.: Гос. изд-во, 1930.

¹¹ К.Чуковский называет свою сказку неточно, надо — «Топтыгин и Лиса»; впервые в составе кн.: Барабек и другие стихи для детей. Рис. В.Конашевича. — Л.: Гос. изд-во, 1929

2

Б.д. <август 1936>

Дорогой Самуил Яковлевич.

Здесь в Киеве мы с Квиткой окончательно выбирали и рассматривали переводы его стихов на русский язык, чтобы составить из них книжку¹. И чуть-чуть призадумались над концом «Лошадки». Общий тон превосходен, но есть две-три детали, которые мы решили просить Вас переделать, зная, что Вы сами любите многократно возвращаться к своим произведениям, чтобы снова и снова перерабатывать их. Мы усердно просим Вас в строфе:

Но ты же не видел,
Сосед, его ног

и.т.д.

заменить слово сосед каким-н[и]б[удь] другим. И последнюю строфу хотелось бы сделать в таком роде:

(Сосед... ни слова,
Лежит и молчит.)
*Задумчиво мальчик
Удвери стоит.*

Мы с Квиткой припадаем к вашим стопам и просим принять именно такой вариант, так как хочется закончить стихотворение не соседом, а мальчиком².

Здесь благодать. Дыни! Груши! Добрые днепровские ветры, смягчающие лютую жару.

Ваш К.Чуковский

Измененные тексты просим прислать на адрес Квитко: ул. Ленина 68, кв. 12. Киев.

¹ Л.Квитко. В гости. (Пер с евр.). Рис В. Конашевича. — М.-Л.: Детиздат, 1937. Лев (Лейб) Квитко (1890[?] —1952, расстрелян) — еврейский (идиш) поэт. В середине 1930-х годов К.Чуковский «открыл» его для русского читателя (до того стихи Квитко существовали только на языке оригинала и в украинских переводах) и много способствовал популярности поэта. Творчеству Квитко К.Чуковский посвятил несколько работ (начиная со статьи «Замечательный поэт» — «Красная газета», 1936, 2 июня), включал страницы о нем в книгу «От двух до пяти» и мемуарный очерк в книгу «Современники».

² «С большой готовностью исполнил бы я Вашу просьбу и придумал новое заключительное четверостишие для «Лошадки», — отвечал С.Маршак в письме от 28 авг. 1936 г. — <...> Но сколько я ни пытаюсь сейчас вернуться к «Лошадке», оседлать ее вновь мне не удается...» (С.Маршак. Т.8. — С. 152). В дальнейшем стихотворение печаталось без изменений.

3

5 сентября 1936
Крым. Кореиз. Гаспра.
Санатория КСУ

Дорогой Самуил Яковлевич.

Вы спрашиваете, каков состав редактируемого мною сборника стихотворений Квитки¹. Состав такой.

— Все переводы Квитки, сделанные Маршаком².

— «Кисанька» — хороший перевод Погореловского³.

— «Медведь» — хороший перевод Благининой⁴.

— «Вилка» — старательный перевод Тараховской⁵ (я забраковал предварительно около 30 вариантов ее перевода, и теперь вышло не поэтично, но грамотно).

— «Бабка Мирл» — неплохой перевод Спендиаровой⁶.

— И ужасный перевод «Лошадок» («Те лошадки шальные») — сделанный М.Светловым⁷. Этот перевод нравится Оболенской⁸ («почему не знаю, но он мне очень нравится»), и хотя я принял его при условии, что Светлов переделает его коренным образом, почему-то считается, что он уже и сейчас замечателен.

Там есть ужасная строчка:

«Будешь всадник мчащийся»

— А мне нравится! — говорит Оболенская.

Очень буду рад, если Вам удастся улучшить каким-нибудь фантастическим образом время — и закончить перевод «Яслей»¹. Сейчас Квітко написал великолепную поэму о быке, — о взбесившемся быке, которого укротил рыжебородый Эзра (силач, очень маленького роста с длинной огненной бородой). Начинается так:

Эзра, Эзра, во из Эзра?

Обещал перевести эту вещь Заболоцкий¹⁰.

Только на Украине я убедился в колоссальной Вашей славе. В далеких селах, вдали от железной дороги, школьники расспрашивали о Вас как о самом близком человеке.

В Центральной библиотеке висит ваш портрет — превосходно исполненный. На Крещатике, над магазином «Детский мир» висит большая картина (не плакат, а картина под стеклом) величиною с двери: «Идет бразильский почтальон»¹¹. И.т.д., и т.д., и т.д.

Невежественны школьники по части литературы: я спросил десятиклассников лучшей школы:

- Когда родился Шевченко?
- В семидесятых годах.
- Какого столетья?
- Восемнадцатого.

Это ответ отличницы.

Ваш Чуковский.

¹ См. прим. 1 к предыдущему письму.

² С.Маршак перевел шесть стихотворений Л.Квитко: «Письмо Ворошилову», «Ложка-поварешка», «Лошадка», «Урожай», «Жучок», «Юные ворошиловцы». Во время работы над сборником стихотворений Л.Квитко между С.Маршаком-переводчиком и К.Чуковским-составителем возникли трения, о которых последний сделал запись в Дневнике (14 февр. 1936): «Сейчас позвонил мне Маршак. Оказывается, он недаром похитил у меня в Москве две книжки Квитко — на полчаса. Он увез эти книжки в Крым и там перевел их — в том числе «тов. Ворошилова», хотя я просил его этого не делать, т.к. Фроман месяц сидит над этой работой — и для Фромана перевести это стихотворение — жизнь и смерть, а для Маршака — лишь лавр из тысячи...» (К.Чуковский. Дневник. 1930-1969 ... — С. 136).

³ С.В.Погореловский (1910-1995) — поэт, переводчик.

⁴ Е.А.Благинина (1903-1989) — детский писатель, поэт, переводчик.

⁵ Е.Я.Тараховская (1895-1968) — поэт, переводчик.

⁶ Т.Я.Спендиарова (1902-1990) — поэт, переводчик.

⁷ М.А.Светлов (1903-1990) — поэт, переводчик, драматург. Выполненный Светловым перевод «Лошадок» не вошел в кн. «В гости».

⁸ Е.М.Оболенская (1889-1964) — редактор московского Детгиза.

⁹ Перевод этого стихотворения не был завершён С.Маршаком.

¹⁰ Н.А.Заболоцкий (1903-1958) — поэт, переводчик. Стихотворение, о котором здесь речь, входило в книги Льва Квитко (под названием «Эзра и бык», «Бык») в переводе В.Державина.

¹¹ Из стихотворения С.Маршака «Почта» (1927).

4

Б.д. <1939>

Дорогой Самуил Яковлевич.

На обороте титула моей книжки «От 2 до 5» (9-ое изд.)¹ напечатано:

Для детей старшего возраста.

Эта строка появилась без моего ведома. Кто написал ее, неизвестно. Она противоречит всем установкам книги, которая предназначена для матерей, отцов, воспитателей, филологов, детских писателей, но отнюдь *не для детей*. Пожалуйста, исследуйте, кто и зачем вписал эту лживую строку.

Ваш К.Чуковский.

¹ К.Чуковский. От двух до пяти. — М.: Детгиз, 1939.

5

Б.д. <1940?>

Дорогой Самуил Яковлевич.

От всей души поздравляю вас с великой наградой!¹ Вы вполне заслужили ее самоотверженным, страстным и мучительно-тяжелым трудом.

Я знаю как Вы сейчас утомлены и все же не могу не напомнить Вам, что мы дали Сундукову² обещание исправить несчастную «Родную речь»³. Я познакомился с другими учебниками для первого класса. К моему удивлению оказалось, что и Арифметика и Букварь — *превосходны*, плоха только «Родная речь». Больно будет, если и в следующем году школьники окажутся вынуждены пользоваться этой бездарной халтурой. Я мог бы исправить «Родную речь» в несколько дней — и потом прислать ее Вам для дополнительной правки, но Сундуков, как мне кажется, вовсе не желает нашей помощи. По крайней мере я вынес такое впечатление из недавнего разговора с ним (по другому поводу).

Что же нам делать? Не поговорить ли с Потемкиным?⁴

Весь Ваш Корней Чуковский.

¹ Указом Верховного Совета СССР от 31 марта 1939 г. С.Маршак был награжден орденом Ленина (в группе 172-х писателей) «за выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы» (Правда, 1939, 1 фев.).

² Н.А.Сундуков — директор Учпедгиза (издательства учебно-педагогической литературы).

³ По поводу этого издания К.Чуковский писал дочери: «Я сказал Сундукову, что в крайнем случае, если в мае не удастся представить учебник, — мы можем <...> выручить Учпедгиз. Но этого крайнего случая не будет. Вчера мне удалось убедить М<арша>ка не ездить никуда, не хлопотать, не тратить силы на борьбу с Наркомпросом, а — ДЕЛАТЬ учебник...» (Корней Чуковский. Лидия Чуковская. Переписка: 1912-1969. — М.: НЛЮ, 2003. — С. 268. См. там же письма №№ 182, 187, 188).

⁴ В.П.Потемкин (1878-1946) — ученый и государственный деятель, в тридцатые годы заместитель наркома иностранных дел, в 1940-1946 — народный комиссар просвещения РСФСР.

6

Б.д. <декабрь 1941>

Ташкент, ул. Гоголя 56, кв. 23.

Дорогой Самуил Яковлевич. Ваши «Баллады и песни»¹ стали моей любимой книгой. Я и не ожидал, что Вы — мастер не только *стального* стиха, но и «влажного» (по терминологии Блока). Неожиданными явились для меня «Джемми», «В полях под снегом», «Цыганка»² и др. В них столько подлинной *страсти и лирики* — такие черты, которые только просвечивали в Ваших детских стихах. По новому зазвучали для меня детские Ваши стихи. Многое я понял в них и полюбил (под влиянием «Баллад»). В здешнем Пединституте я прочитал *четыре лекции* о Вашем творчестве, теперь у меня слушатели списывают «Королеву Элино» и «Кто к нам стучится» и «Честную бедность». Ваша книга здесь для меня одна из немногих моих радостей, а Вы знаете, какую радость может доставлять мне книга стихов.

Рядом с Вами другие переводчики — почти все — косноязычные заики.

Жаль, что я не имею экземпляра «Баллад» (мне дала Вашу книжку Анна Андреевна³). Самая главная Ваша сила — чувство стиля, которое растет с каждым годом. (Я по-прежнему возражаю только против строки: «а сам я внизу — козу — внизу», два зу, но м[ожет] б[ыть] я не прав)⁴.

Жаль, что сюда не вошли Ваши переводы из Шекспира.

Война помешала мне закончить книгу «Двенадцать портретов»⁵, над к[ото]рой я возился последние годы. Я (м[ожет] б[ыть] слишком поздно) понял, что основное мое призвание — характеристики, литер[атурные] портреты, и мне было весело работать над ними.

Здесь я живу хорошо, хотя и бедствую, ибо никаких денег у меня нет. Приходится зарабатывать тяжелым трудом: лекциями, выступлениями. Но хорошо хоть то, что лекции мои собирают народ, и что у меня есть еще силы читать их. Я бросил все мое имущество на произвол судьбы, т.к.

уехал внезапно. Не знаю, дошло ли до Вас то мое письмо, где я благодарил Вас и Софью Михайловну⁶ за дружеское отношение к Лиде⁷. Без Вашей помощи Лида не доехала бы до Ташкента — этого я никогда не забуду.

Получили ли Вы машину? Моя машина погибла по моей глупости, как погибла и вся моя библиотека.

Это не волнует меня только потому, что я уверен: погиб Боба⁸. От него нет ни слуху ни духу. Он был с начала войны на смоленском направлении.

Как живете Вы? Сообщите пожалуйста!

Ваш К. Чуковский.

Привет Квитке, Михалкову, Семьнину, Зощенко, Ильину⁹.

¹ С.Маршак. Английские баллады и песни. <Ред. А.Твардовский> Рис. В.Лебедева. — М.: Сов. писатель, 1941.

² Имеются в виду стихотворения Р.Бернса в переводе С.Маршака: «Ты меня оставил, Джеми», «В полях, под снегом и дождем», — и народная баллада «Графиня-цыганка».

³ А.А.Ахматова, находившаяся в ташкентской эвакуации.

⁴ Из переведенного С.Маршаком стихотворения Р.Бернса «В горах мое сердце».

⁵ Первоначальный замысел книги, осуществленной позднее — сначала под назв. «Из воспоминаний» (М.: Сов. писатель, 1959), а затем, в значительно расширенном виде под окончательным названием «Современники» (первое изд-е: М.: Мол. гвардия, 1962).

⁶ С.М.Маршак, жена С.Маршака.

⁷ Лидия Корнеевна Чуковская (1907-1996) — писательница, редактор, дочь К.Чуковского. С.Маршак помог Л.К.Чуковской, только что перенесшей тяжелую операцию, выбраться из холодного и голодного Чистополя (вместе с дочерью Еленой и племянником Евгением, сыном погибшего брата Бориса), предоставив им место в поезде, идущем в Ташкент. (См.: Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой: 1938-1941: В трех т. — Т. 1. М.: Согласие, 1997. — С. 235-236.

⁸ Сын К.Чуковского Боба (Борис Корнеевич Чуковский, 1910-1941) погиб в самом начале войны под Можайском.

⁹ Л.М.Квитко — см. прим. 1 к письму от 5.9.1936; С.В.Михалков (род. 1913 г.) — писатель, секретарь Союза писателей; П.А.Семьнин (1909-1983) — поэт; М.М.Зощенко (1985-1958) — писатель; М.Ильин (Илья Яковлевич Маршак, 1895-1953) — писатель, брат С.Маршака. Все они в пору этого письма находились в эвакуации в Алма-Ате.

12 марта 1942

Дорогой Самуил Яковлевич.

Спасибо за телеграмму. Какое счастье, что Туся и Шура¹ здоровы! Лида все эти месяцы оплакивала их как погибших. И всякий раз, когда я читал в газете слово «Ленинград», я представлял себе пепельно бледные лица Туся и Шуры.

У меня все же есть упрямая уверенность, что мой Боба не погиб. Известий о нем я не имею с 5 октября — и все же не теряю надежды.

Как-то живется Вам в Москве? Что Вы пишете? Что поделяетесь? Напишите, пожалуйста, подробно о себе. Я, как это ни странно, написал военную сказку в стихах — на манер «Крокодила»². Написал в 2 дня — гораздо быстрее, чем пишу прозу. Хотелось бы по старой памяти прочитать Вам и выслушать братскую критику. Лида и Тихонов (Ал[ександр]Ник[олаевич]³) хвалят очень. Сегодня прочту ее Ал.Н.Толстому.

Выходит здесь моя книжка «Дети и война»⁴. Конечно, куда я писал эту книжку, куда печатал ее, многие факты успели уже устареть, но все же прочтите там главу «Узбекистан и дети»⁵ — о том, как приютили здесь 85 000 эвакуированных детей. В этом деле советская гражданственность выдержала труднейший экзамен. Почти каждый день я читаю здесь лекции, выступаю в детдомах и проч. Состою членом Республиканской Комиссии помощи детям — эта работа захватила меня целиком. Лиду тоже: она с раннего утра до вечера работает в различных детдомах — и пишет книгу об эвакудетях.

К сожалению, Коля⁶ все еще в Ленинграде. Нельзя ли, дорогой С[амуил] Я[ковлевич], как-нибудь вызволить его оттуда по линии Союза писателей?

Сейчас я узнал, что у него повреждена левая нога. Он на фронте с первой недели войны. Написал по личным впечатлениям книгу «Летчики». Квартира его в Л[енингра]де разбомблена. И теперь, когда Союз писателей хлопочет о сохранении жизни своих активистов, было бы вполне уместно поставить вопрос о Николае Чуковском — члене президиума Л[енинградского] о[тделения] Союза писателей. Семья его в очень тяжелом положении в Краснокамске (Молот[овской] обл.). Хоть бы ему на месяц — повидать семью.

Адрес Коли: Л-д. Краснозн. Балт. Флот. Военно Морская станция № 1101, почтовый ящик 924. Редакция.

Я написал бы о нем Фадееву, но мне говорили, что Ф[адеев] — болен. И после того как Вы столько сделали для Лиды, мне естественно обратиться именно к Вам.

Ахматова шлет вам сердечный привет. Здесь ее чтут. Она работает в госпиталях, написала неск[олько] патриотич[еских] стихотворений, от ее поэмы в восторге [Ал.Н.] Толстой и другие понимающие люди. Я часто встречаюсь с Пешковыми⁷ — чрезвычайно милые и сердечные женщины. Собираюсь в Москву, и был бы уже там, да захворала Мар[ия] Бор[исовна]⁸, а потом захворал я, а потом — внуки, а потом опять я. Где Софья Михайловна? Надеюсь, что в Алма-Ата.

Обнимаю вас.

Ваш Чуковский.

¹ Т.Г.Габбе и А.И.Любарская, сотрудницы Ленинградской редакции Детгиза («маршаковская редакция»), оказавшиеся в блокадном Ленинграде. К.Чуковский благодарит С.Маршак за обнадеживающий ответ на его телеграмму из Ташкента: «Телеграфируйте возможность моего участия Ваших хлопотах выезда Тамары Шуры». С.Маршак и К.Чуковский хлопотали об их эвакуации, которая состоялась в том же 1942 году. О Т.Г.Габбе см. прим. 1 к письму от 5 мая 1960 г.

² Сказка «Одолеем Бармалея».

³ А.Н.Тихонов (Серебров, 1880-1956) — писатель, издательский деятель.

⁴ Дети и война. — Ташкент: Госиздат УзССР, 1942.

⁵ Эта глава выходила отдельной книжкой: Узбекистан и дети. — Ташкент: Госиздат, 1942.

⁶ Николай Корнеевич Чуковский (1904-1965) — сын К.Чуковского, писатель. Его роман о летчиках — «Балтийское небо» (1954).

⁷ Пешковы — первая жена М.Горького Екатерина Павловна (1876-1965), вдова его сына Максима Надежда Алексеевна («Тимоша») и его внучки Марфа и Дарья.

⁸ Жена К.Чуковского.

8

Б.д. <1942>

Дорогой Самуил Яковлевич.

Генрих Леонидович Эйхлер¹ по-прежнему вдали от Москвы. Адрес его такой: станция Шокай, Карагандинская область, Осокаровский район, 24 поселок. Врачу Ходке.

Самый этот адрес показывает, что Эйхлеру необходимо помочь². У него язва желудка. Ему нужна диета. Помогите ему, дорогой. Я говорил со здешними властями, но помочь ему может только Москва.

Это благороднейший работник детской литературы, преданный ее рыцарь и друг.

Я уверен, что все это дело произошло по ошибке — в спешке — в суматохе прошлогодних октябрьских дней.

Сейчас по Лидиной инициативе Толстой, Черкасов и я послали телеграмму о Шурочке. Хлопочем о ее переезде в Свердловск.

Почему не уезжает Тамара Григорьевна?

Лидя закончила отличную книгу: «Слово предоставляется детям»³. Поразительно переданы детские интонации в рассказах о немецких зверствах. Что делать с этой книгой? Здесь издает ее отделение «Советского писателя», но небольшим тиражом⁴. А между тем это — книга большой агитационной силы.

Я написал лучшую свою сказку — стихами — больше 500 строк — о гитлеровщине, о войне⁵ — все хвалят, но как бы мне хотелось показать ее Вам!

Как Ваше здоровье? Что Вы пишете? Что читаете? Что переводите?

У меня нет сведений о судьбе Бобы. Должно быть погиб. А Коля в Ленинграде по-прежнему.

Весь Ваш К.Чуковский.

¹ Генрих Леопольдович (а не Леонидович, как у К. Чуковского) Эйхлер (1901-1953) — детский писатель, редактор, сотрудник Детгиза.

² Адрес с несомненностью свидетельствовал, что Эйхлер пребывает в ссылке, куда он попал осенью 1941 года. Все советские граждане немецкого происхождения рассматривались как потенциальные пособники врага и были репрессированы. Вызволить Эйхлера из ссылки, несмотря на писательские хлопоты, не удалось.

³ Л. Чуковская. Л. Жукова. Слово предоставляется детям. (Рассказы детей о войне). — Ташкент: Советский писатель, 1942.

⁴ Книга была издана тиражом 10 тыс. экземпляров.

⁵ «Одолеем Бармалея».

9

3 янв[аря] 1943

Дорогой Самуил Яковлевич! — Я хотел писать Вам в Алма-Ата, но случайно узнал, что Вы в Москве. Тем лучше. Ибо разговор у меня с Вами московский. Дело в том, что у меня пишется книга «25 лет сов[етской] детской литературы». Книга эта органически выросла из доклада, который я сделал на здешнем пленуме советских писателей. Пленум был большой и довольно нелепый. Докладов было сделано двадцать — в том числе и о дет[ской] лит[ратуре], — коротенький, отнюдь не центральный. Я брался за писание этого доклада со скукой, но едва только написал первые строки, увидел, что эта тема — *моя*, что я могу сказать о ней много такого, что именно сейчас необходимо людям, как хлеб. Это страшно актуальная тема: об универсальности дет[ской] литературы, ее всенародности. В качестве разительного примера я привожу Ваши сатиры, которые являются триумфом раньше всего дет[ской] литературы, ее методов, кот[орые] именно поэтому народны. Вообще Ваше творчество у меня в центре доклада. Словом, тут большая и довольно сложная концепция. На ее основе мне и хотелось бы построить книгу, — без внешнего блеску, но внутренне убедительную¹. Тема эта для меня жгучая, и вот я хочу Вас спросить о двух-трех вещах, с нею связанных.

1. Застану ли я Вас в Москве, чтобы прочитать ее Вам? (Я приехал бы в феврале).

2. Есть ли в Москве библиотеки, где можно работать, или они все временно закрыты?

3. Где можно было бы *с пользой для дела* прочитать на эту тему доклад?

Польза для дела может быть в таком месте, где можно развернуть по этому поводу серьезные прения. (Наркомпрос? ЦК ВЛКСМ?) Вам это виднее. Подумайте, пожалуйста, об этом. Тема эта мне очень дорога. Уверен, что и Вы к ней небезразличны, к ее принцип[иальной] стороне.

Жаль, что в тот мой приезд Вы были в больнице. Мне хотелось бы обо многом побеседовать с Вами. Между прочим, здесь, в уединении, я сильно двинул свою книгу о Чехове². Надеюсь, Шурочка³ рассказала Вам, что я не мог предоставить квартиру Т[амаре] Г[ригорьевне]⁴, т.к. моя квартира была занята посторонними. Я живу здесь неплохо, работаю всласть, но много хвораю, постарел, не могу придти в себя после известия о Бобе. Желая Вам от души всего доброго. Мне больно думать, что Вы могли случайно прочитать мою сказку в «Пион[ерской] Правде» и вообразить, будто она такова⁵. Между тем это черновик черновика, я с тех пор перекорезил ее всю, выбросил из нее все вялое, банальное, дряблкое, — и не сомневаюсь, что в теперешнем виде она придется Вам по душе. Видите, как я самонадеян. — Жду ответа: ул.Гоголя, 5б. Здесь весна: весь декабрь и январь — солнце, зелень, ни единой тучи. Я сплю при открытом окне.

Ваш К.Чуковский

¹ Этот замысел не был осуществлен, но некоторые его части (тогда же) появились в печати: «...Слово «народ» теперь наполнено другим содержанием, чем прежде. Теперь народ — не одно лишь крестьянство, как было в эпоху Ершова, но и вся огромная масса трудящихся. Знаменательна в этом отношении литературная судьба Маршака. Работая для многомиллионных масс детворы СССР, он, вместе с некоторыми другими поэтами, добился универсальности, массовости, всенародности своего литературного стиля. И это лучше всего обнаружилось во время войны, когда он мобилизовал себя для писания плакатов. Эти стиховые плакаты обладают такой общедоступной, неотразимой формой, что, прочти их на заводе, в метро, в казарме, на бегу, впопыхах, вся их мысль сразу дойдет до тебя, будь ты хоть тугоумный, хоть усталый, хоть сонный. Они лаконичны, как выстрел, и, хотя они написаны для взрослых, я вижу в них один из триумфов нашей детской поэзии, так как, только пройдя долгую, многотрудную школу поэтического творчества для малых детей можно достичь такой четкой структуры, такой алмазной чеканки стиха. У Ершова стихи для народа, в силу своей народности, сделались детскими. У плеяды наших детских поэтов стихи для детей стали народными.» (К.Чуковский. У живого источника. — Литература и искусство, 1943, 13 фев.)

² Впервые: О Чехове. — М., Худож. литература, 1957.

³ А.И.Любарская.

⁴ Т.Г.Габбе.

⁵ Ранний вариант сказки «Одолеем Бармалея!» был опубликован частями в шести номерах «Пионерской правды» в сентябре-августе 1942 года.

Дорогой Самуил Яковлевич.

Только теперь могу я снова взяться за своего «Бармалея»¹. За это время я написал книгу о Чехове, новую книгу о Уитмане (20 печ[атных] листов), полкниги о Репине.

После большого перерыва глянул свежими глазами на «Одолеем Бармалея» и забраковал очень многое. То, что забраковано мною, я зачеркнул синим карандашом. То, что кажется мне стоящим, я очеркнул красным. Но есть у меня сомнительные места (стр. 21-27). Будьте добры, прочитайте книжку и скажите мне свое мнение об этих местах — и вообще обо всем.

Я в эту книжку верю и кое-что в ней люблю, но мне нужен дружеский совет.

Ваш К. Ч.

¹ Сказка «Одолеем Бармалея!» самым непредсказуемым образом то разрешалась к печати, то запрещалась. Пытаясь защитить свою сказку Чуковский обращался к коллегам за поддержкой, но не нашел ее у С.Маршака: «...Дело идет не о том, чтобы расхвалить мою сказку, а о том, чтобы защитить ее от подлых интриг Детгиза. Но он стал «откровенно и дружески», «из любви ко мне» утверждать, что сказка вышла у меня неудачная, что лучше мне не печатать ее, и не подписал бумаги, которую подписали Толстой и Шолохов. Сказка действительно слабовата, но ведь речь шла о солидарности моего товарища со мною...» (К.Чуковский. Дневник. 1930-1960. ... С. 164). Этими обстоятельствами, возможно, объясняется последовавший более чем десятилетний перерыв в переписке. 1 марта 1944 года в «Правде» появилась статья одного из ведущих советско-партийных функционеров П.Юдина «Пошлая и вредная стряпня К.Чуковского», предъявившая автору политические обвинения, подкрепленные через несколько дней статьей С.Бородин «Быль и зоология» в газете «Литература и искусство» (1944, 4 марта). Этот инспирированный партийно-государственными верхами удар навсегда покончил со сказкой.

11

8 ноября 1954

Дорогой Самуил Яковлевич.

Я в Барвихе. Здесь все напоминает мне о Вас, и я, ни с того, ни с сего, сидя одиноко в палате (а южный, совсем не ноябрьский ветер веет с озера в открытую балконную дверь) надумал написать Вам эти строки. Может быть это произошло потому, что работая здесь над десятым изданием своей книжки «От двух до пяти»¹, я то и дело подкреплял свои мысли Вашими стихами, Вашими сказками. Между прочим я говорю в ней о том, что те Ваши сказки, которые мы называем «потешными», «шуточными», «развлекательными», на самом деле имеют для ребенка познавательный смысл — и ссылаюсь при этом на самую озорную из Ваших сказок — на «Рассеянного». Посылаю Вам эти странички своей будущей книги. Очень хотелось бы знать, согласны ли Вы с моей мыслью².

В предисловии к книге я указываю, что материал для нее сообщили мне Качалов, Собинов, Вс.Иванов, А.Н.Толстой. Разрешаете ли Вы мне указать и Ваше имя?³

Вскоре пришлю Вам 2-е изд. «Мастерство Некрасова»⁴ и хотел бы получить от Вас какую-нибудь из Ваших последних работ.

Ваш К. Чуковский.

¹ От двух до пяти. Изд. испр. — М.: Сов. писатель, 1955.

² «То, что Вы пишете о познавательной ценности веселой книжки, конечно, совершенно правильно и полезно, — отвечал С. Маршак в письме от 11 нояб. 1954 г., — В раннем возрасте познание неотделимо от игры. Не понимают этого только литературные чиновники, которые ухитрились забыть свое детство так прочно, будто его никогда и не было». (С. Маршак. Т. 8. — С. 275).

³ «Если вам понадобится упомянуть в предисловии мое имя, то, разумеется, я ничего не имею против, — мне это будет только приятно», — отвечал С. Маршак (там же).

⁴ Мастерство Некрасова. 2-е изд., доп. — М.: Гослитиздат, 1955.

12

Барвиха. 15 ноября 1954

Дорогой Самуил Яковлевич. Сердечное спасибо за книги¹. Снова и снова восхищаюсь неисчерпаемыми ресурсами Вашей поэтической речи, Вашей властью над родным словарем; снова смакую «Застольную», «Шелу О'Нил», «Финдлея», «О'Шентера», «Макферсона»², «Честную бедность» и др. Не знаю другого поэта, который мог бы так чудотворно справиться с четырехрифменными строфами Бернса («Насекомое», «Смерть овцы», «Незаконнорожденному»³) — и сохранить при этом свободное дыхание.

Виртуозность Вашего стиха такова, что рядом с вами большинство переводчиков (не только Шенгели⁴) кажутся мне бракоделами.

Вчера я видел вернувшуюся Катю Боронину⁵. Вся приплюснутая, словно переехана трактором. Больная насквозь, с исковерканным глазом. Зачем ее раздавили и кому была от этого польза?

В сентябре написал я статейку об Алексее Ивановиче⁶. По заказу «Лит[ературной] газеты». Статьйка маринуется там до сих пор. А мне так хочется, чтобы об этом чудесном писателе было сказано до Съезда⁷ громкое доброе слово. Не можете ли Вы повлиять на редакцию «Лит[ературной] газеты»? Ведь дело идет не обо мне, а о нем.

В книжке моей «От 2 до 5» говорится о фольклорной основе многих Ваших стихов. Не было ли у вас в печати каких-нибудь высказываний по этому поводу? Я успел бы включить их в книжку. «О плохих и хороших рифмах»⁸ я использовал.

Ваш К. Чуковский.

Через два дня уезжаю отсюда.

¹ Среди присланных книг: Роберт Бернс в переводах С.Маршака. 3-е изд., доп. — М., Худож. лит., 1954.

² Некоторые названия К.Чуковский приводит неточно, надо: «Старая дружба», «Тэм О'Шентер (повесть в стихах)», «Макферсон перед казнью».

³ Имеются в виду следующие стихотворения Роберта Бернса в переводах С.Маршака: «Насекомому, которое поэт увидел на шляпе нарядной дамы во время церковной службы», «Элегия на смерть моей овцы, которую звали Мэйли», «Моему незаконнорожденному ребенку».

⁴ Г.А.Шенгели (1894-1956) — поэт, переводчик.

⁵ Катя Боронина — Е.А.Боронина (1908-1955) — детская писательница, подруга студенческих лет Л.К.Чуковской, сосланный вместе с ней по одному и тому же студенческому делу. Всю жизнь подвергалась арестам и ссылкам. См. о ней: Корней Чуковский. Лидия Чуковская. Переписка: 1912-1969. — М.: НЛО, 2003 (по алфавитному указателю).

⁶ Алексей Иванович — писатель Л.Пантелеев (А.И.Еремеев, 1908-1987). Статья К.Чуковского о нем «Мускулатура таланта» опубликована: Литературная газета, 1954, 4 дек.

⁷ Второй Всесоюзный съезд советских писателей состоялся в Москве 15-26 декабря 1954 года.

⁸ С.Маршак. Заметки о мастерстве: О плохих и хороших рифмах. — Литературная газета, 1950, 24 окт.

13

31 марта 1957

Дорогой друг Самуил Яковлевич.

Как весело мне писать это слово. Потому что — нужно же высказать вслух — между нами долго была какая-то стена, какая-то недоговоренность, какая-то полулюбовь. Анализировать это чувство — не стóбит, вникать в его причины скучновато; думаю, что это зависело не от нас, а от обстоятельств и добрых людей. Я, Вы знаете, никогда не переставал восхищаться Вашим литературным подвигом, той многообразной красотой, которую Вы вносили и вносите в мир, очень гордился тем, что когда-то — в первый год нашего сближения, — мне посчастливилось угадать ваш чудесный талант, созданный для огромной литературной судьбы (вообще то время вспоминается как поэтическое и самозабвенное единение двух влюбленных в поэзию энтузиастов) — и зачем было нам угашать эти первоначальные чувства? От всей души протягиваю Вам свою 75-летнюю руку — и не нахожу в себе ничего, кроме самого светлого чувства к своему старинному другу.

Стихи Ваши взволновали меня до слез. Читаю и перечитываю их. Юбилей был изумительно веселый и *добрый*. И главный тон ему дали Ваши стихи. Оба варианта были для меня упоительны¹. 31-го в доме у меня было больше сотни гостей — в том числе Федин, Всеволод Иванов, Екат[ерина] Павловна [Пешкова], Левик², которым я и прочитал оба ва-

рианта. Они начинают собою четвертую книгу «Чукоккалы», которая стихийно сложилась из стихов, написанных к 31 марта.

Обнимаю Вас — и желаю (горячо желаю) здоровья.

Ваш К.Чуковский.

<...>

Ночь.

¹ К семидесятипятилетию юбилею К.Чуковского (31 марта 1957 г.) С.Маршак прислал два стихотворных поздравления — «длинное» (Чукоккала. — М.: Премьера, 1999. — С.349) и «короткое» (С.Маршак. Т.5. — С. 584). Второе из них К.Чуковский цитирует в письме С.Маршаку от 9 нояб. 1962 г.

² К.А.Федин (1892-1977) — писатель. Вс.Вяч.Иванов (1895-1963) — писатель. Е.П.Пешкова — см. прим. 8 к письму от 12 марта 1942. В.В.Левик — (1907-1982) — поэт, переводчик.

14

24 июня 1957 (по штемпелю)

Дорогой Самуил Яковлевич.

Конечно, я считал бы для себя величайшею честью написать вступительное слово к собранию Ваших чудесных переводов. Вы знаете, как они дороги мне. Но я сейчас нахожусь в какой-то постыдной прострации; не знаю, временно ли это или навсегда — я утратил и ту малую способность писать, какая была отпущена мне. Я не для комплимента назвал Ваши переводы чудесными: они действительно кажутся мне литературным чудом, ибо непревзойденная виртуозность стиха сочетается в них с чувством стиля, безупречным вкусом и *вдохновением* — сочетание почти невозможное.

Не имея сил написать о Ваших переводах сейчас, к сроку, я считаю себя обязанным (перед самим собою) написать о них неторопливую доказательную статью, основанную на конкретном материале, сравнив переводы из Бернса с переводами Чюминой¹ и др., переводы сонетов Шекспира с переводами Ваших предшественников (поучительная тема) и т.д. К *этой* работе я приступаю сейчас. Это будет и статья для журнала, и глава для нового издания моей книжки «Высокое искусство», которую я *обязан* выпустить в начале 1958 года².

Поэтому не взыщите, если месяца через полтора я начну приставать к Вам с вопросами, связанными с этой работой. А заказ Детгиза я, к своему горю, выполнить не в силах.

Были у меня Холмская и Калашникова³ — по вопросу о положении переводчиков в Союзе писателей. Решено просить Вас пойти со мною и с Кашкиным к Суркову⁴ — указав, напр[имер], на то, что Вейтлинг уже который [раз?] отвергается по неизвестным причинам. И т.д. Если Вы согласны, сообщите, пожалуйста, Калашниковой.

Ваш Чуковский.

¹ О.Н.Чюмина (1864-1909) — писательница, переводчица.

² Издание книги «Высокое искусство», включившее главу о С.Маршаке-переводчике, состоялось только в 1964 г. (М., Искусство).

³ О.П.Холмская — писательница, переводчица. Е.Д.Калашникова (1906-1976) — переводчица.

⁴ И.А.Кашкин (1899-1963) — переводчик, литературовед-англист. А.А.Сурков (1899-1983) — поэт, функционер Союза писателей.

15

20 сент[ября] 1957

Дорогой Самуил Яковлевич!

Наша Переделкинская детская библиотека никак не может обойтись без Вашего портрета. Сегодня я получил прекрасный портрет от Ал[ексея] Ив[ановича] Пантелеева; есть у меня портрет Михалкова; а Вашего нет. Между тем надвигаются Маршаковские¹ дни, и неужели мы проведем их вслепую? Ради бога дайте Глоцеру² или пришлите Лиде³ Ваше изображение, ведь нам нужно успеть обрмить его. На лицевой стороне дайте, пожалуйста, Ваш автограф (без упоминания моего имени). А если Вы пришлете нам — опять таки с автографом! — несколько Ваших детских книг, мы будем очень горды и рады. В настоящее время библиотеку посещают около 400 человек (из разных поселков, колхозов и проч.) и хотя у нас очень много Ваших книг, но хочется еще и еще. Простите за беспокойство. Официально мы называемся так: «Переделкинская детская библиотека»⁴.

С искренней любовью.

К.Чуковский.

¹ «Маршаковские дни» — семидесятилетний юбилей С.Маршака (3 ноября 1957 г.)

² В.И.Глоцер (р.1931) — педагог, критик, литературный помощник С.Маршака.

³ Т.е. Л.К.Чуковской.

⁴ «Переделкинская детская библиотека» была выстроена и обустроена на личные средства К.Чуковского и затем передана государству со всеми книжными фондами и инвентарем.

16

30 сент[ября] 1957

Дорогой Самуил Яковлевич.

Спасибо за дивные подарки: и за Бернса, и за портрет, и за книги. Дети приняли их с энтузиазмом. Мы устроим в библиотеке витрину (сегодня я ее заказал) — витрину Маршака. Там будет Ваш портрет в окружении подаренных Вами книг. Мы (в библиотеке) уже готовимся к маршаковскому¹ празднику, как готовятся к нему сейчас тысячи школ и детских садов, и библиотек.

Сейчас я стал изучать вплотную Ваши переводы из Бернса, ибо мне хочется приготовить научный этюд о Ваших переводах Шекспира, Блэйка и Бернса. Работа предстоит огромная, и я молю бога, чтобы мне не захворать до ноября.

Если мне удастся выполнить эту работу, я прочту в Литинституте серию лекций «Маршак как мастер перевода», которые и переработаю для нового издания книги «Искусство перевода»². Когда я сильнее вгрызусь в свою тему, я, с Вашего позволения, приеду к Вам, и обо многом посоветуюсь с вами.

Блэйк ошеломительный поэт, и Вы в своих переводах передали самую его квинтэссенцию.

Любящий Вас Чуковский.

P.S. Еще летом я разослал ряду институтов, библиотек и т.д. «циркуляры» о подготовке Вашего праздника. Прилагаю письмо из Новосибирска³. Прочтите отчеркнутое карандашом.

¹ «Маршаковские дни» — см. прим. 1 к предыдущему письму.

² Т.е. для книги «Высокое искусство».

³ Не сохранилось.

17

24 апреля 1958

Дорогой Самуил Яковлевич.

На Вашем юбилее я поднес Вам пьесу: (by John Drinkwater) «Robert Burns»¹, но недостаточно внятно сказал Вам, что это — дар Вашего Нью-Йоркского почитателя Владимира Брониславовича Сосинского². Вл[адимир] Бр[ониславович] привез эту книжку из-за океана специально для Вас.

Я взял ее с собою в Колонный зал и вспомнил о ней лишь тогда, когда говорили другие ораторы — в самый разгар юбилея. Я вынул ее из портфеля, положил ее перед Вами на столе, и теперь мне пришло в голову, что может быть Вы и не слышали моих тогдашних объяснений.

Повторяю их более пространно и внятно. Сосинский (б[ывший] эмигрант) ныне работает в Советском отделении ООН в Нью-Йорке. У него советский паспорт. Его адрес:

United Nations' Haus
Room C 102
c/o Box 20 grand Central P.O.
New York 17 (№ 4) USA

Мне грустно, что в последнее время мы встречаемся так редко — оба в вихре сумасшедшей работы. Говорят, что в последнее время Вы пишете чудесную прозу³.

Обнимаю Вас

Ваш Чуковский.

¹ Пьеса английского поэта и драматурга Джона Дринкуотера (1882-1937) «Роберт Бернс» (1925).

² В.Б.Сосинский (1900-1987) — писатель, литературный критик. С 1920 года — в эмиграции, во время Второй мировой войны — участник французского Сопротивления, после войны жил в США, в 1960 вернулся в СССР.

³ С.Маршак работал над автобиографической повестью «В начале жизни».

18

Б.д. <конец янв. 1960>

Дорогой Самуил Яковлевич,
нет ли у Вас оттиска Вашей автобиографической повести? Подарите, пожалуйста!¹

Был у меня Алянский². По его просьбе я составил статейку для «Литгазеты» (на основе нашего письма в Ленинский комитет). По мысли Конашевича³ и Алянского было бы отлично, если бы это письмо подписали Вы, Михалков и Барто, — поэты, стихи которых иллюстрировал Владимир Михайлович⁴.

Обнимаю вас. Привет Александру Трифоновичу [Твардовскому] и Полю Робсону⁵! Я все мечтаю, что Вы побываете у меня и посетите нашу библиотеку.

Ваш К.Ч.

¹ Автобиографическая повесть С.Маршака «В начале жизни» была опубликована в ж. «Новый мир» в № 1 и № 2 за 1960 г.

² С.М.Алянский (1891-1974) — издатель и редактор; в 1918-1923 возглавлял созданное им издательство «Алконост», в конце 1920-х руководил Издательством писателей в Ленинграде; в последние годы консультант по художественному оформлению издательства «Детская литература».

³ В.М.Конашевич (1938-1963) — художник, создатель классических иллюстраций к детским книгам К.Чуковского и С.Маршака.

⁴ С.Маршак, К.Чуковский. Волшебство и реальность. — Литературная газета, 1960, 18 фев.

⁵ Поль Робсон (1898-1976) — американский (негритянский) певец-бас. Многократно посещал СССР (1934, 1936, 1949, 1960).

19

Б.д. <нач. фев. 1960>

Дорогой Самуил Яковлевич.

Оказалось, что писать об иллюстрациях Конашевича *к нашим книгам* — нельзя. Нужно упоминать только те книги, которые непосредственно связаны с фольклором. Мне очень трудно сочинять эту бумагу, — голова не тем занята — поэтому прошу Вас не придирайтесь к шероховатостям и подписать ее. После чего она тотчас же будет представлена в Ленинский комитет¹.

Надеюсь, что Вы в конце концов хоть немного отдохнете в Барвихе. Там теперь Твардовский — и скоро весна!

Ваш К. Чуковский.

¹ Письмо об иллюстрациях В.М.Конашевича (см. прим. 4 к пред. письму) было опубликовано под рубрикой «Обсуждаем произведения, выдвинутые на соискание Ленинской премии» — выдвижение на премию инициировал К.Чуковский. В письме, подписанном им и С.Маршаком, говорится: «Мы рады, что московская общественность может познакомиться с подлинниками его прекрасных работ. В.М.Конашевич — старейший мастер в этой области искусства. [...] Великолепный мастер книжной гравюры, он создал к целому ряду детских книг иллюстрации, которые вошли в золотой фонд нашего искусства. Его рисунки отличаются поэтическим очарованием, смелостью композиции и блестящей изобретательностью». (Литературная газета, 1960, 18 фев.; переписку К.Чуковского с В.М.Конашевичем см. в кн.: Конашевич В.М. О себе и своем деле: Воспоминания. Статьи. Письма. С прилож. воспоминаний о художнике. Сост., подготовка текстов и прим. Ю.Молока. — М.: Детская литература, 1968). Усилия К.Чуковского и С.Маршака не увенчались успехом — премия В.М.Конашевичу присуждена не была.

20

5 мая 1960

Дорогой Самуил Яковлевич.

Мне чуточку полегчало, и я спешу написать чуть несколько слов. Из-за своей глупой застенчивости я никогда не мог сказать Тамаре Григорьевне¹ во весь голос, как я, старая литературная крыса, повывадавшая сотни талантов, полугалантов, знаменитостей всякого рода, восхищаюсь красотой ее личности, ее безошибочным вкусом, ее дарованием, ее юмором, ее эрудицией и — превыше всего — ее героическим благородством, ее гениальным умением любить. И сколько патентованных знаменитостей сразу же гаснут в моей памяти, отступают в задние ряды, едва только я вспомню ее образ — трагический образ Неудачности, которая наперекор всему была счастлива именно своим умением любить жизнь, литературу, друзей².

Книга Ваша³ была для меня утешением во все время моей болезни. Я читал ее десятки раз — и держал у себя под подушкой. Книга — что и говорить! — первоклассная, не имеющая никаких параллелей в современной словесности. Рядом с нею другие книги такого же жанра кажутся косноязычными, неряшливыми, неуклюжими, тусклыми. Восхищает меткость попаданий — стопроцентная. Сто из ста возможных.

Особое спасибо — за автографы⁴; они обрадовали, и тронули, и насмешили меня.

Желаю Вам здоровья и творческих сил. Лида рассказывала мне о пожелании Б.П.⁵: чтобы Вы *никогда* не слезали со своей Музы!! Этот максимализм свиреп и не доведет до добра. Но все же я уверен, что Вы уже снова по горло в труде, который всегда помогал Вам бороться с тоской.

Обнимаю Вас; простите за бессвязность письма. Ведь три месяца я был оторван от пера и бумаги.

Ваш К. Чуковский.

¹ Тамаре Григорьевне Габбе, скончавшейся 2 марта. Т.Г.Габбе (1903-1960) — редактор, драматург, фольклористка. Ее пьесы для детского театра выходили отдельными книжками и ставились на многих сценах («Город мастеров или Сказка о двух горбунах», «Хрустальный башмачок», «Авдотья Рязаночка»). Основные ее работы вышли посмертно («По дорогам сказки», М. 1962 — в соавторстве с А.И.Любарской; «Быль и небыль. Русские народные сказки, легенды, притчи». — Новосибирск, 1966 — с послесловиями С.Маршака и В.Смирновой). При жизни в кругу коллег пользовалась моральным и профессиональным авторитетом. Ей — а затем и ее памяти — посвящены поздние лирические циклы С.Маршака. См. также дневниковые записи Л.К.Чуковской «Памяти Тамары Григорьевны Габбе» в кн.: Лидия Чуковская. Сочинения: В 2 т. Т.2. — М.: «Арт-Флекс», 2001. — С. 273-329.

² «Спасибо за доброе письмо, в котором я слышу то лучшее, что есть в Вашем голосе и сердце, — писал С.Маршак в ответном письме 10 мая того же года. — Все, что написано Тамарой Григорьевной (а она писала замечательные вещи), должно быть дополнено страницами, посвященными ей самой, ее личности, такой законченной и особенной...» (С.Маршак. Т.8. — С. 354).

³ С.Маршак. Соч. в 4 т. Т. 3. Избранные переводы. — М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1959.

⁴ На форзаце посланного К.Чуковскому третьего тома своих сочинений С.Маршак написал:

С приветом дружеским дарю Вам том свой третий
Мы — братья по перу, отчасти и родня.
Одна у нас семья: одни и те же дети
В любом краю страны у Вас и у меня.

(Чукоккала. — М.: Премьера, 1999. С. 349)

⁵ По-видимому, Борис Пастернак.

21

18 мая 1960

Дорогой Самуил Яковлевич!

Только три-четыре письма из тысяч и тысяч, полученных мною за всю мою жизнь, так взволновали меня как Ваше письмо¹.

Если бы я не был так болен и слаб (и так отравлен наркотиками, делающими меня идиотом), я может быть нашел бы слова, чтобы выразить Вам благодарность за то, что такое письмо написано Вами *мне*.

Но теперь, когда я совсем онемел, я могу только слезами и болью откликнуться на Ваше письмо.

Я давно уже хочу — и Лида поможет мне в этом — устроить в нашей библиотеке нечто вроде уголка Тамары Григорьевны — повесить ее портрет,

под портретом дать перечень ее произведений, показать макет двух-трех сцен «Города мастеров»², может быть дать фотокопию какой-н[и]б[удь] ее рукописи, это можно сделать задушевно, не навязчиво, достойно, устроить театральный кружок для изучения ее творчества и поставить это дело так, чтоб оно имело воспитательное значение. Уверен, что этот маленький музей — органически свяжется со всей библиотекой.

Больше писать сейчас не могу *. Обнимаю Вас — желаю здоровья, друг.

Ваш К. Чуковский

* не умею

¹ Письмо С. Маршака от 10 мая 1960 (см. прим. 2 к предыдущему письму).

² «Город мастеров» (1943?) — название пьесы-сказки Т. Г. Габбе — и сборника ее сказочных пьес (1961, со вступ. статьей С. Маршака).

22

3 декабря 1960

Дорогой друг Самуил Яковлевич.

Я получил письмо от Эндрю Ротстейна¹. Он просит передать Вам привет. Пишет, что в Англии Вы — самый любимый и чтимый советский писатель — не только в Шотландии, но и в Кенте, и в Йоркшире, везде.

Надеюсь, что Ваше здоровье пошло на поправку. Чудесно, что Вы уже не теряете в весе, что Вам удалось обойтись без операции. Я тоже чувствую себя лучше. Очевидно, это перед окончательным старчеством.

Зачем-то устраивается Пленум по детской литературе. Он кажется мне почему-то совершенно ненужным. Выступать я не буду. Если бы я выступил, я обратился [бы] к юным поэтам с единственным вопросом: отчего вы так бездарны? так черствы? так банальны? Отчего у вас нет лица, нет индивидуальности? Отчего ни в одной вашей строке нет вдохновения?

Эта речь была бы очень короткая — но больше мне нечего сказать.

Читал Ваше предисловие к «Республике Шкид»². Знаю, что Вы писали его во время очень тяжелых испытаний, изнемогая от болезни и горя, но в предисловии этого не ощущаешь нисколько. Твердая рука, четкие мысли, поэтично — и ни малейшей расхлябанности. И самая книга — такая чудесная. Вы очень умно и тактично отвели от нее сердитое суждение Макаренко³.

Лидина книга буквально гремит⁴. Что скажут о ней в печати, не знаю, но словесные рецензии — восторженные.

Наша библиотека горячо благодарна Вам за щедрый подарок. Я хотел сфотографировать ту стену, где Ваш портрет, и ту, где на большом стенде расположены все Ваши книги — рядом с книгами, пожертвованными Тamarой Григорьевной [Габбе]. Но тут во мне опять загорелась надежда, что Вы все же приедете к нам и увидите библиотеку своими глазами. Приезжайте, ей-богу!

Мой сосед Катаев⁵ сильно захворал. Температура 40, рвота, увозят в больницу. Никакой простуды — вообще ничего не болит.

Привет Вашему сыну!⁶
Обнимаю Вас

Ваш К. Чуковский.

¹ Эндру Ротштейн — английский историк, автор книг о Советском Союзе, переводчик.

² Статья С. Маршака «Об этой книге» в кн.: Белых Г. и Пантелеев Л. Республика Шкид. — Л.: Советский писатель, 1960. (См. также С. Маршак. Т.7. — С. 380).

³ А.С. Макаренко в статье «Детство и литература» (Правда, 1937, 4 июля) расценил «Республику Шкид» как «добросовестно нарисованную картину педагогической неудачи». Статья включалась в сборники литературно-критических статей А.С. Макаренко и в собрания его сочинений.

⁴ Книга Л. Чуковской «В лаборатории редактора». — М.: Искусство, 1960.

⁵ В.П. Катаев (1897-1986) — писатель, переделкинский сосед К. Чуковского.

⁶ Сын С. Маршака — Иммануэль Самуилович Маршак — ученый-физик, переводчик.

23

Б.д. <февраль 1962>

Дорогой Самуил Яковлевич.

Как жалко, что к Вам никого не пускают.

Сейчас я получил две антологии русской поэзии — одну американскую, составленную Ярмолинским¹ (с самоваром на обложке), другую английскую, составленную Оболенским². Боже, до чего они убоги. У Ярмолинского даже Анна Ахматова похожа на Якуба Коласа, и Пастернак не поднимается над уровнем Александра Жарова. Рифмы даются только в четных стихах, а иногда и совсем отсутствуют.

У Оболенского все переводы прозаические, и похоже, что они сделаны канцелярской барышней. Все сглажено, доведено до банальности и конечно являет собой Клевету на русскую поэзию. Клевету доброжелательную, но все же клевету.

До чего нужен им Маршак! И ведь были же у них чудесные мастера перевода. Давайте, когда Вы поправитесь, напишем протест против таких

переводов. Вступимся за Жуковского, Маяковского, Блока. (На двух-трех страничках — «Нового мира»). Назначим свидание в Барвихе — ну хотя бы в апреле и вспомним заодно, как ужасно коверкают наши стихи. («Мойдодыр» переведен так, что мне стыдно смотреть иностранцам в глаза)³.

Я сейчас перечитываю детские стихи Саши Черного — для Библиотеки поэта⁴. Есть пять-шесть хороших — остальные корявы и тощи. В «Живой азбуке», например, только две строки живые:

Слон ужасно заболел
Сливу с косточкою съел.

Остальные — ниже Юрия Яковлева⁵.

Здесь в «Доме творчества» Тараховская — слепая. После операции лишилась зрения. Я вожу ее гулять, отвлекаю от грустных мыслей.

Выздоровливайте, дорогой, — и покидайте улицу Грановского. Кстати, когда я (тоже во время гриппа) лежал на этой улице со сломанным ребром, я спросил у врачей и сестер, кто такой был Грановский⁶, как его звали, когда он жил — и оказалось, это никому не известно.

Какую чудесную речь о Пушкине сказал Твардовский: о Пушкине только и есть три превосходные речи: Достоевского, Блока и вот — Твардовского⁷.

Я кропаю свою злополучную книжку «Чехов и его мастерство»⁸, но вряд ли удастся кончить: стал до смешного склеротичен и слаб.

Обнимаю вас.

Ваш К.Чуковский.

¹ Абрам Яромолинский (1890-1975) — заведующий славянским отделом Нью-Йоркской Публичной библиотеки, литературовед, переводчик.

² Д.Д.Оболенский — профессор истории Оксфордского университета.

³ Ко времени этого письма «Мойдодыр» К.Чуковского был переведен на албанский, болгарский, китайский, монгольский, немецкий, польский, румынский, сербохорватский, чешский языки. Не ясно, какие переводы конкретно имеет в виду К.Чуковский.

⁴ Имеется в виду подготовка издания: Саша Черный. Стихотворения. Вступ. ст. и подгот. текста К.Чуковского. Примеч. Л.Евстигнеевой. — М.-Л.: Сов. писатель, 1962 (Б-ка поэта. Малая серия).

⁵ Ю.Я.Яковлев (1922-1996) — писатель, детский поэт.

⁶ Т.Н.Грановский (1813-1855) — историк, «Пушкин истории», по слову современников.

⁷ Речь Ф.М.Достоевского о Пушкине была произнесена на втором заседании Общества любителей русской словесности 8 июня 1880 года в зале Благородного собрания (впоследствии — Колонный зал Дома Союзов) после торжественного открытия памятника Пушкину на Тверском бульваре в Москве; пушкинская речь А.Блока («О назначении поэта») прочитана 13 февраля 1921 года на вечере, посвященном 84-й годовщине со дня смерти Пушкина; пушкинская речь А.Твардовского — на торжественном заседании, посвященном 125-летию со дня смерти

Пушкина 10 февраля 1962 года в Большом театре. Впервые опубликована: Правда, 1962, 11 февраля.

⁸ Книга вышла только в 1967 году (М., Худож. литература) под названием «О Чехове».

24

30 марта 1962

Мой дорогой, любимый Самуил Яковлевич.

Я с ума сошел от радости, когда услышал Ваши стихи. И радовался я не только за себя, но и за Вас: ведь если Вы можете ковать такие стихи, значит, Ваша чудотворная сила не иссякла, значит — Вы прежний Маршак, один из самых мускулистых поэтов эпохи.

А уж за себя я рад безмерно. Ваше дружеское отношение ко мне услаждает мои стариковские дни. Эти дни, конечно, мрачноваты. Сколько бы ни гремели юбилейные литавры, все же старость есть старость. 80 лет — 80 лет, и здесь ничего не поделаешь.

Я знаю о Вас от Лиды. Знаю, что творческая Ваша энергия не ослабла, что болезнь Ваша идет на убыль и что скоро Вы вырветесь из больницы плена. Обнимаю Вас, горжусь Вашей дружбой, простите бесвязность письма — пишу впопыхах, в суете многолюдства.

Ваш Корней Чуковский.

Привет Елене Яковлевне (Попросту Леле)¹.

Сейчас Лида сказала мне, что Вы уже дома, родной Самуил Яковлевич!

В письме, которое я написал вам вчера, я не сказал, какими громкими аплодисментами было встречено ваше имя, чуть только назвал его Лев Абрамович².

¹ Е.Ильина (Л.Я.Прейс, 1901-1964) — писательница, сестра С.Маршака.

² Л.А.Кассиль (1905-1970) — писатель. На чествовании К.Чуковского по поводу его восьмидесятилетия прочел приветственное послание С.Маршака.

25

9 ноября 1962

Дорогой Самуил Яковлевич!

Как-то даже неловко говорить в лицо человеку, особенно другу, такие слова, но ничего не поделаешь, — ведь то, что я хочу Вам сказать, это сушая, — а не юбилейная¹ — правда: Вы, Самуил Яковлевич, истинный классик. Я считаю это определение наиболее точным. Вы — классик не только потому, что Вы всю жизнь оставались верны классическим традициям русской поэзии, не только потому, что Вы ведете свою родословную от Крылова, Грибоедова, Жуковского, Пушкина, но и потому глав-

ным образом, что лучшие Ваши стихи хрустально-прозрачны, гармоничны, исполнены того дивного лаконизма, той пластики, которые доступны лишь классикам. В них нет ни одной строки, которая была бы расхлябанной, путанной, туманной и вялой.

Оттого-то Вам так удалось померяться силами с Бернсом, Шекспиром и Блейком. Оттого-то Вы создали столько детских стихов, которые прочны как дюралюминий, и без которых немислима жизнь нынешних — и будущих — советских детей.

Поэтому к Вам полностью применимы стихи, которые Вы недавно написали одному литератору, тоже пишущему детские стихи²:

Могли погибнуть ты и я,
Но к счастью, есть на свете
У нас могучие друзья,
Которым имя — дети!

Вы как-то заметили в шутку, что когда мне исполнится две тысячи лет, Вам будет всего только 1994³. Так и случилось: мне 81, а вам всего только 75. Именно поэтому я и делюсь с Вами своим опытом. Оказывается — кто бы мог подумать! — что этот возраст между 75-ью и 80-ью — самый плодотворный и радостный. Не сомневаюсь, что в этом Вы сами убедитесь теперь.

Мне же остается сказать Вам словами Вашего чудесного Бернса:

И вот с тобой сошлись мы вновь,
Твоя рука — в моей.
Я пью за старую любовь,
За дружбу прежних дней!
За дружбу старую — до дна,
За счастье юных дней,
С тобой мы выпьем, старина,
За счастье юных дней!⁴

Любящий Вас

Корней Чуковский.

¹ В ноябре 1962 года С.Маршак отмечал свое 75-летие.

² Т.е. самому К.Чуковскому. Цитируются адресованные ему строки С.Маршака (1957).

³ Имеется в виду стихотворный экспромт С.Маршака:

Вижу: Чуковского мне не догнать.
Пусть небеса нас рассудят!
Было Чуковскому семьдесят пять,
Скоро мне столько же будет.
Глядь — ускакал от меня он опять,
Снова готов к юбилею...

Ежели стукнет мне тысяча пять,
Тысяча десять — Корнею!

⁴ Из стихотворения Р.Бернса «Старая дружба» в переводе С.Маршака (не вполне точная цитата — у С.Маршака шестая и восьмая строчки: «За счастье прежних дней»).

26

Б.д. <январь 1963>

Дорогой Самуил Яковлевич.

Ужасно это хорошо — что мне посчастливилось на старости лет возобновить с Вами те поэтические отношения — какие сложились у нас в Ленинграде в первый год нашего знакомства! Странно — что мы — такие разные, с такими разными биографиями, любили одни и те же стихи, упивались одними и теми же поэтами. Это всегда казалось мне чудом, и это чудо повторилось опять — через тридцать пять лет — здесь, в Барвихе. Обнимаю Вас. Привет Семеновым¹, нашему цейлонскому другу², Иофанам³.

Ваш Чуковский.

¹Семеновы — В.С.Семенов, дипломат, зам. министра иностранных дел, и его жена, с которыми К.Чуковский познакомился во время пребывания в Барвихе.

²Очевидно, член цейлонского парламента, экономист П.Кэндайя.

³Иофаны — Б.М.Иофан (1891-1976) — архитектор, и О.Ф.Иофан, его жена.

28

28 января 1963 (по штемпелю)

Дорогой друг Самуил Яковлевич.

Я послал Вашу книгу мистеру Питеру Опи¹ в тот же день, как получил ее от Вас. Рядом с «Шалтаем Болтаем» я приклеил бумажку, на которой начертал иностранными литерами:

Saltái, Boltái
sidèl na stené

и т.д.

Кроме того я послал ему следующий отрывок из своего очерка, напечатанного в «Новом мире».

Посылаю его Вам² <...>

Чуть получу письмо от мистера Опи, сообщу его Вам.

Это — клочок той лекции, которую я «delivered»³ в Оксфорде⁴.

Обнимаю Вас.

Ваш К. Чуковский.

¹ Питер Опи (Orie, 1928-1982) — английский ученый фольклорист. Среди его трудов (созданных в соавторстве с женой — Йон Опи) — капитальный «Окс-

фордский словарь детских песенок» (1951). Вместе с письмом от 29 дек. 1962 г. С.Маршак прислал К.Чуковскому для передачи Питеру Опи книгу: С.Маршак. Плывет, плывет кораблик. Английские детские песни. Рис. Вл.Конашевича. — М.: Детгиз, 1962.

² К письму приложен английский перевод (здесь опущенный) отрывка из статьи К.Чуковского о С.Маршаке.

³ «Delivered» (англ.) — тут: произнес.

⁴ Т.е. во время поездки в Англию в мае 1962 года по случаю присвоения К.Чуковскому звания доктора литературы Оксфордского университета.

28

15 февраля 1963 (по штемпелю)

Дорогой Самуил Яковлевич.

Я только что узнал, что Вы в Москве.

Все это время я хворал всевозможными гриппами. Сейчас как-будто передышка. Пользуюсь ею, чтобы послать Вам дружеский, задушевный новогодний привет и поздравить Вас с блистательной победой над Эдвардом Лиром¹.

В австралийском журнале «Meanjin Quarterly» приводится такой перевод из Samuel'a Marshak'a:

The bear goes off with measured paces
Slouching, a prudent strategist,
Trala the bird sings in green places,
The snowdrop lifts its little fist

etc.²

До чего непохоже на подлинник!³ Получил письмо из Detroit'a от Hellen Redd⁴ — просит передать вам привет.

В том же австралийском журнале я нашел стихотворение, которое мог бы полностью применить к себе:

Why was I made
For the long and the painful deathbed
coming to me⁵

Обнимаю вас.

К.Чуковский.

¹ По поводу выхода книжки: Эдвард Лир. Прогулка верхом и другие стихи. Перевод с англ. С.Маршака. — М.: Детгиз, 1962.

² (Англ.) Перевод:

Медведь уходит вразвалку,
Сутулясь, осторожно расчетливый,
Птичка певунья поет среди зелени,
Подснежник поднимает свой маленький кулачок

и т.д.

³ У С.Маршака (в стихотворении «Апрель» из цикла «Круглый год»):

Пробирается медведь
Сквозь густой валежник,
Стали птицы песни петь,
И расцвел подснежник.

⁴ Елена Яковлевна Редл — американский педагог, в 1961 году вместе с мужем Фрицем посетила К.Чуковского в Переделкино. В последующие годы постоянно переписывалась с К.Чуковским.

⁵ (Англ.) Перевод:

Почему я был создан
Для долгого и мучительного смертного ложа,
придвигающегося ко мне?

29

15 июля 1963

Дорогой Самуил Яковлевич.

С большой любовью думал о Вас, когда писал эту небольшую статейку¹. Писал ее недели две, не отрываясь, т.к. трудно доказать пошляку, что он пошляк, и мерзавцу — что он мерзавец.

Возник вопрос: где бы напечатать сие сочинение. Отдавать в газету боюсь: газеты могут быть в стачке с публикаторами этой книжонки². Не можете ли Вы телеграфировать сюда в Переделкино, что Вы думаете по этому поводу.

В книгу мою это сочинение войдет, — то есть в новое издание моей книги «Высокое искусство», которую я сейчас «обновляю», то есть в сущности пишу заново. Но хотелось бы тиснуть ее в повременном издании*.

Был у меня Е.Г.Эткинд³. Подарил мне верстку своей книги «Поэзия и перевод». Ее многие страницы посвящены Вашим переводам Шекспира, Бернса, Родари. Чудесная, талантливая книга — и он сам так и пышет талантом⁴. Радует его бесстрашие: недавно Андроников прочитал нам обоим найденное им стихотворение Лермонтова. Я с первых же строк учуял подделку, но обдумывал, как бы поделикатнее сказать Андроникову, который убежден, что это — подлинник. Вдруг Эткинд:

— Неужели вы думаете, что эта пустопорожняя дребедень — Лермонтов!
И с ненавистью взглянул на А[ндронико]ва.
Все это — петербургский заквас.

Был у меня еще один замечательный человек: Солженицын⁵. Моложавый, спокойный, с ясными веселыми глазами. Я прочитал английский перевод его «Ивана Денисовича» — это клевета на солженицынский текст. Сделан перевод Ральфом Паркером⁶.

Кстати. В свое время Вы жаловались на те безобразия, которые творят англо-американские переводчики с Вашими стихами. Со мной они расправ-

ляются так, что я решил ввести в свою книгу главу: «Записки пострадавшего». Рассказываю, каким издевательством надо мной оказались переводы «Крокодила», «Тараканища», «Телефона» и «Мойдодыра».

Не хотите ли вы выразить протест против того, что сделано с Вашими стихами? Если будет такое желание, напишите по этому поводу несколько строк и пришлите мне для опубликования (не в газете, а в книге).

Обнимаю Вас. Уверен, что на юге все северные хвори покинули Вас.

Ваш дружески К.Чуковский.

* В книге будет отдельная глава: «Маршак».

¹ Вместе с письмом была послана рукопись статьи К.Чуковского «В защиту Бернса».

² Статья «В защиту Бернса» — чрезвычайно резкий отклик К.Чуковского на кн.: Роберт Бернс. Песни и стихи. В переводе Виктора Федотова. — М.: Советская Россия, 1963. К.Чуковский осуждает вульгарно-руссификаторский метод переводчика и его текстуальные ошибки.

³ Ефим Григорьевич Эткинд — (1918-2000) — литературовед, переводчик.

⁴ Эткинд Е. Пoesия и перевод. — М.-Л.: Советский писатель, 1963. С.Маршаку целиком посвящена глава «Переводчик как поэт», значительной частью глава «Для маленьких читателей» и ряд страниц по всему тексту.

⁵ Об этом посещении К.Чуковский сделал запись в своем Дневнике под 6 июня 1963 г. (Дневник. 1930-1969. ... — С. 341-342).

⁶ Выполненный Ральфом Паркером перевод (Alexander Solzhenitsyn. One day in the life of Ivan Denisovich) вышел практически одновременно в США (изд. E.P.Dutton. Серия «Сигнет Букс», № 4, 1963) и в Англии (Victor Gollancz, London, 1963). К.Чуковский, по-видимому, был знаком с обоими изданиями. Анализ этого перевода он посвятил несколько страниц в кн.: Высокое искусство: О принципах художественного перевода. — М.: Искусство, 1964. В следующем издании «Высокого искусства» (1968) эти страницы исключены цензурой: на имя Солженицына был наложен запрет.

30

26 июля 1963

Дорогой Самуил Яковлевич.

Сегодня ездил в город — дал статью в «Известия». Аджубея¹ нет, он уехал на Кубу. Его заместитель говорит: «боюсь, что для нашей газеты это слишком специально». Я попросил его — в случае, если статейка не пойдет — переслать ее в «Новый мир», где она может быть напечатана только в сентябре.

В «Литгазете» она была. Возвратили. «Мы предпочитаем теоретические ваши статьи о переводе».

Словом, всеми своими неуклюжими попытками напечатать статью, я достиг лишь того, что федотовская партия² уже знает, что такая статья существует и примет свои контрмеры.

Но никто не может помешать мне напечатать статейку в книге. Она так и задумана. Одна из глав моей книги («Искусство перевода»³) посвящена Вашим переводам Бернса. В виде контраста я написал для этой главы несколько страниц о федотовщине. Думаю, что книга будет по- сильнее газетной статьи — особенно при сопоставлении с Вашими переводами. Это будет куда сокрушительнее⁴.

Я послал Вам черновик. Теперь, в окончательном тексте, многое исправлено, почищено. И «версты» и «копейки», конечно, допустимы в переводах шотландских стихов, но не вместе с «целковыми», «пятаками», «батьюшками». Зиму я сделал суровой, хотя помню зиму 1916 г. в бернсовских местах — очень холодную.

Спасибо за телеграмму⁵.

Лида шлет привет. Уже вышел сигнальный экземпляр ее «Лаборатории»⁶. Все мои книги застряли надолго в издательствах: и второе издание «Живого как жизнь», и «Современников», и 17-ое изд. «От двух до пяти», и «Крокодил», и третье изд. «Серебряного герба»⁷. Все они выйдут по- смертными изданиями, равно как и «Собрание моих сочинений», которое перенесли на 1964 год⁸.

Слышал много восторженных слов о Ваших новых переводах. Получили ли Вы письмо от проф. Опи?⁹

От души благодарю Вас за дружбу, которую, поверьте, я умею ценить. В памяти звучат чьи-то слова:

Fame is a food that dead men eat, —
I have no stomach for such meat.
But Friendship is a nobler thing, —
Of Friendship it is good to sing.
For truly, when a man shall end,
He lives in memory of his friend,
Who does his better part recall
And of his fault make funeral.¹⁰

Может я путаю. Чьи стихи, не знаю. Они немножко жестяные, но для меня подходящие.

Ваше письмо еще не дошло до меня. Последние известия такие. От- вергнутая «Известиями» моя статейка ушла в «Новый мир»¹¹. Там ее при- няли очень охотно. Она пойдет в сентябрьской книжке. Так что у меня будет время отшлифовать ее — и внести дополнения.

Как Ваше здоровье?
Дружески обнимаю

Ваш К. Чуковский.

¹ А. И. Аджубей (1924-1993) — журналист, главный редактор «Известий», зять Н. Хрущева.

² Т.е. переводчик Р. Бернса Виктор Федотов и его сторонники.

³ Свою книгу «Высокое искусство» К. Чуковский именует названием одного из ее более ранних вариантов — «Искусство перевода».

⁴ Имеется в виду глава «В защиту Бернса» в кн.: Высокое искусство: О принципах художественного перевода. — М.: Искусство, 1964 (и след. изд.).

⁵ В телеграмме от 23 июля 1963 года С. Маршак писал: «Статья [о переводах В. Федотова] превосходная, остроумная, убедительная, не поместить ли Известиях, можно и Литературной. Не упомянуть ли тех, кто переводил Бернса до Федотова, начиная с Лермонтова. Не заменить ли слова Лютые жесткие зимы — словом суровые, если говорится о южной не горной Шотландии. Версты можно Федотову простить, мили не всем известны. Подробнее письмом. Привет Лиде. Крепко жму руку, дорогой друг. Ваш Маршак. (Машинописная копия. Архив К. Чуковского). В письме от 26 июля 1963 года С. Маршак развил тезисы, изложенные в телеграмме (См. С. Маршак. Т. 8. — С. 487-489).

⁶ Л. Чуковская. В лаборатории редактора. — М.: Искусство, 1963.

⁷ Все упомянутые издания вышли в 1963 году, кроме «Крокодила», вышедшего в следующем 1964 году.

⁸ Собрание сочинений К. Чуковского в шести томах начало выходить в 1965 году (закончено в 1969). За неделю до кончины (ум. 28 окт. 1969 г.) К. Чуковский успел просмотреть последний том.

⁹ См. прим. 1 к письму от 28.1.63.

¹⁰ (Англ.) Перевод:

Слава — пища для мертвых, —
 Мне не переварить это мясо.
 Но дружба — вещь более благородная, —
 О дружбе приятно петь.
 Поистине, когда человек умирает,
 Он живет в памяти своего друга,
 Который вспоминает его лучшие свойства,
 Стирая все его недостатки.

¹¹ К. Чуковский. В защиту Бернса. — Новый мир, 1963, № 9.

31

9 октября 1963

Дорогой Самуил Яковлевич.

Пишу Вам из Барвихи, где все напоминает мне о Вас. Осень изумительная, невероятная. Ходим без пальто, катаемся в лодке. Ночью спим при открытых окнах. Я кончаю книгу «Высокое искусство», где, конечно, будет глава о Ваших переводах. Глава не закончена; хочу написать хоть две-три страницы о шекспировских сонетах; выписал из Оксфорда новое, прокомментированное издание; до сих пор не дошло до меня. Книга моя, надеюсь, будет интересная. Между прочим я пишу о талантливых Ваших учениках Гинзбурге, Потаповой, Гребневей¹ и др. В книге есть большой изъян: ничего не говорю

о переводах Пастернака. Взял я его «Ромео и Джульетту», стал сравнивать с подлинником — очень неряшливо, сбивчиво, словно неправленный черновик. Я и бросил. Не моего ума это дело². Воздал должное Татьяне Гнедич³, но вместо сногосшибательных рифм Байрона у нее «-ение» и «-ание».

Слышал, что Вы написали пьесу и перевели Вильяма Блейка⁴. Кто слышал, восхищаются. Лида сказала мне по телефону, будто у Вас испортилось зрение. Я уверен, что эта неприятность временная: катаракта легко поддается операции. У моей мамы были на двух глазах и простой окулист устранил их. Читали в «Новом мире» рассказ о том чуде, которое в Одесском глазном институте сделали с нашей общей приятельницей?

Здоровье мое, как и следовало ожидать, плоховато. 82 года — серьезная цифра. Возраст хрупкий. В сентябре 1910 г. Лев Толстой был крепким стариком, а в ноябре того же года испустил дух. И на все смотрю прощальным взглядом.

Обнимаю Вас. God bless you!⁵

Ваш К. Чуковский.

¹ Л. В. Гинзбург (1921-1980) — писатель, публицист, переводчик; В. А. Потапова (Длигач, 1910-1992) — поэт-переводчица; Н. М. Гребнев (1921-1988) — поэт-переводчик.

² В ответном письме от 12 окт. 1963 г. (из Ялты) С. Маршак делился своими соображениями по тому же поводу. На реплику К. Чуковского о переводах Б. Пастернака из Шекспира он отвечал: «Я понимаю, как трудно писать о пастернаковских переводах Шекспира. В свое время он на меня обиделся, когда я сказал ему о его неточностях и чрезмерных русицизмах. И все же его переводы, на мой взгляд, выше и лучше переводов Лозинского. Все же это переводы настоящего поэта, радующие при всех недостатках неожиданными удачами и находками...» (С. Маршак. Т. 8. — С. 502).

³ Т. Г. Гнедич (1907-1976) — переводчица. Имеется в виду ее перевод поэмы Дж. Г. Байрона «Дон Жуан».

⁴ И пьеса С. Маршака, и его переводы из В. Блейка вышли посмертно: С. Маршак. Умные вещи. Сказка-комедия в 3 д., в 6 карт. — Юность, 1964 № 8; В. Блейк. Избранное. В пер. С. Маршака. Предисл. В. Жирмунского. — М.: Худож. литература, 1965.

⁵ God bless you! (англ.) — Благослови Вас господь!

Дорогой Самуил Яковлевич.

Мне хочется процитировать в книге Ваше чудесное письмо о переводчиках и переводах. Разрешаете?

Я должен был сдать книгу 15 июля, но не сдал до сих пор. Хочу написать о Ваших переводах сонетов Шекспира — и жду научного издания этих сонетов, только что вышедшего в Англии.

Здесь Екатерина Павловна [Пешкова]. Шлет вам горячий привет. И милый Эндрю Ротштейн.

Лидочка в Комарове.

Я редактирую 8-томник Некрасова² — и вновь испытываю влюбленность в него.

Ваш К. Чуковский.

¹ «Конечно, я буду очень рад, если вам пригодится для книги любой отрывок из моего письма...» — отвечал С.Маршак (31 окт. 1963: С.Маршак. Т.8. — С. 505). К.Чуковский включил в новое издание «Высокого искусства» следующие несколько абзацев из письма С.Маршака от 12 октября 1963:

«Я то и дело получаю письма с просьбой разъяснить всякого рода невеждам, что [перевод] — это искусство, и очень трудное и сложное искусство. Сколько стихотворцев, праздных и ленивых, едва владеющих стихом и словом, носят звание поэта, а мастеров и подвижников перевода считают недостойными даже состоять в Союзе писателей. А я на своем личном опыте вижу, что из всех жанров, в которых я работаю, перевод стихов, пожалуй, самый трудный...»

...К сожалению, до сих пор еще Гейне, Мицкевич, Байрон и другие большие поэты продолжают у нас выходить в ремесленных переводах. Надо накапливать хорошие — истинно поэтические — переводы и не включать в план иностранного или иноплеменного поэта, пока не накопятся такие переводы...

Главная беда переводчиков пьес Шекспира в том, что они не чувствуют музыкального строя подлинника. Как в сонетах чуть ли не над каждым стихом можно поставить музыкальные обозначения — *allegro*, *andante* и т.д., — так и в пьесах то и дело меняется стиль, характер и внутренний ритм в зависимости от содержания. Вспомните слова Отелло после убийства Дездемоны — «Скажите сенату...» — и т.д. Ведь это обращение не к сенату, а к векам. И как трагически величаво это обращение. Переводчик должен чувствовать ритм подлинника, как пульс. А в комедиях Шекспира, как в опере, у каждого персонажа свой тембр голоса: бас, баритон, тенор (любовник) и т.д.

Слова Верлена «музыка прежде всего» должны относиться и к переводам. Мне лично всегда было важно — прежде всего — почувствовать музыкальный строй Бернса, Шекспира, Вордсворта, Китса, Киплинга, Блейка, детских английских песенок...».

² Собрание сочинений Н.А.Некрасова в восьми томах под общей редакцией и с примечаниями К.Чуковского (при участии А.Гаркави) было осуществлено в 1965-1967 гг.

*Подготовка текста, вступительная заметка
и комментарии Мирона Петровского*

Яцек Куронь

ВІРА І ПРОВІНА

СПОГАДИ

ДИТИНСТВО

Здається, мені було тоді чотири, може, п'ять років, оскільки це відбулося до війни. У Великому театрі Львова йшла вистава «Про двох хлопчиків, які вкрали місяць». У певний момент, саме тоді, коли чаклун намагався запхати Яцека та Пляцека в мішок, я зірвався з місця і з плачем кинувся на сцену, щоб їх рятувати. І досі пам'ятаю той страх, що сковував мої рухи, і ту нечувану силу, аби його опанувати. Я кричав, щоб заглушити в собі цей страх.

Отож, я нісся на сцену. Я вже був поруч із чарівником, бачив його обличчя — кошмар. Зареваного, мене винесли на руках зі сцени до фойє, де сиділа моя бабуся. Білетерки заспокоювали мене, що з цими хлопчиками все гаразд. А я плакав, відчайдушно плакав.

Я почав свою розповідь з події, яку вважаю своїм найвищим життєвим досягненням. Все, що я робив потім, є лише повторенням.

Від кого це взялося? Від батька та дідуся. Головним чином це пішло з їхніх оповідей та з батькових вимог. Він був винятково непослідовним, мав абсолютно непедагогічне ставлення до дітей. Міг побити мене за якусь дрібницю. Наприклад, колись він відшмагав мене, тому що десь загубився його годинник. Потім він його знайшов, просив у мене вибачення, носив мене на руках. А іншим разом він міг простити мені значно більші провини: ненавмисно вибиту шибку, жбурляння камінням у бійці, крадіжки. Він навіть міг пишатитися мною, коли я щось спритно крав в садах, що оточували наш будинок. А коли мене закривавленого приносили додому після бійки, він розповідав, що його самого кожного дня на ношах возили до швидкої допомоги.

Я пустував так, що навіть не можна собі уявити. А батько вимагав від мене лише одного — відваги. За сміливість він розхвалював мене без міри.

За боягузтво міг висміяти, сказати: баба, гівнюк, плакса. Це не було якоюсь концепцією виховання, просто він любив твердих людей. Він вимагав від мене, аби я не боявся, не рюмсав, не сміявся. І я ніколи не показував сліз, завжди ховався, коли вони набігали мені на очі.

На Зелені Свята перед війною люди вирушали на природу, у Львові серед інших таких місць були Гірки. Йдучи на Гірки, люди мусили проходити безпосередньо повз наш будинок. Якось я вийшов через вікно, що було навпроти клітки сходів на шостому поверсі, і почав йти по карнізу, притискаючись спиною до стіни. Натовп завмер, втупивши в мене очі. Хтось побіг покликати мого батька. Коли він прийшов, я був уже в будинку. Не тамуючи радісних вигуків, татусь узяв мене на руки. Вочевидь, що наступного разу я виліз би на вежу костюлу. Певний час я ходив із звичною рукою, яку знерухомлювала дошка. Цією дошкою я вдарив батька по голові так, що він упав і почав удавати, ніби помирає. Це привело мене у страшений розпач. А він з гордістю потім усім в нашому будинку розказував, як я до нього приклався цією дошкою.

Мені важко відрізнити, що розповідав дідусь, а що батько. Мій дідусь був членом Бойової Організації Польської соціалістичної партії (PPS). Батько у 1920 році добровільно пішов на фронт. Йому було тоді 15 років, тож він підставив замість себе приятеля, який зголосився за нього на лікарській комісії. Потім він брав участь у Сілезькому повстанні, належав до ПСП, був в Армії Крайовій. Я не можу відділити того, що знав, від усієї тієї легенди, яку мені переповідали.

Дідусь розповідав про загальний страйк 1905 року: — Загули сирени і Сосновець завмер. І я це бачив, відчував цей завмираючий Сосновець. (Я пам'ятаю першотравневі походи у Львові, батько ніс мене на плечах, я чув як гули сирени. Перед моїми очима натовп, усі йдуть і співають. Це дуже характерно — робітнича демонстрація співає так само, як церковна процесія, оскільки в ній звучать лише чоловічі голоси). Козачі патрулі стоять, а вони йдуть та співають: «Кров нашу довго кати проливають». Це для мене щось сакральне. Коли гули сирени на страйках «Солідарності», мене аж трусило. Ще я пригадую велику демонстрацію у зв'язку із похованням Козака, безробітного, якого застрелив поліцай. Початок демонстрації — це саме та сцена, яка наклалася на всі походи, які я бачив у Львові. У мене перед очима весь час проходить один єдиний похід, великий, мов ріка. Дійсно, це була грандіозна демонстрація. Я стежив за її початком, сидючи на плечах батькового кума Гроха, тому що сам татусь як один з провідних членів ПСП йшов попереду, в партійній делегації.

Я відчуваю себе учасником революції 1905 року. Не знаю, що я запозичив із книги Струга, яку з палаючим обличчям прочитав в часи окупації, що з іншого читання, але я гадаю, що основні мої знання щодо цієї революції походять з розповідей мого дідуся та батька. Друкарня, верстати, газети, що вилітають звідти, козаки, обшук. Татко лежав у ко-

лисці, а під ним була захована нелегальна література. Він завжди розповідав, що це був його перший активний прояв участі в революції: прийшли з обшуком, його підняли, а він виллювся. Козак випустив дитину, і таким чином всі врятувалися. Але насамперед з революційних часів висвітлюється постать дідусявого брата, Владислава Куроня, такого собі супербійця, партійний псевдонім Юлек, про якого я чув справжні ковбойські історії. Як одну з акцій, що тоді називали експропріацією, бійці робили в Заверті — напад на поштовий екіпаж. Їх оточили жандарми, підручного Юлька застрелили, а сам він випряг коня, сів на нього обличчям до хвоста, кінь пішов рясно, а Юлек відстрілювався з двох револьверів. За його голову була призначена винагорода, оскільки коли козаки окупували копальню «Реден», він заїхав на візку, застрелив директора, що стояв на подвір'ї, а сам втік. Щодо нього були оприлюднені відомості про розшук. Він переховувався у дідусявих сусідів у бідняцькому районі. Жандарми оточили територію — вони напевно знали, що він там — і почали обшукувати будинок за будинком. Юлек вскочив до колодязя і стирчав там упродовж усієї ночі — впирався ногами і руками в стіни, щоб не зірватися — захований у холодній воді, тільки губи виставив.

Але найміцніше в моїй пам'яті закарбувалася історія, яка не мала нічого спільного з його революційністю. Дідусь мешкав у дерев'яному будиночку. Взимку посеред кухні стояла «коза», металева піч з трубою. Її розпалили до червоного кольору, а мій батько із своєю сестрою Ігою сиділи на долівці і стукали в цю трубу вигрібачем, дивилися як летять іскри. Аж тут вдарили якимось сильніш, і «коза» впала на підлогу. Розпалена і розпечена, так що неможливо доторкнутись, за хвилю в халупі почнеться пожежа. А Юлек підійшов, поплював на руки, схопив цю розжарену піч та й поставив на місце. Затер руки і каже: «Не бийте їх, не бийте! Нащо на дітей кричати!»

Є в розповідях мого дідуся таке: козаки поховані, жандарми зникли, а робітники ходять вулицями в португелях та з карабінами на плечах, місто знаходиться в їхніх руках; а потім — революція програє, всім все набридло, ніхто не має більше сили, а хлопці-бійці бігають та стріляють; вони залишаються в цілковитій самотності, зацьковані, із смертельною ненавистю до всього, що є навколо, а передовсім до людей, які їх зрадили. Дідусь каже: «От такий мотлох. Коли добре, так він кричить, а як починає бути погано, так його немає».

Власне кажучи, найкраще це показує історія Юлька. Він виконав вирок над ксьондзем, який плінув на бойовиків з амвону, а потім пішов до кнайпи, напився і почав співати:

Ой, бачили штири орли, що в небі летіли,
Пруський, руський, австріяцький і наш польський білий.
Не пройшли і три хвилини і штири повір'я,
Як наш польський трьом останнім повискубав пір'я.

Його видали, показали, де він сидить. Увійшли козаки. Юлек потяг на себе скатертину, на якій стояла лампа, кинув у них цією лампою, скочив до вікна і почав стріляти. Його взяли пораненим і 1907 або 1908 року повісили.

Коли дідусь тримав мене на колінах і співав:

Ой, поїдем етапом, етапом, етапом
На Камчатку з кацапом, з кацапом, гей!
Нас підвісять високо, високо, високо,
Відпочинем глибоко, глибоко, гей,

— то я знав, що це означає: підвісять. Я знав, що Юлька повісили, а потім закопали, невідомо де, бо тіла його так і не віддали.

В неділю тато брав мене на плечі, марширував навколо столу і співав різноманітні робітничі, патріотичні пісні.

Хто сказав, що з москалями побратався гурт лехитів,
Тому першим стрелю в лоба за костелом кармелітів (...)

Ми про волю заспіваймо знов, знов, знов,
І за неї ми проллємо кров, кров, кров.

Тільки зараз я довідався, що цю пісню співали під час повстання 1863 року. Батькові дуже подобалися подібні речі. Можна сказати, що він виховував мене в антиросійському дусі.

В злиднях хто не відчуває
Ні кайданів, ні зневаги,
Той як зрадник хай сконає
На кістках кривавих Праги.

Я знав, чому «на кривавих кістках Праги», я знав, що на Празі була різанина. А ще він співав таке:

Ідїть до Азїї, нащадки Чингїс-Хана,
Там корїнь ваш, там справжній царський край,
Бо не для вас земля моя, мов рана,
Гей, струнко стїй! Влучнїше, друг, стрїляй!
Ідїть до Азїї, ідїть, кривавї морди,
Пануйте там, в гнїзді серед лайна,
А в Польщі, тут, загинуть вашї орди
Чи весь народ занапасть вїйна.
О Боже наш! О Ясногурська Дїво!

Благослови дітей! В сльозах не полишай!
О Преплага! Даруй нам волі диво!
Гей, струнко стій! Влучніше, друг, стріляй!

І ось таку пісню Романовського, львівського поета, який загинув у Січневому повстанні:

Гучно кремлівські ударили дзвони,
І розривається тиша,
Вітер розпалює сонце червоне,
Польські штатдарты колише.

«Слався, о царю! — виспівують хори, -
Вдяг ти в кайдани чернь ляшу!»
І зашуміло у відповідь згори:
«За вашу волю і нашу!»

Про 1920 рік батько розповідав страшні речі. Те, що Бабель писав про російську армію, він розповідав про польську. Він не давав мені жодної таблетки, аби вгамувати біль, я сприймав цю війну такою, якою він її бачив. Він був на фронті, йшов в атаку, тікав, його закусували воші, він бився, убивав. Але почав він з того, що розстрілював. Тому що коли він зголосився добровольцем, його направили до екзекуційного загону на Цитаделі. У цьому форті на Жолібожі прямо навпроти будинку, де я сьогодні живу, вони розстрілювали дезертирів.

Розвиднюється, із жолібозького форту виводять дезертира — старшого за батька, абсолютно знищену людину, а батькові було 15 років — який стає перед розстрільною командою і кричить:

— Хлопці, чи є хто-небудь з Рембертова?

Вони мовчать.

— Хлопці, є хтось з вас із Рембертова?

Вони мовчать, бо відповідати не можна.

— Якщо хтось є, то скажіть там, що такий і такий загинув.

Іншим разом прийшла рота до жидівського містечка, і з восьмої години запровадили комендантський час, чекають, що ж воно буде. І, ясна річ, таки схопили двох, що десь там намагалися пробігти. За них зажадали від Гміни викупу золотом. Гміна спробувала торгуватися, тоді одного розстріляли. За другого одержали золото, мали цього золота стільки, що не могли забрати, і як прийшов час наживати п'ятами, то все мусили викинути.

Батько мав абсолютне, безмежне переконання, що елементарним обов'язком людини є боротьба. І незважаючи на те, що завжди ця боротьба є гівно, але треба битися, бо такий наш обов'язок.

Вони — дід та батько — казали «робітнича справа», або просто «справа». І це означало — соціалізм, але цього слова вони не вживали. І це означало — погнобити експлуататорів. А ще це означало — Польща, Божа Матір з Ясної Гури і могили, об які вигострюється зброя, і оті азіати, яких треба вигнати звідси, і ще те, що за їхню волю теж йде боротьба. Отак все разом перемішалося. Отож і для мене робітнича і польська справа в основному були одним і тим самим. Дійсно, йшлося, власне кажучи, про Польщу. А якщо в цьому був присутній класовий гнів, то лише тому, що оті багатії продали Польщу. З пісень татусь найбільше полюблив «О честь вам, панове магнати», яку співав дуже і дуже часто, а її кінцівку «Музику пекельну попросим зіграти, а шляхта тоді хай танцює» він змінював на «в криві хай танцює».

Батько читав мені «Редут Ордона»:

(...)

— Бо знищення для доброї справи

Є таким же святим, як творення.

Бог промовив слово «будь!», Бог промовить і «згинь!»

Коли від людей піде віра і воля,

Коли деспотизм і шалена гордість землю

Обложать, як москалі редут Ордона,

Караючи плем'я переможців злочинами трути,

Бог висадить у повітря цю землю, як він свого редута.

Він, затятий безбожник, читав ці слова із стиснутим від сліз горлом.

Досить швидко він поінформував мене, що Бога немає. Якось приїхала до нас бабуся, патріотка і велика католичка. Вона весь час сварилася з дідусем, який був атеїстом та соціалістом. Одного разу вона не дала грошей жebraкові, тому що — як вона сказала — це був єврей, а євреї замучили Господа Ієсуса. Для мене все це було новими відомостями, тож я пішов до татка і він мені сказав, що немає Господа Бога, як ніколи не було і Господа Ієсуса, все це побрехеньки, які видумують дурні баби. Я відразу це прийняв, бо коли комусь не можна дати п'ять грошей, тому що він єврей, то, значить, і вся віра — чистісінька брехня.

Вітчизняній історії, власне історичній легенді, етосу мене вчили ці пісні, вірші, оповіді. Але гадаю, що ще більш важливим була відповідність всього того до практичного життя. Коли мені робили щеплення, тато розповідав про якогось революціонера, якого піддавали страшним тортурам, а він собі насвистував. Тож хоча мені було боляче, я теж насвистував.

А ось історія з мого раннього дитинства — настільки дивна, що навіть важко в неї повірити. Якось я попросив маму, аби дала мені шоколадку перед обідом. Вона дістала три шоколадні цукерки, а батько й каже: «Мужчина не їсть солодоців. Ніяких. Ніколи».

Я знав, що він їх їсть, але я жбурнув у нього тими цукерками і від того часу перестав їсти солодоші. Мало того, я перестав їсти варення, мед, перестав вживати цукор. Між мною та батьком розпочалася велика гра: татко демонстративно їв шоколад — ну от і добре, от і порядок, нехай один з нас не буде справжнім мужчиною. А я вперся.

Докладно не пам'ятаю, коли це було — за польського, за російського чи за німецького часу — тоді мені могло бути чотири роки, а могло бути і сім. Ми, кілька осіб, пішли у пішохідну екскурсію на Погулянку. Довкола Львова є такі горбисті, лісисті місця — як відомо, Львів був найкрасивішим містом. Того разу мені страшенно хотілося пити. Ми просувалися горами, а по воду треба було зійти вниз, до маленьких джерел. Я скиглив собі, скиглив, і тато сказав:

— Коли Александр Македонський мандрував через пустелю, то він і його військо не мали води. Нарешті знайшли десь трохи води і принесли йому в шоломі. Він бере ту воду і бачить навколо тисячі очей, що дивляться на нього. І виливає цю воду.

Я спустився вниз і набрав води у пляшку. Батько заборонив мені пити внизу самому, я мусив повернутися до них і тільки там напитися разом з усіма. Я повернувся, а батько каже:

— Мені щось не хочеться пити.

Всі інші кажуть, що теж не хочуть. Я подивився на них і все вилив. Для мене це було страшенно важливим. І потім, коли треба було щось розділити, я завжди пам'ятав про Александра Македонського, який вилив воду, оскільки не вистачало для всіх. Не знаю, звідки батько вичитав цю історію — можливо, він сам її придумав, це на нього дуже схоже. А ще була цікава оповідка про шибеника, засудженого до страти. Його схопили у Варшаві після Січневого повстання. Ні в чому він не визнавав себе винним. На побаченні він попросив свою матір, щоб та пішла до царя благати про помилування. Вони домовилися, що коли його везтимуть на страту, вона вийде в білій сукні, якщо його помилювали, і в чорній — якщо ні. Мати не пішла до царя. А в день страти вийшла в білій сукні. Він же — впевнений, що залишиться помилуваним — загинув гідно. Така ось була матір.

Можливо, саме тоді я відчув у собі страх, що не зумітиму загинути гідно. Але — скільки себе пам'ятаю — я думав про себе як про людину, котра має сидіти в тюрмі, пройти через тортури і загинути.

Мої бунти проти батька почалися ще до війни. Ми були десь над річкою, батько зловив рибу і забив її, а я розплакався. Тато сказав мені, що я рюмса, а я йому на це відповідаю: «Так, я рюмса. Але рибок убивати не можна!»

Зчинився страшенний скандал, врешті я зламав йому новеньку вудку. Батько погладив мене по голівці, подав мені руку і сказав, що я хоробрий. Я був певен, що він мене просто знищить, бо він надто прив'язувався до улюблених речей. А йому сподобалося, що я його не боюся.

Ми почали воювати. Батько водив мене на боксерські змагання, яких я органічно не виносив. Він весь час називав мене слабаком, сміявся з мене. Те ж саме відбувалося при забиванні курчат. Я твердо вирішив не здаватися йому. Перестав їсти рибу і курей. На моє щастя, йому не спало на думку прогулятися разом зі мною на бійню, інакше я став би травойдом.

Довго я не відчував відчуження до батька. Перший раз це сталося, коли він прогнав геть безробітного, який прийшов до нас циклювати підлогу. Пам'ятаю нещасне обличчя цього бідака; він стояв у благенькому плащі, хоча була вже зима, тримав в руці своє знаряддя і говорив: «Пане, я вже був тут, ми домовлялися». А батько почав верещати, що він мав би прийти іншим разом і викинув його за двері. Це мене страшно від нього відсторонило.

Коли почалася війна, я боявся лише одного — що вона закінчиться, а я так і не встигну взяти в ній участі. От і почалося те, чого я прагнув і для чого зростав. Я хотів битися за Польщу. Знав, що взагалі в цьому немає ніякої романтики, що це буде до холери важко, особливо для мене, тому що я не люблю вбивати, а війна — це убивство, адже я бачив мертві тіла вже у 1939 році.

Розповідаю всі ці історії про себе, бо, зрештою, вони показують, чому я є саме таким, яким я є. З одного боку, вразливий, рюмса, просто-таки сентиментальний гусак, здатний плакати над горобчиком. І разом з тим, як написав Казімеж Брандис у «Місяцях», захриплий бульдозер. Він там дивується, як Гражина, така вродлива, тонка жінка може мене витримувати. А врешті, у ставленні до неї я таки був рюмсою. Поруч з нею я міг собі таке дозволити, тому що для всіх я мав бути усміхненим. Як тільки з'явиться хто-небудь, зразу посміхаюсь. Я цьому навчився.

Я мешкав у Львові на Гірках, в будинку, побудованому з процентів Управління соціального страхування. Це був дуже гарний дім старої і водночас новітньої архітектури, ексклюзивний в тому сенсі, що його населяла передова інтелегенція. А недалеко, теж на Гірках, стояли бараки для безробітних, і тамтешні хлопці — я належав до їхньої банди, бо хоча був шмаркачем, поводив себе хоробро — билися з хлопцями з нашого двору.

Я виховувався поруч з бараками. Це було зближення із повними люмпенами. Я відкрив для себе найгірший район міста, врешті, треба сказати, що до честі моїх батьків, вони схвалили мій вибір. Вдосвіта я виходив з дому і пропадав, матуся завжди розповідала, як вночі шукали маленького Яцєка. Нарешті мене знаходили, десь на Гірках я лежав біля багаття замурзаний до очей, їв печену картоплю, або уже спав. Так і кочували хлопці з бараків, вогонь палав, хлопчачі і підлітків оповідали різні історії, дивні, бандитські, прекрасні. А кров як полетіть, а тут він його ножем раз. Чорна Манька як жива — і таких історій в уривках я пам'ятаю безліч.

Татусь на руках ніс мене додому, казав, що я отримаю по сідницях. І дійсно, пару разів таки націдив мені добряче, але зазвичай це були жарти.

Коли у 1939 році ми вперше побачили росіян, у нас просто серця заходилися від обурення. Таких дітей — абсолютно позбавлених будь-яких моральних засад — до того ще ніхто не бачив. Приїхала офіцерська родина, розвантажили машину. У них був десь поцуплений радіоприймач, ясна річ, польський. Виявилось, що він належав одній бабці. Вона тримала приймач в руці, коли раптом до неї кинувся хлопчик — йому могло бути вісім-десять років — і вирвав його у неї з рук. Такого у Львові ще не бачили; адже це був зовсім не люмпен, а син офіцера або високого службовця.

Я пам'ятаю ще одну сцену початку російського часу, теж таку, яких досі не було. Ми з приятелем граємо в пікату. Раптом з'являються двоє російських хлопчиків з рогатками на дроті, класними рогатками з товстої гуми. Один кричить: «Руці вверх!» і прикладає рогатку мені до голови, а рогатка «заряджена» залізною гайкою, як відпустить — вб'є напевно. І я, вихований так, що ніколи не піддавався, підношу руки вгору. Вони забрали у мене маленького ножика, якусь рогатку на патаках, ще щось таке. Все життя пам'ятатиму цей сором: те, що я піддався, що підняв руки вгору. У хлопчаків в очах був написаний намір стріляти, але може б, і не наважилися? За моїм кодексом честі треба було грати до кінця. Таткові про це я не розповів.

Невдовзі по тому батько зробив мені таку ж рогатку, як у них, і у мене виникла проблема, я питав себе: чи зміг би я вистрілити комусь у голову заради Польщі? Я відчував, що не зміг би. Це страшенно мене бентежило.

До міста увійшли німці. Львів збожеволів від щастя. Львів уже мав австрійську традицію, і всі вірили, що німці є носіями справжньої європейської культури, а росіяни це така собі Азія.

Мої батьки відразу повели конспіративне життя. Батько, щоправда, цього не полюбляв. Спочатку — 1920 року — він мусив йти на фронт, бо росіяни були під Варшавою, потім мусив приєднатися до Сілезького повстання, тому що трохи відчував себе сілезцем — дідусі походили з Ниси. Потім він побачив безробіття, злидні, голод, і хоча залишився соціалістом, проте значно комунізувався. Далі почалася війна. І батько постійно робив те, чого не любив. Так його носило й носило.

Батько мріяв, щоб доля дарувала йому щастя пережити великі речі, але тут він захоковвся в матусю, яка, здається, була найвродливішою дівчиною у Львові. До того ж з професорсько-генеральської родини, а він був пролетарем, робітником. Він був машиністом в копальні «Реден» на шахті «Париж» в містечку Домброва Гурніча.

Уже в часи «Солідарності» зі мною сталася цікава історія. Їду я до копальні «Генерал Завадський» на зустріч, і згадується мені, що батько працював у тій самій копальні, що і Завадський. Питаю, чи була тут колись

копальня «Реден»? Кажуть, так, була. Аж заграло мені в серці: для мене це 1905 рік, це стрий Юлек, який стріляв тут, це батько, який тут працював. Я прийшов до справжніх своїх витоків, так ось звідки я є. Зустріч відбувалася між змінами. Стоять шахтарі, ціла копальня, одні ще чорні, інші за хвилину з'їдуть вниз. І тут чіпляє мене хтось невдоволений з провокаційним питанням:

— Нехай нам пан Куронь розкаже щось про своїх батьків, де вони працювали...

— Мій батько родом із Сосновця, він працював саме на цій копальні, був другим машиністом, — посміхнувся я.

Все це мало такий вигляд, ніби я їм заплатив, щоб вони поставили таке запитання. А коли б я сам про це розказав, тоді це було б заграванням. Тож про Юлька, який застрелив тут директора копальні я нічого не розповів. Можна було б це видати, але я вирішив, що не треба, що це моє, особисте. В той час я багато їздив на зустрічі з людьми, але вперше розмовляв тоді з шахтарями, і я дуже переживав, тому що вдома я зростав у гірничій сфері.

Батько закохався в матусю, зробив їй дитинку, тобто мене, і вона мусила вийти за нього заміж. І листопада вони уклали шлюб, а я народився 3 березня. Мама розповідала, як вона гірко плакала, тримаючи мене на руках, вона думала, що її життя на цьому закінчилося. Сестри танцювали, забавлялися, а вона сиділа зі мною.

Батьки дуже кохали одне одного, в усякому разі ревності були пекельні, і безперервно їх турбувала проблема їхніх зрад.

Періодично матуся промовляла: «Ходімо звідси, Яцусю, ми вже ніколи до татка не повернемося». За першим разом для мене це було нечуване потрясіння. Ми пішли до її подруги, панни Ванди. Та, мов гарпія, кинулася до мами із запитаннями: як це було, хто з ким і як. Мене вона хуленько відвела до дітей; їй здавалося, що я нічого не знаю, а я знав все. Тоді я чи не вперше пережив щось таке, що зі мною потім часто траплялося. Тобто, що я відчуваю в собі і що видається зовні. Внутрішньо я тремчу, світ для мене перевернувся, а зовні — все в порядку, я граю з дітьми. Через деякий час до кімнати входить панна Ванда і каже: «Яцусю, знаєш хто прийшов?» Я — той, що був зовні — сказав, що не знаю, а я — той, що був всередині — увесь затріпотів, бо я таки щось відчував. А вона каже: «Татусь». Він приніс сосиски і пів-літра. Я з'їв сосиски, вони випили, потім мене взяли на руки і щасливі повернулися додому. Так було раз, другий, третій.

Все це вело до того, що я з кожним новим таким випадком дедалі більше віддалявся від них. Вони були милі, красиві, я іноді був у захопленні від них. У захопленні від татка, бо він зміг побити скількись там шанувальників матусі, а помилково врізати ще якомусь поліціантові та продавцеві повітряних кульок. Потім він виніс матусю на руках на

четвертий поверх, а матуся тримала великий кийок з прив'язаними до нього кульками. Потім вони кохалися, що я бачив крізь прочинені двері; а поруч стояв той кийок із кульками, і тут приходять поліція, щоб скласти протокол. А ось що пригадував мій дядько Собек: якось приходять він до нас, матуся його приймає, а тут прибігає батько й каже: «Вандочко, я убив Тадека». А мама на це: «Добре, добре, у тебе щось з рукою», — і починає робити йому перев'язку. А Собек думає: певно, він кожного дня когось убиває, якщо вона зовсім не переймається.

Коли почалася окупація, у мами вивільнилося для мене багато часу, вона читала мені «Трилогію». Певно, вона робила це тому, що Польща закінчилася і треба було просто подарувати мені трошечки Польщі. «Трилогія» стала для мене величезним переживанням. Після «Трилогії» вона почала мені читати «Хрестоносців», але перервала читання. За якийсь тиждень я навчився читати і поглинав патріотичні книжки — такі, які могли зміцнити в мені переконання того, що ми переможемо. Я читав Валерія Пшиборовського, а ще Жеромського, Пруса, який мене дратував через те, що був надто непатріотичний. Я читав, аби ствердитися в тому, що ми переможемо, а тим часом виявлялося, що мусимо програвати. Дуже давно батько говорив мені, що поляки програвали, бо у них не було вождів. Вони мали найкращого в світі солдата, в Ольшинці Гроховській на кожного поляка припадало двісті росіян. Тож солдат уже якось дав би собі раду. Коли батько співав «О честь вам, панове магнати» — де по черзі називаються усі ватажки повстання, які зрадили свій народ — це була для мене наочна лекція з історії. Найбільше мені хотілося бути конспіратором. Я підслуховував, виймав листівки, дізнавався, де знаходяться револьвери. Батько казав: «Дурний ти лайнюк, краще тобі нічого не знати, адже в якийсь день вони сюди прийдуть, засунуть тобі під нігті сірники, і ти все розкажеш». Від того часу я почав боятися, що не витримаю мук. Я забивав собі під нігті сірники, різав собі руку, завдавав собі болю у найрізноманітніший спосіб — все лише для того, щоб дізнатися, чи не зламаюся я під тортурами. Я боявся болю. Звільнився від цього страху — смішно — не так давно в ув'язненні, коли мав напад, пов'язаний із камінням у нирках. Мені сказали, що це найбільший біль, який знає медицина. Я лежав, звивався від болю і думав: чи засипався б? Ні. І був щасливий. Це були багатогодинні напади. І весь час я думав лише про одне: чи вже розколовся б? Насправді ж, я знаю, що це не найстрашніший біль, який людина може завдати людині. І все ж таки я не знаю, як би все це було, коли б мене катували. Однак з того часу це мене вже не турбувало.

Львів був містом поляків, євреїв, українців, містом гострого антагонізму. Я виріс, пронизаний історією Орлят, я співав: «Львів боронять польські діти, зносять рани, смерть і біль», але захоплювало мене також і інше, чужинне. Коли я проходив повз українську школу, щось мене до неї вабило. Я прекрасно пам'ятаю, що вирішило мій абсолютний — ко-

лись сказав би інтернаціоналізм, що сьогодні звучить нерозумно, тож скажу — універсалізм.

Батько двох моїх приятелів, страшно невдоволений, сказав мені:

— Спільник твого батька — українець.

Це був молодий чоловік. На прізвище Чайка. Вони разом з батьком працювали в Армії Крайовій. Він був нечувано симпатичним, розповідав мені щось із Джека Лондона, і його версія подобалася мені значно більше, ніж оригінал.

Приходжу я до батька і питаю: «Татку, чи цей Чайка дійсно українець?»

А батько відповідає: «Він — ні. А от я — українець».

В першу хвилину я подумав, що він жартує, але він із цілковитою серйозністю повторив це знову. Я очманів і повірив. Мучився впродовж цілого дня. Ввечері, коли я вже зовсім з цим змирився, прийшов до батька запитати про подробиці. Тоді батько каже: «Та ні, насправді я не українець, але я сказав тобі так, аби ти знав, що людина випадково народжується українцем, поляком, циганом, євреєм. Абсолютно випадково. Я цілком міг би бути українцем».

Мене вразила справедливість батькового твердження, і до сьогодні я в цьому переконаний.

Єврейське питання повстало переді мною з нечуваною силою, коли до Львова увійшли німці. Тоді я несподівано відкрив для себе, що багато моїх приятелів, знайомих, знайомих батьків були євреями.

У нашому бидинку мешкала велика кількість представників асимільованої єврейської інтелігенції, поляків єврейського походження. З їхніми дітьми я приятелював. До одного з них, Марека Граба, я ходив в гості дивитися фільми на маленькому дитячому проекторі. Добре пам'ятаю я і крамничку, що була в нашому домі. Її тримав пан Ліфшиць, я приходив туди по морозиво, купляв там газовану воду, а він завжди питав, чи ще не ростуть у мене на голові роги, він казав, що я мале чортеня. А ще я пам'ятаю пана Маркуса — всіх тих людей, з якими доля зводила мене потім, під час війни.

Я мешкав на арійському боці. Однак, так уже склалося, що я весь час стикався з людьми з того, іншого, неарійського боку муру.

Під Львовом, у Янові, знаходився табір смерті і табір праці. Там були не лише євреї, але єврейські колони щоденно четвірками проходили містом. Абсолютно голі, в якихось пов'язках, постукуючи по бруківці дерев'яшками, проходили тіні людей. Вони співали:

Хто це, хто це наче цяці
Із Янова табір праці
Хто не знає може нас взнать
Хуй вам до дупи курва мать

А як йти не стане сили
Не одержиш і могили
На пісок ти підеш спать
Хуй вам до дупи курва мат

Акця в травні, акця в лютим
Жінка з дітьми десь за другом
Серце біль став розривать
Хуй вам до дупи курва мат

Співали ще й іншу пісню, яка видавалась, може, навіть смішною, але мені було не до сміху: «Наш маршал Сміглий Ридз нас не навчив а ніц, прийшов тут Гітлер злотий й навчив жидів роботи».

Кожного дня вранці я мандрував на інший кінець міста, щоб купити молока для мого брата Фелека, який на той час уже народився. Стояв мороз, сніжило, я вибіг на свою вуличку Жулинського і налетів на чоловіка з яновського табору. Люди з табору прибирали з вулиць сніг, згрібаючи його у рівні призми. Першою моєю реакцією був страх. Місту загрожував сипний тиф, який уже вирував у Янові.

Тоді у Львові працював доктор Рудольф Штефан Ян Вайгль, який відкрив вакцину проти тифу і керував інститутом, в якому продукувалася відкрита ним вакцина. За походженням він був німцем, і окупаційна влада намагалася примусити його підписати фолькслисти, але він відмовився. Багато знайомих моїх батьків підробляли у нього в інституті, підгодовуючи вошей. В стегно вщеплювалася така маленька клітинка, де воші пили кров. Загроза тифу, воші, що переносять хворобу з янівського табору, де почалася епідемія, — все це страшенно мене лякало. Але, мушу зробити зізнання в тому, що мій страх пов'язувався із плакатом, що розвішували на вулицях: єврей, а скоріше, воша з людським обличчям із надто підкресленими семітськими рисами, і напис знизу «Жид = воші = висипний тиф».

Отож я налетів на того в'язня із Янова і відчув страх. І разом з тим страшенний сором, який просто таки обпік мене. Я йшов вулицею Жулинського метрів сто — тут працювало багато євреїв з Янова, — і щоб покарати себе за раптовий страх, я терся об кожного з них. Раптом я усвідомив, що всі ці люди виснажені, голодні, а я їх штовхаю, утруднюю їм роботу, і вся моя покута фунту лайна варта.

Я пам'ятаю, як на нашому подвір'ї співала трійця єврейських дітей, зголоднілих та змарнілих. Їх покликали до нас, і на кухні дали їм супу. Не того супу, що їли ми, а того, з великого казана, яким годували єврейських робітників на фабриці, де мій батько був керівником. Я знав, що коли вони з'їдять суп, їх знову виженуть на вулицю, де на них чекає смерть. Я соромився і своєї їжі, і свого вбрання, і того, що я живу в безпеці. Одного

разу Марек Граб, той самий хлопчик, у якого був кінопроектор, просидів у нас цілий день. Його кудись мали відвезти, він був блідий і весь був втіленням страху. Я цей страх відчував. Тоді мені теж було соромно.

Колись у школі нас вчили співати коляди перед Різдом Христовим. На перерві хлопці почали перекручувати якусь коляду і співали: «Хвала на високості, штири жиди гризуть кості». І тоді я знову відчув обпикаючий сором за них і за себе, і ще за те, що не мав сміливості їм протистояти. Це було пов'язано з моєю ситуацією в школі. Батьки вирішили, що я страшенно інтелігентна дитина, і віддали мене відразу до третього класу. Мені було дуже важко, я нічого не вмів і через це завжди виглядав дурнішим, ніж був насправді, найгіршим у класі. У мене не було друзів, бо до школи я пішов відразу після того, як німці виселили нас із будинку Управління соціального страхування, і ми оселилися на вулиці Жулинського. Новачок у дитячій компанії завжди найгірший. І перш ніж я пристосувався, ми вже переїжджали на інше місце. Отож я і був чужим, чужинцем.

Ці безперервні переїзди зробили з мене маленького соціолога та етнографа. Дуже рано я відкрив, що існує група, груповий зв'язок, першість, звичай групи, що одні й ті ж речі іноді називають по-різному. Часом виситає одного слова ужитого не так, аби діти сміялися над тобою, знущалися. Не можна помилятися, і насамперед потрібно дослідити, як функціонує громада. Та весь час мені бракувало однолітків, звичної для мене дружби, старих приятелів, і в результаті я був дуже самотньою дитиною.

У грудні 1942 року народився мій брат Фелек, а відразу після того до нас прийшов Вацек, двоюрідний брат, батько якого загинув в Катині, а матір забрали до Сибіру. В цей час я став цілком дорослим.

Можливо, саме через цю самостійність зростала і моя вразливість, яку я весь час прикривав панцирем, аби відповідати батьківському зразкові стійкого чоловіка. Однак моя вразливість щодо долі євреїв мала більш глибокі причини, а саме розуміння братерської єдності всіх людей, яке дідусь, батько й мама прищеплювали мені у різні способи.

Пригадується мені ось яка сцена: ми гралися на подвір'ї, раптом почувся постріл. Це під брамою хтось вистрілив з револьвера. Запанувала тиша, ми завмерли, а двірничка кричить з глибини подвір'я:

— Що там сталося?

Я точно пам'ятаю відповідь двірника: «Та нічого, українець убив жидка».

Ми вибігли на вулицю, побачили кров і маленький, покручений труп єврейської дитини. Нічого. Українець убив жидка. Це був не перший небіжчик, на якого я дивився, але це напевно була перша убита дитина, мій одноліток. З нечуваною силою я відчув нашу близькість, однаковість з цим тілом, що лежало на вулиці.

На початку німецької окупації батько керував ламповим заводиком на вулиці Жулинського, що містився в будинку номер 11. Керівництво

здійснювалося під примусовим німецьким наглядом. Водночас він працював у відділі інформації львівського партійного бюро та у контролёрівді АК, а ще брав участь в акції допомоги євреям. У нас про це ніколи не говорили, оскільки після війни батько все це приховував. Він казав:

— Я читав історію ВКП(б), знав, що з цього буде, і нічого не говорив.

Перед війною батько був соціалістом, але у тридцяті роки він наблизився до комуністів. Був членом окружного комітету Польської соціалістичної партії у Львові, де прибічники єдиного з комуністами фронту мали більшість. Гадаю, що цей союз був для нього не лише питанням тактики, його радикалізація була наслідком кризи, зростаючого фашизму та безпорадності соціалдемократії перед владою прибічників Пілсудського, які дедалі більше тоталіризувалися. За цей монолітний фронт з комуністами його врешті й вигнали з ППС (Польської соціалістичної партії).

Вхід радянських військ до Львова став для батька нечувано сильним ударом. Він був палким патріотом і не погоджувався на будь-яку співпрацю з росіянами. Незважаючи на тиск, батько відмовився працювати журналістом у «Червоному прапорі». Так і залишився набірником, і врешті-решт, зовсім втік звідти і влаштувався токарем на арматурному заводі. Він був інженером, перед війною закінчив політехнічний, але вважав, що робота на цій посаді у Советах була б зрадою власного народу.

Радянське панування у Львові він сильно переживав. Всі ці заслання до Сибіру — на наших очах вивозилися цілі родини. Серед ночі до помешкання увальювалися енкаведисти і всіх забирали, дозволяючи взяти з собою стільки, скільки можна нести в руках. Таким чином виїхала мамина сестра. До батька доходила інформація з таборів, зокрема, з луцького та з Бригідек, про НКВС, про підслуховування. Союз Сталіна з Гітлером, який існував на той час, мав величезний розголос у пресі, і приєднання Західної України до Радянського Союзу — цей черговий розділ Польщі — привели до того, що батьків настрої змінився на антирадянський — це виявлялося виразно й однозначно. Але якимось дивним чином, як би не обманювали його ілюзій, кожний наступний крок ставав для нього черговим ударом по його вірі. То хіба ж це вибори? Хіба це соціалізм? То так підштовхують людей до урн? В його воланнях була віра в те, що все повинно відбуватися інакше, і саме це інше має бути соціалізмом.

Він розповідав, як на арматурному заводі відбувалися вибори до місцевого комітету. Штатний партійний секретар, росіянин, зачитав список, узгоджений з усіма діючими в закладі організаціями, і запитав, чи є інші пропозиції. Один із робітників піднявся з місця і запропонував якусь кандидатуру, а секретар його питає:

— Це, товаришу, ваша власна кандидатура, чи ви пропонуєте її після переговорів з людьми?

— Так, після переговорів, — бо чоловік подумав, що буде краще, коли скаже, що порадився з колегами.

— А яку ж ви представляєте організацію? — кричить секретар. — Я знаю всі організації на нашому заводі і всі вони склали спільний список. А ви тут виступаєте від імені якоїсь ради, це значить, що у нас існує таємна організація. Ванила, викликай НКВС.

На це робітник відповідає:

— Та ні, я її пропоную від власного імені.

— Ну, тоді це інша справа, — каже секретар. — Ми не хочемо вам мстити, ми хочемо допомогти вам, хочемо вас виховати. Але якщо ви ворог соціалізму, ми вас знищимо. Ванила, не треба викликати.

Всіх людей, вихованих на наших класових профспілкових зв'язках, в цій санаційній, буржуазній Польщі, розповідав далі батько, ніби громом побило.

Проте я знав, що передовсім громом побило саме його. Увесь час він нагадував коханця, який переживає нове розчарування.

Після арешту Броневського батько збирав підписи щодо його справи, хотів надіслати листа в органи влади. Однак йому порадили не робити цього, і він врешті відмовився від цієї ідеї з великим болем та жалем. Йому залишалося тільки вірити, і він вірив. Ця віра зміцнилася, коли Червона Армія почала перемагати — в цьому він бачив шанс для нас, поляків.

Найбільше враження справляли на мене походи до басейну з мату-сею. Від нашого будинку туди треба було їхати трамваєм через гетто. До львівського гетто євреїв звозили з усього воеводства, ті кілька кварталів вулиць та будинків, очевидно, не могли вмістити всіх. Багато хто лежав на вулицях. Напевно, вони помирали від голоду, але мені. хлопчиків, який їхав до басейну, здавалося, що їм насамперед бракувало води. В кінці трамвайної лінії був базар, і мама купувала там вишні чи черешні, великі соковиті ягоди. Через шпарини в паркані на це дивилися зголоднілі єврейські діти.

Моя мама сприймала це спокійно, що було в ній феноменальним. Вона не любила надто чимось перейматися, і у зв'язку з цим не втручалася в життя інших людей. Звідси і походила її нечувана толерантність. З абсолютним спокоєм вона переносила те, що на поверх чи на два поверхи нижче від нас, чи у підвалі нашого будинку кожної ночі сиділи євреї, яких витягли з гетто, щоб потім перекинути кудись далі в усі можливі куточки. Тільки за одного з них розстріляли б нас усіх — Фелека, якого вона дуже любила, мене, її чоловіка, її саму — все це вона прекрасно знала. Пізніше з таким же спокоєм вона сприймала бомбардування. При цьому мама казала:

— Я не піду до сховища. Коли вибухне бомба, то все одно всі загинуть. І спокійно колисала Фелека.

І от із цим своїм лінивим спокоєм вона їхала зі мною через гетто, нічого не бачила, ніщо її не хвилювало. Ми йшли до басейну. Я не їв

черешні, не заходив у воду, тому що все ще бачив тих голодних біля загорожі і тих, що лежали посеред вулиці і здихали — як мені тоді здавалося — від спраги. Вода була зеленуватою, чарівною, вона спокушувала. Потім я і купався, і їв черешні, які лише спочатку ставали мені попереk горла.

Багато з того, що я досі говорив про моїх батьків, є досить образливим. Я і надалі говоритиму погано, оскільки спробую описати їх такими, якими я їх бачив тоді, спробую висловити все, що мене так захоплювало в них, і все, що спричиняло мій бунт проти моїх батьків.

Вже після початку ліквідації гетто, коли залишили живими тільки тих, хто працював із сільськогосподарським реманентом або для війська, батько як керівник лампового заводу дістав певну кількість літер «W», нашитих на жовте полотно, які означали, що людина, яка її носить, має виняткове право не бути взятою під час облав на євреїв. Він мав цих літер менше, ніж у нього працювало людей, і я прекрасно пам'ятаю, як він пояснював комусь, щоб давати ці літери людям розумової праці, діячам культури, письменникам — тим, котрих перш за все треба рятувати. Він говорив це вільно, спокійно, хоча, напевно, мені так тільки здавалося. Я не вірю, що він спокійно робив цей вибір. Але тоді я сприймав це саме так, і мені було дуже боляче за цим спостерігати. Він не дав літери «W» Емілю, швагрові пана Ліфшиця, який тримав крамничку. Еміль був напівписьменним, смішним чоловіком. Він утік з транспорту і приїхав до нас. Ми сиділи на кухні, він їв суп і страшенно задоволений розповідав мамі про свою втечу:

— Ну і як я втік, то куди б я мав їхати, як не до пана інженера.

А я знав, що саме батько вислав його на цей транспорт.

А ось інша історія, після якої я ще сильніше відчув відчуження до батька. В якийсь день ввечері прийшов до нас старший Граб, батько Марка. Він був блідий, мав чорні тіні на неголеному обличчі. Сидів, вів якісь пусті розмови, хотів залишитися переночувати. Та десь перед комендантською годиною батько почав галасувати, тому що взагалі всі важкі питання він розв'язував криком:

— Прошу вас піти, у мене дружина і діти!

А мені стало соромно, бо одним з його дітей був саме я, і виходило, що через мене він виганяє людину під кулі карабінів. За цим стояли якісь вищі аргументи, завод, що був осередком Армії Крайової, транспорту з євреями, які через нього проходили. Тоді я дав собі слово, що ніколи, заради жодних вищих істин, ані для якогось вищого добра і ще чогось більш високого, нікого з дому не вижену.

Всі ці подерті на клаптики, уривчасті історії вказують на певну важливу причину польського антисемітизму. Зблизька нам доводилося зіштовхуватись із полюванням на людей. Ми всі жили в долині смерті, звідки транспорту вирушали до таборів знищення. Ми знали українських чи

польських поліцаїв, які стріляли в утікачів із єврейських колон — дітей та жінок. Ми бачили есесівців, які вбивали на вулицях єврейських дітей. Кожний поляк мусив вирішувати для себе найглибшу моральну дилему: яким чином жити нормально поруч з тим, що коїться?

Частина людей обирала боротьбу з окупантами та допомогу євреям. Інші могли жити нормально і не збожеволіти тільки згодившись з тим, що єврей є іншим та гіршим від них, такою собі недолюдиною. В такий спосіб гітлерівська пропаганда заспокоювала певні потреби. Гадаю, що безпосередньо зіткнувшись із винищенням євреїв, людина може дійти або до боротьби, або до будинку божевільних, або до визнання тих, що гинуть, гіршими. Так і сталося з величезною частиною польського сусільства.

Ще більше подібна раціоналізація потрібна була всім тим, хто заводів майном, що залишилося після євреїв, або хоча б тільки їхніми колишніми клієнтами — це стосується гендлярів та ремісників. Три мільйони знищених польських євреїв — це все ж таки три мільйони помешкань, які у переважній більшості зайняли поляки, а до цього ще слід додати інше майно: золото, меблі, верстати, хутра, чи хоча б старі пальта, черевики, одяг тощо. Німці брали для себе лише найкраще, та й то не до всього могли дотягтись. Не підлягає сумніву, що екстермінація євреїв пов'язувалася із суспільним авансом польської бідноти. Справжні багатства, які виникли після цієї екстермінації, становили лише невелику частину.

Я не міг визнати євреїв гіршими. А коли так, то мусив переживати увесь цей біль, сором і жах. І мусив жити, постійно прагнучи боротьби. Безперервно я намагався створити якісь підпільні організації. Аби заохотити до співпраці своїх приятелів, я розповідав їм про конспіративну діяльність батька, приносив з дому листівки. Одного разу навіть хотів винести револьвер, на щастя, мені це не вдалося.

Так от, якоесь прийшла до нас на Жулинського пані К. До війни вона мешкала в нашому соціальному будинку, на другому поверсі. Ясна блондинка, вона мала великі молочно-білі груди. Це була моя перша в житті еротична фантазія. Пам'ятаю, як вона стояла на балконі і їла яблуко. Отож вона прийшла, хоча до того не підтримувала з нами ніяких товариських контактів, і почала розпитувати про різних сусідів. Батько сказав, що нікого не зустрічав і не бачив. Її цікавили, на що батько звернув пізніше мою увагу, тільки сусіди-євреї. Вона запитала про Маркуса.

— Ні, не бачив, — відповів батько з кам'яним обличчям.

Тоді я сильно здивувався і кажу:

— Так ми ж їхали разом з ним до Кракова.

— Поїздом? — батько поглянув на мене з надмірним здивуванням. І це його питання було настільки переконливим, що мені захотілося йому допомогти.

— Та ж ні, не поїздом, а вантажівкою.

В той час до Румунії відправляли транспорт з євреями. І ми — я і мама — забрали їх із собою до Заритого, до нашої тітки на канікули. Ми їхали у кузові серед будівельних матеріалів. Через кожні два-три кілометри нас зупиняв патруль, тому що до Львова приїжджав тоді генерал-губернатор Франк.

Як тільки за пані К. зачинилися двері і стихло скрипіння сходів, батько кинувся до мене і дав мені прочухана.

— Вона агентка гестапо, — закричав він. — А ти тільки що стратив мене, маму, Фелека, всіх, тому що себе убити ти маєш право.

Після цього він викинув мене на сходи. Я біг абсолютно впевнений, що вже не повернуся, а разом з тим з надією, що він мене покличе. Він покликав, я відвернувся, а він викинув за мною мого капелюха. Через деякий час батько сказав мені дуже спокійно:

— Цю пані К. застрелили. Можливо, вона була невинною, але ти стільки набазікав, що лишати її живою було не можна.

І я відчував, що це я вбив пані К.

Саме того вечора, коли батько викинув мене з дому, почалася історія Зоськи. Це найважливіше, що трапилось зі мною під час окупації стосовно євреїв, життєвого вибору, всього мого тодішнього життя, позначеного смертю.

Якогось дня до нас на вулицю Жулиньського прийшла дівчина, їй було десь 16 років, вона хотіла працювати служницею. Мамі вона дуже сподобалася. Потім прийшов батько, побачив, що це єврейка з гетто, і сказав їй, щоб вона йшла собі геть. У неї було дуже напружене, змучене, налякане обличчя. Через деякий час до нас завітала пані К. Коли батько вигнав мене, я вирішив не повертатися додому. Недалеко від нас був майданчик, де складали дошки. Я й подумав, що буду там спати. Була літна, місячна ніч. Я назбирав якихось стружок і уклався спати. Взагалі холодно не було, мені навіть не було сумно. Десь поруч із собою я почув нерівне дихання. Через щілини між дошками я побачив палаюче, червоне обличчя дівчини. Це якраз була Зоська. Вона була непритомна. Я повернувся додому через подвір'я, вже настала комендантська година, ворота, ясна річ, були замкнені, і я проліз через огорожу. Я розбудив батька і сказав йому, що та дівчина, яку він вигнав, лежить під дошками непритомна. Він докладно розпитав мене, де саме, ми пішли разом, він подивився і наказав мені повернутися.

Потім, через деякий час, він сказав нам, що у нас є кухня на ім'я Зоська Чарнецька, що вона лежить в інфекційній лікарні, що у неї висипний тиф і що ми маємо її відвідати. Ми передали їй ревеневий компот у пляшці. Вона виглядала у вікно і махала нам рукою. На голові у неї була біла хустка, оскільки хворим на тиф стрижуть волосся.

На той час склалася якась загроза провалу, і ми переїхали з вулиці Жулиньського на вулицю Кохановського, до угорської генеральші. Потім

на вулиці Асника, 5 було засновано пункт перекидки євреїв. Там і мешкала Зоська, і з нею я — цілу осінь і половину зими. Я навіть не знаю, як її насправді звали.

Це було моє велике, дитяче кохання. Їй дійсно було 16 років. Вона була дуже начитана, добре знала польську літературу, розповідала мені різні книжки. Стосовно цього вона здавалась дуже розумною, хоча якщо йшлося про те, як належить жити в цьому дивному світі — була ще зовсім дитиною, тому нас можна було б назвати однолітками. Певно я був для неї єдиною близькою людиною, так само як і вона для мене.

Квартира на вулиці Асника була величезна, міщанська, з чорними та парадними дверима. Ми розпалювали пічку-козу. Я ходив робити закупи, разом ми готували їжу, переважно картоплю, їли, я готував уроки. Вона розповідала мені різні речі, я щось розповідав їй. Вигадував якісь історії, так, щоб було весело. Ми спали на великому ліжку, що стояло поруч з пічкою. Ми билися подушками, потім укладалися разом під ковдру, притулялися одне до одного, бо було дуже холодно. Це було перед ліквідацією гетто. Періодично в квартирі затримувалися євреї, яких потім перекидали кудись далі. Вони приходили бліді, з чорною, давно не голеною щетиною. Якось я носився по квартирі і залишив трохи прочиненими двері до сусідньої кімнати. Там було затемнене вікно, що виходило на вулицю. Один з них звернув на це мою увагу:

— Не бігай так.

— Та це ж всього малесенька шпаринка, — відповів я.

А він каже:

— Цей промінчик світла веде прямо під люфу карабіну.

Те, що сталося далі, я стільки разів перекочував у себе в голові і під час війни, і вже після неї, що сьогодні мені страшенно важко сказати, що я думав тоді, а що — потім. Я відчував, що Зоська чогось від мене хоче, що їй щось таке загрожує. Я не знав, як їй допомогти. Хоча, може, мені просто так здавалося. Там був такий двір-колодязь, через яке бігали товсті, величезні щури. Зоська їх дуже боялася, і це мене вражало. На цьому подвір'ї мешкав двірник, у якого була паралізована дружина і маленький син. У мене склалося враження, що він її шантажував і змушував до сексуальних стосунків. Втім, можливо, мені це тільки здавалося.

Ще, як ми жили на Жулинського, якийсь циган чи румун приніс на завод скриньку з ціанистим калієм. Це були такі смішні яечка. Я взяв одне з них у руку, батько тоді міцно схопив мене за цю руку в зап'ясті, відвів до крану, умив і сказав:

— Отак би доторкнувся, лизнув і помер би.

Таку ж бляшану коробочку з отрутою привезли якось в наше помешкання на Асника і поставили на антресолі. Батько мені сказав:

— Обережно, ти ж знаєш, що це таке, пильнуй, щоб Зоська цього не торкалася.

Зоську дуже захопив цей ціанистий калій. Вона все розпитувала мене, скільки треба прийняти і як. Якогось дня ми заснули, міцно притулившись одне до одного, а коли я прокинувся, то відчув, що вона зовсім холодна, нежива. Я відразу зрозумів, що вона отруїлася. Я підвів голову, на кріслі, яке стояло поруч із ліжком, я помітив яєчко отрути.

Встав, знав, що мушу поїхати до батька і сказати, що Зоська померла. Умився, одягнувся, повернувся, поцілував Зоську — у неї було таке перекошене обличчя — і почав ревити. Я знав, що не можу йти до міста зі сльозами на очах, тому що одразу хтось зацікавиться, чому дитина плаче. А що я на це скажу? Я повернувся до вмивальні, вмився, знову поцілував Зоську, знову почав ревити. Я знову умився, знову її поцілував, вийшов на сходи, знову почав ревити. Так повторювалося кілька разів, нарешті я пішов через все місто до батька.

Ось така історія Зоськи.

Потім ми її ховали. За труною, збитою з дошок, йшла моя мама, батько і я. Її поховали на Личаківському цвинтарі, де лежав мій прадід, учасник Січневого повстання. На могилі поставили хрест і написали: Софія Чарнецька. Тож не лишилося ані імені, ані прізвища, ані сліду. Лише відчуття того, що тільки я міг їй тоді допомогти, але не знав як.

Зі Львова ми поїхали до Заритого, на Підхалі, де я пробув зо два місяці. Там, в Заритому, коли ми залишилися з мамою самі — тобто мама, Фелек, Вацек і я — я намагався торгувати: ходив до різних будинків продавач якись гребінці, нитки. Тепер вже не тільки я вважав себе дорослим, але — що було значно важливішим — батьки теж.

Упродовж моїх походеньок з нитками по горах, або коли ходив із Заритого до Рабки за пайками, я мандрував по світу на самоті, йшов у присмерку або навіть у темряві. Тоді я мріяв, і в цих мріях зі мною завжди хтось був, мій найкращий друг, з яким ми прекрасно розуміли один одного, іноді я уявляв поруч із собою дівчину. З цього виростала моя величезна мрія про кохання, про дружбу — дружбу та кохання в братерстві, в боротьбі, в роботі. Чи не тому все моє життя є по суті творенням дружби, любові, єднання у служінні великій справі. І це для мене найважливіше.

Навесні 1945 року ми приїхали до Кракова, де жили майже рік. Там трапилася така історія. Якось мама попросила дідуся, щоб він погуляв з Фелеком. Дідусь тримав його за руку і тягнув за собою, а Фелек плакав та виривався. Тут же, поруч з нашим будинком, був базар, а на ньому — це відбувалося якраз перед Різдом — товкся натовп людей. Я залишився гратися на подвір'ї.

Незабаром на подвір'я влилася юрба, що супроводжувала дідуся та Фелека, який несамовито волав. До цього слід додати, що Фелек був білявим, світлошкірим хлопчиком. А дідусь — такий собі старий, хворобливий, у капелюсі. Хтось почав вигукувати:

— Де тут матір? Треба ще подивитися, чи це її дитина!

Фелек, о диво, не переставав плакати, хоча мама і взяла його на руки під пильними поглядами натовпу, який у будь-яку хвилину готовий був вирвати у неї дитину.

— Якби це була його мати, дитина б так не верещала! — кричали вони.

Виявляється, що люди подумали, ніби дідусь — це єврей, який тягне дитину на ритуальне вбивство, на мацу.

У травні того року в Кракові та кількох інших містах відбулися погроми, наступного року був погром у Кельцах. Що було в Кракові — важко сказати, келецький погром напевно був спровокований Службою Безпеки. Але випадок під будинком моїх батьків ніким не був спровокований. Нарешті з'явилися представники СБ. У мами в документах була якась плутанина, бо мала різні фальшиві окупаційні довідки і ще російські паспорти та метрики. Так що важко було довести, що Фелек дійсно її дитина. О якійсь порі вона занервувала й почала кричати, що вони вірять брехні всякого мотлоху. Вони зникли і сказали, що знаходяться тут лише для того, аби надати нам безпеку. Юрба стояла, чекала, нарешті люди почали розходитися.

Воєнні джерела ненависті до євреїв наклалися на більш ранній народний антисемітизм, що ґрунтувався на чужинності євреїв, антисемітизм, викликаний значною частиною невдоволеного духовенства та республіканською пропагандою. Відразу після війни виникла ще одна причина.

Навесні 1945 року до Кракова їхали поїзди із репатріантами. Львів'яни виходили на станції і шукали знайомих, їх розбирали по домівках разом з їхніми знайомими. Наше помешкання видавалось в той час схрещенням вокзалу з готелем або притулком. Натовп розміщувався на матрацах серед клумаків просто на підлозі — для нас, дітей, це було просто раєм.

Між іншими пустили до нас двох дівчат, євреек, Хелу та Ерну. Як на той час, метраж житлової площі у моїх батьків був досить великим, але так вже повелося, що кожний із переселенців зупинявся тут на короткий час. А ці дівчата не хотіли кудись переїжджати. Ясна річ, що через це виник конфлікт, почалися скандали. Одного дня прийшли двоє їхніх приятелів, теж євреїв, що були якимись функціонерами у Службі Безпеки. Вони відразу почали досить грубо втручатися:

— Вони мають тут жити, а якщо хоча б одна волосина впаде з їхньої голови... — вони говорили про антисемітів, про фашистів і т.д. У одного з них очі блищали ненавистю.

Батько, який вступив до нової ПСП, а тому увійшов до органів міської влади Кракова, зателефонував у СБ. Приїхав ще один функціонер, який, врешті, теж був євреєм. Він переконував двох перших, посварився з ними; нарешті всі від нас пішли. Незначний епізод, але гадаю, що він може допомогти зрозуміти чергову хвилю польського антисемітизму.

Після березневих подій я сидів в одній камері разом з доцентом доктором Марком Шапіро. Єврейським євреєм, який пройшов гетто, а потім в окупації переховувався десь у Ваврі під підлогою. У 1968 році він сидів за те, що в приватному листі написав, що в Польщі існує антисемітизм. Його заарештували, звинувачуючи у розповсюдженні фальшивих відомостей, несумісних з інтересами польської держави. Так от, Марк Шапіро розповідав мені, що Корчак у варшавському гетто говорив його батькові: «Якщо Польщу в результаті успіхів на фронті займе радянська армія, із євреями буде покінчено. Польське суспільство відмовиться співпрацювати з совітами — а подивися на це гетто, це ж чужі для Польщі люди, саме вони на подібну співпрацю і підуть».

До цього не дійшло, оскільки євреїв винищили раніше. Але ж Корчак мав рацію. Ті нечисленні євреї, які повернулися з Росії, займали різні посади в апараті влади, тому що така тоді була політика. За царизму завжди була така політика, і цю ж політику успадкував після нього Сталін.

Ким я був в очах хлопчика з гетто, коли їхав разом з матусею до басейну? Думаю, що він мене широ ненавидів. У нього були на це свої причини: він був звірем, на якого полюють, а я був для нього тим, хто погоджується на те, щоб він здихав від спраги та голоду. Чи могла людина, яка тікає з гетто, відрізнити тих, хто його продасть, від усіх інших поляків? Чи не були всі інші для нього такими ж самими? Я знаю, що зовсім не він йшов працювати у СБ, але ж на ці, ще свіжі, згарища поверталися його брати, його родичі, яким перед німецькою навалою вдалося утекти до Росії. Ті, хто врятувався від знищення, розказували про все, що вони пережили, і ця ненависть переходила до них.

Я був потім знайомий з такими хлопцями, євреями за походженням, які були живим втіленням ненависті до фашизму, але під фашизмом вони розуміли антисемітизм. У результаті вони ненавиділи поляків народної формації, навіть не незадоволених. Вони ненавиділи поляків-католиків, яких у польському суспільстві на той час була більшість. Власне, цю їх ненависть легко можна було помітити у новому апараті влади, в апараті безпеки і сказати: «Євреї, євреї відігруються, вони знову розпочали боротьбу проти Польщі».

В очах юрби, яка тоді разом з дідусем та Фелеком прийшла на наше подвір'я, євреї ставали загрозою для того становища, якого на той час досягли: повернутися, займуть свої квартири, а нас виженуть. У Кельцах напевно це відіграло величезну роль — у місті та навколишніх містечках здавна жило багато євреїв, будинки яких під час війни зайняли бідняки.

Для мого ставлення до нової влади, до Народної Польщі, до світу, цей антисемітизм, з яким я зіштовхувався у школі та на подвір'ї, був нечувано важливою справою. Як тільки я чув, як хтось казав «жид», я бачив перед собою Зоську, старого Граба, якого вигнали з нашого дому, тих дітей, що їли суп і за хвилину мали вийти на вулицю. Підпільна пропа-

ганда проти нового порядку, а також постійно повторювані аргументи значною мірою носили антисемітський характер. Вже тільки це привело мене до табору прибічників нового порядку, в моїх очах робило його справедливим.

Ці мої спогади видаються настільки однозначними, ніби я жив лише в одному вимірі, у вимірі ідеї. Вірогідно, це якоюсь мірою залежить від тенденції пам'яті, проте не думаю, що значною. Адже сама війна змушувала мене сприймати все однозначно: життя поруч зі смертю, зраду, загрозу катувань, страх провалу, відчуття власного безсилля. Я постійно мусив запитувати про сенс всього цього, про джерела, силу, а найголовніше — про вищу мету та цінності. Я знаходив відповіді на поставлені мною питання в ідейному кліматі моєї власної родини, який пов'язувався із духовністю лівого крила польського суспільства. Я вживаю слово «духовність» для того, аби показати ставлення до вищих цінностей — святинь — і до моральних норм, що ґрунтувалися на цьому.

Я переконаний у тому, що — всупереч біологічним концепціям — людина у своїх вчинках керується цими вищими цінностями, намагається втілити їх у своє життя, аби таким чином надати йому сенсу. Отже, духовність у великій мірі визначає життя людини, її вчинки, її ставлення до далекого та близького оточення, а головне — до сім'ї, друзів, батьківщини, інших народів, людства, історії тощо.

Ми живемо, беручи участь у культурі, яка є сукупністю продуктів суспільної співпраці. Вона дає нам відповіді на питання, як і для чого жити, і разом з тим вона забезпечує нас матеріальними засобами для того, щоб реалізувати свої ідеали. Людина працює і творить цілеспрямовано, а значить, весь час запитує: навіщо? І кожна мета, яку людина ставить перед собою, і є відповіддю на це питання. Таким чином, цілком природно, що вона так само запитує себе про сенс всього свого життя: навіщо я живу? Кожна людина усвідомлює, що життя обмежується смертю, що воно сповнене терпіння та самопожертви, а значить, його метою, його сенсом може бути тільки щось таке, що перемає смерть і що варте терпіння та численних жертв. Все, що продовжує наше життя і надає йому сенсу, ми переживаємо як щось святе.

Давно вже минули ті часи, коли навколо сакрального, святого інтегрувалася уся культура; сьогодні вона є багатосюжетною, поділеною на верстви, диференційована. Ми втратили в собі гарантію інтеграції особистості. Ми набули шансу незалежності, а радше, свободи. Але це тільки шанс. Кожна людина самостійно, або разом зі своїми близькими, беручи участь у культурі, мусить вносити різні розпорошені сюжети життя до особистої системи цінностей. Кожна людина будує власну духовність всією своєю діяльністю: досвідом, читанням, роздумами. І все це відбувається свідомо — більшою або меншою мірою.

Як ви можете побачити з усього того, що я розповідаю стосовно біографії діда та батька, а ще більше про ситуації, в які історія ставила моїх

батьків разом зі мною, — з раннього дитинства мені судилося зростати під могутнім впливом сакрального. Кожний з прожитих днів змушував мене весь час ставити перед собою питання про те, що саме надає сенсу терпінню і перемагає смерть. І перші відповіді на ці питання я знаходив у житті моїх батьків та дідуся; в тому, що вони мені говорили, читали, співали, і в тому, свідком чого мені випало бути.

Щоденне питання про сенс життя привело до того, що я творив свою особистість так, щоб її невід'ємною частиною було святе, сакрум. Я не шкодую про це, але історія мого життя виразно свідчить, наскільки небезпечно є подібна невід'ємність.

Середовище, в якому я знаходив відповіді на питання про сакральне, стало причиною того, що свою духовність я будував за «лівими» зразками. А ці зразки передовсім є заклик до жертвовності, самозреченості, служіння, до віддання всього свого життя справі. Не випадково символами духовності «лівих» є ґрати, тюремна камера, шибениця, кайдани. У мене горло стискалося, коли дідусь співав:

Вони ідуть, кайдани їм дзвенять,
Вони ідуть, тому пани тремтять,
Вони ідуть, лютує смерть дарма —
Їм не страшні ні кулі, ні тюрма.

Коли перший раз у житті на мене накладали наручники, я відчув якесь піднесення. І до сьогодні, хоча живу вже понад півстоліття, я з гордістю повторюю, що це єдина прикраса, яку я ношу. Тепер для мене стало очевидним, що цей заклик до самопожертви, який є складовою частиною духовності «лівих», впливає з її християнського характеру. З приводу цього зауважу, що вважаю «лівий» атеїзм черговою великою ерессю Католицької Церкви. Тож не випадково есей, де я говорю про своє ставлення до християнства, називається «Християни без Бога». Саме без Бога. І тому відповідь на питання про сакральне — в ім'я чого в духовності «лівих» функціонує така цінність, як самопожертва — не може бути надійною.

Робітнича справа — як говорили дід та батько — означала для них соціалізм у Польщі та в усьому світі. Ясна річ, вони цих слів не вживали, але йшлося, і я знаю це напевно, про те, аби на землі настало Царство Боже, тобто прийшов такий лад, який забезпечив би людям повну свободу та справедливість. А якщо все зло людям на землі теж чинять люди, то стає очевидним, що людям до снаги так влаштувати свої суспільні стосунки, аби раз і назавжди покінчити із усім злом у світі. Ця мета — царство свободи — в моїх родинних переказах, та, здається, взагалі в усьому етосі «лівих» — являє собою віддалену перспективу, доступну тільки майбутнім поколінням. А служити цьому майбутньому, тобто чинити опір будь-якій несправедливості щодо людини, треба було тепер. Я зовсім не

пригадую, щоб в дитинстві від мене вимагали робити добро — інакше, ніж виступати проти зла. Додам до цього, що ця вимога — як внутрішній імператив, сильніший за мій страх та моє сибаритство, щонайбільше пов'язується із палючим соромом, який я переживав у тих випадках, коли не міг це зло перебороти. Трохи спрощуючи — зараз я скоріше волів би ризикнути, втратити, програти, аніж пережити подібний сором.

Може, саме цією — ще дитячою — диференціацією між вимогою захищати скривджених та вимогою добрих вчинків я наближаюся до істотної різниці між духовністю «лівих» та проявами духовності багатьох різновидів «правих». Перші роблять наголос на бунт, другі — на схвалення. З цього випливає, що для «лівих» найголовнішим є справедливість, а для «правих» — лад та порядок.

З цієї вимоги захисту скривджених виростає чутливість до переживань інших людей, і саме інша людина, перш за все слабка та скривджена, є святиною, чимось сакральним для духовності «лівих». Саме для цієї людини має прийти царство свободи. З цієї точки зору критика обоження людини «лівими», яку переважно проводять з позицій християнства, є неправомірною, оскільки вона ґрунтується на невимовному принципі, що поставлена на п'єдестал людина — це «я».

Рівність людей як цінність — моральну директиву «лівих» — слід розглядати в контексті основної для цієї духовності вимоги активного ставлення до несправедливості щодо іншої людини, яка є святиною. В даному контексті цей принцип означає не тільки те, що кожна людина має однакові права — він становить фундамент моралі, яка вимагає, щоб вимога: возлюбити ближнього свого як себе самого — стала реальністю. Це і є вочевидь релятивна етика без кодексу. Наскільки її релятивізм стосується історичних епох та культур, настільки для мене в даний момент і в конкретному місці він є зібранням конкретних, зовнішніх щодо мене та сталих вимог, тому що люди, разом з якими я живу на землі, завжди є конкретними та зовнішніми, а культура, в котрій я беру участь разом з цими людьми, є сталою.

Духовність «лівих» є антиформалістичною, судячи з того, що те, що сформалізувалося, протистоїть будь-якій спонтанності, а відтак являє собою обмеження свободи. І сьогодні визначення «формальний» пов'язується у мене із «зневажливим». У цій духовності цінністю є любов, а не родина, суспільство і в жодному разі не держава; справедливість, а не право; суспільний рух, а не організація та ієрархія.

Життя мого діда, дитинство та визрівання, а пізніше зрілість мого батька припали на часи загарбань, окупації, народної визвольної боротьби. Тож нічого дивного немає в тому, що символи зв'язку з народом становили для них невід'ємну частину святого. Це, безумовно, стосується не лише них, а усієї основної течії польського лівого руху, оскільки саме він понад сто років був прапорonoсцем незалежності. Однак у цій формації —

згідно із принципом рівності людей — програмово патріотизм не був спрямований проти інших народів, навіть проти тих, з якими точилося боротьба. Адже також і за їхню свободу боролися польські революціонери — «за нашу і вашу...» писали вони на своїх прапорах. Мені здається, що мій дід та батько відчували себе патріотами всіх пригноблених народів. Навіть якщо — як це було з українцями, білорусами та євреями під час II республіки, або з чехами в поході на Заолзья — солідарність із скривдженими вимагала виступу проти власного народу.

ПЕРШИЙ ВИБІР

Відразу після вступу радянських військ ми переїхали до Кракова. Там вже треба було робити вибір. Це смішно звучить — я тоді ходив до четвертого класу. Але такий був час. У школі багато говорили про політику, про СРСР, про війська Андерса. Співали тоді таку пісню:

Приїхала з Москви банда —
ПеПеШа і пропаганда —
Все випили, все поїли,
Не платили, морди били.

Все гівно розхвилювалось
Та й сказало всій громаді:
Я нарешті дочекалось,
Бо ж гівно тепер при владі.

Я теж співав її разом з усіма. Але щоразу у найрізноманітніших суперечках я — єдиний в усьому класі — ставав на бік нового порядку. Чому? Можна знайти найпростішу відповідь: тому що за нього виступав мій батько. Хоча не все було так просто.

Батько приєднався до нового порядку, оскільки мав надію, що тепер саме цей порядок був шансом для поляків, і коли у Кракові у 1945 році його начальник по контррозвідці Армії Крайової, Следзінський, пропонував йому подальшу співпрацю, батько відмовився. Я підслухав, як він пояснював, що країна і народ абсолютно розорені, і що у нас немає сил для продовження боротьби. Однак, гадаю, це був аргумент для Следзінського. Ставлення батька до нового порядку було набагато складнішим.

Дідусь і батько негайно вступили до поновленої ПСП, незважаючи на те, що лондонське керівництво закликало до бойкоту. Для партійних працівників, таких як мій дід, це була та сама партія — у неї була та ж назва, в ній були ті ж люди. Врешті, батько дуже переживав колишнє відлучення від ПСП. Ще зовсім недавно, коли до нас прийшов Антоній Пайдак, він кричав:

- Мене вигнали з партії!
 - За що? — запитав Пайдак.
 - За співпрацю з комуністами.
 - Ну то вони мали рацію.
- І батько ніби зняковів.

Батько організував перший з'їзд техніків у Вроцлаві, на землях, що були повернені до Польщі 1946 року, він був одним із керівників НОТу (Головної технічної організації), писав економічні статті до «Робітника». Він весь час залишався дитиною своєї професії. Перед ним повставала картина нової Польщі, яку можна спроектувати та збудувати, як машину.

Досить часто в нашому домі відбувалися дискусії між колегами батька, серед яких були комуністи з ПРП (*Польської Робітничої Партії, 1942-1948 рр. — В.К.*), а також соціалісти, які після війни не вступили до ПСП (*існувала з 1892 до 1948 р. — В.К.*). Я дуже часто слухав все це пізніше, у Варшаві, коли ми з батьком мешкали самі на Львівській вулиці. Я також ходив разом з ним на різні зустрічі, де мені давали справжньої гіркої кави, чого я спочатку не виносив, але, можливо, саме тоді я навчився її пити. Те, що говорив там батько, я назвав би вірою в механізм суспільної свідомості. Він був певний, що коли суспільними стануть засоби виробництва — а за цим він розумів насамперед акт націоналізації промисловості — вся решта величного ладу справедливості настане сама по собі, оскільки джерелом будь-якого зла є приватна власність. Так у спрощеному вигляді можна було б все це подати.

У сварах з різноманітними «реакціонерами» він рішуче виступав на боці нового порядку, але що він мені тоді наплітав! Бо, з одного боку, існував його новий зв'язок з комуністами, з іншого — його патріотизм і 1920 рік. Все це мені здавалося непослідовним. А батько у свою чергу не хотів розлучатися з жодним фрагментом свого життя, він не міг сказати: «Так, тут я помилявся». Я по-юначому намагався підходити до світових проблем, використовуючи ясні та прості категорії, і звідси, як наслідок, бере початок мій бунт проти батька, хоча і досі я його дуже люблю.

Людина, яка намагається стати дорослою, мусить бунтувати проти авторитетів — аби звестися на власні ноги і не залишитися калікою на все життя. Я бачив багато таких, які не збунтувалися і набули глибокої психічної вади: неспроможності приймати самостійні рішення. Якби я не любив батька, то, певно, пішов би шляхом «правих», але він настільки мене причаровував, що я пішов разом з «лівими», а проти нього я виступав лише в тому сенсі, що своїм життям бажав спрямити і зробити послідовним його власне життя. Я ще не знав, що у такий спосіб сам обирав собі таку заплутану біографію.

Людина, яка намагається стати дорослою, повинна бунтувати проти існуючого порядку світу. Тому що завжди цей порядок зраджує ідеалам, в яких виховуються діти. Альтернативою кожного юнацького

бунту є здатність до пристосування, а отже прислужництва і пустого наслідування, але ж кожна людина, особливо молода, хоче бути хазяїном свого життя.

Для мене відкидання цього старого порядку було очевидним наслідком минулого життєвого досвіду, а передовсім окупаційного. Знищення євреїв, моє найособистісне найстрашніше дитяче переживання, уявлялося мені безпосереднім результатом і найповнішим вираженням епохи класового панування, експлуатації та гноблення. Самотність, про яку я тут уже говорив, привела до того, що я жив літературою, вона реально впливала на моє життя. І все, що я читав: твори Діккенса, Бальзака, Золя, Жеромського, Бжозовського, Каден-Бандровського — видавалося мені як єдиний великий акт шахрайства старого світу. Виступало доказом того, що гітлерівські убивства є його логічним та моральним наслідком. У цьому переконанні я не був самотнім, а можливо, навіть не був самотїйним. Невід'ємною частиною моїх переживань був досвід людського знищення, вже описаний у літературі. А власне Боровський, Налковська, Анджеєвський — як я пам'ятаю — зображували крематорій, охоплене полум'ям гетто, ще страшніший, ніж може бути смерть, занепад людини — все це здавалося виразом, який сам собі виніс старий світ.

Натовп, який мордував євреїв, що врятувалися від винищення, у Кельцях, Радомі, Кракові і єпископи, які боялися однозначно засудити ці погроми, — слугували для мене лише підтвердженням, що часи ганьби ще не минули.

Вірою, в ім'я якої я засуджував зло і яка живила мене надією, я завдячую батькові. Тим більше мені його було шкода за надто лагідний осуд, слабку надію — а отже, і за його малу віру. Я гадав, що не можна жити у цьому світі, якщо ти маєш сумніви щодо всього цього, що можна зробити цей світ вільним від ганьби, часи якої ще не зовсім минули. То ж чи можна дивуватися, що новий лад, який мав раз і назавжди перемогти цю загрозу, ставав сенсом мого життя — сакральним.

Моє захоплення комунізмом — картина радикальної перебудови світу — насамперед походило з книжок. Я навчався у VII класі, ходив до бібліотеки і за допомогою словника іншомовних термінів та енциклопедії прогризався крізь граніт різноманітних творів. Я читав Маркса — «Маніфест Комуністичної партії»; Енгельса — «Походження сім'ї, приватної власності та держави»; Каутського — «Походження християнства»; Леніна — «Держава та революція». Слід сказати, що ця остання праця справила на мене величезне враження. У ній Ленін звертається до анархістських та анархо-синдикалістських програм знищення держави, і водночас з нею — поліції та війська.

Пізніше, апелюючи до «Держави та революції», я критикував різні комуністичні програми, а передовсім комуністичну практику. Свого «Відкритого листа» (1965 р.) я писав ще в цьому дусі. Марксизм є, чи в

будь-якому разі був на той час, дуже привабливим для молодих людей, так само як і для тих, хто швидко просувається, зробивши перші кроки до культури, гадаючи, що її всю осягнув. За допомогою кількох десятків відносно простих формул така людина дозволяє собі пояснювати безліч складних суспільних явищ. О, як же це полегшує життя людям, пригнобленим незліченністю та складністю світових проблем. Мені марксизм надав упевненості, що моя віра здійсниться. Я, напевне, навіть не відчував у цій меті ніякої містифікації. Це була перша теоретична система, з якою я зустрівся, і тому я вже заздалегідь мав до неї довіру. Я просто прочитав переконливе міркування, що те, у що я вірю, є науково доведеним та історично неминучим.

Результатом усієї цієї моєї віри та знання був певний імператив дії, який я відчував тим більше, що під час війни, незважаючи на всі зусилля, я так і не зумів взяти участі у справжній боротьбі. Необхідно було долучитися до дії — врешті це становило невід'ємний елемент мого світогляду. Набравши розгін ще в часи окупації, прочитавши ще тоді «Каміння на барикади», я вступив до лав ЗХП (*СПХ — спілки польських харцерів. — В.К.*). Але в жодному разі це було не тим, що мені було так потрібно.

Оскільки я не йшов батьківською дорогою, я шукав контактів не з ТУР, молодіжною організацією ПСП, а з Союзом Боротьби Молодих (ZWM), який був молодіжною прибудовою до ПРП. Втім, справжнім активістом я став лише в Союзі Польської Молоді (ZMP) у 1949 році, коли мені виповнилося 15. Уже тоді, час з закінчення уроків і аж до ночі я проводив «на дільниці», як ми тоді казали, тобто у приміщенні місцевого правління СПМ.

Від перших днів нового порядку проводилося масове висування робітників та селян. На нашій дільниці СПМ це було видно неозброєним оком. Хто туди приходив? Дуже багато молоді з бідняцьких кварталів Маримонту, з передвоєнних халуп, з халабуд так сяк добудованих цеглинами, добутими із якихось вантажів уже після війни, нарешті з комуналок, в які перетворилися вілли офіцерського Жолібожу, зайняті людьми з бараків для безробітних. Отже, ще до недавнього часу все це було справжнє дно суспільства. Але кожний з них уже мав когось, хто сидів при владі. Вуя, стрія, кума, когось, хто свого часу пройшов через «дільницю», а тепер був у Службі Безпеки, війську, міліції, в дільничному або воеводському комітеті партії. Доступ до них був нечувано легким. Якщо у когось була якась справа, то він просто йшов до Юрека, Франека, Юзька, які були зовсім своїми, «нашими». Навіть тоді, коли особисто з ними не був знайомим. Все одно вони належали до однієї субкультури, розмовляли тією ж мовою. Вже після 1956 року, пам'ятаю, у Хшанові, на локомотивному заводі робітники говорили мені, що, коли за Сталіна чоловік у комбінезоні йшов просто з роботи до уряду, так його першим приймали і все йому влаштовували — а тепер, знаєте...

Але головним було те, що ці молоді люди, що приходили «на дільницю», почували себе господарями країни. В певних масштабах, а тим більше в межах дільниці, вони дійсно ними були. На Жолібожі великих заводів не було, але існувала безліч дрібних майстерень, усіляких кравецьких ателье, різні пекарні, молочарні. І всюди там не хотіли приймати на роботу учнів, тимчасових робітників, взагалі нікого — і завжди без наслідків.

У правлінні СПМ я товаришував з людьми, які були значно старшими від мене, мали важкий життєвий досвід і які раптом відчули себе господарями Польщі. Вони визнавали мене рівним собі, оскільки я був освічений, читав книжки, міг розтлумачити їм різні речі. «На дільниці» ми грали в м'яча, співали, дискутували, але крім того ми контролювали умови праці в жолібозьких закладах, боролися із спекуляцією. Часто нам доводилося виконувати дуже важку роботу. Пам'ятаю, як цілу ніч ми визвантажували труби для відбудови мосту Понятовського. Ці люди побачили, що я, який дивився на світ крізь призму літератури, нарешті знайшов практичне підтвердження того, що читав.

Інтелектуальний примітивізм моїх друзів, брак елементарних знань — я розумів як частину тієї кривди, якої вони доти зазнали. Я бував у їхніх помешканнях, у страшних квартирах, яких ніколи до того часу не бачив. Я бачив, який одяг вони носять, яку їжу їдять, і мав відчуття, що нарешті вершитесь справедливості. І тому, коли у домі моєї родини різні панусі говорили: «мотлох», «гнояки», «парубки» — я страшенно нервував. Такі панусі були для мене моделями реакціонізму і лише підтверджували, що правда знаходиться на боці людей суспільного дна.

Той величезний рух відбудови країни у перші повоєнні роки був життєздатним завдяки своїй різноманітності: СБМ, СПМ та комуністи становили тільки невелику його частину. Найважливішою на той час була потреба в нормальному житті. Люди хотіли відбудувати свій дім, розчистити від руїн свою вулицю, поставити спільну пекарню та будинок культури. Суспільна активність була загальним явищем. Можливо, все робилося, скоріше, наперекір Совітам, ніж для підтримки нової влади. Але навіть тоді, коли справа рухалася під прорадянськими гаслами, то все рівно всі ці діла вливалися в єдиний рух відбудови країни і перебудови суспільних стосунків, над яким шефствувала нова влада.

Гадаю, частина польського соціуму саме через свідомість того, що народ поневолений Совітами, не дозволила зберегти для всієї Польщі великий рух відбудови країни, індивідуальний та загальний поступ та перебудову суспільних стосунків. З іншого боку — серед учасників цього грандіозного руху було чимало таких, хто не помічав факту народного поневолення. Однак переважна частина польського суспільства, помітивши обидва явища — як залежність народу, так і факт суспільних змін — намагалася знайти для себе якесь місце у новому ладі. Мусила знайти, тому що мусила жити.

Після 1947 року було розбито міколайчиківську Польську Селянську Партію, як і всіх її політичних прихильників, а ще раніше Партію Праці. Незабаром було об'єднано робітничий рух, тобто ліквідовано залишки самостійності ПСП і — що найважливіше — ухвалено шестирічний план. Таким чином було цілковито ліквідовано суспільну суб'єктність. Це відбулося дуже швидко; навіть не всі це відразу помітили, найшвидше це відчули активні люди в усіх організаціях, що не належали комуністам. Знищення кооперації, самоврядування відбувалася поступово — крок за кроком замирав суспільний рух.

Люди увійшли в цю нову реальність для того, щоб змінити світ. Але чим більше людина стає заангажованою, тим важливішою для неї стає сама участь в русі. Так само було з нами — ми продовжували сидіти «на своїй дільниці», розважалися, розмовляли. Ми були потрібні собі самим, разом нам було добре, але все те, чим ми займалися все частіше втрачало сенс.

Шестирічний план був планом жебрацтва, головною його метою було отримання доходів, які призначалися для розвитку важкої промисловості. Швидке будівництво великих промислових об'єктів вимагало гігантської міграції населення з сільської місцевості до міст, що мало всі ознаки індивідуального та масового просування. Ця міграція також набула багатьох рис суспільного руху. Приймаючи рішення про переїзд до міста, люди ніби залучалися до руху перебудови країни, і ця велична картина відродження їх надихала. Багато з цих людей, завдяки нечувано скороченій системі освіти, висунулося до лав інтелігенції. Існували дворічні курси, де готували спеціалістів з вищою освітою, які не мали атестату про середню. Таке висування повинно було стати реалізацією ідеї суспільної справедливості.

Водночас люди з моєї дільниці чимдалі гостріше відчували, що цей новий лад, який народжувався на наших очах, є зовсім не тим, про який вони мріяли. Вони намагалися знайти відповідь на питання: чому? Що сталося? Багато з нас в рамках СПМ-івського залучення до PGR (державних сільськогосподарських підприємств) йшли працювати у сільське господарство. На той час PGR були справжньою загрозою. Саме там найпомітнішим був жебрацький характер соціалістичного господарства, і ми починали вірити, що джерелом усього зла були нечесність, хабарництво, спекуляція. Але для повного розуміння ситуації нам ще чогось бракувало.

В міру того, як система стабілізувалася, все більше людей визнавало, що якимось треба в неї вписуватися. Влада почала вимагати вже не тільки того, щоб не бути проти неї, а того, щоб декларувати свою повну її підтримку. Все більше людей одягало червоні краватки, вступало до партії. Перш за все це були керівники і директори закладів та підприємств. Навколо себе ми несподівано побачили безліч прибічників нового ладу. Тоді ми

сказали: «До соціалізму почали входити кар'єристи. Це вони його знищують». Ми зрозуміли, що головним джерелом зла є саме кар'єристи.

Проблема кар'єристів, як її в той час називали, без сумніву мала тоді велике значення для старого СПМ-івського активу. Вперше я побачив їх ще в шкільні роки, і — як добре видно сьогодні — це виглядало досить гомористично.

До 1951 року червоні організації були у варшавських гімназіях у явній меншості. Навіть тоді, коли ОМ TUR, ZDM та «Віці» злилися із Спілкою Боротьби і утворився СПМ, нас все одно було не більше десяти процентів. Нам, діячам СПМ, а точніше — шкільному шаблю союзу, належність до цього руху до 1951 року не давала жодних привілеїв, але несла із собою велику кількість незручностей. Принаймні на інтелігентському Жолібожі тиск антикомуністичного оточення відчувався досить сильно. Власне у тій частині червоного Жолібожа, де були будинки, закладені перед війною соціалістами. Потрібна була неабияка відвага, аби протиставити себе оточенню.

На початку 1951 року Головне Правління прийняло програму, гаслом якої були такі слова: «СПМ — перший помічник школи». Член СПМ повинен був добре вчитися, не підказувати, не списувати, не палити сигарет, ходити по школі у капцях і т.д. До виборних органів могли увійти лише ті, кого підтримує дирекція. Таким чином з виборних органів були фактично виключені всі старі активісти, оскільки ми не мали часу для того, щоб готувати уроки, бо безперервно займалися тим, що намагалися врятувати світ. Ми палили, бо набралися цього від колег-робітників з місцевих правлінь СПМ. А перш за все ми вважали учителів реакціонерами. Вчителі нас боялися. А тут їм раптом випала така слухна нагода, аби відігратися.

В той самий час було оголошено боротьбу за соціалістичний характер вищої школи. Дорога до навчання пролягала тепер тільки через СПМ. І ніби за дотиком чарівної палички в середніх школах зникли супротивники нового ладу. Освіта почервоніла.

Тому немає нічого дивного, що для нас, старих активістів, уся ця зміна видавалась підозрілою. А ще більш підозрілими здавались ці нові, чемні діячі, перші помічники вчителів та педагогічної ради. Ми вважали їх лицемірами, називали кар'єристами. Не любили ми їх страшенно; і вони платили нам тією ж монетою: стежили за нами, коли ми палили в туалеті, затримували, коли ми не приносили до школи капці.

Гасло «СПМ — перший помічник школи» нищило учнівську солідарність, важливу школу суспільної солідарності: не донось, допоможи другові, підкажуй, дай списати. На тих самих засадах ламалися міжлюдські зв'язки. В цей час у значно більш важливому вимірі в суспільстві відбувалося те ж саме. На виробництві впроваджували такі поняття, як норми, запізнення, прогули.

З легенд про СПМ, які поширювалися в період великого розрахунку 1955-56 років і пізніше, виникає образ члена СПМ, як доносителя, а міжлюдські стосунки змальовуються як джунглі, де кожний кожного хапав за горло, кожний на кожного стучав. А в житті, як у житті, все було набагато складніше.

Почну з історії викладання релігії (Закону Божого) на Бартіцькій вулиці. У попередній школі релігію викладав нам ксьондз Чеслав Боравський, такий товстий, добродушний чолов'яга. Власне, він не стільки учив, скільки дискутував з нами, молодими атеїстами, які хотіли воювати з Господом Богом. Він робив це з великою культурою та тактовністю і, ясна річ, без великого напруження побивав усі наші наївні аргументи. Я дуже любив його лекції. Пам'ятаю, якось один з палких католиків сказав:

— Якщо ви кажете, що праця зробила з мавпи людину, тоді чому мураші досі не стали людьми?

Нас це поставило в глухий кут. Тоді ксьондз Чеслав сказав нам:

— Тому що праця, за Марксом, наскільки я пам'ятаю, є цілеспрямованою діяльністю, а у мурашок, можливо, вона нецілеспрямована.

Вагомість цього аргументу для мене неістотна, мене вразило те, що можна допомогти супротивникові, який не може дати собі ради, аби дискусія була більш чесною.

Коли я перейшов на Бартіцьку, то відразу ж на першій лекції з релігії я встав і почав полемізувати із ксьондзем. Він сказав мені, що у нас не буде ніяких дискусій. Я запитав, чи можна мені вийти, оскільки я невірний. Він відповів на це, що я, безумовно, можу піти. Зі мною з класу вийшло ще двоє учнів, ми пішли грати у волейбол. Незабаром в нашому класі зробилося п'ятнадцять атеїстів, дві нормальні команди. Ми робили демонстрації виходу: ксьондз заходив, а ми з м'ячем — на волейбольний майданчик. Ми голосно вигукували під самим вікном, розігруючи кожен з м'ячів. Ксьондз поскаржився на нас директорці. А директрисою у нас була Софія Рінгманова, стара жінка, ще із Семполовської школи, видатна діячка шкільного страйку 1905-07 рр., чудова баба. Коли наступного разу усією юрбою ми вибігли з релігії, вона сказала:

— Панове вільнодумці, ніякого волейболу не буде. Вчимо фізику.

Вона почала нас опитувати, виставляючи кожному по три двійки одразу. Всі п'ятнадцятеро — в більшості випадкові атеїсти — твердо стояли на тому, що краще будуть отримувати двійки, ніж повернутися на уроки до ксьондза. Зламалася лише одна дівчина. Ось такі кумедні історії, але, якби хто-небудь з нас доніс тоді на Рінгманову, що вона зрізає з фізики молодь, яка не хоче ходити на релігію, вона б відразу перестала бути директоркою.

У шкільній комісії Дільничого Комітету ПОРП, членом якого я був на той час, найголовнішою людиною був інструктор у шкільних справах, товариш Бай, особистий ворог Господа Бога, який заправляв усією кадро-

вою політикою шкіл на Жолібожі. Вже далеко після 1956 року я зустрів його знову, він був кондуктором у трамваї. Він присів біля мене, витяг зі своєї кондукторської торби журнал «Фільм». На обкладинці була Ніна Андриш, тодішня дружина Циранкевича, сфотографована в ролі Марії Стюарт з великим хрестом на грудях. Бай сказав:

— Дивись, Яцусь, мабуть, добре живеться в Польщі, коли баба прем'єра з хрестом на шицках фотографується.

Чому я не сказав Баєві про директорку? Чому ніхто з нас п'ятнадцяти нікому про це не сказав? Тому що Зося ніколи, ані на хвилину не намагалася увявити себе прихильницею нового ладу. Вона ставила двійки, але при всій своїй суровості була дуже справедливою. Причепливою, але водночас нечувано привітною. Для нас вона була старою реакціонеркою, але, як всі ми прекрасно розуміли, зовсім не кар'єристкою. Вона завжди була директоркою, заклала цю школу. Ми боялися і водночас любили її.

Той нещасний ксьондз, який заборонив нам дискутувати на своїх уроках, жажнувся того, що в XI «б» є аж п'ятнадцять невірнучих, і пішов порадитися з ксьондзем на прізвище Зей, який на той час був у Варшаві дуже відомим проповідником. Наш наївний ксьондз взяв із собою католицького активіста з X класу, який уже був членом СПМ. Так цей хлопець прийшов потім до мене і все мені розповів, а я, ясна річ, знову мав проблему з цим доносом, то ж я звелів йому піти до голови дільничного правління СПМ і, як я думаю, там він регулярно передавав свої нотатки після зустрічей з ксьондзом Зеєм.

Тепер начолі СПМ були не самі лише селюки. Шкільні правління СПМ висували кандидатів на одержання вищої освіти і те, що вони писали в характеристиках, багатьом людям перекрило шлях до вузів. На зламі 1950 та 1951 років я короткий час був головою шкільного правління у Понятовці. Мене усунули з цієї посади на вимогу дирекції за погані оцінки з предметів та за те, що я показав вчителеві зошит товариша, сказавши, що це мій. Не пам'ятаю, чи писав я характеристики тим, хто одержував атестат про середню освіту. Може пам'ять мені зраджує, а скоріш за все, їх писали мої старші колеги.

Пізніше, на Бартицькій, була у нас головою шкільного правління СПМ така дівчина, Еля. Вона не любила тих, хто палить і не ходить по школі у капцях, і нам, старим активістам, від неї сильно діставалося. Зустрічаю її недавно, питаю, що вона поробляє, а вона каже:

— Я службовець, свого часу не змогла вступити до вузу, бо голова дільничного правління написав мені в характеристиці «віруюча».

І раптом я згадав. Сидимо ми якось у шкільному туалеті, палимо цигарки, скаржимося один одному на Елю та інших нових активістів. Тут хтось і каже: треба буде їй написати в характеристиці «еспеемівська віруюча». Голові та членам шкільного правління характеристики писали в дільничному правлінні. А там, ясна річ, були ми. І, певно, хтось із нас

таки написав «еспеемівська віруюча», слово «еспеемівська» потім закреслили, тому що невідомо, що б це мало означати.

Гарною ілюстрацією проблеми кар'єризму, як я її тоді бачив, є історія Єжи Вятра. Перед 1947 роком, напередодні об'єднання молодіжних організацій Єжи був у Понятовці головою «Віці». У виборах 1948 року більшість «віцістів» підтримувала Миколайчика. Я тоді пристав до Спілки Боротьби Молодих, хоча мене не хотіли туди приймати через те, що я ще був надто малим. Добре пам'ятаю таку сцену перед самими виборами. Єжи Вятр йшов з відром клею і наліплював листівки, що закликали голосувати за їхній список, який мав тоді у Варшаві четвертий номер. За ним йшов Зигмунт Падзь, який, здається, був головою СБМ у моїй школі, а за ним я. У мене в руках теж був клей, а в руках у Падзя листівки зі списком номер три і так званого Демократичного Блоку: Робітничої, Соціалістичної, Демократичної та Народної партій. І як тільки Юрек десь наліплював свої четвірки, ми підходили до нього, Падзь давав йому підсрачника, а я зверху на його четвірки наклеював трійки. А Юрек казав:

— Протестую проти непарламентських форм боротьби.

— Я тобі, курво, попротестую, — відповідав на це Зигмунт, який врешті став дуже високим функціонером МВС. А в ті часи, коли я вже був бажаним гостем в'язниць, він дивився крізь мене крижаним оком, проходячи на вулиці не вітаючись.

Так от, ми собі йшли. Падзь давав Вятрові підсрачники, а я наліплював свої трійочки на його четвірки. А Вятр, ніби такий дурненький, ніби протестує проти непарламентських форм боротьби, а сам потроху пересувається в бік VII колонії ВСМ, де під турніками збирався увесь актив «Віці». Коли ми це розчунали, було уже пізно: Юрек гукнув, і його хлопці кинулися нас доганяти. Падзь, певно б, утік, але я, дурний, не кинув свого відра, крім того я був невеликим хлопчиком. Вже от-от мали мене схопити. Падзь повернув, аби визволити свого юного товариша, але зробити цього він не встиг. Нас схопили. Йому і мені надавали добряче, а йому ще й відро на голову вдягли. Потім настало об'єднання організації. І раптом Вятр зробився великим діячем СПМ.

Після середньої школи Вятр працював керівником відділу пропаганди дільничного правління СПМ. Я був керівником пропаганди у шкільному правлінні. Мені було цікаво з ним працювати. Перш за все він справляв на мене прекрасне враження своєю інтелігентністю. Він вчився в Академії Політичних Наук, я був у IX класі, але розмовляв він зі мною, як рівний з рівним. Тож, коли проходила дільнична конференція СПМ і висувалася його кандидатура, мене просто-таки розривало. Однак, я піднявся і запитав його, як він оцінює своє минуле: «Віці», оті виборчі плакати, а тепер такий ентузіазм у пропаганді за нову владу.

Він щось пояснював, але в цій справі нас було важко переконати. Врешті він залишився у дільничному правлінні як працівник апарату і був там важливою фігурою.

Тоді розпочалися приготування до відзначення 70-річчя від дня народження Сталіна. Батько читав книжечку, яку я йому приніс:

— Лише подивись, що тут написано: «інженер наших душ», «творець кращого майбутнього», «вождь і учитель», «творець миру», напиши тільки після кожного такого визначення «молися за нас» і матимеш літанію. Навіть літанія до Найсвятішої Диви Марії не така підлеслива.

В той час я читав Плеханова, який, будучи прибічником історичного детермінізму, воює з концепцією народовольців про роль особи в історії і говорить все, що можна було б сказати проти культу Сталіна. Я прийшов на прийом до Юрека Вятра, який на нараді керівників пропаганди реферував приготування до урочистих заходів, і ми в приміщенні дільничного правління проговорили з ним всю ніч. Я висловив йому всі свої сумніви. Вятр вислухав, після чого почав мені пояснювати, що маси потребують проводиря, що не про Сталіна йдеться, тут мова тільки про ідею, яку він уособлює для мас. Він повторював це у різні способи, і переконав мене. Переконав тому, що я, безумовно, хотів дати себе переконати. Я був людиною цього руху, я ставав на його бік і виступав за нього проти мого оточення, проти батька, проти приятелів на подвір'ї, проти вчителів.

Страшенно важко було б це залишити, я не міг цього зробити, я почав робити кар'єру. Йдеться не про якісь привілеї, але я вважав себе діячем руху. Я також не помічав цього вражаючого антидемократизму, цього презирливого ставлення до людей, переконання, що їх треба тримати в темряві. І я дав, аби все це мені всунули у вуха. Пам'ятаю, я відстоював свою точку зору на такому прикладі: в якомусь радянському фільмі їде локомотив, а попереду — Сталін. Що за дурниці!

На це Вятр відповів:

— Тут вже треба переглядати естетичні критерії. Дивись, у тебе в школі радіовузол весь час без перерви передає джаз, а це погана, ворожа музика.

— Чому погана і ворожа? — жажнувся я.

— А ти подумай. Переглянь свої естетичні відчуття, — повторив Вятр.

Саме таких людей, які несподівано після 1947 року стали палкими сповідниками нового порядку, ми підозрювали у найгіршому. Для мене це перш за все були вчителі та юні шкільні активісти, мої однокласники; для молодих робітників, яких я знав, директори, інженери, техніки, майстри, що ще вчора були реакціонерами, раптом виявилися поборниками соціалізму.

Між собою ніби зіштовхнулися дві правди. Одна правда наша: про людей, які натягують на себе чужу шкіру і займають відповідальні пости. Але була також і друга правда. Відразу після 1947 року польська інтелігенція визнала, що Захід нас зрадив, і обіцянка незалежних виборів, дана в Ялті західним державам, є шахрайством. Порятунку немає, потрібно жити

в Польщі, захопленій СРСР, не можна повертатися спиною до реальності. Але для того, щоб увійти в цю реальність, треба задекларувати підтримку нової влади, яка все більш наполегливо цього вимагала. І, безумовно, ці «кар'єристи» мали до нас, палких ідейних бійців, претензії в тому, що ми їм заважаємо. Для них саме ми були злом. Обидва табори були праві — і ми, і вони, і водночас — і ми, і вони не мали рації. Тому що вони спростовували себе самих, а цього робити не можна — брехня не може служити для доброї справи. В свою чергу ми розбили єдність польського народу — головне надбання років окупації — і сприяли поневоленню суспільства, незважаючи на нашу глибоку віру та добрі наміри, якими — як відомо — брукована дорога до пекла.

Тут потрібно дещо сказати про розмови, які точилися після арешту Гомулки. Ворог — це було черговим, не менш важливим поясненням неузгодження наших мрій із дійсністю. Коли ми чули, що на самісінькій верхівці влади знаходилися вороги, то, з одного боку, нас охоплював жаж, а з іншого — ми відчували радість від того, що можемо і далі вірити у новий лад, тому що всі негаразди траплялися через ворогів. У правлінні сиділи робітники, вражені цим нещастям:

— Як же це може бути, щоб Веслав був ворогом? Кому тепер вірити?

— Не треба вірити нікому окремо, треба вірити партії, — сказав я тоді.

І у мене було таке відчуття, що я таким чином виступаю проти культу особи. А вони зітхнули з полегшенням і сказали:

— Дійсно, ти правий, Яцусю, партії треба вірити.

Я не уявляв собі, що прикладаю руку до зародження невір'я в людину, знищення довіри, так само як до занепаду такого почуття, як дружба.

Пам'ятаю, як на військовій підготовці я відчув потрясіння від того, що наша армія є такою пруською, мілітаристською, антилюдською. Тож, коли я довідався, що міністр народної оборони Спихальський — зрадник, а його провина полягала, між іншим, і в тому, що він вводив до війська передвоєнних офіцерів і в такий спосіб впроваджував у народній армії чужинні зразки, які встановлювалися за традиціями пруської дисципліни — я зітхнув спокійно. Так було з кожною справою.

В травні 1952 року, після одержання атестату про середню освіту, я залишився штатним працівником апарату. Я почав працювати інструктором харцерського відділу СПМ Варшави на дільниці Жолібож. Таким чином я був зарахований до групи найбільш важливих інструкторів. Звідси мене запрошували на засідання президії столичного правління.

У 1953 році я став штатним головою вузівської правління варшавської політехніки. Відразу ж після мого введення у цю посаду я, ще ніяковіючи від студентсько-асистентського оточення, зіткнувся зі справою так званого шибування. У відділі архітектури кільканадцять осіб з першого курсу всі свої роботи з ручного малюнка копіювали з чужих за допомогою підсвітленого скла. Подібні «шибувани» малюнки можна було досить

легко розпізнати. З цього вийшов скандал. Еспеємівців, які «шибували», виключили з інституту. Це були діти інтелігентів із середовища архітекторів, діячів культури, з усіх боків оточені недоброзичливим ставленням до себе своїх однокурсників, це також були діти селян та робітників.

Я сказав «виключили», а між тим, і я до цього виключення був причетний. Вже опускаючи мою участь у їхньому виведенні з числа членів СПМ — на зібранні відділу я говорив щось про буржуазію, про паничів, про те, що ми будемо нові соціалістичні навчальні заклади — я був також у дисциплінарній комісії і виступав за їхнє усунення з вузу, чому протистояла решта комісії.

Чому я це зробив? Партія нагородила мене довірою, надала мені важливу та високу посаду, отже, я мусив це відробляти. Крім того, я знову був чужинцем, новачком. Мені хотілося, аби бойові еспеємівці з архітектурного факультету визнавали мене своїм. На додачу вони були ідолами для моєї дівчини, Ханки. Коли вона пішла на архітектурний, а я все ще був апаратчиком у варшавському правлінні СПМ, виходило, що вона мене ніби покинула — нові приятелі із студентського оточення страшенно їй подобалися. І тут я раптом став для них владою.

Це трапилось вже у 1984 році, відразу після вбивства ксьондза Єжи Попелюшка. Я виходив з костьолу Святого Станіслава Косткі, коли якась сива пані кричить «Яцек!» і обіймає мене. Зоська Пашковська, з моєї компанії, точніше з компанії моєї дівчини Ханки. До цього кола належали в основному еспеємівські активісти з архітектурного факультету, ну і Зоська, палка католичка. Тоді я вважав її реакціонеркою, страшенно з нею сварився, але ми дуже любили одне одного. То ж я їй і кажу, що давно хотів з нею зустрітись, що мені соромно, що правда виявилася на її боці. А Зоська відповідає, що я дійсно був неправий щодо Господа Бога, але все одно весь час я відстоював ті ж моральні цінності. І нагадує мені, як її виганяли з інституту за те, що на заняттях з марксизму вона захищала томізм, але її не вигнали завдяки мені. Добре, що я не пам'ятаю не тільки своєї ганьби.

Я глибоко переконаний, що не система робить людину мерзотником, і зовсім не система робить людину ангелом. Все залежить від нас самих. Це виправдовується навіть тоді, коли виступаючи проти системи, ще не зовсім можеш зрозуміти її природу. Адже системі опираєшся не лише як цілості, а просто через свою звичайну порядність, незважаючи на систему, ставишся до людей чесно. Мені не завжди вдавалося робити саме так, але часто таки вдавалося. Однак, гадаю, що причин продовжувати на цих сторінках подібні історії немає.

Переклад з польської Володимира Каденка

Раши́т Янгиро́в

ЧЕЛОВЕК СО СВОЙСТВАМИ: САГА АЛЕКСАНДРА ДРАНКОВА

Колоритная фигура Александра (Абрама) Осиповича Дранкова (1880-1949) не раз привлекала внимание историков кино, но все попытки реконструировать его биографию ограничивались российскими годами, весьма скупо и недостоверно освещая годы «пионера русской кинематографии» в эмиграции¹. Лишь в последние годы стало возможным сложить контуры этой незаурядной судьбы².

* * *

Обращаясь к истокам российского предпринимательства, единственным достойным уважения его представителем обычно называют Александра Ханжонкова. Более осведомленные прибавят к этому имена Иосифа Ермольева и Михаила Трофимова (фирма «Русь»), будто бы выгодно отличавшихся от сонма алчных дельцов и беспринципных «арапов», паразитировавших на неискушенности юной «десятой» музы. Персонифицировал же эти пороки Дранков — пожалуй, самая одиозная фигура раннего русского кино. Его репутация — наглядный пример того, как общие предубеждения преследуют человека много лет спустя после ухода с публичной сцены, не оставляя никаких шансов на посмертную реабилитацию. Небезосновательно претендуя на почетный титул родоначальника русского кино, Дранков вошел в него, прежде всего, как инициатор так называемой «дранковщины», воплощенной в профессиональной халтуре, убогом художественном уровне работы и крайней неразборчивости в достижении творческих целей.

В неравнодушной, а зачастую недоброжелательной памяти большинства современников, запечатлелся карикатурный образ низкорослого и упитанного, но при этом необычайно развязного и подвижного субъекта, одетого с вызывающе претенциозным безвкусием, человека безмерно тщеславного и честолюбивого, постоянно озабоченного разнообразны-

ми, но, как правило, сомнительными комбинациями. Эти характеристики, между прочим, навели одного из советских киноисториков на малопочтенное сравнение Дранкова с гоголевским Ноздревым. «Арапских» черт, роднивших его с этим литературным персонажем, в самом деле было предостаточно. Чего стоила, например, «дружба» Дранкова с Максом Линдером, приехавшим на гастроли в Россию в декабре 1913 года! С первого же дня пробившись в свиту кинозвезды, Дранков не оставлял его своим назойливым вниманием ни на минуту. По рассказу одного из журналистов, «Дранков оказывался повсеместно с веселым Максом: в автомобиле, на вокзале, в местах приема, на улице, в театре и т.д. и т.д., и до того входил в роль, что на приветствия, оказываемые Максу Линдеру, раскланивался и сам. <...> Войти в доверие лица, мало знающего Россию и ввести его в заблуждение своей особой, может, конечно, всякий, и для этого не требуется ничего, кроме некоторой доли смелости, ловкости, а иногда лести и умения применяться к обстоятельствам, но <...> «некто Дранков» сумел сделаться еще и «импрессарио» Линдера». В этом самозванном качестве он однажды уговорил именитого гостя посетить знаменитый театр-кабаре «Летучая мышь» и под этим предлогом стал было требовать у его хозяина Никиты Балиева треть сбора за спектакль, уговаривая повысить цены на билеты, но был с позором изгнан³.

Деловая репутация этого кинематографиста, окутанная шлейфом скандалов, в значительной мере сложилась из обособленного недовольства коллег по цеху. Их раздражали моральная нечистоплотность Дранкова в деловых отношениях и пристрастие к «срывам» постановок своих конкурентов⁴, но за всем этим скрывалось еще одно, возможно, важнейшее обстоятельство: «инородческое» происхождение Дранкова. Из-за этого ему не пришлось ничего из того, на что кинематографисты-«аборигены» закрывали глаза в общении друг с другом. Он же демонстративно игнорировал общую неприязнь и придерживался раз и навсегда избранной линии поведения — испытывая хронический недостаток оборотных средств для воплощения своих амбициозных проектов, он искал лишь мгновенной сенсации, с тем, чтобы броситься в поиски новых тем, сюжетов и... богатых покровителей. Обладая феноменальной чуткостью к колебаниям рыночной конъюнктуры и к переменчивым вкусам зрителей, Дранков, в сущности, принес в кинематографию особую психологию и приемы работы кустаря-одиночки, не желавшего интегрироваться в промышленную структуру производства и откровенно презиравшего прокатную сторону кинодела.

Если же пренебречь общими предубеждениями, то в фигуре Дранкова можно разглядеть уникальный для его времени феномен сознательного репродуцирования «американских», по тогдашним понятиям, поведенческих стереотипов, обусловленных точным психологическим расчетом. Даже фантазмагорический размах его деловых инициатив, раскручивав-

шихся с ярмарочной фееричностью, несомненно, определялся рекламными задачами. Об этом свидетельствуют, например, и пристрастие Дранкова к гигантским, причудливым по оформлению фирменным вывескам, украшавшим фасады контор его фирмы в Петербурге и Москве, и «великосветский» образ жизни, облегчавший поддержание влиятельных знакомств и связей. Безусловно, все эти, рассчитанные на внешний эффект, детали были признаком незаурядного делового человека: «Он любил жить на широкую ногу, что называется, прожигать жизнь; его дом был открыт, его денежные компаньоны кутили в ресторанах, шантанах, они пили, гуляли, влюблялись, играли в карты, рулетку, выигрывали, проигрывали, купались в шампанском, а сам Дранков не проявлял никакого интереса к этим порокам, — вспоминал один из близко, по-родственному знавших его сотрудников (впоследствии — известный советский кинооператор) Александр Лемберг. — Размах, который был у Дранкова, вряд ли мог сравниться с кем-либо из кинематографистов. Он держал у себя дома двух горничных, повара, лакея, негритенка и корейца как рассыльных, а также англичанку, француженку, чтобы практиковаться и не забыть языки, ко всему этому экономку. Его гардероб состоял из не менее ста костюмов и не менее полусотни пар обуви; он любил домашних животных и увлекался птицами, разной породы собаки и певчие птицы были постоянными обитателями его дома; для ухаживания за ними он держал двух человек»⁵.

В памяти современников остался и другой, безусловно, голливудский, знак дранковского делового стиля: ему принадлежал самый приметный в Москве 1910-х годов лимузин канареечной расцветки, украшенный фирменным логотипом предприятия — крупными изображениями двух целующихся павлинов. Моторным экипажем управлял сам хозяин в кожаной кепке и огромных очках-«консервах», но в особо торжественных случаях он менял «железную лошадку» на пышный конный выезд из собственной конюшни.

Нетрудно понять, что поддержание такого необычного имиджа стоило Дранкову немалых усилий и средств и, в сущности, заведомо лишало его каких-либо серьезных выгод от самых удачных результатов бурной предприимчивости. Не обладая подлинно творческой индивидуальностью и вкусом, он оставил неповторимый след в художественной практике русской кинематографии. С завидной последовательностью он открывал в ней новые жанры и темы, оставляя их углубленную проработку более основательным конкурентам, сам же довольствовался недолговечными лаврами первооткрывателя. Неоднозначность фигуры Дранкова становится еще более очевидной, если учесть, что он был первым, кто привлек к работе в кино таких мастеров отечественного театра, как Василий Давыдов и Иван Певцов, Константин Марджанов и Федор Комиссаржевский, в его постановках дебютировали такие мастера режиссуры, как Ва-

силий Гончаров и Евгений Бауэр. Наконец, его репортерской настойчивости, нередко граничившей с нахальством уличного пристава, история обязана кадрам, запечатлевшим живого Льва Толстого. О ценности этого вклада в культурное наследие догадывались уже современники: «И эта картина, когда вас будет судить суд киноистории, г.Дранков, положенная на одну чашу весов, перевесит всех «Сонек», каких вы изготовили в прошлом, изготовите в настоящем и будущем»⁶.

Позднее дранковскую музу оценил даже такой придирчивый знаток и ценитель, как Виктор Шкловский. «В самой простой документальной ленте видно больше, чем можно узнать из любых книг, — признавался он в одной из частных бесед в 1980 году, — не больше — другое. Я изучал биографию Толстого, кое-что про нее знаю. Но в кадрах, снятых Дранковым, я увидел в отношениях Толстого и Софьи Андреевны для меня новое».

Воодушевленный удачным опытом яснополянских съемок 1908 года, Дранков вознамерился запечатлеть на пленке всех крупнейших деятелей художественной элиты России, обратившись к ним со стереотипной просьбой: «Я позволяю себе просить Вас разрешить мне приехать к Вам <...> и позволить снять Вас кинематографическим способом. Позволяю присовокупить здесь, что Лев Николаевич Толстой уже снят нами таким способом»⁷.

Ссылка на имя великого писателя действовала безотказно, и хроникер сумел заручиться согласием многих именитых «натурщиков», включая Максима Горького, жившего тогда на острове Капри. Правда, визит к основоположнику пролетарской литературы закончился громким скандалом: раздраженный манерами кинохроникера, писатель едва не затеял с ним драку, попытавшись отобрать кассету с отснятой пленкой. Но и этот инцидент послужил на пользу Дранкову, усилив рекламный ажиотаж вокруг его кинохроник, успех демонстрации которых был стократно усилен молвой и прессой.

Толстовский сюжет в кинематографической карьере Дранкова иллюстрируется одним из немногих его автографов, сохранившихся в отечественных архивах. Для упрочения своего влияния в художественном мире российских столиц он пригласил его мэтров на специальный рекламный киносеанс в твердом и совершенно оправданном, надо заметить, убеждении, что отказа не последует: «С личного разрешения незабвенной памяти Льва Николаевича Толстого мне удалось сделать целый ряд кинематографических снимков незадолго до его смерти в Ясной Поляне и в Кочетах у Черткова, во время пребывания в Москве и проч. Соединив все эти снятые в несколько приемов сцены в одно целое, рисуящее жизнь Льва Николаевича с небывалой полнотой, я решил познакомить с этой работой всех лиц, близко стоящих ко всем отраслям искусства и литературы. Для этой цели я устраиваю в помещении «Художественного» электротeatра (Арбатская площадь) один закрытый сеанс, на который имею честь пригласить Вас в субботу, 27 ноября, в 2 часа дня»⁸.

Следует все же заметить, что у секретаря Толстого Николая Гусева от знакомства с «кинематографщиками» остались не самые лучшие впечатления. После нескольких таких визитов в Ясную Поляну он записал в своем дневнике: «Этот Дранков надоел нам смертельно. Как только какой-нибудь праздник, так он тут как тут. Развязный и нахальный, черт знает что...».

По его собственным подсчетам, реализация толстовского сюжета в общей сложности заняла пять лет, на протяжении которых Дранкова не раз выставляли за двери дома писателя, в самый неподходящий момент у него ломалась аппаратура, либо в дело вдруг вмешивались какие-то роковые силы. Тем не менее, когда затея Дранкова материализовалась и принесла необычайный зрительский успех, бдительные журналисты, не питавшие особого доверия к пронире-хроникеру и помнившие о заявленной писателем принципиальной невозможности «позирования для синемаатографа», усомнились в их подлинности. «Петербургский листок», например, заявил, что дранковская съемка была сделана «не с Толстого, а с артиста, загримированного Толстым». Лишь быстрое вмешательство жены писателя в разгоравшийся было скандал подтвердило аутентичность фильма и сослужило ее инициатору дополнительную рекламную службу.

Звезда пионера русского кино взошла ярко и стремительно, но этому предшествовали долгие годы его личного и профессионального самоутверждения. Абрам Дранков, родившийся 3 октября 1880 г., был одним из четырех отпрысков мещанской еврейской семьи; кроме брата Льва, у него были сестры Анна и Мария, и всем им предстояло сыграть свои роли в необычайной судьбе старшего брата. По рассказу того же Лемберга (пасынка сестры Анны, вышедшей замуж за фотографа Григория Лемберга), юношеские годы Дранкова прошли в Феодосии и Севастополе, и уже тогда в полной мере проявились важнейшие черты его натуры: предприимчивость, неумное честолюбие, тяга к новым знаниям и необычайная коммуникабельность. Если прибавить к этому неизбывную тягу к внешнему лоску и светскости, рассчитанных на благосклонность противоположного пола, то очевидно, что этот букет внешних качеств должен был производить неизгладимое впечатление на окружающих. Не получив даже минимального общего образования, он самостоятельно изучил французский, английский и, кажется, немецкий языки, по слуху выучился игре на различных музыкальных инструментах и освоил бальные танцы, став своеобразной достопримечательностью местного общества. Тот же Александр Лемберг вспоминал: «Если в доме, куда приходил Дранков, не было пианино или других музыкальных инструментов, то у него в кармане почти всегда были какие-то дудочки, свистульки, рожки, гребенки, которыми он прекрасно владел, и, на худой конец, когда при себе ничего не было, он тут же экспромтом брал стаканы, бутылки, графины, чашки — все, что попадалось под руки, доливал водой, и у него получался музы-

кальный ансамбль, который в его руках чудесно звучал. Среди молодежи и в обществе пожилых людей его очень любили. Не было в городе свадьбы, именин, дня рождения или же других торжественных вечеров, чтобы его не приглашали <...>; он умел веселить и занимать компанию, с ним было легко и просто, его музыкальные способности активизировали участников вечеров независимо от возраста. Несмотря на свой невысокий рост и несколько угловатую фигуру, он великолепно танцевал, что дало ему возможность открыть свой танцкласс и быть его руководителем. Эта профессия в то время была редкой и неплохо оплачивалась, в этой области он делал большие успехи, у него появилось много учеников и учениц... Он не пил, не курил, но общество девушек его вполне устраивало, их он очень любил, и они ему отвечали взаимностью. В городе все его знали, одевался он по последней моде, лучше всех, носил цилиндр, единственный в городе».

Прожив несколько лет в семье своего зятя, профессионального сева-стопольского фотографа Григория Лемберга, Дранков однажды заинтересовался его ремеслом и, взяв вместе с младшим братом Львом несколько практических уроков, освоил эту профессию, что, как оказалось, предопределило всю его дальнейшую судьбу. Поупражнявшись в портретировании учениц своего танцкласса, в съемках пейзажей и жанровых сценек, три месяца спустя он счел себя вполне подготовленным к новой карьере. «Ты научил меня фотографии, через год посмотришь, что я сделаю, и как твою специальность использую», — пообещал он своему учителю перед отъездом в Петербург. В столицу его вел инстинкт Растиньяка, но в варианте севастопольского обывателя прежде, чем завоевать мир, ему непременно следовало переменить веру предков на православие или хотя бы лютеранство, иначе жизнь в столице Российской империи была бы ему заказана.

К началу 1905 года Александр и Лев Дранковы — совсем неизвестные в профессиональной среде владельцы скромного петербургского фотоателье. Вскоре Дранков-старший одним из первых в России обзавелся в Лондоне электрической осветительной аппаратурой и зеркальной фотокамерой 9×12. С таким техническим оснащением он быстро добился высоких профессиональных результатов и приобрел авторитет мастера фоторепортажа. Его снимки с сюжетами официальной российской хроники печатались в лондонской «The Times» и в парижской «L'Illustracion», а самые удачные кадры, запечатлевшие российского императора, принесли ему престижное звание «поставщика Двора Его Величества».

На волне первых успехов, используя новые технологии, приобретенные с помощью английского компаньона, Дранковы открывают в столице сеть дешевых электрофотографий. По оценке Лемберга, их было не менее пятидесяти; но в истории остался адрес лишь главной, располагавшейся в доме 82 на Невском проспекте. Эти предприятия составили серь-

езную конкуренцию фотографам традиционной школы, по старинке пользовавшимся исключительно солнечным освещением. Дополнительной приманкой дранковских заведений стал взвод смазливых конторщиц, специально нанятых для завлечения клиентов и для этого одетых хозяином в смелые туалеты. Как ни странно, но по рассказу другого осведомленного мемуариста, фотография, несмотря на все ухищрения, «не давала им почти никакого дохода, и они занимались больше комиссионерством: всегда что-то покупали, перепродавали, опять покупали и т.д.» К тому же, по натуре Дранков вообще не был склонен к основательности и кропотливому ведению дел, и вскоре потерял всякий интерес к этой затее, завершившейся крахом и скандальным разрывом с иностранным компаньоном.

Обратив однажды внимание на шумный публичный успех «движущейся фотографии», в начале 1907 года он едет в Париж и какое-то время наблюдает методику и технологию производства на местных киностудиях, одновременно пытаясь заручиться деловыми связями и выгодными контрактами с французскими производителями. В Петербург Дранков возвращается со съёмочной камерой и с новой энергией бросается в захватывающую стихию кинохроникерства. Один из первых летописцев киноистории запечатлел его в порыве подвижнических трудов и дал вполне исчерпывающее описание его профессионального стиля: «Господа, расступитесь!.. Эй, картуз, куда прешь?.. Мадам, у вас хорошая шляпа, но зачем же лезть в объектив? Мосье квартальный, ради Бога, мосье квартальный... Вот вам за труд... Ваше благородие, поощрите его зуботычиной... Осади, осади назад!..»

А в это время успевал двадцать раз взглянуть в фокус, усиленно вертел ручками для фильмы и платформы, отбивал ногой натиск толпы, отдавал приказания чумазому (помощнику. — *Р.Я.*), заискивающе улыбался «их благородию». <...> Проявив и напечатав ленту, он носился с нею по петроградским театровладельцам, пристраивал, убеждал, угрожал. Иногда появлялся в Москве и прямо с Николаевского вокзала с ворохом лент мчался к Пате, в Гомон. Предлагал, навязывал, клялся, заискивал. Но когда давал рекламу или рассылал циркуляры, любил прихвастнуть, прилгнуть на три четверти, упомянуть об операторах из Лондона, Парижа, Буэнос-Айреса и Вашингтона, о каких-нибудь несуществующих машинах для съёмки лунных пейзажей или о новом грандиознейшем деле с основным капиталом в пять миллиардов. Любил пышность, помпу, бугафоршину, любит и теперь и, должно быть, умрет с этой любовью»⁹.

На самом деле, за миражами рекламных обещаний стояли весьма скромные материальные возможности. В своем фотоателье на Невском проспекте Дранков устроил крохотную кинолабораторию, изготавливая русские титры к зарубежным лентам по заказам владельцев столичных синемаграфов. Именно в этих неказистых стенах зрели его наполео-

новские планы и конденсировалась поразительная деловая энергия, которые в один прекрасный день он и предъявил российской кинематографии.

Летом того же 1907 года, едва почувствовав пробуждающийся интерес зрителей и потенциальных зарубежных покупателей к русским сюжетам, он решительно вторгся в новую область кинопроизводства. Узнав о планах некоей зарубежной фирмы экранизировать пушкинского «Бориса Годунова» в постановке Московского Художественного театра (позднее выяснилось, что этот слух был журналистской «уткой»), Дранков поспешил опередить всех и, недолго думая, решил перенести на пленку ту же пьесу, но в исполнении труппы петербургского театра «Эден». По рассказу одного из участников, «большинство актеров было вообще против нелепой затеи, но многие были не прочь заработать, кроме того, почти все сгорали от любопытства: что такое киносъемка. В успех этого предприятия <...>, кажется, никто не верил. Трудно было поверить в серьезность каких-либо намерений в области искусства, видя такую забавную фигуру, как Дранков. Маленький, толстый, толстогубый, с ярко-рыжими волосами, всегда потный, спешащий, жестикулирующий, он произвел неблагоприятное впечатление на артистов уже тем, что с каждым торговался, как на рынке. <...> А когда Дранков потребовал сокращения трагедии Пушкина, предлагая ограничиться 4-5 сценами, все встали в тупик».

Компромисс все же был найден, но дальше начались «муки творчества»: «Если актеры <...> были послушными, то Дранков неистовствовал. Его возмущало особенно то, что артисты бросали огромные тени на декорации, но ничего сделать было нельзя. Сами декорации, написанные на холсте и прибитые на рамы, все время колыхались от ветра <...>. Больше всего расстроило Дранкова не отсутствие потолка, а декорации Грановитой палаты. Как ни приспособлялся он снять издала общий вид..., ничего из этого не получалось. Вообще всю картину приходилось снимать только на средних планах. Даже проход бояр пришлось снять не в полный рост. <...> Съемки «Бориса Годунова» закончились. Ни одна сцена с Борисом Годуновым так и не была снята... Так и пришлось выпускать картину «Борис Годунов» без участия Бориса Годунова»¹⁰.

Техническое и художественное качество отснятого киноматериала и в самом деле было столь удручающим, что Дранков так и не решился выпустить свой опус на широкий экран, но чтобы оправдать расходы, запродав его в провинцию под названием «Дмитрий Самозванец».

Как бы то ни было, первая неудача не только не охладила пыл «российского Сэмюэля Голдвина», но, напротив, разожгла его профессиональный интерес и подтолкнула к новым инициативам. Объявив осенью того же года об открытии «первого в России синематографического ателье» по «выделке лент» (к тому времени еще мифического), Дранков, по сути, открыл историю отечественной коммерческой кинематографии. Ее пер-

вые страницы были написаны в условиях экзотических, весьма далеких от романтических легенд: «Усовершенствованное синемаграфическое ателье» представляло довольно грязную каморку с двумя фиксажными ваннами и несколькими сушилками. Единственным усовершенствованием ателье являлось обилие крысоловок по углам, которые препятствовали неблагородным животным тонуть в ваннах, где фиксировалась благородная лента».

В феврале 1908 г. дранковская «кинофабрика» представила отечественному кинорынку серию документальных сюжетов из русской жизни, продемонстрировавших его высокую репутацию мастера событийной хроники. Впрочем, без активного соучастия операторов Бернштейна, Ивана Фролова, младшего брата Льва, а позднее — Григория и Александра Лембергов, привлеченных к киносъёмкам, масштабы деятельности дранковского предприятия были бы существенно скромнее. «Человек этот был поистине вездесущ: на парадах, похоронах, дерби, пожарах, обвалах, наводнениях, встречах коронованных особ самым непостижимым образом он умудрялся поспевать вовремя. Без него не хоронили, не горели здания, не бушевали стихии, не встречались монархи», — не без иронии писал один из журналистов¹¹.

Спеша закрепить за собой лидерство в российском кинопроизводстве, Дранков предпринимал и неординарные акции, например, демонстрировал свои фильмы премьер-министру Петру Столыпину и членам царствующего дома, а также самочинно делегировал себя от имени России на первую Международную Синемаграфическую Промышленную выставку в Гамбурге и т.п.

15 октября 1908 года в Петербурге состоялась премьера фильма «Стенька Разин (Понизовая вольница)», снятого Дранковым и Николаем Козловским в постановке Владимира Ромашкова в дачных окрестностях северной столицы. В присущем ему стиле пионер русского кино оповестил «почтенную публику» о своем новом достижении: «Затратив громадные средства и массу труда и времени, я приложил все усилия к тому, чтобы картина, как в техническом выполнении, так в самой обстановке пьесы и ее исполнителей, стояла на том высоком уровне, какой подобает ленте, делающей эру в нашем кинематографическом репертуаре. Таких исторических картин в России еще не появлялось... Картина исполнена по историческим сочинениям и рисункам <...> Более 100 человек участвовало в этих картинах... Принимая во внимание даже то обилие запросов, какое уже поступило к нам и вытекающую отсюда вероятность на особенно большое количество заказов, просим таковыми поспешить, делая их телеграфно. С почтением А.Дранков»¹².

Несоответствие рекламных обещаний реальному качеству инсценировки было разительным, но в главном ее инициатор не ошибся — успех первого отечественного игрового фильма, несмотря на кустарность изго-

товления, был невероятным и принес Дранкову не только солидную прибыль, но и придал уверенность в избранном деле.

В поисках прочной финансовой базы в 1912 году Дранков перебирается в столицу русской кинопромышленности Москву и организует совместное дело с богатым владельцем костюмерной мастерской Алексеем Талдыкиным. Наряду с недорогими и несложными в постановочном отношении авантюрными сюжетами, снимавшимися на натуре, он выпускает серию комедийных короткометражек с постоянной комической маской «Дядей Пудом» в исполнении Виктора Авдеева — в подражание популярному американскому комику Джону Бюни, известному в России под именем Поксона. Но уже в марте 1914 года компаньоны рассорились из-за финансовых вопросов, и Дранков продолжил дело самостоятельно, сумев сохранить, однако, его первоначальный размах. По данным справочника «Вся кинематография», в тот год его фирмой было выпущено около 80 фильмов, общий метраж которых исчислялся 52 000 метрами негатива. Присяжный газетный зубоскал Роман Меч (Менделевич) весьма уважительно, но не без яда, отзывался об удачливом кинопредпринимателе:

«А.О.Дранков —
Заметная фигура,
Не человек, а клад!
Кипучая натура,
Не ведает преград!
Все любит делать быстро,
Средств не шадя и сил...
Не раз бывал у министра,
И даже «выше» был...
В душе всегда тревога, —
Полн планов «деловых»,
Он денег нажил много,
И... много прожил их!
Всегда везде находит
Он «боевой» сюжет,
Вкруг золота он ходит,
А... золота-то нет!»¹³

Вскоре Дранков сумел очаровать «русского Круппа», промышленника Алексея Путилова, и увлечь его своими производственными планами, учредив с ним акционерное общество с уставным капиталом в 600 000 рублей (между прочим, в качестве промежуточного приза он получил при этом почетное звание купца первой гильдии). В рекламных анонсах он горделиво перечислял адреса съемочных павильонов своего «Акционерного общества кинематографических фабрик» (по два — зимних и летних —

в Москве и Петрограде), разумеется, опуская при этом истинные масштабы производства и его техническое обеспечение.

Жанровый диапазон и художественный уровень дранковских постановок оставался неизменным: это были все те же сенсационно-бульварные «боевики», такие, например, как нашумевший сериал «Сонька-Золотая ручка», основанный на перипетиях подлинной биографии авантюристки Софьи Блювштейн. За этой сравнительно удачной репликой зарубежных образцов авантюрного жанра тут же последовала целая волна подражаний и даже продолжение сериала конкурентами. Дранков же совершенно охладел к этой теме и с легкостью отказался от участия в ее дальнейшей разработке, уверенный, что обойдет соперников на новом повороте.

Между тем, далеко не все современники были единодушны в отрицании дранковской музыки и его места в русской кинематографии. Анонимный рецензент «Кине-Журнала», например, отмечал: «Нет спора, что направление А.О.Дранкова ложно, но по-своему он хорош. Он поклоняется своему богу. В нем есть размах, который заставляет забыть «первородный грех» ложно выбранного направления. В своей сфере Дранков — это Лентовский русской кинематографии. Сенсация — это колыбель кинематографа, от которой он уже ушел. Следовало бы ее оставить и А.О.Дранкову. И, если бы он перевел свой размах и свою энергию для создания художественных картин, — они, быть может, стояли бы не ниже ханжонковских»¹⁴.

Рассматривая дореволюционный период кинематографической карьеры Дранкова, нельзя обойти вниманием и его постоянный интерес к еврейской теме, проявлявшийся в весьма рискованных, с точки зрения цензуры, сюжетах, тематика которых обгоняла свое время. Первые опыты этого рода относились к жанру документалистики: в 1909 г. Дранков запечатлел на пленке заметные события общественной жизни Петербурга — похороны барона Г.О.Гинзбурга (23 февраля) и депутата III Государственной Думы О.Я.Пергаменты (18 мая; участниками этого сюжета стали видные оппозиционеры, лидеры кадетской партии Павел Милюков, Федор Родичев и Генрих Слиозберг), однако показы этих хроникальных сюжетов, поначалу разрешенные на окраинах империи, вскоре были повсеместно запрещены.

Примечательным опытом провокации Дранковым общественной морали представляется игровая картина «Клара Штейнберг (Болезнь века/Убийство нерожденного)», снятая в конце 1915 года по сценарию известного литератора Исаака Генеромо (Фейнбермана) на волне интереса к так называемому «половому вопросу» и производным от него темам, и в частности, к запрету абортов, перешедшему из сугубо медицинской области в сферу публичного обсуждения. Этот фильм не сохранился, но о его художественных достоинствах можно судить по печатному либретто,

сопровождаяшему его выпуск на экраны: «Молодой инженер Штейнберг безумно любит свою жену Клару. Супруги имеют двух детей, но семейная жизнь не удовлетворяет молодую женщину. Тщетно муж пытается развлечь ее всякими удовольствиями. Почувствовав приближение нового материнства, Клара приходит в ужас. Приехавшая погостить к ней, подруга Берта утешает ее тем, что от грозящей «беды» ее легко может избавить некий врач Газлер, живущий в Финляндии. Штейнберг, потакающий во всем любимой жене, несмотря на томящие его грустные предчувствия, отпускает Клару. Подруги уезжают в Финляндию. Операция проходит удачно. Первое время Клара чувствует себя хорошо, но в течение болезни происходит осложнение и большой грозит смертельный исход. Берта в отчаянии дает знать мужу Клары. Несчастный Штейнберг бросает детей, летит к жене, но находит ее на пороге вечности. В отчаянии он хочет убить доктора Газлера, но мысль, что последний был только исполнителем воли его жены и что новая смерть не вернет ему любимой жены, удерживает его от безумного шага»¹⁵.

Это творение Дранкова тоже постигла печальная участь: несмотря на первоначальное разрешение цензуры, показы картины, «оскорбляющей общественную нравственность», были запрещены во многих российских губерниях, что немало осложнило жизнь ее инициатору. Стремясь возместить убытки, в январе 1916 года он отправился в Одессу для экранизации «Улицы» Семена Юшкевича, но какие-то причины помешали довести съемки до конца.

В марте 1917 г. на волне общего интереса к запретным темам уже отмененной царской цензуры, Дранков анонсировал игровую постановку «Убийство Герценштейна», посвященную убийству черносотенцами видного деятеля кадетской партии, депутата III Государственной Думы Осипа Герценштейна. Но и теперь довести работу до конца помешали производственные трудности, сорвавшие производство и другого сюжета «Лея Лифшиц (Светлый луч в жизни Николая Романова)»¹⁶.

В феврале 1917-го в России пало самодержавие. Исторические перемены пробудили инициативу кинопредпринимателей, наперебой бросившихся выпускать «разоблачительные» и «революционные» постановки. Одним из первых на новую конъюнктуру откликнулся, конечно же, Дранков (фильмы «Георгий Гапон», «Бабушка русской революции» и др.), однако его кипучую энергию серьезно сдерживал «пленочный кризис», поразивший русскую кинематографию после введения в конце 1915 года «военных» квот на экспорт сырой пленки из стран-производительниц (прежде всего, из Англии) в Россию¹⁷.

В ожидании лучших времен Дранкову пришлось обратиться к иным занятиям, например, к устройству летних гастролей балерины бывшего Императорского Большого театра Екатерины Гельцер по курортным городам юга России. Обстоятельства смутного времени не способствовали

успеху этой антрепризы: дружное молчание театральной прессы красноречиво свидетельствует о том, что поездка не принесла Дранкову ни славы, ни дивидендов. К октябрю 1917 года он вернулся в Москву и вновь занялся поиском средств для возрождения своего предприятия, но его усилия были прерваны большевистским переворотом. Как и многие москвичи, Дранков стал очевидцем и невольным заложником кровопролитных городских боев «за власть Советов», которые, по его рассказу американскому историографу российского и советского кино Джею Лейде, он вместе с другими обывателями пересидел в подвале своего московского дома. Прошло еще немало времени, прежде чем изобретательному Дранкову представился случай покинуть красную Москву¹⁸. Летом следующего года Дранков в компании с немногочисленными сотрудниками и знаменитым «королем фельетона» Власом Дорошевичем выехал на юг, как было объявлено, для организации его знаменитой книги «Сахалин». Разумеется, киноэкспедиция была лишь легальным основанием для выезда из советской России — ни один метр заявленного фильма так и не был снят, а «съёмочная группа» распалась сразу же по приезде в гетманский Киев.

К концу 1918 года пожар гражданской войны перекинулся и на Украину, заставив Дранкова, как и других российских беженцев, спешно искать нового безопасного пристанища там, где, как казалось, еще сохранилась видимость порядка. Первую остановкой на этом пути стала Одесса, где Дранков попытался утвердить себя на привычном поприще. Там он объявил об открытии «Практической киностудии при первой в России кинематографической фабрике А.О.Дранкова», где были намечены «отделы съёмочный, лабораторный и операторский», которые предполагалось вести «под личным наблюдением директора фабрики». На самом же деле, все свелось к открытию крохотного «Театра интермедий», о художественном уровне которого можно судить по особому анонсу, сопровождавшему печатные программы: «Посетители могут смотреть представления в верхней одежде»¹⁹.

Одесса стала для Дранкова столь же недолговременным пристанищем, как и Киев. Бесперывная смена властей и режимов в городе и сопутствовавшие им погромы, реквизиции, аресты и репрессии вновь заставили его двинуться в путь — на сей раз в Крым, где еще сохранялись остатки стабильности и порядка. К этому подталкивало и желание вернуться в кинопроизводство, так как к тому времени в Тавриде собралось немало работников экрана, искавших спокойной жизни и возможности для продолжения работы. Несмотря на то, что в Ялте прочно обосновались его давние конкуренты и недоброжелатели Александр Ханжонков и Иосиф Ермольев, Дранков сумел найти источники поставок дефицитнейшей киноплёнки и занялся досъёмками ранее остановленных постановок и выпустил на крымские экраны несколько игровых лент: «Жизнь Гаррисона», «Сын моря» и др.

Поражение Белой армии под Новороссийском в начале 1920 г. стало прелюдией грядущей осенней эвакуации белого Крыма и заставило самых предусмотрительнейших его обитателей озаботиться поисками нового пристанища — теперь уже за пределами России. Судя по всему, Дранков был в числе тех, кто не стал дожидаться взятия Перекопа красными частями и заблаговременно покинул родину, однако об обстоятельствах его отъезда можно лишь догадываться. Пути русских беженцев на чужбину были весьма причудливыми, но первый пункт остановки для многих был один: «Мы все — в Константинополе. Как сюда попали? Ехали очень долго — года два, способ сообщения разный: и пешком, и на лошадях, и на пароходе, и по жел[езной] дор[оге] — смотря по времени и обстоятельствам. Жили в Киеве, Одессе, Крыму и т.д. Майн Рид и Жюль Верн не придумают всего, что было. Сейчас я турецкий негодник, торгующий с Мал[ой] Азией, Египтом, Сирией и т.д. <...>»²⁰.

С появлением российских беженцев колоритная физиономия восточного города, унаследовавшего черты многих культур и верований, приобрела новые черты. По впечатлению одного из них, «Константинополь производит впечатление вземельного, вольного города, чего-то «ганзейского». Стамбул-саркофаг, Галат-лайка, Пера-трактир, и всюду русские, русский язык, русские нравы»²¹.

В русской колонии Константинополя, насчитывавшей в 1921 году не менее 150 тыс. человек, оказалась и немалая часть литературно-художественной богемы: группа актеров Художественного театра, несколько оперных и драматических антреприз, литераторы, художники, артисты кабаре и цирка и т.п.²² На фоне общего беженского хаоса и растерянности они показали завидную способность к самоорганизации и творческой активности и эти качества сразу же были востребованы не только соотечественниками, но и аборигенами и оккупационными властями.

Свое место в этом разношерстном сообществе занимали кинематографисты и те, кто примкнул к ним в изгнании (театральный режиссер Сергей Надеждин, живописец Борис Билинский, драматический актер Аршавир Шахатуни и др.). Возможно, этому способствовало и то, что Константинополь был кинофицированным городом, европейская часть которого насчитывала не менее десятка кинозалов: «Синема Амфи», «Электра», «Пти-Шамп», «Сине-Матик», «Russo-American Cinema», «Ориент», «Cine-Scating» и др. Судя по объявлениям русскоязычных изданий, анонсировавших в этих залах российские картины предыдущих лет, можно предположить, что, по меньшей мере, половина этих предприятий в той или иной степени была связана с эмигрантской колонией²³.

По сравнению с другими положение Дранкова в Константинополе было явно невыигрышным: для того, чтобы возобновить собственное кинодело, он не располагал источниками финансирования и техническими возможностями. К тому же, у него не было главного — желания раз-

вернуть работу в зыбких условиях константинопольского быта. Он ограничился маленькой прокатной конторой, предлагая клиентам старые ленты своего производства, которые ему удалось вывезти при эвакуации, но вряд ли они пользовались большим спросом и могли обеспечить достаточный доход для расширения дела²⁴. Природная изобретательность навела его тогда на коммерческую идею совершенно оригинального рода, подобной которой, кажется, до того не знала история отечественной индустрии развлечений, — тараканьи бега, столь красочно описанные Аркадием Аверченко, Алексеем Толстым и Михаилом Булгаковым. Впоследствии это экзотическое развлечение было воспринято как яркая художественная выдумка, но исторические данные подтверждают реальность его существования и, что самое главное — причастность к нему Дранкова. Рассказывая о необычайном размахе игорного бизнеса среди беженцев, драматург и беллетрист Илья Сургучев свидетельствовал: «<...> Мы развели такой игорный азарт, что <...> мимо рулеток страшно пройти. Одних лото мы пооткрывали в Константинополе более шестисот. <...> Мы сочинили петушинные бои, запрягали тараканов в тележки и устраивали скачки с ипподромом и тотализатором. Начальник английской полиции пришел запретить их и ушел, проигравши на этом деле триста лир»²⁵.

По сообщению русского еженедельника, издававшегося в Константинополе, Дранков арендовал один из залов «Русского Клуба», распоставшегося на улице Гран Пера, для тараканьего «кафародрома» (ипподрома). Звездами дранковского заведения были «скакуны» под самыми невероятными кличками: «Мишель», «Мечта», «Прощай, Лулу» и общий фаворит — «Люби меня, Трощкий!»²⁶.

Командование оккупационных союзных войск, обеспокоенное непрерывными скандалами, сопровождавшими работу этого аттракциона, запретило его под страхом уголовного наказания. Находчивый устроитель, не желавший терять успешное дело, моментально перестроился и трансформировал «тараканьи бега» в «автомобильные гонки», но техническое несовершенство замены быстро разочаровало завсегдатаев, и Дранков свернул дело²⁷.

Следующим дранковским предприятием стал крохотный кабарежный театр «Bal-Tabagін», открывшийся в канун нового 1922 года в подвале концертного зала «Принтания», но состав труппы и качество репертуара не позволили ему конкурировать с более respectable заведениями — «Гнездом перелетных птиц» Аверченко, «Черной Розой» Вертинского, «Олимпийей» или «Пель-Мель». Жалкое существование этой антрепризы подтолкнуло Дранкова на новую инициативу: весной 1922 г. он затеял аттракцион под зазывным названием «Луна-парк», на некоторое время привлечший к себе общее внимание. Но и здесь его подстерегла очередная неудача: по злорадному замечанию одного из русских константинопольцев, «гигантский «Луна-парк» А.О.Дранкова взорвался со страшным

конфузом»²⁸. 15 сентября в нем случился большой пожар, а разбушевавшимся огнем «павильон и сцена уничтожены до основания»²⁹. По-видимому, это несчастье, съевшее остатки дранковских капиталов, окончательно похорило его надежды на обустройство в Турции и побудило к новому переезду. Осуществить же это было весьма непросто: как и многие российские беженцы, Дранков не имел необходимых документов и средств, а «неоднозначность» деловой и личной репутации автоматически закрывали перед ним многие двери. Но тут в судьбу Дранкова вновь вмешалась политика, на сей раз помогшая ему выпутаться из, казалось бы, безвыходного положения.

Летом 1923 г. жизнь русской колонии в Константинополе неожиданно осложнилась: лидер младотурецкой революции Мустафа Кемаль (Ататюрк), инспирированный большевистской Москвой, объявил о высылке российских беженцев из страны. Тысячам людей было предложено в срочном порядке покинуть страну под угрозой непредсказуемых последствий в случае невыполнения этого решения. Требование о депортации намеренно было выдвинуто в тот момент, когда по условиям мирного договора из Турции началась эвакуация союзных войск Антанты — единственной силы, гарантировавшей физическое выживание беженцев из России. Таким образом, эта коллизия грозила перерасти в гуманитарную катастрофу, если бы в нее не вмешалось международное сообщество. В операцию по спешной эвакуации россиян из Константинополя включились американские благотворительные организации и Международный Красный Крест³⁰. Не менее двадцати транспортных пароходов переправили большую часть беженцев в родственные славянские государства — в Болгарию и Югославию, а часть из них (преимущественно, евреи и те, кто имел родственников в США) получила разрешение на приезд в Нью-Йорк. Это «великое переселение народов», развернувшееся в августе-октябре 1923 г., в числе прочих перенесло за океан и Дранкова, хотя точная дата его приезда в Соединенные Штаты пока не установлена³¹.

О новой одиссее Дранкова, которого на родине уже считали покойником, стало известно коллегам, оставшимся на родине, и эта тема еще долго оставалась предметом их завистливых пересудов и домыслов. Не поддерживая никаких связей с «белоземгрантом» (до конца 1920-х годов это позволялось лишь ближайшим родственникам), кинематографисты были уверены в том, что удачливость и неистощимая изобретательность не изменили Дранкову и в Америке, принеся долгожданное богатство и славу. Даже семь с лишним десятилетий спустя один из немногих его приятелей Борис Вольф с восхищением рассказывал легенду, в которой факты дранковской биографии густо перемешались с его собственными представлениями об американской мечте: «Он в Америке, русский еврей, приехавший, не то, что родившийся в Америке, научился американскому способу мышления, способу действия, избрал моментальную фотогра-

фию и всю Америку усеял этими фотографиями. Стал богачом. Это же исключение, это же не каждый человек мог. Я 70 с лишним лет в кино, знаете, что я получил?»³²

На самом деле, новую американскую жизнь Дранков начал подобно всем неимущим иммигрантам: «Он уже натренировал свои мускулы, работая грузчиком в одном из наших доков. Он получил очередной продвинутый урок из американского курса зависимости, натирая полы и подметая тротуары перед одним медицинским учреждением в этом городе» (Нью-Йорке. — *Р.Я.*)³³.

Едва ощутив более или менее твердую почву под ногами, Дранков вернулся к идее завоевания местного кинорынка, пользуясь испытанными способами. Поначалу он решил посредничать в сделках между американскими киностудиями и советскими экспортными организациями³⁴, но быстро понял, что его деловая и политическая репутация не внушают доверия ни тем, ни другим. Тогда Дранков объявил об открытии передвижного кинематографа, рассчитанного на многочисленную русскоговорящую колонию Нью-Йорка³⁵. Эта затея, по-видимому, оказалась более удачной и позволила ему как-то продержаться на плаву, хотя и не утолила привычных амбиций. Именно в это время во влиятельнейшем издании еврейской колонии Восточного побережья — еженедельнике «The Jewish Tribune» — появилась полурекламная статья, представившая Дранкова малосведущим читателям как виднейшего деятеля российской кинематографии и завидного партнера американских коллег. Им было невдомек, что эта публикация появилась на свет благодаря давнему знакомству героя статьи с главным редактором журнала, видным журналистом, публицистом и переводчиком Германом Бернштейном (1876-1935)³⁶. Для американского издателя дранковский сюжет был скорее жестом доброй воли по отношению к бывшему деловому партнеру, с которым он в свое время занимался прокатом «сенсационных» хроникальных лент о Толстом и Леониде Андрееве в Европе и Америке. Для Дранкова же, озабоченного своим паблисити в американской киноиндустрии, это было огромной удачей: он удостоился журнальной рубрики, героями которой обычно были всемирные знаменитости, посещавшие США (в те месяцы, например, ими были Макс Рейнгардт и Эрнст Любич). Вне зависимости от того, подарила ли статья пропуск Дранкову в Голливуд или нет, сама по себе она является очень ценным биографическим источником, раскрывающим немало интереснейших деталей его биографии, несмотря на то, что многие из них были поданы читателю в преувеличенном или искаженном виде. Во всяком случае, столь добросовестный и осторожный исследователь, как Джей Лейда, воспользовался этим текстом при описании хроникальных съемок Льва Толстого³⁷.

В январе 1927 г. Дранков объявил об открытии своего кинопредприятия в Голливуде и дебютном проекте — постановке «русского» фильма

под названием «Августейший любовник». В русской газете сообщалось о том, что сценарий фильма был написан самим Дранковым, решившим перенести на экран историю любовного романа молодого цесаревича Николая Александровича и солистки Императорского балета Матильды Кшесинской³⁸. Судя по интервью, данному одному из американских журналистов, прежде, чем вернуться в поле общего внимания, Дранков тщательно изучил производственную кухню Голливуда, для чего прошел инкогнито «стажировку» на одной из киностудий под именем Джона До (John Doe). Похвалив непревзойденный технический и художественный уровень американской кинематографии, Дранков заявил: «Я здесь не для того, чтобы революционизировать процесс киносъемок и поразить публику картинами бессмысленного или экстраординарного содержания. Моя задача — применить тщательно изученные мною современные методы производства в постановках, которые ждет публика»³⁹.

Обуреваемый наполеоновскими планами, он решил еще раз заручиться поддержкой нью-йоркского покровителя:

«Дорогой господин Бернштейн!

Еще совсем недавно пишущий эти строки впервые увидел Америку, великую державу, к которой приковано всеобщее внимание, и особенно тех, кто честолюбив и стремится к успеху. <...> Благодаря Вашей чудесной газете и с легкой руки Луи Рича, которого я искренне почитаю как одного из величайших американских писателей, я был удостоен большой чести. Меня даже назвали «Героем фильма, имя которой — Жизнь», подробно осветив мою биографию. Эта статья не раз помогала мне утвердиться в борьбе за место в здешнем кинематице. Она послужила еще больше моему директору господину Билу Вурту, который добился исключительного внимания к моему предприятию со стороны общественности всех Соединенных Штатов.

Я хочу поблагодарить Вас за оказанную поддержку, за Вашу доброту и безграничное великодушие, и прежде всего за то, как любезно Вы встретили и приняли меня, как только я прибыл в Америку. Все это я очень ценю.

Скоро я начинаю производство. Первый полнометражный фильм по моему сюжету под названием «Царская любовь» изображает жизнь царя. После этого я рассчитываю сделать сериал, который я задумал еще пятнадцать лет назад в России, главным героем которого будет женщина — скрытная и неуловимая, всегда стремящаяся помочь беднякам, дарящая свою любовь и заставляющая любить себя, и даже когда за ней охотится полиция и сыщики, она никогда не попадается. На этот фильм будет затрачено не меньше, чем на хорошую мелодраму, и, кроме того, он будет полон острых, захватывающих моментов.

Вы, без сомнения, должны помнить давно покойного писателя Леонида Андреева. Не знаете ли Вы, где можно раздобыть какие-нибудь из

его работ? Мне кажется, они могли бы послужить хорошим материалом для картин. Что Вы думаете об этом, господин Бернштейн?»⁴⁰

Однако надежды Дранкова на то, что адресат примет финансовое или информационное участие в его предприятии, оказались несостоятельными. К тому времени Бернштейн, по-видимому, совершенно утративший интерес и к автору письма, и к его проектам, оставил письмо без ответа.

Как это бывало и раньше, дальше рекламных анонсов дело у Дранкова не пошло. Голливудская затея стала последним выплеском его деловых амбиций. Объяснение этой неудачи теперь вполне очевидно: помимо организационно-финансовых проблем, его постановка была заведомо блокирована новой технологической конъюнктурой, сложившейся после победы звукового кино, а существование полукустарных предприятий эры «немого» кинематографа, ориентированных на малобюджетные постановки, уже потеряло всякий смысл.

Очередная неудача не сломила Дранкова. На протяжении нескольких лет он перепробовал себя в разных качествах: летом 1930 года он открыл в Голливуде ресторан⁴¹, но быстро разорился и, в конце концов, дошел до малопочтенной роли киностатиста. Лишь исчерпав все мыслимые и, вероятно, немислимые возможности, Дранков навсегда покинул Голливуд и кинопроизводство. Раздобыв минимальный капитал, он на какое-то время стал хозяином уличного кафе в калифорнийском городке Венеция, но неумение систематически вести дела вновь привело его к разорению. К концу жизни он вернулся к тому, с чего когда-то начинал, — к маленькой фотолаборатории в Сан-Франциско по проявке и печати любительских снимков⁴².

Там-то и разыскал его ранней осенью 1945 года Джей Лейда, собиравший материалы и свидетельства современников для своей монументальной работы по истории российского кинематографа. В архиве американского киноисторика сохранился последний из известных теперь автографов Дранкова — его письмо к Лейде от 25 сентября 1945 года, написанное на ломаном английском:

«Dear Mr. Leyda,

I received your letter today.

I feel very sorry. But it's very hard for me to leave my business to come to Los Angeles.

I would be very glad if you could visit me in San Francisco. I have many newspaper clippings that could be of use to you in your Publishing.

It would be very hard for me to send all my Papers to you. I would much rather talk to you in Person, if it could be arranged.

Mr. Leyda, in some time I might be able to come to Los Angeles. But in, regarded to this letter I would like to know just when you need my information. Please let me know beforehand when you are coming to San Francisco.

Hoping to see you soon.
Sincerely
Alexander Drankoff»⁴³.

При встрече гость записал со слов Дранкова некоторые из эпизодов его богатой жизненной одиссеи и познакомился с архивом хозяина, коротавшего дни в полном одиночестве. Посетовал ли тогда Дранков своему собеседнику на капризы судьбы и неблагодарную память современников, начисто позабывших о его былых приоритетах? Этого мы уже никогда не узнаем. Архив пионера русской кинематографии унесло время, и даже дата его смерти долгое время оставалась неизвестной. Лишь недавно петербургскому историку Александру Позднякову посчастливилось найти всеми забытое место упокоения Абрама Осиповича Дранкова, похороненного 9 января 1949 года на еврейском кладбище в калифорнийском городке Колма. Просмотрев записи в похоронной конторе, Поздняков убедился в том, что вопреки легендам, денег на банковском счете покойного почти не было, и расходы по ритуальным услугам были оплачены местной общиной⁴⁴.

Примечания

¹См.: Соболев Р. Люди и фильмы русского дореволюционного кино. — М., 1961; Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. — М., 1963; Рогова В. Бег Александра Дранкова: Он соперничал с Ханжонковым и бесследно исчез в Сан-Франциско // Независимая газета. — М., 1997, 17 декабря. — С. 8; Михайлов В. Рассказы о кинематографе старой Москвы. — М., 1998. — С. 226-230.

²Rashit Yangirov. Alexander Drankov // Silent Witnesses. Russian Films 1908-1919 / Testimoni silenziosi. Film russi 1908-1919. — London-Pordenone, 1989. — P. 554-561; Янгиров Р.: Александр Осипович Дранков // Великий кинемо. Каталог сохранившихся игровых фильмов России. 1908-1919. М., 2002, с. 505-508); Он же. Приключения Рыжего «Арапа» // Искусство кино. М., 1995, № 1 (то же: Мигающий синема. Ранние годы русской кинематографии. М., 1995); Rashit M. Yangirov. Man of Fortune. A Sketch of Alexander Drankov's Life After Russia // Film History. An International Journal. — Teaneck, New Jersey — Sydney, 1999. — № 2; Он же. «Рыцарь удачи» на чужбине. Новые материалы к биографии Александра Дранкова // Киноведческие записки. — М., 2001, № 50.

³Ватолин В. Макс Линдер и некто... Дранков // Театр в карикатурах. — М., 1913, № 15. — С. 18.

⁴«Срыв» — ускоренная постановка фильма с сюжетом и названием, идентичными снимаемому конкурирующей фирмой. Выпуск скороспелого суррогата гарантировал коммерческий провал параллельной кинопостановки и невозможность ее последующей продажи прокатчикам.

⁵Здесь и далее воспоминания Лемберга цитируются по: Лемберг А. Я был мальчиком при Дранкове // История отечественного кино. Документы. Мемуары. Письма. — М., 1996.

⁶Экран России. — Петроград. 1916, № 2-3. — С. 10.

⁷Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). — Ф. 11. Оп. 1. Ед.хр. 102 (письмо Дранкова к Л.Андрееву). — Историю дранковских съемок Льва Толстого см.: Фролов И. В Ясной Поляне // Из истории кино. Вып. 11, М., 1985.

⁸РГАЛИ. Ф. 878. Оп. 2. Ед. хр. 4 (Письмо Дранкова к А.Сумбатову-Южину; 1912). См. также: Там же. — Ф. 837. Оп. 2. Ед.хр. 379 (Письмо к Н.Попову).

⁹Экран России. 1916, № 2-3, с. 9.

¹⁰Орлов Н. Первые киносъемки в России. — Научный архив Госфильмофонда (ГФФ) России.

¹¹Экран России. — 1916, № 2-3. — С. 10.

¹²Цит. по Лихачев Б. Кино в России (1896-1926): Материалы к истории русского кино. Часть I. 1896-1913... — С. 51.

¹³Кине-Журнал. — М., 1914, № 7.

¹⁴Там же. — 1914, № 20.

¹⁵Кине-Журнал. — 1915, № 3-4.

¹⁶Кине-Журнал. — 1917, № 5-6; Там же. — 1917, № 7-10.

¹⁷По мнению британских историков, этот закон, вынужденно принятый в условиях военного времени, резко ограничил развитие национальной кинопромышленности и ее экспортные возможности, что в конечном счете подорвало ее позиции на мировом рынке. — George Perry. The Great British Picture Shaw. — London, 1974. — P. 42. Об этом см. также: Richard Law & Roger Maxwell. The History of the British Cinema. Vol. III. 1914-1918. London, 1973.

¹⁸Jay Leyda. Kino. A History of the Russian and Soviet Film. London, 1983. — P. 111. Есть основания думать, что одной из причин бегства Дранкова из советской Москвы были и его кинополюсовки на «злбу дня», в которых осуждалась прогерманская агитация ленинской партии. Например, фильм «Большевик» был выпущен на экраны города накануне установления в нем советской власти. См.: Проектор. — М., 1917, № 17-18.

¹⁹Театральный День. — Одесса, 1918, 9 ноября. — С. 4.

²⁰Письмо Г.Дмитренко к Б.Гершуно (9 июня 1922). — Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 5986. Оп. 1. Ед.хр. 413. — Л. 75.

²¹Чебышев Н. Из записной книжки: Отрывки. 1921 год // Возрождение. Париж, 1936, 28 марта. С. 2.

²²Заршавское слово. — 1920, 11 апреля. — С. 3. Красочное описание «Русско-Американского кинотеатра», принадлежавшего некоему русскому эмигранту, оставил в своих воспоминаниях Юджин (Евгений) Лурье, для которого служба в этом предприятии стала началом карьеры знаменитого кинодекоратора. — Eugene Lourie. My Work In Films. — San Diego — New-York — London, 1985. — P. 4-5.

²³Общее Дело. — Париж, 1920, 20 декабря. — С. 2.

²⁴Жизнь и Искусство. — Константинополь, 1921, 6 февраля. — С. 16.

²⁵Отклики. — Варшава, 1921, 18 сентября. — С. 2-3.

²⁶Зарницы. — Константинополь, 1921. № 9. — С. 28-29.

²⁷Вечерняя Почта. — Константинополь, 1922, 13 января. М — С. 3.

²⁸Голос России. Берлин, 1922, 23 ноября, с. 3.

²⁹Вечерняя пресса/Presse Soir. — Константинополь. 1922, 16 сентября. — С. 3.

³⁰Леа. Эвакуация Константинополя // Новое Русское Слово. — Нью-Йорк, 1923, 13 сентября. — С. 3.

³¹Судя по газетным сообщениям, число российских беженцев, выехавших из Константинополя в США, определялось цифрой в 15 000 человек. (Новое Русское Слово. — Нью-Йорк, 1923; 20, 24 сентября, 4 октября). В этом издании на протяжении всей осени того гола ежедневно публиковались списки новых иммигрантов, однако имя Дранкова мне обнаружить не удалось из-за некомплектности газетных подшивок в московских библиотеках. Тем не менее, достоверно известно, что в США Дранков приехал вместе со своей женой, бывшей жительницей Ялты Ниной Петровной Дранковой (российский заграничный паспорт ей был выдан 20 января 1920 г., очевидно, накануне отъезда из страны). В ноябре 1925 г. после развода с мужем она уехала в Европу. — National Archives (Washington, D.C.). Russian Consulate Records. M 1486. Box 54.

³²Рогова В. Киномогиканин: Последнее интервью Бориса Вольфа // Независимая газета. — М., 1999, 17 сентября. — С. 7.

³³Lou Reech. A Movie Hero of the Film Called Life // The Jewish Tribune. New York, 28 October 1923. — P. 10.

³⁴Деловым партнером этого предприятия Дранкова указывалась компания «Акра» (?). — Новое Русское Слово. — 1923, 8 декабря. — С. 3.

³⁵Там же. Позднее эта информация была воспроизведена и в советской печати. См.: Аташева П. Новые тараканы бега // Советский экран. — М., 1928, № 14. — С. 4.

³⁶История отечественного кино. — С. 22-26. Публикация о Дранкове, помещенная в этом сборнике, включает подборку его писем к Бернштейну за 1911-1927 гг. из Архива Еврейских исследований (YIVO) в Нью-Йорке.

³⁷См. Jay Leyda. Op.cit. — P. 42-46. Конспект беседы Лейды с Дранковым о съемках в Ясной Поляне и жизни в Ялте в 1919-1920 гг. хранится в: The New York University. Tamiment Library. Jay Leyda's Collection. Folder on Russian and Soviet cinema. Box 9.

³⁸Новое Русское Слово. — 1927, 7 февраля. — С. 5. См. также поздравительную телеграмму русских голливудцев по случаю юбилея указанной нью-йоркской газеты, подписанную Вячеславом Туржанским, Дмитрием Буховецким, Михаилом Вавичем, Михаилом Визаровым и Дранковым. — Там же — 1927, 10 января. — С. 2. Фотография Дранкова в компании с Михаилом Вавичем и Натальей Кованько в Голливуде см.: Иллюстрированная Россия. — Париж, 1927, № 11. — С. 23.

³⁹Alexander Drankoff. High Lights on the Colorful Career of the Founder and Pioneer of Motion Pictures in Russia // Hollywood Topics. 22 January 1927. № 1, — P. 14.

⁴⁰Цит. по: Письмо Дранкова к Бернштейну от 11 февраля 1927 г. — История отечественного кино. — С. 25-26.

⁴¹Руль. Берлин. 1930, 12 июня. — С. 4.

⁴²Jay Leyda. Op.cit. — P. 119.

⁴³The New York University. Tamiment Library. Jay Leyda's Collection. Folder on Russian and Soviet cinema. Box 9.

⁴⁴Подробнее об этом см.: Поздняков А. Вечное пристанище Александра Дранкова // Киноведческие записки. — М., 2001, № 50.

Григорий Казовский

ШТЕТЛ В ТВОРЧЕСТВЕ ЕВРЕЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

Картины на сюжеты из жизни еврейского местечка, изображения еврейского быта занимают заметное место в творчестве польских художников уже с конца XVIII века, а чуть позже к тем же сюжетам обращаются и русские живописцы. Образы евреев, «еврейская тема» становятся основными и для многих художников-евреев первого поколения, младших современников Марка Антокольского. Однако все эти художники как еврейские, так и нееврейские практически не замечали самого штетла, не придавали значения художественным особенностям его весьма характерного облика. Если изображению штетла всё-таки находилось место в их произведениях, то ему, как правило, отводилась роль лишь малозначащего фона жанровых сцен. В этом можно убедиться, в частности, на примере «Свадьбы» русско-еврейского художника Исаака Аскназия (1893). Здесь следует обратить особое внимание на одну незначительную деталь, которая позднее будет играть важную роль, — на православный храм, чьи золоченые купола и колокольня едва обозначены на заднем плане картины. И всё же, повторяю, в центре внимания первого поколения еврейских художников — не сам штетл, а главным образом его обитатели, или, как тогда выражались, «еврейские типы», и сцены национального быта. В самом общем виде такой подход можно объяснить особенностями национального мировоззрения и спецификой художественных задач той эпохи¹.

Еврейские художники следующей генерации весьма критически оценивали своих предшественников и учителей. Критика творчества предшествующего поколения художников-евреев, чьи представления о национальном, «еврейском», искусстве были ограничены еврейской «тематикой» с её, как казалось позднее, поверхностным историзмом и сентиментальным бытописанием — один из принципиальных элементов художественного мировоззрения молодых еврейских художников, заявивших

о себе перед Первой мировой войной. Так, например, два представителя этой генерации, Барух (Борис) Аронсон и Иссахар-Бер Рыбак, в своей программной статье 1919 года, сравнивая своих предшественников с русскими передвижниками, писали: «Почти все художники-евреи в России с самых первых своих шагов на арене европейского искусства обратились к изображению еврейского быта (...), типов евреев и евреек, на улице и в синагоге, торгующих и молящихся, молитвенного экстаза и синагог с их бедным интерьером и мрачным колоритом (...). Подобно русским, еврейские «передвижники» пытались создать национальное искусство, изображая сюжеты из еврейской жизни. В их живописном воплощении не происходило, однако, художественного переосмысления форм жизни народа. Их поиски в области национального искусства ни к чему не привели»². Резкая категоричность Аронсона и Рыбака детерминирована их особым пониманием задач «национального» художника и стремлением дистанцироваться от устаревших, с их точки зрения, культурных и художественных моделей. Мировоззрение еврейских художников их поколения, которым, по выражению их сверстника и единомышленника Лео Кенига, «уже не надо было бежать из гетто, чтобы стать художниками»³, формировалось, с одной стороны, под влиянием новых тенденций в искусстве, а с другой — в атмосфере стремительного развития национальной идеологии и еврейской культуры⁴. В ходе этого процесса, кроме всего прочего, были переосмыслены и преодолены старые стереотипы восприятия штетла. В результате тема штетла, его особенная топография и своеобразная живописность нашли свое художественное воплощение в творчестве еврейских художников. Можно даже утверждать, что в полной мере штетл был «открыт» для искусства именно этой генерацией художников, именно они сконструировали визуальный образ штетла как особого *топоса*, наделённого своей поэтикой и выразительностью. Хочу сразу оговориться, что, по крайней мере, один из художников, о которых пойдёт речь, — Марк Шагал — изображал исключительно свой родной Витебск. Этот город трудно признать штетлом в точном смысле этого слова, если вообще существует строгое определение этого феномена. Однако пример Шагала неизбежен и уместен, так как его творчество оказало огромное влияние на его современников и последующие поколения еврейских художников, а художественные открытия Шагала стали неотъемлемой частью образа штетла в еврейском искусстве.

Каковы же основные элементы этого образа? Рамки небольшой статьи не позволяют представить их во всей полноте, поэтому я проанализирую лишь некоторые из этих элементов. Начну с того, что штетл в изображении еврейских художников — это место, где бок о бок с евреями проживают их соседи-гоим. Причем такое соседство изображается разными способами. Один из них можно обнаружить, например, у Иегуды Пэна. Хотя он и принадлежал к первому поколению еврейских художни-

ков, тем не менее его творчество является единственным, насколько мне известно, исключением из того общего для его современников подхода к теме шtetла, о котором я говорил выше. В целом ряде своих работ Пэн запечатлел не только живописные берега Витьбы и Двины, но и глухие улочки Задвинья, того района Витебска, где пресимушественно селилась еврейская беднота. (В тех же местах он, между прочим, нередко устраивал пленерные занятия для своих учеников⁵). Кроме того, эта картина Пэна датируется серединой двадцатых годов, то есть написана в тот период, о котором идёт речь. У Пэна соседство двух народов выражено самым непосредственным образом: два домика примыкают друг к другу, и заставляют вспомнить строки из романа Цви Гиршкана «Tsvei veltn» («Два мира») с описанием схожей картины: «Zvei haislakl, eins gedekt mit shtroi, goish, dos andere mit bretlakl, yidish» («два домика, один, крытый соломой, — гойский, другой — под drankой, еврейский»)⁶. Пэн почти с этнографической точностью изображает особенности нееврейского и еврейского домов: первый — расположен за воротами внутреннего двора, а второй — с крашенными ставнями, выходит на улицу. Кроме того, Пэн вводит дополнительные, по сравнению с Гиршканом, детали для обозначения «национальности» каждого жилища: у ворот русского дома спит свинья, а у забора еврейского — пасётся коза. Это весьма полезное животное у еврейских художников превращается в своеобразный национальный символ шtetла. Так, например, в картине Авраама Маневича «В местечке» (1918; другое название — «Мстиславль. Ерусалимка») коза — в сущности, единственное (кроме названия) указание на то, что здесь изображена еврейская часть шtetла⁷. В том же значении использует этот мотив и Элизер Лисицкий в иллюстрациях к сказке Мани Лейба «Ингл-цингл-хват» (1919). При этом, так же, как и Пэн, Лисицкий изображает козу, противопоставляя ее «нееврейскому» животному — свинье (в нижней части страницы; при этом свинья оказывается у Лисицкого в «еврейской» половине иллюстрации, а коза — в «нееврейской», что, вероятно, должно символизировать размытость границ национального районирования шtetла). Так же, как и Пэну, Лисицкому необходимо было показать многонациональный характер населения шtetла, о чём говорится и в самой сказке:

Un di goim, un di yidn
 Hobn dort gelebt zufridn
 Ver in freid, un ver in noit.
 Jeder hot gehat sain broit.

Гои и евреи
 Жили там в согласии,
 Бедствовали и радовались,
 Добывая себе пропитание.

В описании Мани Лейба штетл, где разворачивается сюжет его сказки, выглядит следующим образом:

Un bairn taikh fun beide bregn.
 Sainen shtiber fil gelegn.
 Shtiber, gasn un a mark.
 Un bairn salt fun mark a barg.

На берегах реки
 Громоздилось множество домишек,
 Домишки, улочки и рыночная площадь,
 А за ней — гора⁸.

Обращает на себя внимание, что Лисицкий, с одной стороны, довольно точно воспроизводит это описание: речушка, домики на её берегах, ярмарочная площадь и гора — всё это присутствует в иллюстрации. Однако, с другой стороны, художник не иллюстрирует текст буквально, но, опираясь на определённую изобразительную традицию, создаёт свой образ местечка, дополняя его деталями, которых нет у Мани Лейба, как, например, уже упомянутые выше «национальные» животные. Гораздо более существенные компоненты визуального образа штетла здесь — синагога и церковь, стоящие друг против друга на разных берегах реки и также отсутствующие в тексте.

Христианский собор и синагога, изображённые рядом или на некотором расстоянии друг от друга — важный и многократно повторяющийся элемент образа местечка у самых разных художников в России и Польше —

например, у Иссахара-Бера Рыбака (1917), Соломона Юдовина (1933), или Марцина Китца (1928). (Эти примеры легко можно продолжить). Далеко не всегда этот мотив, однако, отражает реальную топографию того или иного конкретного штетла. Достаточно, например, сравнить сделанный Юдовиным снимок деревянной синагоги в Бешенковичах и его более позднее гра-



Синагога в Бешенковичах. Фото С.Юдовина



С.Юдовин. «Синагога в Бешенковичах»

фическое изображение этой же синагоги. На фотографии хорошо видно, что синагога стоит изолированно на площади, на некотором расстоянии от домов, и трудно предположить, что рядом с ней может находиться церковь. (Вообще же, расстояние между церковью и синагогой было обязательным, и его величина регламентирована). Эту же синагогу Юдовин изображает в своей ксилографии «Улица в местечке» (1926), где она оказывается на тесной кривой улочке, в ряду других домов, а вплотную к ней расположена православная церковь. Таким образом, Юдовин, точно и подробно воспроизводя конкретные детали, комбинирует их и создаёт собирательный образ местечка.ри этом церковь и синагогу, несовместимые в традиционном национальном сознании, еврейский художник намеренно сталкивает и тем самым противопоставляет их друг другу. Та настойчивость, с которой это делается, позволяет предположить особое значение и смысл этого приёма.

Вспоминая о путешествии по местечкам правобережья Днепра летом 1916 года, во время которого Лисицкий вместе с Рыбаком изучал и копировал стенные росписи старинных синагог, Лисицкий писал:

«Синагогу, как правило, старались поставить так, чтобы она господствовала над окружающей её местностью. Так — в Дрине, в Дубровне и других местечках: синагога всей своей массой, и, особенно, благодаря крыше, придаёт всему штетлу характерный профиль, подобно тому, как характер старых европейских городов определяется их башнями и соборами (домами)»⁹. Архитектор по образованию, Лисицкий, естественно, обращает внимание на архитектурно-ландшафтную функцию синагоги.

Однако, как мне кажется, в его высказывании более важным представляется его уподобление штетла средневековому европейскому городу, а синагоги — собору (лехавдиль). Такое восприятие диктует также принципы изображения синагог, облик которых приобретает у еврейских художников черты величественной монументальности. Такова, например, «Синагога в Хилкове» (1917) Рыбака. Здесь этот эффект достигается в результате акцентирования мощности самого сооружения, а также благодаря ди-

намичности композиции, построенной на стремительном пересечении двух отчётливо выраженных направлений плоскости картины — диагонали нефа и вертикали фасада. У Лисицкого барочному интерьеру синагоги в Друе (1917) дается, так сказать, готическая интерпретация. Лисицкий, подчёркивая вертикали, «вытягивает» колонны и одновременно «дробит» их массу, — так, что всё это начинает на-



Л.Лисицкий. Интерьер синагоги в Друе.

помянуть пучки колонн и нервюрные своды романских или готических соборов. Между прочим, в еврейской графике Лисицкого фигурирует именно синагога в Друе, внешний облик которой запечатлел Рыбак в своей картине под названием «Старая синагога» (1917). Выдвинутая на передний план, упирающаяся в небо, где конфигурация облаков повторяет очертания её остrokонечной крыши, синагога возвышается над всем окружением и даже подавляет его. Эту же синагогу Рыбак изобразил и в картине того же года «Мой штетл», где она включена в общий ландшафт местечка в качестве одной из его деталей, комбинация которых создаёт собирательный, обобщённый его образ, подобно тому, как это было уже показано на примере Юдовина. В своём рисунке синагоги в Бешенковицах (1921) Юдовин использует те же приёмы, что и Рыбак: выдвигает её на передний план и деформирует масштабные соотношения — маленькие фигурки людей едва заметны на фоне монументальной стены синагоги, крыша которой касается облаков. Такого рода приёмы являются конвенциональным средством изображения собора в европейском искусстве.

Интерес к штетлу у еврейских художников был порождён их поисками национальной и художественной самоидентификации. В уже цитированных выше воспоминаниях «О Могилёвской синагоге», Лисицкий писал: «Мы (молодые еврейские художники. — Г. К.), едва научившись держать в руках карандаш и кисти, тут же принялись анатомировать не только окружающий мир, но и самих себя. Кто же мы такие? Какое место мы занимаем среди других народов? И что такое наша культура? И каким должно быть наше искусство? Оно уже было создано в местечках Литвы, Белоруссии и

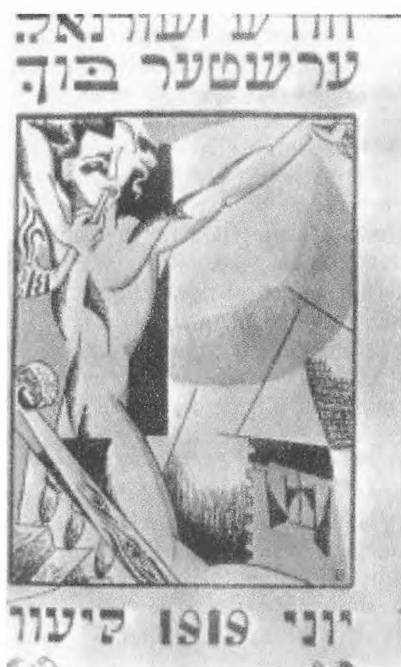
Украины и оттуда докатилось до Парижа, но всего лишь его завершение, а не начало, как мы тогда думали (...)»¹⁰. Местечко становится для еврейских художников не только источником нового еврейского искусства, штетл представляется им центром оригинальной национальной культуры. На определённом этапе своей творческой биографии эти художники декларировали свою неразрывную связь с этой культурой и ощущали себя её приемниками. В то время некоторые из этих художников — например, Лисицкий, Иосиф Чайков и Марк Шагал — отождествляли себя с безымянными еврейскими мастерами, создавшими росписи синагог, резные надгробия и иллюстрированные рукописи¹¹. Сопоставляя синагогу и собор, являвшийся в европейской традиции не только центром города, но и центром культуры, художники, тем самым, как бы переносят эти качества и на синагогу. Таким образом, церковь и синагога, изображённые рядом, символизируют противостояние двух типов цивилизации. Чайков в рисунке для обложки упомянутого мною романа «Tsvei velt» буквально иллюстрирует это противостояние, изображая позади главных героев Гиршкана соответственно — церковь и синагогу.

Граница, отделяющая эти два мира друг друга, может быть даже материализована, как это происходит в картинах Шагала. Непременная деталь Витебского пейзажа у Шагала — заборы, мотив, встречающийся практически во всех его картинах и рисунках, посвящённых его родному городу, например, в его известной картине «Над городом» (1914–1918). Пара влюблённых парит над городом, перегороженным заборами. Отношение к ним выражено в маленькой фигурке испражняющегося человека, являющейся буквальной иллюстрацией известного русского выражения. Всегда за забором у Шагала изображается церковь. Он постоянно подчёркивает, что взгляд на церковь — это взгляд из-за забора. Хотя у Шагала, в отличие от Рыбака и Юдовина, синагога отсутствует, тем не менее, ясно, что мы видим церковь из еврейской части города (как, например, в акварели «Старик с очками» (1920), где за забором еврейского дома изображена церковь). Этот вид — церковь за забором — открывается уже сразу за окном дома художника («Вид на Витебск из окна», 1908; существуют ещё две более поздние картины с тем же сюжетом), причём забор здесь даже заслоняет часть окна. Картина «Серый дом» (1917) целиком построена на использовании всё того же мотива — забора, за которым расположены костёлы и церковь. В левом нижнем углу изображена фигура еврея, прижимающего руки к сердцу и обращённого к зрителю с выражением отчаяния на лице. На фигуре по-еврейски написано «Марк», а по-французски «Шагал», — тем самым, этот еврей становится персонафикацией самого художника. Такая двуязычная подпись указывает на двойственность Шагала, сочетавшего в себе еврейское и европейское, что находит своё выражение и в одеянии его персонажа — характерный головной убор, длиннополый пиджак и клетчатые штаны. На заборе написано по-русски «дурак». Это слово,

несомненно, имеет отношение к персонажу картины, отторгая его, а значит, и самого Шагала, от того мира, который виднеется за забором. Таким образом, забор превращается у Шагала в непреодолимую преграду между христианской и еврейской частью города, или, как выразился однажды выросший в Витебске Хаим Житловский, между «идишкайт» Задвинья и «цивилизацией» Замковой, то есть одной из главных улиц аристократического квартала Витебска¹².

«Цивилизация» того мира, где господствует церковь, не только притягивает и, в конце концов, отторгает от себя еврея, но и содержит прямую угрозу существованию самого еврейского штетла. Так, в одном из листов серии Рыбака «Погром» (1919) погромщиков возглавляет православный поп, за спиной которого изображена церковь. Вообще же, тема погромов вплоть до середины 20-х годов занимала одно из главных мест в творчестве еврейских художников, и в связи с этим в образе штетла усилились апокалиптические черты. Их можно обнаружить даже у такого умеренного художника, как Маневич, в его картине «Разрушение местечка» (1919), и особенно в экспрессионистской графике художников из группы «Юнг идиш» Марек Шварца (1919) и Ханоха Барчинского (1919)¹³.

Уже в начале 20-х годов у целого ряда художников, главным образом, связанных с модернистскими течениями в искусстве, намечается перелом в их отношении и к теме штетла, и в его оценках. Штетл не мог противостоять грандиозным альтернативам социальных и художественных утопий и должен был освободить место рождающемуся новому миру. Именно в этот огромный и манящий мир улетает из маленького местечка на волшебном коне Ингл-Цинглхват. Развёрнутый и красочный образ штетла сужается до схематичного намёка, как, например, в «Композиции с человеческой фигурой» Сарры Шор (1920). Серповидный луч солнца «разбрасывает» черно-коричневые плоскости и словно испаривает тьму, расчищая просветы неба и освещающая фигуру человека, в молитвенной позе приветствующего зарю. Те же мета-



И. Чайков. Обложка журнала «Багинен». (Киев, 1919)

форы использует Чайков в своём рисунке для обложки журнала «Багинен» (1919). В обоих случаях от местечка остался лишь покосившийся домик. Всё это приводит к тому, что тема штетла в творчестве одних еврейских художников совершенно исчезает, а у других — кардинально трансформируется. Так, например, в двух картинах Саши Блондера с одним и тем же названием — «Домик в местечке» (1933) — демонстрируется процесс аналитического разложения реального образа на составляющие его цветковые плоскости. Понятно, что здесь местечко превращается в чисто живописный мотив, в котором художник видит исключительно пластические задачи.

В Советской России возрождается старое восприятие местечка, восходящее к негативным изображениям традиционной еврейской жизни у *маскили* второй половины XIX века. Мир штетла снова становится объектом критики и иронии, а для художников большую актуальность приобретает изображение еврейских земледельческих колоний и колхозов. Штетл же представляется безжизненным и оставленным людьми, как, например, на картинах Елены Кабишер (1925) и Ильи Эйдельмана (1928). Местечко с его ценностями и особенным укладом жизни воспринимается как анахронизм, чьи дни сочтены. Поэтому понятно, почему серия гравюр Юдовина, посвящённых местечку, над которыми он работал до конца 1930-х годов, носит название «Былое». Не случайно также, что старые евреи в картине Исаака Махлиса (1934) напоминают мертвецов (особенно крайний слева — с черепом вместо лица), оставшихся из могил и пришедших в урочный час помолиться в синагогу. Символично, что весьма распространённым в таком контексте становится сюжет похорон в местечке. В качестве наиболее яркого примера можно назвать одно из самых лучших, на мой взгляд, произведений Юдовина — «Похоронь» (1926). Здесь члены погребального братства, *хевра кадиша*, сопровождаемые плакальщицей, несут на носилках мертвеца на старинное кладбище с покосившимися надгробиями. Их окружают полуразвалившиеся домишки, населенные странными существами, которые словно явились из загробного мира. Жуткую, мистическую атмосферу происходящего подчеркивают горящая свеча, «выпрыгивающая» из-под крыши дома, и огромный глаз, висящий среди туч вместо луны. Сами участники похоронной процессии — древние старцы, также напоминающие тени, а у плакальщицы руки вырастают до небес. Весь этот мир и его обитатели, тем самым, предстают чем-то ирреальным, потусторонним, отжившим. Кроме Юдовина, похороны в местечке изображали и другие витебские еврейские художники. То постоянство, с каким этот мотив встречается у разных художников, превращает похороны в местечке в похороны самого штетла.

Примечания

¹ См.: Hillel Kazovsky, *Jewish Artists in Russia at the Turn of the Century: Issues of National Self-Identification in Art.* — *Jewish Art*, 21/22 (1995/96). — Pp. 20-39; о специфике образа штетла в еврейской литературе (главным образом, на идиш) второй половины XIX века, см.: Dan Miron. *The Image of the Shtetl and other Studies of Modern Jewish Literary Imagination.* New York, 2000.

² B. Rybak, B. Aronson. *Di vegn fun der yidisher moleray. Rayones fun a moler. — Ufgang, 1* (Kiev). — Zz. 108, 109 (идиш); русск. пер. см.: Йнссахар-Бер Рыбак, Барух Аронсон. Пути еврейской живописи. Размышления художника. Публикация, предисловие и перевод с идиш Г. Казовского. — *Зеркало* (Тель-Авив), N 124, май 1995. — С. 19.

³ Leo Kenig. «Di geshikhhte fun “makhmodim” un “La-Rush”». — National and Hebrew University Library (Jerusalem), 4* 12699/173 (идиш). См. также: Лео Кениг, «История “Махмадим” и “Ля Рюш”». Предисловие, перевод с идиш и комментарии Г. Казовского. — Вестник Еврейского Университета, N 2 (20), 1999. — С. 331.

⁴ Ziva Amishai-Maisels, «The Jewish Awakening: A Search for National Identity». — *Russian Jewish Painters in a Century of Change.* Ed. by Susan Tumarkin Goodman. New York, 1996. — Pp. 54-70.

⁵ Заир Азгур. *То, что помнится.* — Москва, 1969. — С. 263; Г. Казовский. *Художники Витебска. Иегуда Пэн и его ученики.* — Москва, 1992, — С. 57-60.

⁶ Tsvi Hirshkan. *Tsvey veltn.* — Kiev, 1919. (идиш).

⁷ Один из самых ранних известных мне примеров этого мотива — маленькая картина польского художника Войцеха Лешинского «Ночная молитва» (1887) (См.: Zydzi — Polscy. Muzeum Narodowe w Krakowie. — 1989. — III. 24.). Как и у других его современников, изображение уголка местечка здесь не имеет самостоятельного значения — убогость окружения (ветхая крыша дома, оторванная ставня) всего лишь выполняет функцию контрастного обрамления фигуры молящегося еврея, являющегося композиционным и смысловым центром картины. О самом Лешинском практически нет никаких сведений, трудно предположить, что его творчество было широко известно.

⁸ Mani Leyb. *Yngl-tsingl-khvat.* — Petrograd, 1917 (идиш).

⁹ El L. [Eliezer Lissizky] «Vegn der molever shul. Zikhroynes». — *Milgroim* (Berlin), N 3, 1923. — Z. 9 (идиш).

¹⁰ Там же.

¹¹ См., напр.: Mark Shagal. «Bletlakh». — *Shtrom* (Moskve), N1, 1922. — Zz. 45, 46 (идиш): «Евреи, если им это по сердцу (мне-то — да!), могут сетовать, что нет больше тех, кто расписывал деревянные местечковые синагоги, нет больше резчиков, вытачивавших деревянные «шулкапперы» (ша! я их видел в сборнике Ан-ского — и испугался). Но какая, собственно, разница между моим скобоченным прадедом Сегалом из Могилева, размалевавшим могилевскую синагогу, и мною, расписавшим Еврейский театр (хороший театр) в Москве? Поверьте, немало вшей проползло по обоим, пока мы с ним валялись — кто на мостках, кто на десах, хоть в театре, хоть в синагоге. И потом, я уверен: перестань я бриться, вы узрели бы точный его портрет... (...) Не будь я евреем (в том самом смысле, который я вкладываю в это слово) — я бы не был художником

или был бы совсем другим художником». (Русск. пер.: Марк Шагал. *Ангел над крышами: Стихи, проза, выступления, письма*. Перевел с идиш Л. Беринский. Москва, 1989. — Сс. 124, 125.)

¹²Khaim Zshitlovsky. *Zikhroynes fun mayn leben*. — New York, 1935. — Z. 17.

¹³См.: *Yungyidish*. — (Lodz), 1919, N 1. — Zz. 1-3 (идиш).

¹⁴См.: Г. Казовский. *Художники Витебска. Иегуда Пэн и его ученики...* — С. 65-67.

Еммануїл Гельман

НАРОДЖЕННЯ СКУЛЬПТУРИ В ІЗРАЇЛІ

Пролог

Скульптура була, є і, мабуть, надовго ще залишиться найпроблематичнішою і одночасно найбільш багатобічючою формою єврейського мистецтва взагалі й ізраїльського зокрема.

Подібна заява видається мені природною стосовно мистецтва, яке з волаючою зухвалістю зародилося і намагається розвиватися усупереч одній із головних заборон Тори — кодексу національної культури самих же творців цього мистецтва: *«Не роби собі різьби й усякої подоби...»* (Повторення Закону 5:8; тут і далі цит. за Біблією в укр. пер. І.Огієнка). А порушення цього, як жодної іншої заборони Тори, суворо карається Суддею Всевишнім, бо він *«Господь, ... Бог заздрісний, що карає провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях...»* (Там само, 5:9).

Навіть саме слово «скульптура», на івриті «песель», забракковано самою мовою, тому що «бракувати» на сучасному івриті це «ліфсоль», бракований — «пасуль»: той самий корінь (פ — п\ф, ס — с, ל — л), той самий культурно-осудливий зміст. У цьому ж контексті доречно пом'янути і травму «золотого тельця». Творчий екстаз пустельних блукачів, котрі претендували на право бути народом, був жорстоко покараний спаленням їхнього творіння («золотого тельця» — позолоченого дерев'яного ідола теляти з відлитими із золота рогами), і розбиттям «таблиць» (вирізьблених на камені заповідей, що являли собою також своєрідну скульптуру): *«...коли він наблизився до табору, то побачив теля те та танці... І розпалився гнів Мойсеїв, і він кинув таблиці із рук своїх, та й розтрощив їх під горою!... І схопив він теля, що зробили вони, та й спалив на огні, та змлов, аж став порох... І розсипав на поверхні води, і напоїв тим синів Ізраїлевих»* (Вихід 32:19,20). У такий спосіб до дна випита перша скульптура край упертого народу трансформувалася на століття у невинитий комплекс провини і перед Мойсеєм — вождем земним, і перед Всевишнім — Отцем Небесним, а згодом перетворилася на ідіоматичну лайку, на ідолізацію земного, на профанацію духовного.

Цей огляд свідомо уникає обговорення загальної теми «Єврейська скульптура», котру точніше було б назвати «Скульптура євреїв», і тому обминає таких скульпторів-корифеїв єврейської національності як Жак (Яків) Ліпшиц, Осип (Йосеф) Цадкін, Нахум (Наум) Габо, Джейкоб (Яків) Епштейн, Джордж Сігал, Ернст Неізвестний і багатьох інших, талановитих і відомих. Проте мені б хотілося зайняти певну позицію і при можливому обговоренні цієї теми: «єврейської скульптури» (в загально-діаспорному значенні епітета «єврейської») ніколи не було і, вочевидь, уже ніколи не буде. Абсурдно було б вважати, що «Іван Грозний» у виконанні Антокольського, «Мати Марія» Епштейна, «Орфей» справа рук Цадкіна чи а la пікассівський кубізм Ліпшица нав'язні Старим Заповітом чи томлінням по Землі Обітованій.



Дж.Джакометті, 1950

З іншого боку, однієї лише тематики Тори не досить для того, щоб зарахувати до національної культури нав'язаний нею твір чи його автора — в іншому випадку довелося б двічі проголосити італійця й побожного християнина Мікеланджело Буонаротті скульптором юдейським: і за Давида, і за Мойсея.

Навіть тема Голокосту не може стати автоматичною запорукою приналежності пов'язаних з нею творів єврейській (і поготів ізраїльській) скульптурі чи культурі. Адже не зараховувати до переліку єврейських скульпторів швейцарця і католика Джакомо Джакометті за його обсецивне, безпрецедентне, двадцятилітнє (тисячі ескізів, картин і скульптур), сугубоособисте заняття катастрофою європейської єврейства, сприйнятою ним як загальнолюдська трагедія. Образи: кістяки-люди, євреї, які чудом вижили у концетраційних таборах, примари, що спочатку ховаються від арешту, а після звільнення неприкаяно бродять вулицями європейських столиць — «Кадіш» Джакометті по загиблій Європі.

Які ж необхідні й достатні ознаки національного мистецтва, якщо ані національність автора, ані походження теми не є обов'язковими?

Ці й багато інших питань, пов'язаних зі специфікою національного мистецтва, привели багатьох дослідників до жорстокого і жорсткого у своїй однозначності висновку: «Немає такого єврейського мистецтва!» Поясню: є й були скульптори-євреї, деякі з них досягли національного визнання і навіть світової популярності, інші — пали жертвою забуття; багато тисяч скульптур нудяться у приватних колекціях і муніципальних

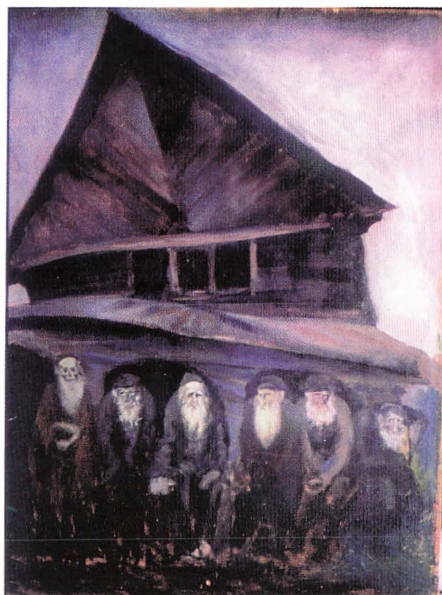
*К статье Г.Казовского
“Штетл в творчестве еврейских художников...”*



М.Шагал. Над городом

М.Шагал. Серый дом





И. Махлис. Сидящие евреи



*И.-Б. Рыбак.
Из серии "Погром"*

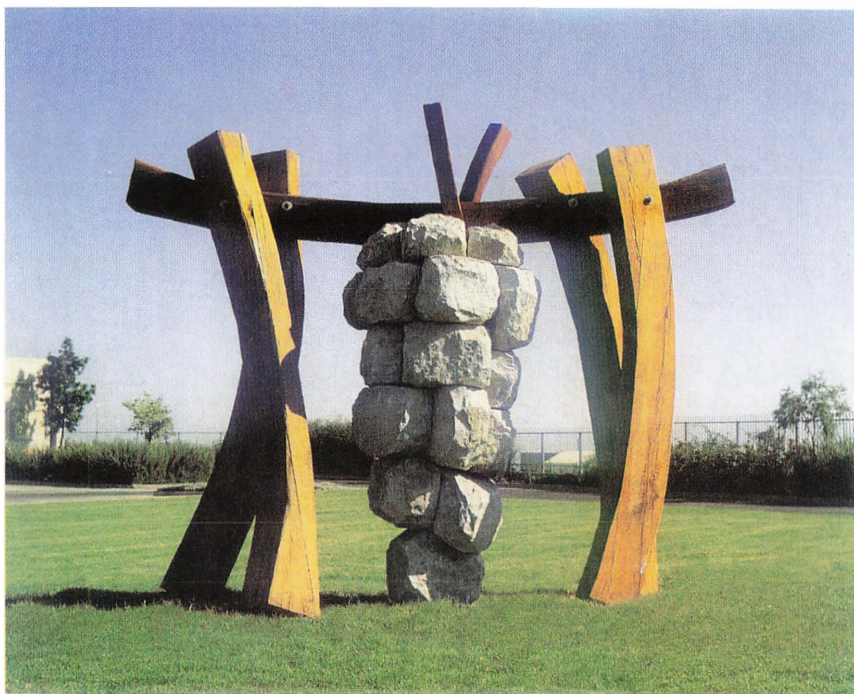


И. Аскназий. Свадьба в местечке

И. Пэн. Домик с козочкой



До статті Е. Гельмана “Народження скульптури в Ізраїлі”

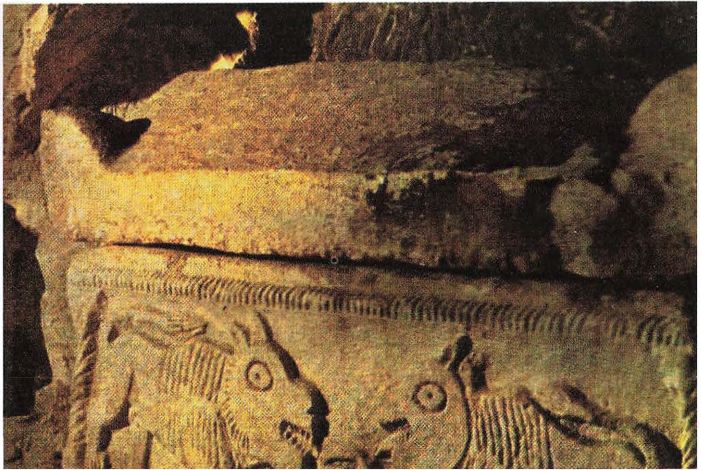


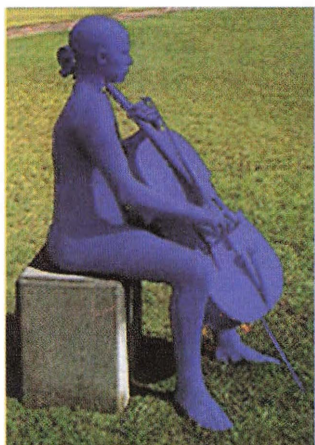
І. Орбах. Обіцянки, обіцянки. 1994

*Двері синагоги.
Краків, XVIII ст.*



Глоסקама. Бейт Шаарім





*О. Цимбаліста.
Образ з блакитного саду.
2000-2001*



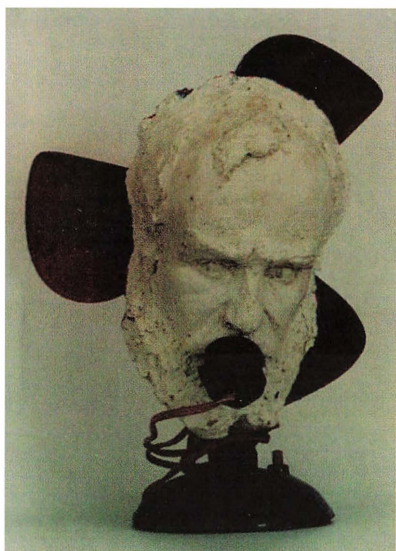
*О. Цимбаліста.
Альтруїзм, Благословіння та Мир*



М. Кадішман



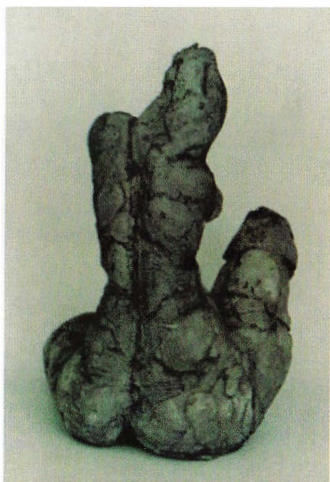
І. Данцигер. Німрод. 1939



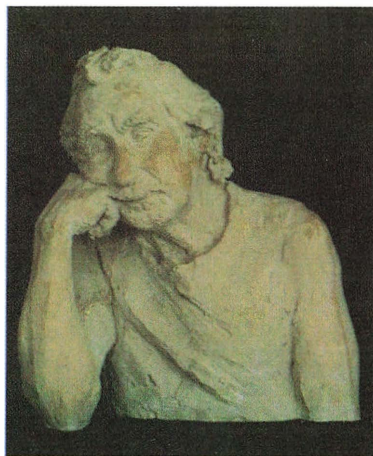
*Е. Гельман.
Автопортрет. 1998-2000*



*Е. Гельман.
Танок (Ліза). 1999*

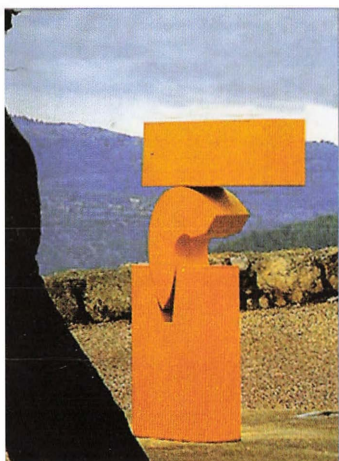


*Е. Гельман.
Торс (Ринат). 1995*



*Е. Гельман.
Мрійник (Батько). 1998*

*Д. Файн.
Без назви. 1985*



*М. Кадішман.
Напряг. 1966*



*О. Цимбаліста.
Образ з блакитного саду.
2000-2001*

підвалах удалині від глядача — удалині від його очей і серця. Деякі з них — як творці, так і їхні твори — витягаються, як правило, випадково і ненадовго, на ту чи іншу експозицію, — інші ж руйнуються от уже десятки років від пилу, вологи і забуття. Але не було скульптури у розумінні естетичної потреби народу, у розумінні художньої традиції з її злетами і падіннями, нагромадження досвіду, школи, теорії, практики, ідеології, бунту, діалогу вчитель-учень, художник-глядач, художник-влада... Але найголовніше ось що: у скульптури євреїв відсутня «характерна риса». Тобто немає такої риси, яка б поставила «національне» і «творче» у взаємнооднозначну відповідність (подібно до того, як це відбувається, коли ми говоримо: російська поезія, італійський ренесанс, французька кухня чи англійський гумор). Не випадково, мабуть, ніколи й ніде не було виставки єврейської скульптури, а перша серйозна виставка ізраїльської скульптури, присвячена сорокаріччю держави Ізраїль (1988 — усього лише 15 років тому!) так і називалася «Пошук характерної риси» (Хіпус ha-zehut).

Цей огляд зосереджується на «Ізраїльській скульптурі», яку правильніше було б назвати «Скульптурою в Ізраїлі (Палестині, Ханаані)», і перенести у такий спосіб центр ваги від вузької-національної характеристики на більш загальну: історичну і територіальну. Ця гра в назви — аж ніяк не схоластичні вихватки дозвольного розуму, а лише спроба обійти стороною і залишити без відповіді низку питань, котрі тривожать уже десятки років різних дослідників єврейсько-ізраїльського мистецтва.

Приклади таких питань:

— чи є ізраїльською давньоізраїльська скульптура — справа рук ідолопоклонників єврейського і неєврейського походження; скульптура, що за аксіоматичною суттю своєю далека й ворожа культурі юдаїзму?

— чи є ізраїльською скульптурою твори ізраїльтян-неєвреїв (арабів, друзів, християн та ін.), творчість яких жодним чином не пов'язана з культурою юдаїзму?

— чи є ізраїльською скульптура палестинців, налаштованих відверто антиізраїльськи?

— чи є ізраїльською скульптура нових і старих репатріантів, творчість яких становить насамперед данину культурам і менталітетам, далеким від юдаїзму (християнському, мусульманському, войовничо-атеїстичному та ін.)?

— і нарешті, чи належать до ізраїльської скульптури твори уродженців Ізраїлю, євреїв за походженням, змушених жити і працювати значну частину життя за кордоном через атмосферу майже цілковитої суспільної байдужості, відсутності приватної філантропії чи державного фінансування в Ізраїлі?

Цей нарис не є хронологічним викладом теми, а лише спробою виявити і класифікувати основні тенденції її розвитку.



*Ханаанська
богиня, Нгарія*

Скульптура древньої епохи

Твори ідолопоклонників, а згодом християнських і мусульманських майстрів; скульптура, пов'язана з похоронними, аграрними та релігійними ритуалами різних народів, які населяли територію Близького Сходу — ця епоха зіграла і дотепер відіграє вирішальну роль у становленні нової ізраїльської скульптури.

Юдаїка

Цим словом позначені всі предмети єврейського релігійного культу і традиційного домашнього побуту, створені єврейськими майстрами з часів праотця Авраама і до наших днів. Більшість творів юдаїки трьохмірні і за усіма своїми параметрами підпадають під визначення «скульптура». Безперечно, твори юдаїки об'єднані за тематикою, а не за стилем, що впродовж понад 3000 років зазнав впливу фольклорів країн розсіювання і модних естетичних течій різних часів.

Майстри юдаїки, які не претендували, зазвичай, на статус «творців високого мистецтва», досягали у своїй творчості і технічній філігранності, і оригінальних творчих рішень.

Майстри юдаїки, здебільшого релігійно освічені і щиро набожні, грішили в стані творчої ейфорії, наче несамохіть: заборона «не створи...» послідовно й неодноразово порушується на користь язичницької і християнської естетики. Їхні творіння — навіть ті, котрі використовуються у традиційних обрядах і релігійних церемоніях, — прикрашені, а нерідко просто насичені образами тварин і (змилуйся, Боже!) людей.

Духовні отці єврейського народу ніколи такого «неподобства» офіційно не заохочували, але й не завжди забороняли його активно.

Таким чином, єврейська скульптура існувала впродовж століть на рівні «самвидаву», знаходячи собі різні ніші існування і підстави для виправдання (абстракт, схематичність, токмо прикраса, ілюстрація виховного характеру і т.п.).

Марк Антокольський (1842-1902)

Видатний Антокольський не був єврейським скульптором, а виключно російським скульптором єврейського походження. Його творіння ста



*М. Антокольський,
Єврей-кравець, 1864*

ли не лише символами величі російського духу, а й емоційним виявом християнської віри. Варто лише поглянути на низку створених ним образів і відразу стане абсолютно зрозуміло, чому його занесено навіки до списку видатних росіян.

Його єврейські сюжети нічого доброго не передвіщають. Ну, ніякого потенціалу: суміш жаргону і підсвідомого антисемітизму.

Тому в нашому нарисі Антокольський фігурує не як засновник вчення чи течії у єврейській культурі, а як приклад людського явища — особистості, що переборолала і тягар релігійних догматів, і силу власних вузько-національних прихильностей. Син трактирника із Вільно, він виявився і генієм, і улюбленцем фортуни: його талант було помічено

відколи він ще хлопчиком ходив у підмайстрах у різьбярів по дереву, а там — стипендія, Петербург, Академія мистецтв; дружба з І.Рєпіним, нагороди, звання академіка у 29 років (1871 р.) за чудового Івана Грозного і щедрі гроші зі скарбниці самого імператора Олександра II. Далі — більше: Рим (1871-1877), Париж (1877-1902), світова популярність. Але все ж таки доля відщепенця не могла не накласти відбиток незгладимого суму на більшість його творів.

Відірваний від свого єврейського народу і не зрозумілий йому, Антокольський не став до кінця «своїм» і у російському середовищі. Тридцятирічним життям за кордоном (де легше було бути росіянином і євреєм одночасно) він вирішив цю нестерпну подвійність своєї творчості і буття.

Марк Антокольський аж ніяк не був новатором у мистецтві. Незважаючи на філігранну майстерність, видатне композиційне бачення тривимірного і тонкий психологізм створюваних образів, Антокольський працював у душі маньєризму епохи пізнього Відродження (тобто відстав від часу років на 300). Він уперто відкидав віяння європейського модернізму, що зароджувалися, ревно захищав свій «російський академічний класицизм» від впливу таких стовпів модерну, як Огюст Роден, Медардо Россо, Анрі Матісс і Едгар Дега, котрі працювали ледве не пліч-о-пліч з ним у Парижі. «Блудний син» єврейського народу, він був вірною дитиною свого часу — другої половини XIX століття: утопічні (як довело прийдешнє XX сторіччя) ідеали гуманізму і справедливості, втілені у його мистецтві, навряд чи вийшли за межі романтичної ілюстративності. І все ж таки: творча чесність і непохитний індивідуалізм дозволили йому розширити

межі національного дерзання. У нього були учні й у Росії, і за її межами. Його харизматична, натхненна особистість помножена на ореол слави притягала молодих євреїв. Він навчав їх не тільки ліпити, а й дерзати. Серед цих учнів виявився Борис Шац, якому було призначено вивести єврейське мистецтво з дисидентського підпілля.

Східноєвропейський академізм

Період, початок якого пов'язаний з відкриттям Єрусалимської Академії Мистецтв «Бецалель» у 1906 році, забарвлений прагматичним викладанням ремесла (з гравірування, карбування, різьблення по дереву, літографії, лиття, кераміки тощо) її легендарного директора, учня М.Антокольського — професора Бориса (Баруха) Шаца. Технічний аспект вчення і творчості Б.Шаца, його соратників і учнів, спирався на вивчення і стилізацію національного фольклору і народного примітива у дусі єврейського містечка Східної Європи. У духовно-світоглядному плані він перебував під владою виховної концепції теорії мистецтва графа Л.М.Толстого, відповідно до якої твір мистецтва є провідником позитивних емоцій від художника до глядача. Естетично ж світогляд Шаца спирався на романтизацію (часом доведена до гротеску) єврейського епосу і близько-східної екзотики, за що він не раз і зазнавав гострої критики сучасників-інтелектуалів (наприклад, лауреата Нобелівської премії письменника Агнона).



*А. Мельников,
Лев, що ричить
1925-1934*

Під час становлення Бецалеля формується й інша, опозиційна Шацу, тенденція: оскільки джерела єврейської культури — Схід, розвиток нової єврейської культури (і становлення єврейської скульптури) мають бути продовженням естетичних традицій Сходу.

У контексті даного огляду особливий інтерес становить «Лев, що ричить» А.Мельникова: грандіозний монумент-пам'ятник легендарному герою російсько-японської війни Йосефу Трумпельдору (між іншим, кавалеру георгіївських хрестів за хоробрість і відвагу), який загинув від випадкової кулі у поселенні Тель-Хай. Це його холодючими вустами була вимовлена фраза, що стала сакральньо-крилатою у новоізраїльському епосі: «Добре вмерти за Вітчизну». Образ лева, що символізує владу, мудрість і силу, характерний для всіх стародавніх культур Середземномор'я від Єгипту до Межиріччя. Але у мистецтві юдаїки царствений колись

колись лев перетворився на льовку, льовушку — іграшку, прикрасу меблів і посуду. В інвентарі бецалелівського кітчу лев, подібно вірному псу, супроводжує єврейський народ (мило прозваний Дшер'ю Сіону), який повертається з діаспори на землю Авраама, Іцхака і Яківа... Мельников же навчив юдейського лева знов ричати, як за старих добрих часів. Лев Мельникова пробудився і ричить про збройне повстання, про боротьбу єврейського народу за право на Батьківщину і незалежну державу. І ще — лев Мельникова ричить про право євреїв на скульптуру.

Через духовну неспроможність і фінансові труднощі Бецалель шацівського напрямку був закритий у 1929 році. І професор, і його навчання безнадійно відстали від часу — від естетичних напрямків європейського модерну — а також не зуміли стати органічною частиною культури древнього Близького Сходу. А проте саме Шац і ніхто інший вивів єврейську скульптуру з трьохтисячолітнього дисидентства, звільнивши її від рабства провини (згадаємо золотого тельця!). Починаючи з 1906 року десятки молодих євреїв без мук сумління вивчатимуть майстерність ліплення і пізнають екстаз тривимірної творчості, а їхня скульптура претендуватиме на право і місце у національній культурі.

Ідея прикладного мистецтва Шаца і його східноєвропейської команди породила єврейській і близькосхідній кітч; виробами, виконаними у цьому стилі, завалені сувенірі крамниць. Це танцюючий хасид, скрипаль на даху, старий з безмірноскорботним поглядом, дуже пейсатий хлопчик, але є й інші — старий араб з віслоком, верблюду з бедуїном, гордовито-граційна дівчина з глечиком на плечі. Словом, копійчана близькосхідна екзотика чи швидкодіючий засіб для заспокоєння зненацька пробудженої єврейської самосвідомості. Справедливості заради варто зазначити, що й серед цього крамничного мотлоху є свої шедеври, виконані найвинахідливішими майстрами, на зразок творів Франка Майслера з Яффо і Хаїма Переца з Єрусалиму.

Модернізм

З деяким запізненням, супроводжуваним невичерпним ентузіазмом і епігонством, єврейські скульптори 20—30-х років відчули на собі могутні впливи художніх течій, шкіл, «ізмів» і майстрів: французького романтизму (Роден, Бурдель), німецького містицизму (Барлах, Кольвіц), французького експресіонізму (Дега, Матісс), англійського монументалізму (Мур, Епштейн), кубізму (Пікассо, Гонзалес), героїчного соцреалізму (Мухіна), а також примітивізму найдавніших культур — єгипетської, асирійської та вавилонської.

Нижче наводиться низка красномовних прикладів, що демонструють силу таких впливів:



*Баться Літенський
Та, що спить, 1942*



*Бранкузі,
Муза, яка спить, 1906*



Прівер. Материнство, 30-е гг.



*А.Архіпенко,
Жінка з кошкою, 1911*

Це не плагіат і не сліпе наслідування. Це, безперечно, приклади глибоко усвідомлених і майстерно виконаних творів єврейських (і ізраїльських) майстрів. У їхніх творіннях віяння європейського модернізму піддалися стилізації й індивідуалізації, але не набули при цьому єврейського чи, поготів, ізраїльського специфічно-національного характеру.

Ізраїльтяни у Парижі

Ізраїльтяни у Парижі, паризька школа... Чи було це течією? Школою? Етапом у розвитку? Важко сказати. Ці «ізраїльтяни» бували у Палест



Хана Орлоф



*Бійка лева з собакою.
Бейт Шаан, 14 в. до н.е.*

тині, а пізніше деякі з них навіть проживали в Ізраїлі, але значна частина їхнього творчого життя пройшла в Європі, переважно в Парижі і головне — заради Парижа. Найобдарованішим представником цього угруповання була

Хана Орлова, на особливий стиль якої вплинув її близький друг, художник-скульптор і італійський єврей Амадео Модільяні (зачарований, у свою чергу, естетикою давньоєгипетської скульптури і примітивістськими ідеями румуна Костянтина Бранкузі).



Хана Орлоф

«Кнаанім» («Ханаанський рух»)

Естетичні і соціальні ідеї поета Йонатана Ратоша спиралися на таку думку: «Група людей звеличується до рівня народу, якщо вона відповідає умовам трьох аксіом — проживає на певній території, має спільні економічні та політичні цілі, говорить однією мовою». Тому, на думку Ратоша, євреї не є народом, а лише релігійною діаспорою. Група ж людей, що населяють Палестину, починає відповідати всім трьом необхідним умовам і тому стає народом. Релігійні й расові розходження її представників не мають жодного істотного значення. За Ратошом: «Цей народ є прямим спадкоємцем стародавнього Ханаанського народу, і його творча діяльність — література, музика й образотворче мистецтво — мусить спиратися на творчі традиції народів древнього Ханаана».



Ахаїм, Вагітна

Філософія Ратоша мала величезний вплив на творчу інтелігенцію у 1939-1948 роках. Під впливом його ідей розвивалася на території Палестини 1940-1950 років івритська культура («тарбут іврит») як антитеза єврейській культурі («тарбут єудіт»). Під впливом цих ідей двадцятирічний Іцхак Данцигер створив у 1939 році скульптури, задумані і виконані як природне продовження творчості древніх народів, що населяли простір між Вавилоном і Єгиптом.

Герої скульптур Данцигера, як і камінь, з якого вони висічені (середземноморська гірська порода), обрані з особливою старанністю. Німрод — язичник, мисливець, воїн і затятий ворог праотця євреїв Авраама — у божевільній гордині своїй повстав і проти самого Бога. Шабазія — молода еменська жінка, уособлення Сходу. Саме ці твори юної івритської культури є віхою в історії ізраїльського мистецтва, а 1939 рік може називатися роком народження ізраїльської скульптури.

Ахїам, інший важливий представник «ханаанської» плеяди скульпторів, на відміну від Данцигера, народився у Палестині (1916, Явнїель). Його скульптури до того органічно вписалися в культуру Ханаану, що їх легко поплутати з роботами древніх язичників.

Філософія ханаанізму, багато в чому побудована на запереченні культурного зв'язку з єврейством Європи, стала втрачати популярність після 1945 року, коли носії нової івритської культури усвідомили трагедію Голокосту: відчуженість змінилася братерським співчуттям і почуттям провини. Формально ж ханаанський період закінчився з виникненням держави Ізраїль, але вплив ідей Ратоша на скульптуру й поезію відчувається й донині.

Кон'юнктурно-документальне мистецтво

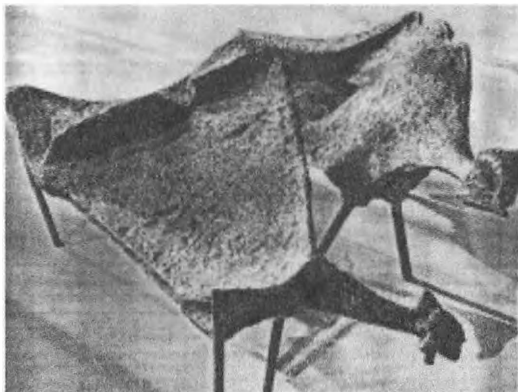
Воно розвивалося паралельно ханаанській теорії як її антитеза. Скульптура цього стилю, що вирізняється монументальним пафосом і виконана у дусі соцреалізму, прагнула відбити у пам'яті поколінь героїчну боротьбу єврейського народу за незалежність поряд із натхненними ликами вождів сїонізму, а згодом — жахи геноциду і трагізм численних воєн молодій державі. Пам'ятник, стела, монумент стають невід'ємною частиною ізраїльського пейзажу і тривимірною ілюстрацією кривавої єврейської історії ХХ століття.

Деякі історики і мистецтвознавці (приміром, Адам Барух) заперечували цинічне використання теми «трагедія важкої втрати», що стала твердим заробітком скульптора і перетворила країну на гігантський цвинтар чи музей для сучасних ідолопоклонників-некрофілів.

Рух «Офакім хадашим» («Нові виднокраї»)

Природне продовження ханаанської теорії Ратоша, узгоджене з новою реальністю, — існування держави Ізраїль. Рух «Офакім хадашим»,

що виник як виклик мистецтву офіціоза, прагнув до універсальності мови мистецтва (відходу від вузьконаціональної тематики), до нових форм (абстракціонізм), нових ідей (відмова від ілюстративної функції мистецтва), нового матеріалу (бетон, залізо), нової технології (зварювання). Представником цього руху у мистецтві скульптури була чудова шістка — Косо



*І. Данцигер,
Вівці в Негеве, 1955-1964*

Алель (1920-1995, уродженець Росії), колишній ханаановець Іцхак Данцингер (1916-1975, народився у Берліні), Дов Фейгін (нар. 1907, Росія), Рут Царфаті (нар. 1928, Петах-Тиква), Моше Штерншус (1903-1992, Галіція) та Єхієль Шемі (нар. 1922, Хайфа).

«Тацпіт» («Огляд»)

1964 року виникла група «Огляд», яка зібрала під одним дахом вже згадуваних майстрів з «Нових виднокраїв» і молодих скульпторів: Ігала Тумаркіна, Буки Шварца та ін. Маніфест цієї групи — «ми проти спекуляції єврейською самосвідомістю і використання застарілої символіки» — нікого не здивував. Метою цієї групи була не нова ідеологія, а виборювання права виставлятися в музеях, яке на той час було забезпечене лише членам Спілки художників. Крім того, молодь і деякі зі старших колег (що з'явилися з-під руїн «Нових виднокраїв») не просто обстоювали абстрактне мистецтво, але вміли його бачити і здійснювати.

А що ж критика? А що офіціоз? Лаяти — лаяли, паплюжить — паплюжили, але виставлялись не заважали.



Хава Мехутан, Глядачі

А що ж глядач? Як реагував на це мистецтво глядач, вихований на неюдаїстській романтиці Бориса Шаца і ван-гогівських соняшниках? Приблизно так, як це зображено у творі Хави Мехутан.

Поп, гумор і сюри

Шляхи мистецтва насправді загадкові. Майже п'ятнадцять років (з 1948 до 1963) івритсько-ізраїльські скульптори говорили

про нагальну потребу абстрактного мистецтва, проте не знали, як воно здійснюється. Нарешті з'явилась група «Тацпіт», що пододала ці протиріччя. Але не минуло й року, і скульптори з «Тацпіт» починають «регресувати» до фігуративного мистецтва. Ніби зненацька виникає нова група «10+». Учасники цієї групи взагалі заперечують необхідність вчень, течій, ідеологій, бо вони, на їхню думку, гальмують індивідуально-творчі процеси. Члени групи «10+» пропагують мистецтво оригінальне, інтригуюче, скандальне, але не обов'язково «правильне», «високе», «якісне» або «глибоке».

Ця ідея належить скульптору Ігалю Тумаркіну, проте не обійшлося без зовнішніх впливів, поготів американських, але «збагачених» мірою середземноморського цинізму. Праці Тумаркіна кінця 1960-х років, виконані в дусі сюрреалізму і поп-арту, насичені еротичними асоціаціями і розраховані на «ляпас суспільному смаку», покладали край ідеологічним тенденціям в ізраїльському мистецтві. А в працях 1970-х років він вже розвіює ореол героїзму і створює свого солдата-антигероя, жертву й учасника жорстокості й насильства.

Отже, у 1970-х роках виникає не надто здорова ситуація: скульптор знає, що від нього чекають каверзу, пастку, жарт — все що завгодно, лише не скульптуру. Митець мусить вилазити зі шкури, аби тільки глядач був задоволеним, одержавши «замовлення», на яке розраховував. Митець мусить вдаватися до будь-яких вихиласів — іноді простолінійно аж до тупості і невігластва, іноді надто витончено і вишукано. В кожному разі — глядач або розгублюється, або губиться цілком. Мистецтво для глядача лишається без глядача.

Скульптура як співвідношення людини і природи

Цього разу Данцигер вирішив шукати натхнення і тематику скульптури у невичерпних джерелах ізраїльської природи та її ландшафтах. У такий спосіб народився «Писуль свиваті», тобто «скульптуризація» на-

вколишнього середовища. Данцигер, який пов'язав ідеї європейського авангарду, творчої інтуїції та ханаанського досвіду, вплинув і досі впливає на сучасних ізраїльських скульпторів.

Постмодернізм

Могутній руйнівний імпульс цього поняття, що виникло наприкінці 70-х років і важко піддається визначенню, не пощадив і боязкі претензії ізраїльського ліплення на статус «школи». Немає вже більше жорстких критеріїв якості, слова «об'єктивно», «правильно» і «вірною» щезли з лексики мистецтва. Кожен скульптор працює сам по собі, говорить мовою мистецтва, зрозумілою лише йому, нікого не намагається переконати у своїй правоті і не шукає діалогу ні «з другом у покоління», ні «з глядачем у потомстві». Тематами всесвітньої самотності, фатальної безглуздості творчості і приреченості на смерть поранено й кровоточать багато робіт І.Тумаркіна, М.Кадишмана й Офри Цимбалісти.

Пост-постмодернізм

Постмодернізм був реакцією на зарозумілість модернізму, на гіпертрофований інтелектуалізм абстракціоністських вчень і течій ХХ століття. Постмодернізм не був естетичним вченням і не визначав, що є потворним, а що красивим; що є майстерністю, а що — помилкою; що є високе і вічне, а що задовольняє миттєві потреби. Він був віддушиною для стомлених віковими дискусіями на тему, що таке «добре» і що таке «погано» у мистецтві. Відповідь постмодернізму: усе дозволено у мистецтві і цінності його — суб'єктивні.

Постмодернізм був терористичним актом століття, що минає. Модернізм був зруйнований. Величні колись споруди — «ізми» — рухнули і перетворилися на чудернацьку купу археологічного матеріалу. Але ж — ось дивина! В останні роки під цими уламками віджилих світових смаків, «нововведень» і естетик зароджується «сьогочасне» ізраїльське мистецтво, а при ньому — скульптура як уже невід'ємна його складова. Цьому «сьогочасному» притаманне повернення до академічного, точного, зрозумілого, що піддається словесному опису й об'єктивній оцінці. В епоху, що сформувалася після постмодернізму, мистецтво перестає бути лише альтернативним світом екзальтованого художника і знову шукає емоційного діалогу з глядачем. До цієї епохи належать і роботи автора даного нарису.

Епілог

І все ж таки, незважаючи на проблематику, що піддає сумніву саму можливість існування скульптури як національного єврейського мистецтва, останні десятиліття в Ізраїлі відбувається щось, що можна було б —

щоправда, вкрай обережно, з численними спльовуваннями убік проти лихого ока чи пристріту — назвати народженням ізраїльської скульптури. З'являються традиція та її опозиція, діалог із глядачем і полеміка шкіл, але головне — утворюється така необхідна для культури «характерна риса». Саме в атмосфері зародження характерної риси стираються межі між древнім і сучасним, між єврейським і неєврейським, між творами уродженців Землі Обітованої і роботами тих, хто з натхненням пов'язує з нею свою долю.

Коли зустрічаються культури, мова мистецтва ефективніша розмовної мови. Тільки мовою мистецтва можуть проводитися активно-творчі міжкультурні контакти, такі необхідні для визначення й розвитку спільної культури розсіяного єврейського народу. Для опанування мовою мистецтва необхідні не лише знання (словниковий запас, граматики, фонетика, синтаксис тощо), а й схильність до творчості і талант емоційного прояву. Найчастіше екстаз творчого акту з лихвою компенсує брак фактичних знань. У таких галузях мистецтва, як скульптура і танець (до якого можна поставитись, як до мінливої скульптури, виконаної тілом), ця компенсація може відбутися на початковому рівні — можливо, через їхню безпосередню близькість до первинних культових церемоній людини: скульптура — об'єкт поклоніння, тоді як танець — ритуально-емоційна форма цього поклоніння. Тому я пропоную перетворити скульптурні майстерні і танцювальні зали на аудиторії міжкультурних контактів, у цехи відливання універсальної єврейської культури, спільної для діаспори й Ізраїлю. Могутні магичні й терапевтичні властивості цих сфер, 4000-літня культура єврейського народу, а також більш як столітній досвід ізраїльських скульпторів, є прекрасним матеріалом для фундаменту настільки величній споруди, щоб в іншому світі сприйняли нащадки наші «...[золоте] *теляте та танці...*».

ЗМІСТ — СОДЕРЖАНИЕ

ПОЗА РУБРИКАМИ — ВНЕ РУБРИК

ПСАЛМЫ ДАВИДОВЫ
В переводах С.С.Аверинцева
3

ПРОЗА

Ханна Краль
ВСТИГНУТИ ПОПЕРЕД ГОСПОДА
26

Григорий Канович
ВЕРА ИЛЬИНИЧНА
Маленькая повесть
95

Уладзімер Арлов
ОПОВІДАННЯ
ОВОА ЦИМЕРМАН
168

РИБА ТА ІНШІ
177
ПРОРОЦТВА РОЗИ ГЕРЦИКОВИЧ
185

Этгар Керет
РАССКАЗЫ
РАЗБИТЬ СВИНЬЮ
194

ДЫРА В СТЕНЕ
196
ПОЧИСТИТЬ ШЛЯПУ
198

ПОСЛЕДНИЙ РАССКАЗ И С КОНЦАМИ
200

ТРУБЫ
201

МЫСЛЬ ПОД ВИДОМ РАССКАЗА
203

ПОЕЗИЯ — ПОЭЗИЯ

Гаїм-Нахман Бялик
ВІРШІ
206

Перец Маркіш
КУПА
213

Вероника Батхен
СТИХИ
233

КРИТИКА ТА ПУБЛІЦИСТИКА — КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

Дэвид Харрис
АНТИСЕМИТИЗМ В ЕВРОПЕ
И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
238

Ярослав Тинченко
ЕВРЕЙСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
259

НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ — НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ

Леонід Первомайський
3 КНИГИ «ДИКИЙ ПЕГАС» (1924-1964)
276

ЕПІСТОЛЯРІЯ—ЭПИСТОЛЯРИЯ

«МЕЖДУ НАМИ ДОЛГО БЫЛА КАКАЯ-ТО СТЕНА...»
Письма К.Чуковского к С.Маршаку
290

МЕМУАРИ — МЕМУАРЫ

Яцек Куронь
ВІРА І ПРОВІНА
327

МИСТЕЦТВО — ИСКУССТВО

Рашит Янгиров
ЧЕЛОВЕК СО СВОЙСТВАМИ:
САГА АЛЕКСАНДРА ДРАНКОВА
366

Григорий Казовский
ШТЕТЛ В ТВОРЧЕСТВЕ
ЕВРЕЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ
МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
388

Еммануїл Гельман
НАРОДЖЕННЯ СКУЛЬПТУРИ В ІЗРАЇЛІ
399

CONTENTS

BEYOND HEADLINES

THE PSALMS OF DAVID

translated by S.S. Averintsev

3

PROSE

Hanna Kral

TO MANAGE IT BEFORE GOD

26

Grigory Kanovich

VERA ILYINICHNA

A small novel

95

Uladzimer Arlov

SHORT STORIES

VOVA ZIMMERMANN

168

THE FISH AND OTHERS

177

THE PROPHECIES OF ROSA HERTZIKOVICH

185

Etgar Keret

SHORT STORIES

TO BREAK A PIG

194

THE HOLE IN THE WALL

196

TO CLEAN THE HAT

198

THE LAST SHORT STORY AND ALL OVER

200

PIPES

201

A THOUGHT PRETENDING TO BE A SHORT STORY

203

POETRY

Haim Nachman Bialick

POEMS

206

Peretz Markish

THE HEAP

213

Veronica Batchen

POEMS

233

CRITICS AND PUBLICISM

David Harris

ANTISEMITISM IN EUROPE AND THE MIDDLE EAST

238

Yaroslav Tinchenko

THE JEWISH MILITARY UNITS IN WESTERN UKRAINE.
THE CIVIL WAR

259

OUR PUBLICATIONS

Leonid Pervomaysky

FROM «THE WILD PEGAS» (1924-1964)

276

EPISTOLARYA

«THERE HAVE BEEN A WALL BETWEEN US FOR A LONG TIM

K. Chukovsky letters to S. Marshak

290

MEMOIRS

Yatsek Kuron

THE FAITH AND THE GUILT

327

ARTS

Rashit Yanghirov

A MAN WITH PROPERTIES:
ALEXANDER DRANKOV'S SAGA

366

Grigory Kazovsky

THE STÄTL IN THE CREATIVE WORKS OF JEWISH ARTISTS
BETWEEN TWO WORLD WARS

388

Emmanuil Hellmann

THE ORIGINS OF SCULPTURE IN ISRAEL

399

Інститут юдаїки

спеціалізується на організації досліджень та координації зусиль вчених у галузі вивчення єврейської історії та культури в Україні

Основні форми роботи Інституту:

- ✦ виконання дослідницьких проектів;
- ✦ організація та проведення конференцій, семінарів, лекторіїв;
- ✦ збирання архівів;
- ✦ видавнича діяльність;
- ✦ організація мистецьких виставок;
- ✦ бібліографічні розвідки

Дослідницькі проекти

Історико-архівні програми

- ✦ опис єврейських фондів та документів в архівах України;
- ✦ вивчення історії репресій проти євреїв та єврейської культури за матеріалами архівів ДПУ, НКВС, КДБ;
- ✦ формування фотоархіву «Єврейський світ» (фотографії кінця XIX — початку XX ст.);
- ✦ відродження організованого єврейського життя в Україні: 1987-2001 рр. ;
- ✦ вивчення історії КАТАСТРОФИ;
- ✦ формування кіноархіву: єврейська тема у кінематографі України XX ст.;
- ✦ створення енциклопедії «Українське єврейство».

Соціологічні, демографічні та політологічні програми

- ✦ проект «Долі євреїв України у XX столітті» — запис усних історій людей старшого віку;
- ✦ моніторинг проблем міжнаціональних відносин;
- ✦ моніторинг ксенофобських, антисемітських акцій, публікацій, виступів. Розробка програм сприяння толерантності та багатокультурності в українському суспільстві;
- ✦ демографічний прогноз чисельності єврейства України;

Мистецькі програми

- ✦ організація виставок: єврейська тема у живопису, графіці, скульптурі художників України;
- ✦ дослідження історії арт-юдаїки в Україні.

Конференції, семінари, лекторії

Починаючи з 1993 року, *Інститут* щорічно організує та проводить міжнародну наукову конференцію «Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи».

Видавнича діяльність

Інститут видав:

- ✂ Художньо-публіцистичний альманах «Єгупець» (№1-10, 1995-2002 рр.). Ред. Г.Аронов;
- ✂ Матеріали міжнародних наукових конференцій «Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи» (1994-2002 рр.). Ред. Г.Аронов;
- ✂ Матеріали Єрусалимської конференції 1993 р. «Україно-єврейські взаємини» («Філософська і соціологічна думка», №№ 1-2, 5-6, 1994 р.). Ред. Л.Фінберг;
- ✂ «Jews and Slavs» v.5, Jerusalem, 1996. Ред. В. Москович, Л.Фінберг та ін.;
- ✂ С.Рос. Легальні засоби боротьби проти антисемітизму. Ред. В.Миндлин. 1996;
- ✂ «Поле відчаю й надії». Ред. та упорядник Р.Корогодський. 1994;
- ✂ Шимон Маркиш. Бабель і інші. Ред. Л.Фінберг. 1996;
- ✂ Новые реалии Украины: украинско-еврейский диалог. Ред. Л.Финберг. 1997;
- ✂ М.Кальницький. Синагога Киевской иудейской общины. 5656-5756. Исторический очерк. 1997;
- ✂ Підготовчі матеріали для популярної енциклопедії «Українське єврейство». Вип. 3 - 1998, вип. 4 - 1999 (репринти статей до тому «Україно Judaica. Українсько-єврейські взаємини»). Ред. М.Феллер;
- ✂ Карта-схема «Єврейські адреси Києва». Упорядники О.Школярєнко, М.Кальницький, З.Чечик. 1998. Вид. друге, доповнене. 1999; Вид. третє, 2001.
- ✂ Ж.Ковба. Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки «остаточного розв'язання єврейського питання». 1998; Вид. друге, доповнене. 2000;
- ✂ М.Мицель. Общини іудейского вероисповедания в Украине (Киев, Львов: 1945-1981 гг.). 1998;
- ✂ Труды еврейской историко-археологической комиссии 20-30-х годов. Сост. В.Хитерер. 1999.
- ✂ Живими остались только мы. Свидетельства и документы. Ред. та упорядник Б.Забарко. 1999;
- ✂ Гелий Аронов. Как я был... 2000;
- ✂ Перец Маркіш. Наречений завірюхи. Вірші і поеми. Переклад з їдиш В.Богуславської. 2000;
- ✂ И.Зисельс. Если я только для себя... 2000. Ред. М.Петровский;
- ✂ В.Скуратовский. Проблема авторства «Протоколов сионских мудрецов». Ред. М.Петровский. 2000;
- ✂ «Jews and Slavs», v.7, ред. В. Москович, Л.Фінберг, М.Феллер. 2000;
- ✂ В.Хитерер. Документи по єврейской истории в киевских архивах (XVI-XXвв.). 2001;
- ✂ М.Береговський. Пуримшпили. Еврейские народные музыкально-театральные представления. 2001;
- ✂ Р.Метельницький. Деякі сторінки єврейської забудови Луцька. Ред. М.Петровський. 2001;
- ✂ Родной голос. Страницы русско-еврейской литературы конца XIX-начала XX вв. Составитель Шимон Маркиш. 2001;
- ✂ Поза межами розуміння. Богослови та філософи про Голокост. Ред. Л.Фінберг. 2001;
- ✂ Перец Маркіш. Вибране. Перекладач та упорядник В.Богуславська. 2001.

- ☞ Хонигсман Я. Благотворительность евреев Восточной галиции / Ред. М.Феллер. Совместно с институтом социально-общинных работников «Джойнт», дир. Забарко. 2002.
- ☞ Олександр Круглов. Документи по історії Холокоста. Ред. Р.Ленчовський. 2002.
- ☞ Редлих Ш. Разом і нарізно у Бжезанах. Ред. М.Петровський.
- ☞ Алек Д. Эпштейн. Войны и дипломатия. Арабо-израильский конфликт в XX веке. Ред. Л.Финберг. 2003.
- ☞ Мозес С. Любовь и Тора.
- ☞ Матеріали X міжнародної наукової конференції 2002 р. «Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи».

Образотворчі видання:

- ☞ Ілюстрований єврейський календар на 5757-5758 (1998-1999 рр.). /Єврейське ритуальне срібло/. 1997;
- ☞ Єврейський календар на 1999-2000. /Єврейська книжкова графіка/. 1999;
- ☞ Еврейский календарь-справочник на 5760 (1999-2000). 1999;
- ☞ Єврейські поздоровчі листівки (Песах, Пурим, Рош-а-шана, Симхат Тора, Ханука). 1999;
- ☞ Єврейський календар на 2000-2001. /Сучасна арт-юдаїка України/. 2000;
- ☞ Еврейский календарь-справочник на 5761 (2000-2001). 2000;
- ☞ Еврейский календарь на 2000-2001. /Єврейские сказки/. 2000;
- ☞ Єврейський календар на 2001-2002. /Єврейська тема в творах українських майстрів XIX-XX ст./. 2001;
- ☞ Б.Лекарь. /Альбом репродукцій/. Предисл. М.Петровський, Г.Островський. 2001.
- ☞ Єврейські календарі 5764 (2002-2003).
- ☞ Буклет «Аким Левич».
- ☞ Буклет «Абрам Маневич».

Інститут готує до видання:

- ☞ Художньо-публіцистичний альманах «Єгупець» № 13;
- ☞ Електронний варіант Енциклопедії «Українське єврейство». Редактор М. Феллер;
- ☞ Путівник «Єврейська історія та культура України». Ред. М.Кальницький;
- ☞ Матеріали XI міжнародної наукової конференції 2003 р. «Доля Єврейських громад Центральної та Східної Європи у першій половині XX сторіччя».
- ☞ Ковба Ж. Рабини і греко-католицькі священники в роки Голокосту.
- ☞ Щоденник рабина Кохане. Ред. Ж.Ковба.
- ☞ Лоев М. Украденная муза.
- ☞ Єврейські календарі 5763 (2003-2004).

Адреса Інституту:

Україна. 03049, Київ, вул. Курська, 6
 тел./факс. 38 (044) 248-89-17
 E-mail: judaica@svitonline.com,
 Internet: <http://www.judaica.kiev.ua>

Institute of Jewish Studies

*Specializes on organization of research and coordination of efforts of scientists
in the field of Jewish history and culture in Ukraine*

Institute's Main Activities:

- ✧ research projects;
- ✧ organization of conferences, seminars, lectures;
- ✧ collection of archives;
- ✧ publications;
- ✧ organization of artistic exhibitions;
- ✧ bibliographic explorations

Research Projects

Historical-Archival Programs

- ✧ Description of Jewish funds and documents in the archives of Ukraine;
- ✧ Study of the history of repression against Jews and Jewish culture according to the archives of DPU, NKVD, KGB;
- ✧ Formation of the «Jewish World» photo-archive (photographs dated the end of the 19th – beginning of the 20th centuries);
- ✧ Revival of the well-organized Jewish life in Ukraine. 1987-1998;
- ✧ Study of the history of the HOLOCAUST;
- ✧ Formation of a film archive: Jewish theme in Ukraine's cinematography of the 20th century;
- ✧ Creation of the «Ukrainian Jewry» Encyclopedia.

Programs in Sociology, Demography and Political Science

- ✧ Project «Fates of Jews of Ukraine in the 20th century» – recording of oral stories of older people;
- ✧ Monitoring of problems in ethnic relations;
- ✧ Monitoring of xenophobic, anti-Semitic actions, publications, and statements. Development of programs for promotion of tolerance and multiculturalism in the Ukrainian society;
- ✧ Demographic forecast of the number of Jews in Ukraine;

Arts Programs

- ✧ Organization of exhibitions: Jewish theme in pictorial, graphic and plastic arts of Ukrainian artists;
- ✧ Studies in Ukrainian art-Judaic.

Conferences, Seminars, Lectures

Since the year of 1993, the *Institute* organizes and annually holds International Scientific Conferences on the subject «Jewish History and Culture in Central and Eastern Europe».

Publishing Activities

The Institute has published:

- ☞ The literary-sociopolitical almanac «Yehupets» (#1-8, 1995-2001). Editor G. Aronov.
- ☞ Materials of the International Scientific Conference «Jewish History and Culture in Central and Eastern Europe» (1994-2000). Editor G. Aronov;
- ☞ Materials of the Jerusalem conference in 1993 on the subject «Ukrainian-Jewish Relations» («Philosophical and Sociological Thought», ##1-2, 5-6 1994. Editor L. Finberg);
- ☞ «Jews and Slavs» v/5, Jerusalem, 1996/ Editors V. Moskovich, L. Finberg, etc.;
- ☞ S. Ros. Legal Means of Fight Against Anti-Semitism. Editor V. Mindlin, 1996;
- ☞ «The Field of Despair and Hope», editor and compiler R. Korogodsky, 1994.
- ☞ Shimon Markish Babel and Others. Editor L. Finberg, 1996.
- ☞ «New Realities of Ukraine: Ukrainian-Jewish Dialogue», editor L. Finberg, 1997.
- ☞ M. Kalnytsky, Synagogue of the Kiev Jewish Community. 5656-5756. Historical Review, 1997.
- ☞ Preparatory materials for the popular Encyclopedia «Ukrainian Jewry», third issue (preprints of the articles for the volume on «Ukrainian-Jewish Studies. Ukrainian-Jewish Relations»). Editor Martin Feller, 1997, 1998.
- ☞ A tour map «Jewish Addresses of Kyiv» compiled by O. Shkoliarenko, M. Kalnytsky, Z. Chechyk, 1998, 1999.
- ☞ Zh. Kovba. Humanity in the Precipice of Hell. Conduct of the Local Population in Western Galitsia during the Years of the Ultimate Solution of the Jewish Problem, 1998; Second edition – 2000.
- ☞ M. Mitsel. Jewish Religious Communities in Ukraine (Kiev, Lvov, 1945-1981), 1998.
- ☞ «Works of the Jewish Historical-Archeographic Commission of the 1920-30-ies», compiled by V. Khiterer. 1999.
- ☞ «Only We Survived. Testimonies and Documents», editor and compiler B. Zabarko, 1999.
- ☞ Gelii Aronov. How I Was..., 2000.
- ☞ Peretz Markish. Narecheny Zaviriukhy, Poems. Translation from Yiddish by Bohuslavka, Editor M. Petrovsky. 2000.
- ☞ Joseph Zisels. If Only for Myself... Editor M. Petrovsky. 2000.
- ☞ V. Skuratovsky. Problem of Authorship of «The Protocols of the Elders of Zion», Editor M. Petrovsky. 2000.
- ☞ «Jews and Slavs» v.7, editors V. Moskovich, L. Finberg, M. Feller, 2000.
- ☞ V. Khiterer. Documents on the Jewish History in Archives of Kiev (the 16th-20th centuries). 2001.
- ☞ M. Beregovsky. Purimshpils. Jewish folk musical-theatre performance. 2001.
- ☞ R. Meterlnytsky. Some Aspects of Jewish Construction in Lutsk. Editor M. Petrovsky. 2001.
- ☞ Native Voice. Pages of the Russian-Jewish Literature of the end of the 19th – beginning of the 20th centuries. Compiler Shimon Markish. 2001.
- ☞ Beyond the frontiers of understanding. Editor L. Finberg. 2001.
- ☞ Perets Markish. Selected Works. Compiled and translated by V. Boguslavka

- ☞ Yakov Khonigsman. Jewish Charity in Eastern Galitsia.// Editor M. Feller/Jointly with the Institute of Social Community Workers («Joint», director — B.Zabarko).
- ☞ Sh.Redlich. Bzhesane-Bzhesane /edited by M. Petrovsky
- ☞ Materials of The Ninth International Scientific Conference «Jewish History and Culture in Countries of Central and East Europe — «Fates of Jewish Spiritual and Material Heritage in the 20th Century».
- ☞ Olexander Kruglov. Documents on the History of the Holocaust, editor R.Lenchovsky.
- ☞ S.Moses. Love and Torah (Bible) /edited by V. Kadenko

Arts Publications:

- ☞ The Illustrated Jewish Calendar for 5757-5758 — 1998-1999. /Jewish Ritual Silver/. 1997.
- ☞ Jewish Calendar for 1999-2000. /Jewish Book Graphics/. 1999.
- ☞ Jewish Reference Calendar for 5760 (1999-2000), 1999.
- ☞ Jewish Holiday Leaflets (Passover, Purim, Rosh Hashanah, Simhat-Torah, Hanukah), 1999.
- ☞ Jewish Calendar for 2000-2001. /Modern art-Judaic of Ukraine/. 2000.
- ☞ Jewish Reference Calendar for 5761 (2000-2001). 2000.
- ☞ Jewish Calendar for 2000-2001. /Jewish Fairytales/. 2000.
- ☞ Jewish Calendar for 2001-2002. /The jewish theme in picture of Ukranian artists XIX-XX cen./. 2001.
- ☞ Boris Lekar. /An Album of Reproductions/. 2001.
- ☞ Jewish Calendar for 2002-2003.
- ☞ Booklet «Abram Manevich»

The Institute Is Preparing for Publication:

- ☞ The artistic-publicist almanac «Yehupets» #12.
- ☞ Encyclopedia «Ukrainian Jewry», editor M. Feller.
- ☞ Guide «Jewish History and Culture of Ukraine», editor M. Kalnytsky.
- ☞ Zh. Kovba. Rabbis and Greek-Catholic Priests during the Holocaust
- ☞ Dairy of Rabbi M. Kochan / edited by Zh. Kovba
- ☞ Jewish calendars for 5764 (2003-2004)

Address of the Institute:

6, Kurska Street, Kiev 03049 Ukraine
 Tel./ Fax. 38 (044) 248-89-17
 E-mail: judaica@svitonline.com,
 Internet: <http://www.judaica.kiev.ua>

ВИДАВНИЦТВО
«ДУХ І ЛІТЕРА»

Київ

пропонує твори гуманітарної класики:

- Поль Рікер. Право і справедливість* /Пер. з фр. — К.: Дух і літера, 2002. — 220 с.
- Поль Рікер. Інтелектуальна автобіографія. Любов і справедливість* /Пер. з фр. — К.: Дух і літера, 2002. — 220 с.
- Поль Рікер. Сам як інший* /Пер. з фр. — К.: Дух і літера, 2000. — 458 с.
- Чарльз Тейлор. Етика автентичності* /Пер. з англ.— К.: Дух і літера, 2002. — 138 с.
- Еліседа МакІнтайр. Після чесноти: Дослідження з теорії моралі* /Пер. з англ.— К.: Дух і літера, 2002. — 414 с.
- Кліффорд Гіри. Інтерпретація культур* /Пер. з англ. — К.: Дух і літера, 2001, — 542 с.
- Еманюель Левінас. Між нами: Дослідження. Думки-про-іншого* /Пер. з фр. — К.: Дух і літера, 1999. — 312 с.
- Жак Дерріда. Позиції* /Пер. з фр. — К.: Дух і літера, 1994. — 160 с.
- Христос Яннарас. Варіації на тему Пісні Пісень* /Пер. з грецької С. Говоруна. — К.: Дух і літера, 2002.— 128 с.
- Андре Глюксман. Одинадцята заповідь* /Пер. з фр. — К.: Дух і літера, 1994. — 288 с.
- Ханна Арендт. Джерела тоталітаризму* /Пер. з англ. — К.: Дух і літера, 2002. — 539 с.
- Ханна Арендт. Між минулим і майбутнім* /Пер. з англ. — К.: Дух і літера, 2002. — 319 с.
- Френсіс Дворнік. Слов'яни в європейській історії та цивілізації* /Пер. з англ. — К.: Дух і літера, 2000. — 506 с.
- Жорж Ніва. Європа метафізики і картоплі* /Пер. з фр. — К.: Дух і літера, 2002. — 306 с.
- Енциклопедія політичної думки /За ред. Девіда Міллера/Пер. з англ. — К.: Дух і літера, 2000. — 472 с.
- Гелій Снегирев. Роман-донос.* — К.: Дух і літера. 2000. — 504 с.
- Гелій Снегирев. Автопортрет 66.* — К.: Дух і літера, 2001. — 120 с.
- Антоній (Блум), митрополит Сурожський. Пути християнської життя.* — К.: Дух і літера, 2001. — 280 с.
- Сергей Аверинцев. София–Логос. Словарь* /Изд. 2-е, испр. и доп. — К.: Дух і літера, 2001. — 450 с.
- Сергей Аверинцев. Стихи духовные.* — К.: Дух і літера, 2001. — 146 с.
- Сімона Вейль. Укорінення. Лист до клірика* /Пер. з фр. — К.: Дух і літера, 1998. — 300 с.
- Франсуа Моріак. Во что я верю* /Пер. с фр. — К.: Дух і літера, 1996. — 144 с.
- Диалоги на межі століть: (стенограми семінарів ім. Івана Лисяка-Рудницького),* — К.: Дух і літера, 2003. — 319 с.

ГОТУЮТЬСЯ ДО ДРУКУ У 2002–2003 РР.

Христос Яннарас «Свобода етосу»,
Джон Зізіюлас «Буття як спілкування»,
Виктор Малахов «Вослед душе»,
нові числа часопису «Дух і літера».

З питань замовлення та придбання літератури звертатися:

Видавництво «Дух і літера»

Національний університет «Кієво-Могилянська академія»
5 корпус, кім. 210
вул. Волоська, 8/5, Київ-70, 04070, Україна

Тел./факс: (044) 416-60-20
e-mail: duh-i-litera @ukr.net — відділ збуту
або franc@roller.ukma.kiev.ua — видавництво

Надаємо послуги «Книга-поштою»

Їжа для зголоднілих інтелектуалів
Незалежний культурологічний часопис “Ї”
вул. Грушевського, 8/3а
м. Львів, 79005
Тел. (0322) 745890
Факс (0322) 966382
e-mail: ji@litech.lviv.ua, ji@is.lviv.ua
<http://www.ji-magazine.lviv.ua>,
<http://www.ji.lviv.ua>

Співпраця з газетою
«Книжник-Ревю» —
шлях до Вашого успіху!



ГАЗЕТА ПРО ВСІ КНИЖКИ І ВСІХ ПИСЬМЕННИКІВ

Газета «Книжник-Ревю» —
це регулярне рейтингування новинок
українського книжкового ринку, гіт-паради
продажів у найбільших книгарнях України,
якнайповніше висвітлення традиційної
всеукраїнської акції «Книжка року», дискусійні
погляди на резонансні книжки. Кращі
рецензенти країни — постійні автори
«Книжника»! Найвідоміші культурологи
країни — експерти «Книжника»!

Передплатний індекс 21644

т.: (044) 238-65-19, 416-05-57

e-mail: books@review.kiev.ua

<http://www.elitprofi.com.ua/gazeta>



КІНО-КОЛО

Щоквартальний часопис екранних
мистецтв

2003 весна (17)

У весняному числі часопису (168 стор.), що вийшло наприкінці березня, велике інтерв'ю з українським режисером-дебютантом Степаном Ковалем, чия короткометражна анімаційна стрічка «Йшов трамвай № 9» виборола «Срібного ведмеда» на Берлінському міжнародному кінофестивалі. Також про Берлінале друкуються інші матеріали спеціальних кореспондентів Володимира Войтенка й Аліка Шпилюка.

Українські режисери-дебютанти розмірковують про новітню вітчизняну кіногенерацію. В подробицях ідеться про повнометражний ігровий дебют Алли Пасікової «На краєчку світу». Продовжується розмова про фільм Юрія Ілленка «Молитва за гетьмана Мазепу» (Ігор Грабович і Дмитро Десятерик). Друкується низка полемічних матеріалів про творчість Олександра Довженка, викликаних ретроспективою його фільмів у США. Статтею Сергія Тримбача «Про еволюцію...» КІНО-КОЛО розпочинає полеміку про сучасні українські кінознавство і критику. Інтерв'ю з кінодокументалістами Юрієм Терешенком, Анатолієм Борсюком, Світланою Зінов'євою та низка рецензій ведуть про здобутки й проблеми цього виду екранного мистецтва. Відбувся дебют нового журнального розділу «КІНО-КОЛО альбом — ВУФКУ», що присвячений найудатливішому історичному періоду української кінематографії (1922 — 1930). Тут друкуються кольорові репродукції плакатів до стрічок Олександра Довженка, а також кіноплакати його авторства. Розпочато публікацію спогадів першого директора Одеської кіностудії Михайла Капчинського. Стаття Олега Бурячківського «На серця екрані...» веде про кіномотиви у творчості Василя Стуса. Друкується 30 рецензій на нові фільми, фахові книжки й часописи. Також — репортажі з МКФ у Роттердамі, Стокгольмі, Вальядоліді та фестивальна й інша кіностатистика. В матеріалі Максима Черниха розглядаються результати 2002-го українського кінороку. Публікуються статті про норвезьке, французьке, ізраїльське, російське кіно та інші аналітичні матеріали.

Національний кінопортал КІНОКОЛО.UA:

енциклопедія українського кіна, щоденні кіноновини і статті, інтерв'ю, зйомки, сценарії, кінопрем'єри, всі українські кінотеатри, інформація про вартісне кіно на DVD, відео, телебаченні, фотогалерея, щотижневий кіноконкурс, форум, електронна версія часопису КІНО-КОЛО.



Літне (18) число часопису, що пропонує свої матеріали на 172 сторінках, продовжує розмову про українське документальне кіно. Зокрема, тут інтерв'ю з режисером Сергієм Буковським та рецензії на його фільм «Червона земля» і серіал «Війна. Український рахунок». Продовжується розмова про вітчизняне молоде кіно. Вміщено понад 30 рецензій на фільми, зокрема на незалежну стрічку Андрія Шевченка «Обличчя протесту», що веде про громадянський і політичний спротив в Україні 2000-2001 років. Друкується інтерв'ю з провідним швейцарським режисером Даніелем Шмідом та стаття Аксінії Куріної про його творчість. Однією з провідних тем цього числа є мотив червоного кольору у світовому кінематографі. Вміщено матеріали про образ боксу в кіні. Зокрема, Ігор Грабович у статті «Дзеркальні брати. Міт чоловічий — агресивний» пише про екранний образ братів Кличків. Можна прочитати розлогу історичну розвідку Олени Новікової про актрису українського походження Анну Стен, що зробила кар'єру в російському, німецькому та американському кіні. Друкуються кольорові плакати до українських фільмів, створених за часів діяльності (1922 — 1930) Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ). Закінчується публікація спогадів першого директора Одеської кіностудії Михайла Капчинського. Ганна Яровенко й Олексій Науменко пишуть про історію та природу такого феномену як відеокліп. Олсг Сидор-Гібелінда в есеї «Зоря екрану скаче з вікна...» досліджує кінореалії в українському письменстві 1920-х — початку 1930-х років. Друкується сценарій повнометражного фільму «Останній забій» Олексія Росича, що виборов перше місце на конкурсі романів і кіносценаріїв «Коронація слова». Також — статті про чеське, іранське, російське, китайське, французьке, американське кіно...

Передплатний індекс видання — 22944.

Передплатити можна в будь-якому поштовому відділкуві, а також за каталогом фірми «Самміт» (з кур'єрською доставкою), тел.: (044) 254 5050.

Придбати можна в Києві — книгарні: «Бабуїн», «Дніпро», «Знання», «Наукова думка», «Сяйво», а також торговельні комплекси «Квадрат» (пл. Слави), Дім преси (вул. Хорива, 17) і кінотеатри «Київ», «Україна», «Жовтень»; у Харкові — книгарня «Шафа»; у Львові — книгарня НТШ; Івано-Франківськ — «Сучасна українська книга», у Чернігові — книгарня «Добра книга».

Тел./факс: (044) 490 0101, додатковий — 3103.

e-mail: redactus@kinokolo.ua

листування: КІНО-КОЛО, а/с 40, Київ-21, 01021

Підп. до друку 09.08.2003. Формат 60×84 1/16.
Папір друк. № 1. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 25,6.
Обл.-вид. арк. 24,8. Наклад 1000. Зам. 3-1930.

ЗАТ "ВІПОЛ", ДК № 15
03151, м. Київ, вул. Волинська, 60



12

ERNEST